

Женщины
Николая Гумилева

Неистовый Конквистадор

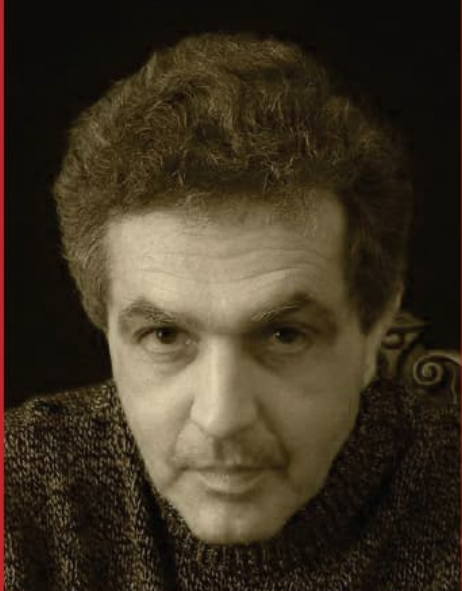
ИГОРЬ
ТАЛАЛАЕВСКИЙ

Женщины
Николая
Гумилева

Неистовый Конквистадор

ИГОРЬ
ТАЛАЛАЕВСКИЙ





В новой книге известного режиссера и сценариста **Игоря Талалаевского** тридцать женщин – confidentок большого русского поэта Николая Гумилева рассказывают свои версии встреч и разлук с ним. Поразительные по эмоциональному накалу, подчас любовные, подчас неприязненные письма! Все это комментирует Анна Андреевна Ахматова – волею судьбы вечный оппонент в тяжбе за право сильного в их непростых отношениях. Причудливая смесь мемуара, дневника и любовного романа... Неистовый конкистадор в поисках своего «шестого чувства»...



ИСТОРИЧЕСКАЯ
КНИГА

Игорь Талалаевский

**Неистовый
Конквистадор**

Женщины

Николая Гумилева

Санкт-Петербург
АЛЕТЕЙЯ
2016

УДК 82.091
ББК 83.3(2Рос=Рус)
Т 160

Талалаевский И.

Т 160 Неистовый Конквистадор. Женщины Николая Гумилева. –
СПб.: Алетейя, 2016. – 000 с.: ил.

ISBN 978-5-906823-14-4

Их тридцать – женщин Николая Гумилева, представленных в этой книге. Это не донжуанский список. Это тридцать голосов, прозвучавших в его судьбе, – каждый в свое время и по-разному. Конквистадор, он победительно захватывал не только поэтические пространства, но и женские нивы, засеянные смутными желаниями, разновеликими страданиями и прочей женской рассадой. Не всегда на этой стезе он был понят и принят, не всегда женские мемуары и свидетельства – надежный источник истины, но будем благодарны и им. В конце концов, в этой многоголосой полифонии мы услышим рождение совершенно нового образа Поэта, Воина, Безумца, который сперва «измучивался» очередной женщиной, прежде чем мог ею «насладиться». А искушенный автор этой композиции – известный режиссер и сценарист Игорь Талалаевский – в своей излюбленной манере романа-коллажа станет для читателя добрым Вергилием путешествия в мир любовной и поэтической страды большого русского поэта Николая Гумилева.

УДК 82.091929

ББК 83.3(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-906823-14-4



9

© И. Талалаевский, 2016

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2016

СЛОНЫ ЛЮБВИ НИКОЛАЯ ГУМИЛЕВА

О Николае Гумилеве, кажется, все песни спеты, все слова написаны. За тридцать лет с момента снятия с его имени табу изданы тысячи материалов разного качества о его жизни и творчестве. Но вот читателю предлагается новый взгляд на поэта. Под обложкой этой книги собраны свидетельства женщин, так или иначе причастных к его судьбе. Их тридцать – неравнодушных певуний, в этом разноголосом хоре чуткое ухо различит немало фальшивых нот. Но ты, читатель (не правда ли?), терпеливо пройдешь всю книгу до конца и уверишься, что лишь отзвук всего услышанного несет истинное знание и удовольствие о целом личности такого поэта как Гумилев.

Я близко подошел к нему в том приснопамятном 1986. Только что полыхнул Чернобыль. Я ассистировал Мастеру в постановке «Оптимистической трагедии» Вишневого. Там есть знаменитая сцена – идеологический спор между Командиром бунтующего корабля и женщиной-Комиссаром, в кожанке, о грядущих «ценностях» побеждающего социализма. Она цитирует ему знаменитых «Капитанов»:

Командир. ...Достаточно перелистать нашу русскую литературу, и вы увидите.

Комиссар. Тех, кто, «бунт на борту обнаружив, из-за пазухи рвет пистолет, так что золото сыплется с кружев, с розоватых брабантских манжет». Так?

Командир (задетый). Очень любопытно, что вы наизусть знаете Гумилева...

(Произнести вслух со сцены в 33 году имя расстрелянного и запрещенного поэта – для этого нужно было известное мужество. Впрочем, красный литературный генерал Вишневский и во всем был парадоксален: писал третьесортные агитки – и помогал Мандельштаму, печатал Ахматову, выдвигал Виктора Некрасова на соискание Государственной премии... Но это совершенно другая история...)

Кому же, как не ей, прототипом которой – Лариса Рейснер, гумилевская «Лери», — цитировать Гумилева? В 86 году открылись шлюзы, и Мастер решил вывести на сцену не женщину в кожанке, а даму из «бывших» в шикарном французском платье и в шляпке. Но с пистолетом. А мне велел составить из дневников и писем Вишневого несколько писем Комиссара родным. Тогда, думаю, и началось мое увлечение методом коллажа. Тогда же я пытался с миру по нитке собрать хоть что-нибудь об отношениях Гумилева и Рейснер – тщетно. Нет, конечно же, мы читали и зачитывали до дыр машинописные самиздатские сборники Гумилева. Кое-что дал изданный недавно роман «Рудин» Рейснер. Но что там у них с Ларисой было на самом деле – было ужасно любопытно...



Женский взгляд на Гумилева – от летописных сестры и невестки до мимолетных барышень-курсисток из «Звучащей раковины» – предполагает вольное или невольное присвоение поэта своей, женской биографии. Но ни одна из них не имела права сказать «Мой Гумилев!». Ибо он, Конквистадор, не принадлежал никому, даже Той, кому принадлежать ему бы хотелось по существу. Но «Анна всяя Руси» не захотела (не смогла?) впустить его в свой мир на правах сильного. Жизнь двух Поэтов вместе невозможна была априори, и право сильного как-то естественно отошло к ней. Она воспользовалась им – и ушла в другие мужья, пространства и... воспоминания. Она поделила свою и его жизнь на периоды Дмитриевой, Высотской, Рейснер, Адамович, Арбениной, но не на периоды Модильяни, Шилейко, Пунина. И до конца ее жизни он приходил к ней в снах, они вели свой нескончаемый спор о том, кто предал, потому что только в конце жизни она поняла любимого им Киплинга, сказавшего, что мужчина помнит в своей жизни трех женщин: первую, последнюю и одну...

*Моя любовь к тебе сейчас — слонёнок,
Родившийся в Берлине иль Париже
И топаящий ватными ступнями
По комнатам хозяина зверинца.*

*Не предлагай ему французских булок,
Не предлагай ему кочней капустных,
Он может съесть лишь дольку мандарина,
Кусочек сахара или конфету.*

*Не плачь, о нежная, что в тесной клетке
Он делается посмеянем черни,
Чтоб в нос ему пускали дым сигары
Приказчики под хохот мидинеток.*

*Не думай, милая, что день настанет,
Когда, взбесившись, разорвет он цепи
И побежит по улицам и будет,
Как автобус, давить людей вопящих.*

*Нет, пусть тебе приснится он под утро
В парче и меди, в страусовых перьях,
Как тот, Великолепный, что когда-то
Нес к трепетному Риму Ганнибала.*

Читайте же, друзья, этот свод восхитительных историй женщин, переболевших Гумилевым. И (как знать?), может быть, в отличие от Ганнибала, ваш слон Любви доставит вас к вашему Риму?

Игорь Талалаевский



Всем ждущим и жаждущим...



Анна Гумилева*. Будучи замужем за старшим братом поэта, Дмитрием Степановичем, я прожила в семье Гумилёвых двенадцать лет. Жила я в дорогой мне семье моего мужа с моей свекровью Анной Ивановной Гумилёвой, рожденной Львовой, с золовкой Александрой Степановной Гумилёвой, по мужу Сверчковой, с ее детьми Колей и Марией и один год — с деверем, Степаном Яковлевичем Гумилёвым... Дедушка поэта, Яков Степанович Гумилёв, был уроженец Рязанской губернии, владелец небольшого имения, в котором он и хозяйничал. Скончался он, оставив жену с шестью малолетними детьми. Степан Яковлевич, отец поэта, был старшим сыном в этой многочисленной семье. Он окончил с отличием гимназию в Рязани и поступил в Московский университет на медицинский факультет. Обладая большими способностями и к тому же сильным характером и упорством, он скоро добился стипендии. Чтобы обеспечить существование семьи, он давал уроки, пересылая заработанные деньги матери. По окончании университета С.Я. поступил в морское ведомство и как морской доктор совершал не раз кругосветные плавания. О своих переживаниях в путешествиях и сопряженных с ними приключениях он часто рассказывал, и думаю, что это оказало большое влияние на пылкую фантазию будущего поэта. Будучи совсем молодым, С. Я. женился на больной девушке, которая скоро скончалась, оставив ему трехлетнюю девочку Александру. Вторым браком С. Я. женился на сестре адмирала Л. И. Львова, Анне Ивановне Львовой. Хотя разница лет была и большая — С. Я. было 45 лет, а А. И. 22 года, — но брак был счастливый. После свадьбы молодые поселились в Кронштадте.

* Гумилева, Анна (урожд. Фрейганг) (1887–1965) — невестка поэта.



Позднее, когда С. Я. вышел в отставку, семья Гумилёвых переехала в Царское Село, где Коля и его брат провели свое раннее детство.

Анна Ивановна*, мать поэта, была родом из старинной дворянской семьи. Родители ее были богатые помещики. Свое детство, юность и молодость А. И. провела в родовом гнезде Слепневе, Тверской туб. А. И. была хороша собой — высокого роста, худощавая, с красивым овалом лица, правильными чертами и большими, добрыми глазами; очень хорошо воспитанная и очень начитанная. Характера приятного; всегда всем довольная, уравновешенная, спокойная. Спокойствие и выдержанность перешли и к сыновьям, в особенности к Коле. Вскоре после выхода замуж А. И. почувствовала себя матерью, и ожидание ребенка преисполнило ее чувством радости. Ее мечтой было иметь первым ребенком сына, а потом девочку. Желание ее наполовину исполнилось, родился сын Димитрий. Через полтора года Бог дал ей и второго ребенка. Мечтая о девочке, А. И. приготовила все приданое для малютки в розовых тонах, но на этот раз ее ожидание было обмануто — родился второй сын Николай, будущий поэт.

Николай Степанович Гумилёв родился в Кронштадте 3-го апреля 1886 года, в сильно бурную ночь и по семейным рассказам, старая нянька предсказала: «У Колячки будет бурная жизнь». Ребенком Коля был вялый, тихий, задумчивый, но физически здоровый. С раннего детства любил слушать сказки. Все дети были сильно привязаны к матери. Когда сыновья были маленькими, А. И. им много читала и рассказывала не только сказки, но и более серьезные вещи исторического содержания, а также и из Священной Истории. Помню, что Коля как-то сказал: «Как осторожно надо подходить к ребенку! Как сильны и неизгладимы бывают впечатления в детстве! Как сильно меня потрясло, когда я впервые услышал о страданиях Спасителя». Дети воспитывались в строгих принципах Православной религии. Мать часто заходила с ними в часовню поставить свечку, что нравилось Коле. С детства он был религиозным и таким же остался до конца своих дней — глубоко верующим христианином. Коля любил зайти в церковь, поставить свечку и иногда долго молился перед иконой Спасителя. Но по характеру он был скрытный и не любил об этом говорить. По натуре своей Коля был добрый, щедрый, но застенчивый, не любил высказывать свои чувства и старался всегда скрывать свои хорошие

* Гумилева, Анна Ивановна (урожд. Львова) (1854–1942) — мать поэта.

••

поступки. Например. В дом Гумилёвых многие годы приходила старушка из богадельни, так называемая «тетенька Евгения Ивановна», хотя тетей она им и не приходилась. Приходила она обыкновенно по воскресеньям к 9 ч. утра и оставалась до 7 вечера, а часто и ночевать. Коля уже за неделю прятал для нее конфеты, пряники и всякие сладости, и когда Е. И. приходила, он, крадучись, не видит ли кто-нибудь, давал ей и краснел, когда старушка его целовала и благодарила. Чтобы занять старушку, Коля играл с ней в лото и домино, чего он очень не любил. В детстве и в ранней юности он избегал общества товарищей. Предпочитал играть с братом*, преимущественно в военные игры и в индейцев. В играх он стремился властвовать: всегда выбирал себе роль вождя. Старший брат был более покладистого характера и не протестовал, но предсказывал, что не все будут ему так подчиняться, на что Коля отвечал: «А я упорный, я заставлю».

Впоследствии, в своей взрослой жизни, поэт тоже не любил подчиняться. В его характере была даже известная доля заносчивости, что вызвало две-три дуэли, о которых он нам, смеясь, рассказывал: «Я вызван был на поединок — Под звоны бубнов и литавр».

Хотя братья и были разного характера, но они были очень дружны, что все же не мешало им иногда подтрунивать друг, над другом. Когда старшему брату было десять лет, а младшему восемь, старший брат вырос из своего пальто и мать решила перешить его Коле. Брат хотел подразнить Колю: пошел к нему в комнату и, бросив пальто, небрежно сказал: «На, возьми, носи мои обноски!» Возмущенный Коля сильно обиделся на брата, отбросил пальто и никакие уговоры матери не могли заставить Колю его носить. Даже самых пустяшных обид Коля долго не мог и не хотел забывать. Прошло много лет. Мужу не понравился галстук, который я ему подарила, и он посоветовал мне предложить его Коле, который любит такой цвет. Я пошла к нему и чистосердечно рассказала, что галстук куплен был для мужа, но раз цвет ему не нравится, не хочет ли Коля его взять? Но Коля очень любезно, с улыбочкой, мне ответил: «Спасибо, Аня, но я не люблю носить обноски брата». Другой пример. Коля дал мне прочесть свое стихотворение, а я была в саду около дома. Села, читаю. В это время пришла племянница десяти лет и попросила поиграть с ней в мячик. Я встала и аккуратно положила листочек, где было написано

* Гумилев, Дмитрий (1884–1922) – старший брат поэта.



стихотворение, на скамейку. Не прошло и двадцати минут, как пошел вдруг сильный дождь. Мы быстро вбежали в дом, а листочек я забыла на скамейке. Дождь прошел. Коля вышел в сад и — о, ужас! — видит продукт своего творчества промокшим от дождя. Он так обиделся за такое пренебрежение, что сказал: «Вам я никогда не посвящу ни одного стихотворения, даже ни одной строчки». Слово это, увы, сдержал...

Александра Сверчкова*. Митя и Коля были братьями-погодками. Как по наружности, так и по характеру они были совершенно не похожи друг на друга. Митя с самых ранних лет отличался красотой, имел легкомысленный характер, был аккуратен, любил порядок во всем и охотно заводил знакомства. Коля, наоборот, был застенчив, неуклюж, долго не мог ясно произносить некоторых букв, любил животных и не признавал порядок ни в вещах, ни в одежде. В то время как Митя увлекался приключенческими романами, Коля читал Шекспира или журнал «Природа и люди». Митя на подаренные деньги покупал лакомства, Коля — ежа или белых мышей. Выходить к гостям он терпеть не мог и уклонялся от новых знакомств, предпочитая общество морских свинок или попугая. В самом раннем детстве он едва не лишился глаза из-за недосмотра няньки. Старые товарищи отца его, Степана Яковлевича**, возвращаясь из плавания, часто привозили ему небольшие бочонки с вином из-за границы. Случилось, что привезли бочонок хересу. Степан Яковлевич и Анна Ивановна разлили вино по бутылкам, чтобы возратить тару, крепко закупорили и убрали бутылки в подполье. Это доглядела нянька; каждый вечер, когда господу ложились спать, она доставала бутылку, отбивала горлышко и напивалась пьяная. В 12 часов обыкновенно она носила Колю матери покормить ребенка, и затем он спал спокойно в колясочке до 6 утра. Но новое вино оказалось крепче марсалы. Вернувшись от матери с ребенком, нянька не положила в колясочку, а опустила мимо, причем ребенок упал лицом на отбитый край бутылки. Страшный крик разбудил всех. Все лицо Коли. было в крови, и отец думал, что поврежден глаз. К счастью, была рассечена бровь, и шрам остался на всю жизнь...

* Сверчкова, Александра (урожд. Гумилева) (1869–1952) – сестра поэта.

** Гумилев, Степан Яковлевич (1836–1910) – отец поэта.

Анна Гумилева. Учиться Коля начал рано. Первоначальное обучение получил дома. С шестилетнего возраста он прислушивался к учению на уроках брата. В семь лет уже читал и писал. С восьмилетнего возраста стал писать рассказы и стихи. Помню, А. И. многие из них сохраняла, держа в отдельной шкатулке, обвязанной бантиком.

Зимой семья жила в Царском Селе, а летом уезжала в имение Березки Рязанской губ., купленное С. Я., чтобы дети могли летом пользоваться полной свободой, набирая сил и здоровья на просторе. Там мальчики много охотились, купались.

Когда семья жила в Петербурге, мальчики посещали гимназию Гуревича, которую поэт очень не любил. Будучи уже взрослым, он говорил, что одна эта Лиговская улица, где находилась гимназия, наводила на него бесконечную тоску. Все ему там не нравилось. И был очень рад, когда ему пришлось покинуть стены «нудной» гимназии.

Тогда С. Я. решил ехать всей семьей в Тифлис и пробыть там некоторое время. Семья Гумилёвых прожила в Тифлисе три года. В 1900 году мальчики поступили во II тифлисскую гимназию, но отцу не нравился дух этой гимназии и мальчики были переведены в I тифлисскую гимназию. В Тифлисе Коля стал более общительным, полюбил товарищей. По его словам, они были «пылкие, дикие», и это ему было по душе. Полюбил он и Кавказ. Его природа оставила в Коле неизгладимое впечатление. Часами он мог гулять в горах. Часто опаздывал к обеду, что вызывало сильное негодование отца, который любил порядок и строго соблюдал часы трапезы. Однажды, когда Коля поздно пришел к обеду, отец, увидя его торжествующее лицо, не сделав обычного замечания, спросил, что с ним? Коля весело подал отцу «Тифлисский листок», где было напечатано его стихотворение — «Я в лес бежал из городов». Коля был горд, что попал в печать. Тогда ему было шестнадцать лет.

В 1903 году семья вернулась в Царское Село. Здесь мальчики поступили в Царскосельскую классическую гимназию. Директором ее был известный поэт Иннокентий Федорович Анненский. В первый же год Анненский обратил внимание на литературные способности Коли. Анненский имел на него большое влияние и Коля как поэт многим ему обязан. Помню, как Коля рассказывал, как однажды директор вызвал его к себе. Он был тогда совсем юный. Идя к директору,



сильно волновался, но директор встретил его очень ласково, похвалил его сочинения и сказал, что именно в этой области он должен серьезно работать. В своем стихотворении «Памяти Анненского» Коля упоминает об этой знаменательной встрече:

*...Я помню дни: я робкий, торопливый
Входил в высокий кабинет,
Где ждал меня спокойный и учтивый,
Слегка сидящий поэт.*

*Десяток фраз пленительных и странных
Как бы случайно уроня,
Он вбрасывал в пространства безымянных
Мечтаний — слабого меня.*

Но в гимназии Коля хорошо учился только по словесности, а вообще — плохо. По математике шел очень слабо...

Лукницкий*. «Темное время это — царскосельский период, потому что царскоселы — довольно звероподобные люди», — говорит АА (Анна Андреевна Ахматова** — И. Т.) И еще: «Николай Степанович совершенно не выносил царскоселов. Конечно, он был такой — гадкий утенок в глазах царскоселов. Отношение к нему было плохое... среди сограждан, а они были на такой степени развития, что совершенно не понимали этого. До возвращения из Парижа — такая непризнанность, такое неблагоприятное отношение к Николаю Степановичу. Конечно, это его мучило...»

АА говорит, что ее папа полюбил Николая Степановича, когда тот был уже мужем Ахматовой, когда они познакомились ближе. «А когда Николай Степанович был гимназистом, папа отрицательно к нему относился по тем же причинам, по которым царскоселы его не любили и относились к нему с опаской, — считали его декадентом...»

* Лукницкий, Павел (1900–1973) — русский советский поэт, прозаик, собиратель материалов об Анне Ахматовой и Николае Гумилёве.

** Ахматова, Анна (урожд. Горенко) (1889–1966) — великий русский поэт, жена (1910–1918) Н. Гумилева.

А Н. Н. Пунин* говорил, что «и над Коковцевым** тоже издевались товарищи.

Но отношение товарищей к Николаю Степановичу и Коковцеву было совершенно разное: Коковцев был великовозрастным маменькиным сынком, страшным трусом, и товарищи издевались над ним по-гимназически — что-нибудь вроде запихивания гнилых яблок в сумку, вот такое... Николая Степановича они боялись и никогда не осмелились бы сделать с ним что-нибудь подобное, как-нибудь задеть его. Наоборот, к нему относились с великим уважением и только за глаза иронизировали над любопытной, непонятной им и вызывавшей их и удивление, и страх, и недоброжелательство «заморской штучкой» — Колей Гумилевым».

Александра Сверчкова. В мальчике рано проснулась любовь к поэзии, он стал глубоко вдумываться в жизнь, его поразили слова в Евангелии: «вы боги» ... и он решил самоусовершенствоваться. Живя в «Березках», он стал вести себя совершенно непонятно: пропадал по суткам, потом оказывалось, что он вырыл себе пещеру на берегу реки и проводил там время в посте и раздумье. Он пробовал даже совершать чудеса!.. Разочаровавшись в одном, он тотчас же хватался за другое, занимался астрономией, для чего проводил ночи на крыше, делал какие-то таинственные вычисления и опыты, не посвящая никого в свои занятия. Но были у него и другие дела, не менее важные. Так, например, будучи учеником 8 класса, Коля обратился к сестре Шуре, с которой был очень дружен, и просил ее помочь его товарищу похитить девицу, ученицу 7 класса в Рязани, дочь инспектора. Сестра должна была приютить беглецов и в течение хотя бы двух недель продержать тайно в своей комнате. Много надо было употребить хитрости и тактичности, чтобы отговорить друзей от рискованного дела и настоять на том, что прежде надо всем троим выдержать переэкзаменовки. Страсть к путешествиям тоже рано начала волновать душу Коли. Ему хотелось ехать в неизведанные страны, где еще не ступала нога европейца. Для этой цели он начал тренироваться: много плавал, нырял, стрелял без промаха, но охотиться не любил: ему жаль было убивать беззащитных птиц и животных.

* Пунин, Николай (1888–1953) — историк искусства, художественный критик. Муж Анны Ахматовой (1922–1935).

** Коковцев, Дмитрий (1887–1918) — поэт, однокашник Н. Гумилева.



Ходить пешком много он не мог: у него были, как он говорил, мягкие ноги, но ездить верхом мог сколько угодно, даже спал в седле...

Лукницкий. АА: «В 1904–1905 гг. собирались по четвергам у Инны Андреевны* и Сергея Владимировича, называлось это «журфиксы». На самом деле это были очень скромные студенческие вечеринки. Читали стихи, пили чай с пряниками, болтали. А в январе 1905 года Кривич женился на Наташе Штейн и они жили в гимназии на Малой, там же, где жил Иннокентий Федорович (Анненский. — *И. Т.*), только у них была отдельная квартира. У них собирались по понедельникам. Приблизительно то же самое было, только параднее, потому что там лакей в белых перчатках подавал.

Папа меня не пускал ни туда, ни сюда, так что мама меня по секрету отпускала до 12 часов к Инне и к Анненским, когда папы не было дома. А на каток вечером папа запрещал ходить, так что я бывала там очень редко: каток бывал раз в неделю, вечером, по пятницам кажется. Тогда, например, нельзя было думать о том, чтобы принимать у себя гостей. Приходил Николай Степанович к брату Андрею**, приходил Коковцев к нему же (очень редко); Гучковский — приятель Николая Степановича — был. А я была в таком возрасте, что не могла иметь собственных знакомых — считалось так.

Коля был приятелем Андрея, потому бывал...



* Горенко, Инна, Штейн, Сергей — сестра А. Ахматовой и ее муж.

** Горенко, Андрей (1887–1920) — старший брат А. Ахматовой.

Валерия Срезневская*

С Аней мы познакомились в Гунгербурге, довольно модном тогда курорте близ Нарвы, где семьи наши жили на даче. Обе мы имели гувернанток, обе болтали бегло по-французски и по-немецки, и обе ходили с нашими «мадамами» на площадку около курзала, где дети играли в разные игры, а «мадамы» сплетничали, сидя на скамейке. Аня была худенькой стриженной девочкой, ничем не примечательной, довольно тихонькой и замкнутой. Я была очень подвижной, веселой, шаловливой и общительной. Особенной дружбы у нас не возникло, но встречи были частые, болтовня непринужденная, и основа для дальнейших отношений возникла прочно.

Настоящая, большая, на всю жизнь тесно связавшая нас дружба пришла позже, когда мы жили в одном и том же доме в Царском Селе, близ вокзала, на углу Широкой улицы и Безымянного переулкa — в доме Шухардиной, где у нас была квартира внизу, а у Горенко наверху. В этот дом мы переехали после пожара, когда потеряли всю обстановку, все имущество, и наши семьи были очень рады найти квартиру, где можно было разместиться уютно, к тому же около вокзала (наши отцы были связаны с поездками в Петербург на службу, а перед старшими детьми уже маячило в будущем продолжение образования). При доме был большое хороший сад, куда обе семьи могли спокойно на целый день выпускать своих детей, не затрудняя ни себя, ни своих гувернанток прогулками.

Вот когда мы по-настоящему подружились и сошлись с Аней Горенко. Аня писала стихи, очень много читала дозволенных и недозволенных книг и очень изменилась внутренне и внешне. Она выросла, стала стройной, с прелестной хрупкой фигурой развивающейся девушки, с черными, очень длинными и густыми волосами, прямыми, как водоросли, с белыми и красивыми руками и ногами, с несколько безжизненной бледностью определенно вычерченного лица, с глубокими, большими светлыми глазами, странно выделявшимися на фоне черных волос и темных бровей и ресниц. Она была неутомимой наядой в воде, неутомимой скиталицей-пешеходом, лазала как кошка и плавала как рыба. Почему-то ее считали «лунатичкой», и она не очень импонировала

* Срезневская, Валерия (урожд. Тюльпанова) (1888–1964) — близкая подруга А. Ахматовой.



добродетельным обывательницам затхлого и очень дурно и глупо воспитанного Царского Села, имевшего все недостатки близкой столицы без ее достоинств. Как и полагается пригородам.

Наши семьи жили замкнуто. Все интересы отцов были связаны с Петербургом; матери — многодетные, обремененные хлопотами о детях и хозяйстве. Уже дворянского приволья не было нигде и в помине. Прислуга была вольнодумная и небрежная в работе. Жизнь дорогая. Гувернантки, большею частью швейцарки и немки, претенциозные и не ахти как образованные. Растить многочисленную семью было довольно сложно. Отсюда не всегда ровная атмосфера в доме; не всегда и ровные отношения между членами семьи. Не мудрено, что мы отдыхали, удаляясь от бдительных глаз, бродя в садах и гущах прекрасного, заброшенного, меланхолического Царского Села.

Аня свои ранние стихи, к сожалению, не сохранила, и потому для исследователей ее творчества навеки утеряны истоки прекрасного таланта. Могу сообщить одну и довольно существенную черту в ее творчестве: предчувствие своей судьбы. Еще совсем девочкой она писала о таинственном кольце (позже черном бабушкином кольце), которое они получили в дар от месяца:

*Мне сковал его месяца луч золотой
И, во сне надевая, шепнул мне с мольбой:
«Береги этот дар! Будь мечтою горда!»
Я кольца не отдам — никому, никогда!*

Правда, много позже, живя у меня в 1915–1916) годах, она его отдала — и при каких обстоятельствах!

Много судеб сплеталось с судьбою Анны Ахматовой. Но надо быть последовательной.

С Колей Гумилевым, тогда еще гимназистом седьмого класса, Аня познакомилась в 1904 году, в сочельник. Мы вышли из дому, Аня и я с моим младшим братом Сережей, прикупить какие-то украшения для елки, которая у нас всегда бывала в первый день Рождества. Был чудесный солнечный день. Около Гостиного двора мы встретились с «мальчиками Гумилевыми»: Митей, старшим, — он учился в Морском кадетском корпусе, — и с братом его Колей — гимназистом императорской Николаевской гимназии.

Я с ними была раньше знакома, у нас была общая учительница музыки — Елизавета Михайловна Баженова. Она-то и привела

к нам в дом своего любимца Митю и уже немного позже познакомила меня с Колей. Встретив их на улице, мы дальше пошли уже вместе, я с Митей, Аня с Колей, за покупками, и они проводили нас до дому. Аня ничуть не была заинтересована этой встречей, а я тем менее, потому что с Митей мне всегда было скучно; я считала (а было мне тогда уже пятнадцать!) что у него нет никаких достоинств, чтобы быть мною отмеченным.

Но, очевидно, не так отнесся Коля к этой встрече. Часто, возвращаясь из гимназии, я видела, как он шагает вдали в ожидании Ани. Он специально познакомился с Аниным старшим братом Андреем, чтобы проникнуть в их довольно замкнутый дом. Ане он не нравился; вероятно, в этом возрасте девушкам нравятся разочарованные молодые люди, старше двадцати пяти лет, познавшие уже много запретных плодов и пресытившиеся их пряным вкусом. Но уже тогда Коля не любил отступать перед неудачами. Он не был красив — в этот ранний период он был несколько деревянным, высокомерным с виду и очень неуверенным в себе внутри. Он много читал, любил французских символистов, хотя не очень владел французским языком, однако, вполне достаточно, чтобы читать, не нуждаясь в переводе. Роста высокого, худощав, с очень красивыми руками, несколько удлинненным бледным лицом, — я бы сказала, не очень заметной внешности, но не лишенной эlegantности. Так, блондин, каких на севере у нас можно часто встретить.

Позже, возмужав и пройдя суровую кавалерийскую военную школу, он сделался лихим наездником, обучавшим молодых солдат, храбрым офицером (он имел два Георгия за храбрость), подтянулся и, благодаря своей превосходной длинноногой фигуре и широким плечам, был очень приятен и даже интересен, особенно в мундире. А улыбка и несколько насмешливый, но милый и не дерзкий взгляд больших, пристальных, чуть косящих глаз нравились многим и многим. Говорил он чуть нараспев, нетвердо выговаривая «р» и «л», что придавало его говору совсем не уродливое своеобразие, отнюдь не похожее на косноязычие.

Мне нравилось, как он читает стихи, и мы всегда просили его об этом. Он часто бывал у нас, и когда я была уже замужем, очень подружился с моим мужем, а по старой памяти и со мною. И наша ничем не омраченная дружба (я знала его с десятилетнего возраста) прошла сквозь всю жизнь, вплоть до трагической гибели Николая Степановича. С Аней тоже длилась всю жизнь.



Но вернемся к ранней юности. В 1905 году Горенко уехали из Царского Села по семейным обстоятельствам. И этот короткий промежуток наших жизней держался только на переписке, к сожалению, затерянной нами.

Аня никогда не писала о любви к Гумилеву, но упоминала о его настойчивой привязанности, о неоднократных предложениях брака и своих легкомысленных отказах и равнодушии к этим проектам. В Киеве у нее были родственные связи, кузина, вышедшая позже замуж за Аниного старшего брата Андрея. Она, кажется, не скучала. Николай Степанович приезжал в Киев. И вдруг, в одно прекрасное утро, я получила извещение об их свадьбе. Меня это удивило. Вскоре приехала Аня и сразу пришла ко мне. Как-то мельком сказала о своем браке, и мне показалось, что ничего в ней не изменилось; у нее не было совсем желания, как это часто встречается у новобрачных, поговорить о своей судьбе. Как будто это событие не может иметь значения ни для нее, ни для меня. Мы много и долго говорили на разные темы. Она читала стихи гораздо более женские и глубокие, чем раньше. В них я не нашла образа Коли. Как и в последующей лирике, где скупое и мимолетно можно найти намеки о ее муже, в отличие от его лирики, где властной неотступно, до самых последних дней его жизни, сквозь все его увлечения и разнообразные темы маячит образ жены. То русалка, то колдунья, то просто женщина, таящая «злое торжество»:

*И, тая в глазах злое торжество,
Женщина в углу слушала его.*

Стихотворение «У камина» стоит того, чтобы процитировать его полностью в подтверждение моих высказываний, основанных не только на впечатлениях, но и на признаниях и фактах.

Конечно, они были слишком свободными и большими людьми, чтобы стать парой воркующих «сизых голубков». Их отношения были скорее тайным единоборством. С ее стороны — для самоутверждения как свободной от оков женщины; с его стороны — желание не поддаться никаким колдовским чарам, остаться самим собою, независимым и властным над этой вечно, увядающей от него женщиной, многообразной и не подчиняющейся никому. Я не совсем понимаю, что подразумевают многие люди под словом «любовь». Если любовь — навязчивый, порою люби-

мый, порою ненавидимый образ, притом всегда один и тот же, то смею определенно сказать, что если была любовь у Николая Степановича, а она с моей точки зрения, сквозь всю его жизнь прошла, — то это была Ахматова. Оговорюсь: я думаю, что в Париже была еще так называемая «Синяя звезда». Во всяком случае, если нежность — тоже любовь, то «Синяя звезда» была тоже им любима, и очень нежно. Остальное, как бы это ни называть, вызывало у него улыбку и шуточный тон.

Но разве существует на свете моногамия для мужчин? Я помню раз мы шли по набережной Невы с Колей и мирно беседовали о чувствах женщин и мужчин, и он сказал — «Я знаю только одно, что настоящий мужчина — полигамист, а настоящая женщина моногамична.» — «А вы такую женщину знаете?» — спросила я. «Пожалуй, нет. Но думаю, что она есть», — смеясь ответил он. Я вспомнила Ахматову, но, зная, что ему будет это больно, промолчала.

У Ахматовой большая и сложная жизнь сердца — я-то это знаю, как, вероятно, никто. Но Николай Степанович, отец ее единственного ребенка, занимает в жизни ее сердца скромное место. Странно, непонятно, может быть, и необычно, но это так.

Великий сердцевед Л. Н. Толстой отметил эту черту в Анне Карениной. Но не надо аналогий, они ни к чему. Люди очень различны, в этом повинны и жизнь и время. И несмотря на то, что часто в больших и сложных биографиях обычно звучит тема «роковой любви», как у Пушкина, Байрона, Тютчева, Блока и даже Лермонтова, — не будем до поры до времени касаться ее! А пожалуй, у меня есть что сказать о ней... Так уж мне довелось вчитаться в чужие жизни. Могу сказать еще то, что знаю очень хорошо: Гумилев был нежным и любящим сыном, любимцем своей умной и властной матери, но и он, несомненно, радовался, что его сын растет под крылом, где ему самому было так хорошо и тепло.

Знаю, как он звонил в клинику, где лежала Аня (самую лучшую тогда клинику профессора Отто, очень дорогую и очень хорошо обставленную, на Васильевском острове). Затем, по окончании всей этой эпопеи, заехал за матерью своего сына и привез их обоих в Царское Село к счастливой бабушке, где мы с мужем в те же дни обедали и пили шампанское за счастливое событие... Все как полагается.

Смею высказать еще одну до конца продуманную мною мысль: не признак ли это мужского характера — совмещать в себе много крайностей, иногда совершенно полярных, и, несмотря на



эти крайности, иметь свое глубокое чувство единого, самого заветного, самого нужного — одного.

Рождение сына очень связало Анну Ахматову. Она первое время сама кормила сына и прочно обосновалась в Царском.

Не думаю, что тогда водились чудаки-отцы, катающие колясочку с сыном, — для этого были опытные няни. И Коля был как все отцы, навещал своего сына всякий раз, когда это было возможно, и, конечно, был не хуже, если не лучше многих образцовых отцов. Разве все эти нити не могут называться любовью? Роли отцов и матерей так различны, особенно в первые годы ребенка. Понемногу и Аня освобождалась от роли матери в том понимании, которое сопряжено с уходом и заботами о ребенке: там были бабушка и няня. И она вошла и обычную жизнь литературной богемы. Ни у того, ни у другого не было каких-либо поводов к разлуке или разрыву отношений, но и очень, тесного общения вне поэзии (да и то так различно понимаемой) тоже не было.

У Ахматовой под строками всегда вполне конкретный образ, вполне конкретный факт, хотя и не называемый по имени. Гумилев — поэт раздумий и предчувствий. Может быть, в этом жутком мире он если и не знал, то предвидел свою трагическую судьбу.

...Сидя у меня в небольшой темно-красной комнате, на большом диване, Аня сказала, что хочет навеки расстаться с ним. Коля страшно побледнел, помолчал и сказал: «Я всегда говорил, что ты совершенно свободна делать все, что ты хочешь». Встал и ушел.

Многого ему стоило промолвить это... ему, властно желавшему распоряжаться женщиной по своему усмотрению и даже по прихоти. Но все же он сказал это!

Ведь во втором браке, меньше чем через год, он отправил юную жену к своей маме в Бежецк, в глушь, в зиму, в одинокую и совсем уж безрадостную жизнь. Она была ему «не нужна». Вот это тот Гумилев, который только раз (но смертельно) был сражен в поединке с женщиной. И это-то и есть настоящий, подлинный Гумилев.

Не знаю, как называют поэты или писатели такое единоборство между мужчиной и женщиной... Если это любовь, то как она непохожа на то, что обычно описывают так тщательно большие сердцеведы. У Гумилева были холодная душа и горячее воображение. Ему не хотелось иметь в своей жизни просто спокойную, милую, скромную жену, мать нескольких детей, хозяйку дома... А возможно, что только так он нашел бы другую судьбу.

Но у человека ведь всегда одна судьба — его судьба, и праздные догадки ни к чему.

Во всяком случае, брак Гумилева был браком по своей воле и по своей любви... А что его нельзя назвать счастливым браком... Пушкин не без горечи сказал: «На свете счастья нет, но есть покой и воля...» Правда, покоя у Коли было мало, но воли много. А у Ахматовой? Женщины с таким свободолюбием и с таким громадным внутренним содержанием, мне думается, счастливы только тогда, когда ни от чего и, тем более, ни от кого не зависят. До некоторой степени и Аня смогла это себе создать. Она не зависела от своей свекрови, не зависела от мужа. Она рано стала печататься и имела свои деньги. Но счастливой я ее никогда не видела. Покоя? Да, внутренний покой в ней чувствовался гораздо больше, чем в ее муже. Временами, пожалуй, я назвала бы ее состояние «светлым покоем». Откуда он шел? Я думаю, отчасти извне, но больше всего изнутри.

Есть одна черта у Ахматовой, ставящая ее далеко от многих современных поэтов и ближе всего подводящая к Пушкину: любовь и верность сердца людям...

А насмешлива она была очень, иногда и не совсем безобидно. Но это шло от внутреннего веселья. И мне казалось, насмешка даже не мешала ей любить тех, над кем она подсмеивалась, за редкими исключениями, — таких на моей памяти были единицы.

Мне кажется, что уживчивости в характере Ани было достаточно, чтобы жизнь с нею рядом не была несносной. У меня она жила в небольшой (остальные комнаты были очень большие), но теплой и приятной комнате с окном, выходящим в наш тенистый тихий сад при клинике. Дверь в мою комнату была почти всегда открыта, так что мы разговаривали, не выходя из наших комнат. У меня был очень хороший слух, и иногда ночью я окликала Аню: «Отчего ты не спишь?» — «А почему ты это знаешь?» — «По ритму дыхания». И тогда она часто входила ко мне и, сидя у меня на кровати, рассказывала мне причину своей бессонницы. Она часто бормотала стихи по ночам, прислушиваясь, как они звучат.

Милое время! А кругом грохотали выстрелы, тархтели пулеметы. Ведь мы жили на первой из восставших окраин Петрограда, на Выборгской стороне. Но в нашей клинике, в глубине большого сада, было очень тихо и спокойно. Жизнь с ее жестокостями и бурями была от нас отделена высоким каменным забором.



Это, конечно, не значит, что мы ничего не переживали. Наоборот, сквозь все запоры жизнь врывается и сюда...

Анна Гумилева. Когда мальчики подросли, С. Я. продал свое имение Березки и купил небольшое имение Поповка — под самым Петербургом, чтобы мальчики не только на лето, но и на все праздники приезжали в деревню набирать здоровья. Оба брата были сильно привязаны к дому, любили своей домашний очаг, и их всегда тянуло домой. Старший после окончания классической царско-сельской гимназии по желанию отца поступил в Морской корпус, в гардемаринские классы, был одно лето в плавании, но так тосковал, что раньше времени вернулся домой. А поэт по настоянию отца должен был поступить в университет...

Лукницкий. АА рассказывала, что на даче у Шмидта у нее была свинка и лицо ее было до глаз закрыто — чтоб не видно было страшной опухоли... Николай Степанович просил ее открыть лицо, говоря: «Тогда я вас разлюблю!» Анна Андреевна открывала лицо, показывала. «Но он не переставал любить меня! Говорил только, что „вы похожи на Екатерину II“».

На даче Шмидта были разговоры, из которых Гумилеву стало ясно, что АА не невинна. Эта новость, боль от этого известия, довела Николая Степановича до попыток самоубийства...

О мимолетном романе «с какой-то гречанкой»...

АА смеется: «С какой-то!.. Во всяком случае, Николай Степанович на том же пароходе уехал из Смирны, потому что на письмах был знак того же парохода».

АА много говорила о своих отношениях с Николаем Степановичем. Из этих рассказов записываю:

На творчестве Николая Степановича сильно сказались некоторые биографические особенности... У него всюду девушка — чистая девушка. Это его мания. АА была очень упорна. Николай Степанович добивался ее 4, даже 5 лет... Это было так: в 1905 году Николай Степанович сделал АА предложение и получил отказ. Вскоре после этого они расстались, не виделись в течение 1,5 лет (АА потом, в 1905 году, уехала на год в Крым, а Николай Степанович в 1906 году — в Париж). 1,5 года не переписывались — АА как-то высчитала этот срок. Осенью 1906 года АА почему-то решила написать письмо Николаю Степановичу. Написала и от-

правила. Это письмо не заключало в себе решительно ничего особенного, а Николай Степанович (так, значит, помнил о ней все время) — ответил на это письмо предложением. С этого момента началась переписка. Николай Степанович писал, посылал книги и т. д.

А до этого, не переписываясь с АА, он все-таки знал о ее здоровье и о том, как она живет, потому что переписывался с братом АА — Андреем Андреевичем...

Николай Степанович, ответив на письмо АА осенью 1906 года предложением (на которое, кажется, АА дала в следующем письме согласие), написал Анне Ивановне (матери. — В. Л.) и Инне Эразмовне (матери Ахматовой. — В. Л.), что он хочет жениться на АА.

АА: «Мама отрицает это, но она забыла».

Анна Гумилева. Коля захотел поехать в Париж, и там поступил в Сорбонну. Но и он тоже сильно тосковал по дому и хотел даже вернуться, но отец не разрешил. В Сорбонне Коля слушал лекции по французской литературе, но больше всего занимался своим любимым творчеством и даже издавал небольшой журнал, где печатал свои стихи под псевдонимом. В Париже он начал мечтать о путешествиях, особенно тянуло его в Африку, в страну, где в полночь

*...непроглядная темень,
Только река от луны блестит,
А за рекой неизвестное племя,
Зажигая костры — шумит.*

Об этой своей мечте хоть недолго пожить «между берегом буйного Красного моря и Суданским таинственным лесом» — поэт написал отцу, но отец категорически заявил, что ни денег, ни его благословения на такое (по тем временам) «экстравагантное путешествие» он не получит до окончания университета. Тем не менее Коля, не взирая ни на что, в 1907 году пустился в путь, сэкономив необходимые средства из ежемесячной родительской полочки. Впоследствии поэт с восторгом рассказывал обо всем виденном: — как он ночевал вместе с пилигримами, как разделял с ними их скудную трапезу, как был арестован в Трувилле за попытку пробраться на пароход и проехать «зайцем».



От родителей это путешествие скрывалось, и они узнали о нем лишь пост фактум. Поэт заранее написал письма родителям, и его друзья аккуратно каждые десять дней отправляли их из Парижа. После экзотического путешествия Петербург навел на поэта тоску. Он только и мечтал опять уехать в страну, где «Каналы, каналы, каналы, — Что несутся вдоль каменных стен, — Орошая Дамьетские скалы — Розоватыми брызгами пен» (Египет).

Вернувшись в 1908 г. в Россию, Коля нашел С. Я. тяжело больным ревматизмом. Отец уже не выходил из кабинета, сидя в большом кресле. А. И. неотлучно находилась при муже, и войти в кабинет отца можно было только с его разрешения. В Петербурге Коля тогда весь отдался своему творчеству. Он сблизился с многими поэтами и совершенно забросил занятия в университете. Это вызвало сильное недовольство отца, который упорно требовал, чтобы он закончил университет, и этот спор обычно кончался тем, что Коля обнимал отца, обещая серьезно взяться за занятия и окончить университет. Отец не особенно этому верил и был прав, своего обещания Коля так и не сдержал.

Будучи от природы очень наблюдательным, Коля всегда подмечал у каждого слабые стороны, которые сейчас же высмеивал. Он вообще любил поддразнивать и грешным делом насмеяться, но добродушно. Помню, пришел однажды товарищ, окончивший университет, и все старался, чтобы мы обратили внимание на его университетский значок. Коля это заметил и сказал: «Володя, повесь лучше твой значок на лоб, по крайней мере, не надо будет тебе вертеться, чтобы его видели. Тогда всем ясно будет, что ты человек науки!»

Подсмеивался он и над племянником, который ходил в Царскосельскую гимназию, как в университет, — когда вздумается. Способности дедушки-художника Сверчкова, видимо, перешли к внуку, и племянник днями и часами рисовал в ущерб учению. Подсмеивался и над матерью, добродушно, конечно, что она любила подчас читать Марлиту, но как только замечал, что мать обижается, сейчас же подбегал и целовал ее. Его маленькая, двенадцатилетняя племянница как-то сказала, что прочла какую-то книгу и добавила: «Я ее взяла, потому что там хорошая печать». Коля сейчас же подхватил: «Ты, я вижу, выбираешь и читаешь книги по печати, а не по содержанию». Иногда он даже слишком приставал к ней, и она объявила, что боится «при дяде Коле рот открыть». Тоже искал случая высмеять сестру по отцу, Александру Степановну Гуми-



лёву, по мужу Сверчкову. У нее была маленькая собачка Лэди, и она сильно оберегала собачку от «искушения» и зорко за нею следила. Как-то раз, спасая собачку (так выразился Коля), сестра упала и сильно повредила ногу. Доктор, лечивший ее, сказал: «Из-за собачки не стоило рисковать ногами». Но Коля, как бы волнуясь, заявил: «Помилуйте, доктор! Ведь это же Лэди! Сестра, наверное, была бы менее экспансивна и вряд ли чем-нибудь рискнула, если бы кому-нибудь из нас грозила такая же опасность»...

Лукницкий. В апреле Гумилев приехал в Севастополь, чтобы повидаться с А. Горенко.

Снова сделал предложение и снова получил отказ. Вернули друг другу подарки, Николай Степанович вернул АА ее письма... АА возвратила все охотно, отказалась вернуть лишь подаренную Николаем Степановичем чадру. Николай Степанович говорил: «Не отдавайте мне браслеты, не отдавайте остального, только чадру верните...»

Чадру он хотел получить назад, потому что АА ее носила, потому что это было самой яркой памятью о ней. АА: «А я сказала, что она изношена, что я не отдам ее... Подумайте, как я была дерзка — не отдала. А чадра была действительно изношена».

АА рассказывает... Николай Степанович никогда не говорил ей о Лиде Аренс* — никогда, ни одного упоминания не было. Она помнит его разговоры о Зое**, и о Вере***, но только не о Лиде. Узнала она об этом только теперь, от Пунина.

Теперь я записываю содержание сегодняшних бесед с АА.

АА много говорила сегодня об отношениях Николая Степановича к ней и о романах Николая Степановича с женщинами. Так, говорила о его романе с Лидой Аренс. В 1908 году, весной, вернувшись из Парижа и побывав по пути в Севастополе, у АА (где они отдали друг другу подарки и решили не переписываться и не встречаться), Николай Степанович в Царском Селе познакомился с Аренсами (то есть знакомство могло быть и раньше, но — сблизился). Зоя была неудачно влюблена в Николая Степановича, приходила даже со своей матерью в дом Гумилевых. Николай Степанович был к ней безразличен до

* Аренс, Лидия (1889–1976) — двоюродная сестра сестер Аренс, техник-чертежник, мачеха писателя Вс. В. Вишневского.

** Аренс, Вера (1883–1962) — поэт, переводчик.

*** Аренс, Зоя (1889–1968) (в замуж. Пунина) — педагог, автор пособий и книг по обучению глухонемых детей. Супруга Александра Николаевича Пунина.



того, что раз, во время ее посещения, вышел в соседнюю комнату, сел в кресло и заснул. Вера Аренс, тихая и прелестная, «как ангел», пользовалась большими симпатиями Николая Степановича. А Лида Аренс увлеклась Николаем Степановичем, и был роман; дело кончилось скандалом в семье Аренсов, так как Лида даже оставила дом и поселилась отдельно. Кажется, ее отец так и умер, не примирившись с ней, а мать примирилась чуть ли не в восемнадцатом году только.

АА не знает точно времени романа, но это — 1908 год, во всяком случае...

О стихах, относящихся к АА, Николай Степанович постоянно говорил, читал ей, цитировал, так что она всегда знала их...

В августе 1908 года АА приезжала и помнит, что Николай Степанович был с ней чрезвычайно мил, любезен, говорил ей о своей влюбленности и т. д.

АА сказала мне, что, кажется, думала о том, что этот роман с Лидой был в самом разгаре его признаний ей.

АА наверняка знает, что в 1903–1905 гг. у Николая Степановича никаких романов ни с кем не было, что влюбленность его отдаляла его от романов.

«Он великий бродяга был», — сказала АА по поводу разговоров З. Е. Аренс о барстве Гумилева.

Осенью 1908 г., когда АА была в Петербурге (АА была в Царском Селе у Валерии Сергеевны Срезневской) и послала Николаю Степановичу записку, что едет в Петербург, и чтобы он пришел на вокзал. На вокзале его не видит, звонок — его нет... Подходит поезд... Вдруг он появляется на вокзале в обществе Веры Евгеньевны и Зои Евгеньевны Аренс. Оказывается, он записки не получил, а приехал просто случайно.

АА была у Кардовских в Москве. У них было много народу. Смотрела портрет Гумилева, говорила обо мне и просила Кардовскую позволить мне его сфотографировать, когда я буду в Москве. Смотрела ее альбом. Выписала оттуда стихотворение Н. С., а другое — то, которое принадлежит Н. С., но вписано в альбом АА, — не посмотрела даже — «стыдно было...» Записала первые строчки стихотворений Анненского и Комаровского, вписанных ими в альбом. Я спросил, не узнавала ли она о воспоминаниях Кардовской о Гумилеве. АА ответила, что Кардовская ничего — абсолютно ничего не помнит — дат и т. п. Но что обещала вспомнить и рассказать мне — или Горнунгу (АА направила Горнунга к Кардовской).

Ольга Делла-Вос-Кардовская*

Николай Степанович вернулся из Парижа весной 1908 года и до своего путешествия в Египет поселился у родителей в Царском Селе. О нас он узнал от своей матери и выразил желание познакомиться. Знакомство произошло 9 мая, в день его именин. С тех пор мы начали с ним встречаться и беседовать. Обычно это бывало, когда он выходил на свой балкон. Так продолжалось до нашего отъезда за границу.

В ту осень в Петербурге была сильная холера, и мы задержались за границей до октября месяца. Вернувшись, мы узнали, что Гумилевы переехали на другую квартиру, на Бульварной улице. В это время умер отец Николая Степановича. Поскольку верхний этаж пустовал, я устроила в нем свою мастерскую и студию, где преподавали мы с мужем. В этой мастерской впоследствии и был мной написан портрет Николая Степановича...

С осени возобновилось наше знакомство с семьей Гумилевых. Николай Степанович сделал нам официальный визит, а затем мы довольно часто стали бывать друг у друга. Он любил визиты, придавал им большое значение и очень с ними считался...

...Приблизительно в этот период Николай Степанович написал в мой альбом посвященное мне стихотворение, а также акrostих в альбом нашей дочери Кати.

...Мысль написать портрет Николая Степановича пришла мне в голову еще весной 1908 года. Но только в ноябре я предложила ему позировать. Он охотно согласился. Его внешность была незаурядная — какая-то своеобразная острота в характере лица, оригинально построенный, немного вытянутый вверх череп, большие серые слегка косившие глаза, красиво очерченный рот. В тот период, когда я задумала написать его портрет, он носил небольшие, очень украшавшие его усы. Бритое лицо, по-моему, ему не шло...

Во время сеансов Николай Степанович много говорил со мной об искусстве и читал на память стихи Бальмонта, Брюсова, Волошина. Читал он и свои гимназические стихи, в которых воспевался какой-то демонический образ. Однажды я спросила его:

— А кто же героиня этих стихов?

* Делла-Вос-Кардовская, Ольга (1877—1952) — русский советский художник и график.



Он ответил:

— Одна гимназистка, с которой я до сих пор дружен. Она тоже пишет стихи...

Стихи он читал медленно, членораздельно, но без всякого пафоса и слегка певуче.

Николай Степанович позировал мне стоя, терпеливо выдерживая позу и мало отдыхая. Портрет его я сделала поколенным. В одной руке он держит шляпу и пальто, другой поправляет цветок, воткнутый в петлицу. Кисти рук у него были длинные, сухие. Пальцы очень выхоленные, как у женщины...

Анна Гумилева. Впервые я познакомилась с поэтом в 1909 году. Я поехала с моим отцом в Царское Село представиться семье моего жениха. Вышел ко мне молодой человек 22-х лет, высокий, худощавый, очень гибкий, приветливый, с крупными чертами лица, с большими светлосиними, немного косившими глазами, с продолговатым овалом лица, с красивыми шатеновыми гладко причесанными волосами, с чуть-чуть иронической улыбкой, необыкновенно тонкими красивыми белыми руками. Походка у него была мягкая и корпус он держал чуть согнувши вперед. Одет он был элегантно.

От моего жениха я много слышала о Коле и мне интересно было с ним познакомиться. Я внимательно за ним наблюдала.

Он держал себя скромно, но по всему было видно, что этот молодой человек себе на уме. Он был уже принят тогда в «Общество ревнителей художественного слова» и стал сотрудником журнала «Аполлон».

Лукницкий. Весна 1909 года. Встреча с Е. Дмитриевой, которую Гумилев после Парижа не видел. Дмитриева стала бывать на «башне». Роман Гумилева с Дмитриевой. Он дарит ей «Романтические цветы» с надписью и альбом стихов.

Николай Степанович интересуется старыми французскими песнями, но так как недостаточно знает старофранцузский язык, он обращается за содействием к Дмитриевой, которая учится в университете на романо-германском отделении, и она помогает ему.

Середина мая 1909. Предполагалось в конце мая уехать в Крым, проездом быть в Москве у Брюсова.

Решено ехать в Коктебель к Волошину. Способствовала этому главным образом Дмитриева...

22 мая 1909 года Дмитриева писала: «Дорогой Макс, уже взяты билеты, и вот как все будет: 25 мая, в понедельник, мы с Гумилевым едем...»

«Все путешествие туда, — вспоминает она потом, — я помню, как дымно-розовый закат, и мы вместе у окна вагона. Я звала его «Гумми», не любила имени «Николай», а он меня, как зовут дома, «Лиля» — «имя похоже на серебристый колокольчик», как говорил он...»

АА: «Он (Гумилев. — В. Л.) не замечал, что Дмитриева хромает... До тех пор, пока кто-то ему не сказал об этом...»

...Всю дорогу АА говорила о Дмитриевой, о Волошине, о Львовской, о Тумповской — обо всей этой теософской компании...

АА очень неблагоприятно отзывалась о теософии и всех ее адептах (кроме Тумповской, к которой АА с симпатией относится. Но АА не оправдывала несколько теософских увлечений Тумповской). Разговор велся с целью показать, как эта компания «через теософию» хочет всячески оправдать Волошина и Дмитриеву (он сами оправдываются, конечно, в первую очередь) в истории с дуэлью...





Черубина де Габриак (Елизавета Дмитриева)*

Волошин**. Габриак был морской чорт, найденный в Коктебеле, на берегу, против мыса Мальчин. Он был выточен волнами из корня виноградной лозы и имел одну руку, одну ногу и собачью морду с добродушным выражением лица.

Он жил у меня в кабинете, на полке с французскими поэтами, вместе со своей сестрой, девушкой без головы, но с распущенными волосами, также выточенной из виноградного корня, до тех пор, пока не был подарен мною Лиле. Тогда он переселился в Петербург на другую книжную полку.

Имя ему было дано в Коктебеле. Мы долго рылись в чертовских святцах («Демонология» Бодена) и, наконец, остановились на имени «Габриак». Это был бес, защищающий от злых духов. Такая роль шла к добродушному выражению лица нашего чорта.

Лиле в то время было 19 лет. Это была маленькая девушка с внимательными глазами и выпуклым лбом. Она была хрома от рождения и с детства привыкла считать себя уродом. В детстве от всех ее игрушек отламывалась одна нога, так как ее брат и сестра говорили: «Раз ты сама хромая, у тебя должны быть хромые игрушки»...

Дмитриева. Родилась в Петербурге 31 марта 1887 года.

Небогатая дворянская семья. Много традиций, мечтаний о прошлом и беспомощности в настоящем. Мать по отцу украинка, — и тип и лицо — все от нее — внешнее. Отец по матери — швед. Очень замкнутый мечтатель, неудачник, учитель Средней школы, рано умерший от чахотки. Была сестра немного старше, рано — 24 лет — умерла. Очень трагично. Впечатление на всю жизнь. Есть брат — старший...

Брат был очень странный и необыкновенный. Он рассказывал мне страшные истории из Эдгара По и за это заставлял меня выпрыгивать из слухового окна сеновала. Это было очень высоко и страшно, но я все-таки прыгала. Сестра тоже рассказывала,

* Дмитриева Елизавета (в замужестве Васильева) (1887–1928) — русская поэтесса, драматург, более известная под литературным псевдонимом-мистификацией Черубина де Габриак

** Волошин Максимилиан (1877–1932) — русский поэт-символист, литературный критик, переводчик, художник.

но всякий раз, когда рассказывала, разбивала мне куклу, чтобы ничего не делалось даром.

Мы иногда приносили в жертву игрушки, бросая их в огонь. Однажды принесли в жертву щенка, он завизжал, прибежали старшие и его освободили. Однажды мы бросили в воду мамин браслет и потом сами с плачем рассказывали о случившемся.

Сестра умела свистеть, но няня ей не позволяла и говорила, что когда девочки свистят, то Богородица с престола спрыгивает. Брату это нравилось. Он свистел и спрашивал: «Что, уже спрыгнула?» Учил меня, так как я была еще мала и свистеть не умела, и говорил: «Пусть прыгает!»

Когда мне было 5 лет, брат задумал творить чудеса, но чувствуя себя слишком грешным, обратился ко мне и потребовал, чтобы я поклялась, что не совершила ни одного преступления. Я поклялась. Тогда он взял воды и велел мне превратить ее в вино. Я превратила. — «Попробуй!» Я попробовала. — «Совсем вино!» Но так как я вина до тех пор никогда не пробовала, то он призвал сестру. Она сказала, что вино должно быть красным. Тогда брат очень рассердился, вылил воду мне на голову и остался в уверенности, что я утаила какое-то свое преступление.

Однажды, недели на две, брат стал «христианином». Они со школьным товарищем решили «бить жидов» и вырезывать у них на лице крест. Поймали мальчика еврея и вырезали у него на щеке крест, но убить не успели. Когда брату было 10 лет, он убежал в Америку. Украл у отца денег и написал ему письмо: «Я беру эти деньги с тем, чтобы вернуть их через два года. Если ты честный человек, то никому не скажешь». Он доехал до Новгорода, учился сапожному ремеслу и ходил в полицию спрашивать: нельзя ли там купить фальшивый паспорт. Когда его вернули в Петербург, то домашние оставили его в покое, ни о чем не расспрашивали и не упрекали.

Когда мне было 10 лет, брат взял с меня расписку, что шестнадцати лет я выйду замуж, и что у меня будет 24 человека детей, которых я буду отдавать ему, а он будет их мучить и убивать. Тоня, сестра, сказала: «А если никто не возьмет ее замуж?» — «Тогда я найду человека, который совершил преступление, и под угрозой выдать его заставлю на ней жениться».

Однажды он сказал мне таинственно: «Я узнал необыкновенную вещь, которую не знает еще никто. Взрослые еще об этом



не подозревают. Дьявол победил Бога и запер его в чулан. Теперь нам надо подумать о том, не стоит ли перейти на сторону Дьявола, он всех тех, кто с Богом, будет мучить и убивать». Я была потрясена этим известием и несколько дней ходила сама не своя, а брат точно забыл обо всем этом. Наконец я спросила его: «А как же с Богом?» — «Ах, с Богом... Ему удалось спастись. Он удрал через форточку». На меня это произвело такое сильное впечатление, что я с тех пор перестала молиться Богу.

Лет до пяти меня одевали, как мальчика, в брюки и курточку. Брат посылал меня на дорогу и заставлял просить милостыню, говоря: «Подайте дворянину!» Деньги потом отбирал, бросал в воду и говорил, что стыдно тратить милостыню на себя.

Брат страдал нервными припадками. Я помню, когда мы остались с ним одни, без старших в квартире, он, чувствуя приближение припадка, ложился на диван и заставлял меня смотреть на него. Это, по его мнению, укрепляло нервы. Я должна была давать ему капли, но, наливая, испугалась и вылила ему всё в глаза, так что потом капель не было. Он сам нюхал эфир и давал мне. Мне тогда становилось страшно и приятно, и я ложилась где-нибудь на пол. Когда, недели через две, взрослые вернулись, брат все ходил по квартире и резал какие-то невидимые нити. Его отправили на несколько месяцев в больницу. Я тоже вскоре заболела дифтеритом, после которого год была слепая. Тогда я утратила воспоминание о предыдущей жизни, которые у меня в раннем детстве были отчетливы и яркие.

Когда брату было 16 лет, я, войдя в его комнату, застала его плачущим. Я была потрясена, так как раньше с ним никогда этого не было. Когда я спросила, что с ним, он ответил: «Я чувствую, что глупею». С тех пор он очень изменился...

Я — младшая, очень, очень болезненная, с 7 до 16 лет почти все время лежала — туберкулез и костей и легких; все это до сих пор, до сих пор хромаю, потому что болит нога...

Мое детство все связано с Медным всадником, Сфинксами на Неве и Казанским собором.

Я росла одна, потому что я младшая и потому что до 16 лет я была всегда больна мучительными болезнями, месяцами державшими меня в забытьи. Мое первое воспоминанье в жизни: возвращение к жизни после многочасового обморока — наклоненное лицо мамы с янтарными глазами и колокольный звон. Мне было 7 лет. Все, что было до 7 лет, — я забыла. На дворе — август с жел-

тыми листьями и красными яблоками. Какое сладостное чувство земной неволи!

А потом долгие годы... я прикована к кровати и больше всего полюбила длинные ночи и красную лампадку у Божьей Матери Всех Скорбящих. А бабушка заставляла ночью целовать образ Целителя Пантелеймона и говорить: «Младенец Пантелеймон! Исцели младенца Елисавету!» И я думала, что если мы оба младенца, то Он лучше меня поймет.

А когда встала, то почти не могла ходить (и с тех пор немного хромаю) и долго лежала у камина, а моя сестра читала мне сказку Андерсена про Морскую Царевну, которой тоже было больно ступать. И с тех пор, когда я иду и мне больно, я всегда невольно думаю о Морской Царевне и радуюсь, что я не немая. Люди, которых воспитывали болезни, они совсем иные, совсем особенные.

Мне кажется, что в 16–17 лет я знала больше и вернее. Мне кажется, что с 18-ти лет я пошла по пыльным дорогам жизни, и что постепенно утрачивалось мое темное ведение и вот сейчас я ничего не знаю, но только что-то слышу, и верю в то, что слышу, а им всем кажется, что у меня открытые глаза.

И мне хочется, чтобы кто-нибудь стал моим зеркалом и показал меня мне самой хоть на одно мгновенье. Мне тяжело нести свою душу.

В детстве я больше всего любила сказки Кота-Мурлыки, особенно «Милу и Нолли»; я уже давно не читала их, но трепет до сих пор! А потом полюбила Гофмана...

В детстве, лет 14–15, я мечтала стать святой и радовалась тому, что я больна темным, неведомым недугом и близка к смерти. Я целых 10 месяцев была погружена во мрак, я была слепой, мне было 9 лет. Я совсем не боялась и не боюсь смерти, я 7-и лет хотела умереть, чтобы посмотреть Бога и Дьявола. И это осталось до сих пор. Тот мир для меня бесконечно привлекателен. Мне кажется, что вся ложь моей жизни превратится в правду, и там, оттуда, я сумею любить так, как хочу.

Но я хочу задолго знать о том, что мне предстоит радость этого перехода, готовиться к нему... А мне грозит мгновенная и неожиданная смерть.

От детства я сохранила облик «Рыцаря Печального Образа» — самого прекрасного рыцаря для меня — Дон Кихота. Он один во всей толпе прекрасен, потому что Он не боится преувеличений, и Он один



видит красоту. С детства он мой любимый герой, и я бы хотела написать «Венок»: «Мои герои» — венцом их был бы Дон Кихот.

И еще — мой любимый образ, я давно его ношу, но не смею о нем писать — Прекрасная Дама — Дульцинея Тобосская...

Гимназию окончила поздно, 17-ти лет, в 1904 г. с медалью, конечно. Потом поступила в Женский Императорский Педагогический институт и окончила его в 1908 г. по двум специальностям: средняя история и французская средневековая литература. В это же время была вольнослушательницей в Университете по испанской литературе и старофранцузскому языку. После была и училась в Париже, в Сорбонне — бросила. В 1911 (весной) — замужество и отъезд в Туркестан.

И вот до 1918 г., когда я из Петербурга приехала в Екатеринодар, — все время живя в Петербурге, как в основном моем месте, — ездила в Туркестан (Ташкент—Самарканд—Чарджуй), в Германию, главным образом в Мюнхен, в Швейцарию, Финляндию, Грузию и еще много куда по России.

Внешняя жизнь незначительна и бедна событиями...

Волошин. Летом 1909 года Лиля Дмитриева жила в Коктебеле. Она в те времена была студенткой Университета, ученицей Александра Веселовского и изучала старофранцузскую и староиспанскую литературу. Кроме того, она была преподавательницей в подготовительном классе одной из петербургских гимназий. Ее ученицы однажды отличились. Какое-то начальство вошло в класс и спросило: «Скажите, девочки, кого из русских царей вы больше всего любите?» Класс хором ответил: «Конечно, Гришку Отрепьева!» К счастью, это никак не отразилось на преподавательнице.

Лиля писала в это лето милые простые стихи, и тогда-то я ей и подарил чорта Габриака, которого мы в просторечии звали «Гаврюшкой».

В 1909 году создавалась редакция «Аполлона», первый номер которого вышел в октябре — ноябре. Мы много думали летом о создании журнала, мне хотелось помещать там французских поэтов, стихи писались с расчетом на него, и стихи Лили казались подходящими. В то время не было в Петербурге литературного молодого журнала. Московские «Весы» и «Золотое руно» уже начинали угасать. В журналах того времени редактор обыкновенно был и издателем. Это не был капиталист, а лицо,

умевшее соответствующим образом обработать какого-нибудь капиталиста. Редактору «Аполлона» С. К. Маковскому* удалось использовать Ушковых...

Маковский. Лето и осень 1909 года я оставался Петербурге, — совсем одолели хлопоты по выпуску первой книжки «Аполлона», в роли издателя и одновременно редактора мне было нелегко. А тут я еще простудился (по дороге к Леониду Андрееву в Финляндию), схватил плеврит. Пришлось пролежать несколько недель с кружным компрессом как раз в пору первых журнальных корректур. Но болезнь протекала сравнительно милостиво, — работа не прерывалась, я продолжал читать рукописи и совещаться с сотрудниками. Телефон, тут же на ночном столике, звонил с утра до ночи. Писем получалось много...

Волошин. Маковский, «Рара Мако», как мы его называли, был чрезвычайно аристократичен и элегантен. Я помню, он советовался со мной — не внести ли такого правила, чтоб сотрудники являлись в редакцию «Аполлона» не иначе как в смокингах. В редакции, конечно, должны были быть дамы, и Рара Мако прочил балерин из петербургского кордебалета.

Лиля — скромная, не элегантная и хромая, удовлетворить его, конечно, не могла, и стихи ее были в редакции отвергнуты.

Тогда мы решили изобрести псевдоним и послать стихи письмом. Письмо было написано достаточно утонченным слогом на французском языке, а для псевдонима мы взяли наудачу чорта Габриака. Но для аристократичности чорт обозначил свое имя первой буквой, в фамилии изменил на французский лад окончание и прибавил частицу «Де»: Ч. де Габриак.

Впоследствии «Ч.» было раскрыто. Мы долго ломали голову, ища женское имя, начинающееся на Ч., пока наконец Лиля не вспомнила об одной Брет-Гартовской героине. Она жила на корабле, была возлюбленной многих матросов и носила имя Черубины. Чтобы окончательно очаровать Рара Мако, для такой светской женщины необходим был герб. И гербу было посвящено стихотворение

* Маковский, Сергей (1877–1962) — критик, поэт, издатель, мемуарист.



Наш герб

*Червлёный щит в моем гербе.
И знака нет на светлом поле.
Но вверен он моей судьбе,
Последней — в роде дерзких волей...*

*Есть необманный путь к тому.
Кто спит в стенах Иерусалима,
Кто верен роду моему,
Кем я звана, кем я любима:*

*И путь безумья всех надежд,
Неотвратимый путь гордыни;
В нем — пламя огненных одежд
И скорбь отвергнутой пустыни...*

*Но что дано мне в щит вписать?
Датуры тьмы иль розы храма?
Тубала медную печать
Или акацию Хирама?*

Письмо было написано на бумаге с траурным обрезом и запечатано черным сургучом. На печати был девиз: «*Vae victis!*» (горе побежденным! (лат.) — *И. Т.*) Все это случайно нашлось у подруги Лили Л. Брюлловой...

Маковский. В одно августовское утро пришло и первое письмо, подписанное буквой Ч, от неизвестной поэтессы, предлагавшей «Аполлону» стихи, — приложено было их несколько на выбор. Стихи меня заинтересовали не столько формой, мало отличавшей их от того романтико-символического рифмотворчества, какое было в моде тогда, сколько автобиографическими полупризнаниями:

*И я умру в степях чужбины,
Не разомкну заклятый круг,
К чему так нежны кисти рук,
Так тонко имя Черубины?*

Поэтесса как бы невольно проговаривалась о себе, о своей пленительной внешности и о своей участи загадочной и печальной. Впечатление заострялось и почерком, на редкость изящным, и запахом пряных духов, пропитавших бумагу, и засушенными слезами «богородицыных травок», которыми были переложены траурные листки.

Адреса для ответа не было, но вскоре сама поэтесса позвонила по телефону. Голос у нее оказался удивительным: никогда, кажется, не слышал я более обвороживающего голоса. Не менее привлекательна была и вся немного картавая, затушеванная речь: так разговаривают женщины очень кокетливые, привыкшие нравиться, уверенные в своей неотразимости.

Я обещал прочесть стихи и дать ответ после того, как посоветуюсь с членами редакции. Это было моим правилом: хоть я и являлся единоличным редактором, но ничего не сдавал в печать без одобрения ближайших сотрудников; к ним принадлежали в первую очередь Иннокентий Анненский* и Вячеслав Иванов, также — Максимилиан Волошин, Гумилев, Михаил Кузмин**.

Промелькнуло несколько дней — опять письмо: та же траурная почтовая бумага и новые стихи, переложенные на этот раз другой травкой, не то диким овсом, не то метелкой (и позже — сколько писем, столько и травок, по-видимому из заранее подобранного гербария)...

Волошин. Маковский в это время был болен ангиной. Он принимал сотрудников у себя дома, лежа в элегантной спальне; рядом с кроватью стоял на столике телефон.

Когда я на другой день пришел к нему, у него сидел красный и смущенный А.Н. Толстой***, который выслушивал чтение стихов, известных ему по Коктебелю, и не знал, как ему на них реагировать.

* Анненский, Иннокентий (1855–1909) — русский поэт, драматург, переводчик, критик, исследователь литературы и языка, директор мужской Царскосельской гимназии.

** Кузмин, Михаил (1872–1936) — русский поэт, переводчик, прозаик, композитор.

*** Толстой, Алексей (1883–1945) — русский советский писатель и общественный деятель из рода Толстых, граф. Автор социально-психологических, исторических и научно-фантастических романов, повестей и рассказов, публицистических произведений



Я только успел шепнуть ему: «Молчи. Уходи». Он не замедлил скрыться.

Маковский был в восхищении. «Вот видите, Максимилиан Александрович, я всегда Вам говорил, что Вы слишком мало обращаете внимания на светских женщин. Посмотрите, какие одна из них прислала мне стихи! Такие сотрудники для «Аполлона» необходимы!»

Черубине был написан ответ на французском языке, чрезвычайно лестный для начинающего поэта, с просьбой порыться в старых тетрадях и прислать все, что она до сих пор писала. В тот же вечер мы с Лилей принялись за работу, и на другой день Маковский получил целую тетрадь стихов...

Маковский. Вторая пачка стихов показалась мне еще любопытнее, и на них я обратил внимание моих друзей по журналу. Хвалили все хором, сразу решено было: печатать. Но больше, чем стихи, конечно, заинтересовала и удивила загадочная, необычайная девушка, скрывавшаяся под несколько претенциозным псевдонимом «Черубины» (разумеется, от херувима, херуба, а все-таки — безвкусно).

Еще после нескольких писем и телефонных бесед с таинственной Черубиной выяснилось: у нее рыжеватые, бронзовые кудри, цвет лица совсем бледный, ни кровинки, но ярко очерченные губы со слегка опущенными углами, а походка чуть прихрамывающая, как полагается колдуньям. От стихов, действительно, веяло немножко шабашем; но сердце девушки отдано рыцарю, «обагрившему кровью меч в дверях пещеры Вифлеема»... Она называла себя также «инфантой» и жаловалась на безысходное одиночество, от которого не спасал и «Святой Грааль, в себя принявший скорби мира». Вот стансы с эпиграфом: *Ego vox ejus.*

*В слепые ночи новолунья
Глухой тревогою полна
Завороженная колдунья,
Стою у темного окна.*

*Стеклом удвоенные свечи
И предо мною и за мной,
И облик комнаты иной
Грозит возможностями встречи.*

*В темно-зеленых зеркалах
Обледенелых ветхих окон
Не мой, а чей-то бледный локон
Чуть отражен, и смутный страх*

*Мне сердце алой нитью вяжет.
Что, если дальняя гроза
В стекле мне близкий лик покажет
И отразит ее глаза?*

*Что, если я сейчас увижу
Углы опущенного рта,
И предо мною встанет та,
Кого так сладко ненавижу?*

*Но окон темная вода
В своей безгласности застыла,
И с той, что душу истомила,
Не повстречаюсь никогда.*

С особым азартом восхищался Черубиной Максимилиан Волошин, посещавший меня усердно в дни моей болезни и вообще обнаруживший горячий интерес к «Аполлону, и ко всему, что лично меня трогало. Особенно увлекательны были разговоры с ним о Черубине де Габриак, которая продолжала от времени до времени посылать стихи, упорно отказываясь, однако, открыть свою «тайну». Мы недоумевали: кто она? почему так прячется? когда же, наконец, зайдет в редакцию? Нет, она решительно уклонялась от личного знакомства, настаивала на том, что сотрудничество ее в «Аполлоне» (против всех правил) должно оставаться анонимным, из-за сложных и неразборчивых «семейных обстоятельств»...

Волошин. На другой день Лиля позвонила Маковскому. Он был болен, скучал, ему не хотелось класть трубку, и он, вместо того, чтобы кончать разговор, сказал: «Знаете, я умею определять судьбу и характер человека по его почерку. Хотите, я расскажу Вам все, что узнал по Вашему?» И он рассказал, что отец Черубины — француз из Южной Франции, мать — русская, что она воспитывалась в монастыре в Толедо и т. д. Лиле оставалось только



изумляться, откуда он все это мог узнать, и таким образом мы получили ряд ценных сведений из биографии Черубины, которых впоследствии и придерживались.

Если в стихах я давал только идеи и принимал как можно меньше участия в выполнении, то переписка Черубины с Маковским лежала исключительно на мне. Рара Мако избрал меня своим наперсником. По вечерам он показывал мне мною же утром написанные письма и восхищался: «Какая изумительная девушка! Я всегда умел играть женским сердцем, но теперь у меня каждый день выбита шпага из рук».

Он прибегал к моей помощи и говорил: «Вы мой Сирано», не подозревая, до какой степени он близок к истине, так как я был Сирано для обеих сторон. Рара Мако, например, говорил: «Графиня Черубина Георгиевна (он сам возвел ее в графское достоинство) прислала мне сонет. Я должен написать сонет *di risposta*» (в ответ *(um.)*. — *И. Т.*), и мы вместе с ним работали над сонетом.

Маковский был очарован Черубиной. «Если бы у меня было 40 тысяч годового дохода, я решил бы за ней ухаживать». А Лиля в это время жила на одиннадцать с полтиной в месяц, которые получала как преподавательница приготовительного класса.

Мы с Лилей мечтали о католическом семинаристе, который молча бы появлялся, подавал бы письмо на бумаге с траурным обрезом и исчезал. Но выполнить это было невозможно.

Переписка становилась все более и более оживленной, и это было все более и более сложно. Наконец мы с Лилей решили перейти на язык цветов. Со стихами вместо письма стали посылаться цветы. Мы выбирали самое скромное и самое дешевое из того, что можно было достать в цветочных магазинах, веточку какой-нибудь травки, которую употребляли при составлении букетов, но которая, присланная отдельно, приобретала таинственное и глубокое значение. Мы были свободны в выборе, так как никто в редакции не знал языка цветов, включая Маковского, который уверял, что знает его прекрасно. В затруднительных случаях звали меня, и я, конечно, давал разъяснения. Маковский в ответ писал французские стихи. Он требовал у Черубины свидания. Лиля выходила из положения просто. Она говорила по телефону: «Тогда-то я буду кататься на островах. Конечно, сердце Вам подскажет, и Вы узнаете меня». Маковский ехал на острова, узнавал ее и потом с торжеством рассказывал ей, что ее видел, что она была так-то

одета, в таком-то автомобиле... Лиля смеялась и отвечала, что она никогда не ездит на автомобиле, а только на лошадях.

Или же она обещала ему быть в одной из лож бенуара на премьере балета. Он выбирал самую красивую из дам в ложах бенуара и был уверен, что это Черубина, а Лиля на другой день говорила: «Я уверена, что Вам понравилась такая-то». И начинала критиковать избранную красавицу. Все это Маковский воспринимал как «выбивание шпаги из рук».

Черубина по воскресеньям посещала костел. Она исповедывалась у отца Бенедикта. Вот стихотворения, посвященные ему и исповеди:

*Его египетские губы
Замкнули древние мечты,
И повелительны и грубы
Лица жестокого черты.*

*И цвета синих виноградин
Огонь его тяжелых глаз,
Он в темноте глубоких впадин
Истлел, померк, но не погас.*

*В нем правый гнев рокошет глухо.
И жечь сердца ему дано:
На нем клеймо Святого Духа —
Тонзуры белое пятно...*

*Мне сладко, силой силу меря,
Заставить жить его уста
И в беспощадном лике зверя
Провидеть грозный лик Христа.*

Исповедь

*В быстро сдернутых перчатках
Сохранился оттиск рук.
Черный креп в негибких складках
Очертил на плитах круг.*



*В тихой мгле исповедален
Робкий шопот, чья-то речь.
Строгий профиль мой печален
От лучей дрожащих свеч.*

*Я смотрю игру мерцаний
По чекану темных бронз
И не слышу увещаний,
Что мне шепчет старый ксендз.*

*Поправляя гребень в косах.
Я слежу мои мечты, —
Все грехи в его вопросах
Так наивны и просты.*

*Ад теряет обаянье,
Жизнь становится тиха, —
Но так сладостно сознание
Первородного греха...*

Вот образцы стихов Черубины.

Красный плащ

*Кто-то мне сказал: твой милый
Будет в огненном плаще...
Камень, сжатый в чьей праще,
Загрел с безумной силой?..*

*Чья кремнистая стрела
У ключа в песок зарыта?
Чье летучее копыто
Отчеканила скала?..*

*Чье блестящее забрало
Промелькнуло там, средь чащ?
В небе вьется красный плащ...
Я лица не увидала.*

Благовещение

*О, сколько раз, в часы бессонниц,
Вставало ярче и живей
Сиянье радужных оконниц
Моих немислимых церквей.*

*Горя безгрешными свечами,
Пылая славой золотой,
Там под узорными парчами
Стоял дубовый аналой.*

*И от свечей и от заката
Алела киноварь страниц,
И травной вязью было сжато
Сплетенье слов и райских птиц.*

*И, помню, книгу я открыла
И увидала в письменах
Безумный возглас Гавриила:
«Благословенна ты в женах!»*

Наряду с этими были такие:

*Лишь раз один, как папоротник, я
Цвету огнем весенней, пьяной ночью...
Приди за мной к лесному средоточью,
В заклятый круг, приди, сорви меня!*

*Люби меня! Я всем тебе близка.
О, уступи моей любовной порче,
Я, как миндаль, смертельна и горька,
Нежней, чем смерть, обманчивей и горче.*

Были портретные стихи:

*С моею царственной мечтой
Одна брожу по всей вселенной,
С моим презреньем к жизни тленной,
С моею горькой красотой.*



*Царицей призрачного трона
Меня поставила судьба...
Венчает гордый выгиб лба
Червонных кос моих корона.*

*Но спят в угаснувших веках
Все те, кто были бы любимы,
Как я, печалию томимы,
Как я, одни в своих мечтах.*

*И я умру в степях чужбины,
Не разомкну заклыйтый круг.
К чему так нежны кисти рук,
Так тонко имя Черубины?*

Маковский. После долгих усилий мне удалось-таки кое-что выпытать у «инфанты»: она и впрямь испанка родом, к тому же ревностная католичка: ей всего восемнадцать лет, воспитывалась в монастыре, с детства немного страдает грудью. Проговорилась она еще о каких-то посольских приемах в особняке «на Островах» и о строжайшем надзоре со стороны отца-деспота (мать давно умерла) и некоего монаха-иезуита, ее исповедника... В то же время письма, сопровождавшие стихи (были письма и без стихов), сквозили тоской одиночества, желанием довериться кому-нибудь, пойти навстречу зовам сердца... Наши беседы стали ежедневны. Я ждал с нетерпением часа, когда — раз, а то и два в день — она вызывала меня по телефону...

Волошин. Легенда о Черубине распространилась по Петербургу с молниеносной быстротой. Все поэты были в нее влюблены. Самым удобным было то, что вести о Черубине шли только от влюбленного в нее Рара Мако. Правда, были подозрения в мистификации, но подозревали самого Маковского.

Нам удалось сделать необыкновенную вещь — создать человеку такую женщину, которая была воплощением его идеала и которая в то же время не могла его разочаровать впоследствии, так как эта женщина была призрак.

Как только Маковский выздоровел, он послал Черубине на вымышленный адрес (это был адрес сестры Л. Брюлловой, подруги

Лили) огромный букет белых роз и орхидей. Мы с Лилей решили это пресечь, так как такие траты серьезно угрожали гонорарам сотрудников «Аполлона», на которые мы очень рассчитывали. Поэтому на другой день Маковскому были посланы стихи «Цветы» и письмо.

*Цветы живут в людских сердцах;
Читаю тайно в их страницах
О ненамеченных границах,
О нерасцветших лепестках.*

*Я знаю души, как лаванда,
Я знаю девушек мимоз.
Я знаю, как из чайных роз
В душе сплетается гирлянда.*

*В ветвях лаврового куста
Я вижу прорезь черных крылий,
Я знаю чаши чистых лилий
И их греховные уста.*

*Люблю в наивных медуницах
Немую скорбь умерших фей.
И лик бесстыдных орхидей
Я ненавижу в светских лицах.*

*Акаций белые слова
Даны ушедшим и забытым.
А у меня, по старым плитам,
В душе растет разрыв-трава.*

Когда я в это утро пришел к Рара Мако, я застал его в несколько встревоженном состоянии. Даже безукоризненная правильность его пробора была нарушена. Он в волнении вытирал платком темя, как делают в трагических местах французские актеры, и говорил: «Я послал, не посоветовавшись с Вами, цветов Черубине Георгиевне и теперь наказан. Посмотрите, какое она прислала мне письмо!» Письмо гласило, приблизительно, следующее: «Дорогой Сергей Константинович! (Переписка приняла уже довольно интимный характер.) Когда я получила Ваш букет, я могла поставить его только



в прихожей, так как была чрезвычайно удивлена, что Вы решаетесь задавать мне такие вопросы. Очевидно, Вы совсем не умеете обращаться с нечетными числами и не знаете языка цветов».

— Но право же, я совсем не помню, сколько там было цветов. Я не понимаю, в чем моя вина! — восклицал Маковский. Письмо на это и было рассчитано...

Маковский. Уж я совсем поправился, начал бывать в помещении журнала на Мойке, вышла и первая книга «Аполлона» (в начале октября). Интерес к Черубине не только не ослабевал, а разрастался, вся редакция вместе со мной «переживала» обаяние инфанты, наследницы крестоносцев, заявлявшей не без гордости:

*Червлёный щит в моем гербе,
И знака нет на светлом поле.
Но вверен он моей судьбе,
Последний — в роде дерзких волей...*

Влюбались в нее все «аполлоновцы» поголовно, никто не сомневался в том, что она несказанно прекрасна, и положительно требовали от меня — те, что были помоложе, — чтобы я непременно «разъяснил» обольстительную «незнакомку». Не надо забывать, что от запавших в сердце стихов Блока, обращенных к «Прекрасной Даме», отделяло Черубину всего каких-нибудь три-четыре года: время было насквозь провеяно романтикой. Убежденный в своей непобедимости Гумилев (еще совсем юный тогда) уж предчувствовал день, когда он покорит эту бронзово-кудрую колдунью...

Дмитриева. В первый раз я увидела Н. С. в июне 1907 г. в Париже в мастерской художника Себастиана Гуревича, который писал мой портрет. Он был еще совсем мальчик, бледное, манерное лицо, шепелявый говор, в руках он держал небольшую змейку из голубого бисера. Она меня больше всего поразила.

Мы говорили о Царском Селе, Н. С. читал стихи (из «Романтических цветов»). Стихи мне очень понравились. Через несколько дней мы опять все втроем были в ночном кафе, я первый раз в моей жизни. Маленькая цветочница продавала большие букеты пушистых белых гвоздик, Н. С. купил для меня такой букет; а уже

поздно ночью мы втроем ходили вокруг Люксембургского сада, и Н. С. говорил о Пресвятой Деве. Вот и всё.

Больше я его не видела. Но запомнила, запомнил и он. Весной уже 1909 г. в Петербурге я была в большой компании на какой-то художественной лекции в Академии художеств, — был М. А. Волошин, который казался тогда для меня недосягаемым идеалом во всем. Ко мне он был очень мил. На этой лекции меня познакомили с Н. С., но мы вспомнили друг друга. — Это был значительный вечер моей жизни. — Мы все поехали ужинать в «Вену», мы много говорили с Н. Степ. об Африке, почти в полусловах понимая друг друга, обо львах и крокодилах. Я помню, я тогда сказала очень серьезно, потому что я ведь никогда не улыбалась; «Не надо убивать крокодилов». Ник. Степ. отвел в сторону М. А. и спросил: «Она всегда так говорит?» «Да, всегда», — ответил М. А. — Я пишу об этом подробно, потому что эта маленькая глупая фраза повернула ко мне целиком Н. С. — Он поехал меня провожать, и тут же сразу мы оба с беспощадной ясностью поняли, что это «встреча» и не нам ей противиться.

«Не смущаясь и не кроясь, я смотрю в глаза людей, я нашел себе подружку из породы лебедей», — писал Н. С. на альбоме, подаренном мне. Мы стали часто встречаться, все дни мы были вместе и друг для друга. Писали стихи, ездили на «Башню» и возвращались на рассвете по просыпающемуся серо-розовому городу. Много раз просил меня Н. С. выйти за него замуж, никогда не соглашалась я на это; — в это время я была невестой другого, была связана жалостью к большой, непонятной мне любви. В «будни своей жизни» не хотела я вводить Н. Степ. Те минуты, которые я была с ним, я ни о чем не помнила, а потом плакала у себя дома, металась, не знала. Всей моей жизни не покрывал Н. С. и еще: в нем была железная воля, желание даже в ласке подчинить, а во мне было упрямство — желание мучить. Воистину он больше любил меня, чем я его. Он знал, что я не его невеста, видел даже моего жениха. Ревновал. Ломал мне пальцы, а потом плакал и целовал край платья.

В мае мы вместе поехали в Коктебель. Все путешествие туда я помню, как дымно-розовый закат, и мы вместе у окна вагона. Я звала его «Гумми», не любила имени «Николай», — а он меня, как зовут дома меня, «Лиля» — «имя похоже на серебрястый колокольчик», так говорил он.

В Коктебеле все изменилось. Здесь началось то, в чем больше всего виновата я перед Н. Ст. Судьбе было угодно свести нас всех



троих вместе: его, меня и М. Ал. — потому что самая большая моя в жизни любовь, самая недостижимая это был Макс. Ал.

Если Н. Ст. был для меня цветение весны, «мальчик», мы были ровесники, но он всегда казался мне младше, то М. А. для меня был где-то вдаль, кто-то никак не могущий обратить свои взоры на меня, маленькую и молчаливую.

Была одна черта, которую я очень не любила в Н. Ст., — его неблагоприятное отношение к чужому творчеству, он всегда бранил, над всеми смеялся, — а мне хотелось, чтобы он тогда уже был «отважным корсаром», но тогда он еще не был таким.

Он писал тогда «Капитанов» — они посвящались мне. Вместе каждую строчку обдумывали мы.

Но он ненавидел М. Ал. — мне это было больно очень, здесь уже с неотвратимостью рока встал в самом сердце образ Макс. Ал. То, что девочке казалось чудом, — свершилось. Я узнала, что М. А. любит меня, любит уже давно, — к нему я рванулась вся, от него я не скрывала ничего. Он мне грустно сказал: «Выбирай сама. Но если ты уйдешь к Г-ву — я буду тебя презирать». — Выбор уже был сделан, но Н. С. все же оставался для меня какой-то благоуханной, алой гвоздикой. Мне все казалось: хочу обоих, зачем выбор! Я попросила Н. С. уехать, не сказав ему ничего. Он счел это за каприз, но уехал, а я до осени (сент.) жила лучшие дни моей жизни. Здесь родилась Черубина.

Я вернулась совсем закрытая для Н. С., мучила его, смеялась над ним, а он терпел и все просил меня выйти за него замуж. — А я собиралась выходить замуж за М. А. — Почему я так мучила Н. С.? — Почему не отпускала его от себя? Это не жадность была, это была тоже любовь. Во мне есть две души, и одна из них верно любила одного, другая другого. О, зачем они пришли и ушли в одно время!..

Маковский. Вячеслав Иванов* восторгался ее искусственностью в «мистическом зресе»; о Волошине и говорить нечего. Барон Николай Николаевич Врангель**, закадычный мой друг в ту пору, решил во что бы то ни стало вывести Черубину на чистую воду: «Если

* Иванов, Вячеслав (1866– 949) — русский поэт-символист, философ, переводчик, драматург, литературный критик, доктор филологических наук, идеолог дионисийства.

** Врангель, Николай (1880–1915) — русский искусствовед из рода Врангелей.

уж так хороша, зачем же прячет себя?» Но всех нетерпеливее «переживал» Черубину обычно такой сдержанный Константин Сомов*. Ему нравилась «до бессонницы», как он признавался, воображаемая внешность удивительной девушки. «Скажите ей, — настаивал Сомов, — что я готов с повязкой на глазах ездить к ней на острова в карете, чтобы писать ее портрет, дав ей честное слово не злоупотреблять доверием, не узнавать, кто она и где живет».

Черубина отклонила и это предложение, а спустя недолгое время вдруг известила письмом о своем отъезде за границу месяца на два, по требованию врачей. Затем позвонила ко мне другая незнакомка, назвавшая себя двоюродной сестрой Черубины, и обещала изредка давать о ней вести в этот промежуток. Кстати, эта кузина патетически рассказывала мне о внезапной болезни Черубины: бедняжка молилась всю ночь испуленно, утром нашли ее перед распятьем без чувств, на полу спальни.

Признаюсь, рассказ кузины меня встревожил не на шутку. Только тут понял я, до какой степени я связан с ней, с Черубиной, с ее волшебным голосом и недоговоренными жалобами...

Волошин. Перед Пасхой Черубина решила поехать на две недели в Париж, заказать себе шляпку, как она сказала Маковскому, но из намеков было ясно, что она должна увидеться там со своими духовными руководителями, так как собирается идти в монастырь. Она как-то сказала, что, может быть, выйдет замуж за одного еврея. Из этих слов Рара Мако заключил, что она будет Христовой невестой...

Маковский. Ее отъезд разволновал и остальных «черубинистов». Самый предприимчивый из них, барон Врангель, решил даже на подвиг — дежурить в течение нескольких дней на Варшавском вокзале при отходе заграничных поездов. «Ее не трудно будет отличить, — уверял он, — если не урод какой-нибудь. А там уже сумею завязать знакомство».

Забавнее всего было то, что милейший Кока Врангель довел предприятие до конца, хоть и безуспешно. А именно: заметив на второй или на третий день своего дежурства какую-то красивую рыжеволосую девушку среди отъезжавших, он подскочил к ней и представился в качестве моего друга, к великому изумлению

* Сомов, Константин (1869- 1939) – русский живописец, график.



родителей девушки, вежливо, но твердо указавших Врангелю на его ошибку. Так и уехала Черубина неузнанной...

Волошин. Уезжая, Черубина взяла слово с Маковского, что он на вокзал не поедет. Тот сдержал слово, но стал умолять своих друзей пойти вместо него, чтобы увидеть Черубину, хотя бы чужими глазами. Просил Толстого, но тот с ужасом отказался, так как чувствовал какой-то подвох и боялся в него впутаться. Наконец, Маковский уговорил поехать Трубникова. Трубников на вокзале был, Черубины ему увидеть не удалось, но она, очевидно, его видела, так как записала в путевой дневник, который обещала Маковскому вести, что она ожидала увидеть на вокзале переодетого Рара Мако с накладной бородкой, но вместо него увидела присланного Друга, которого она узнала по изящному костюму. Следовало подробное описание Трубникова. Маковский был восхищен: «Какая наблюдательность! Ведь тут весь Трубников, а она видела его всего раз на вокзале»...

Маковский. Она уехала, а я убедился окончательно, что давно уже увлекаюсь Черубиной вовсе не только как поэтессой, — я убедился, что все чаще и взволнованнее мечтаю о ее дружбе, о близости к ней, о звучащей в ее речах и письмах печальной ласке. Слов влюбленности между нами еще не было произнесено, но во всех интонациях наших бесед они подразумевались, и было несколько писем от нее, которые я знал наизусть... Я поклялся добиться свидания, как только она вернется в Петербург...

Волошин. В Париже Черубина остановилась в специальном католическом квартале, в отеле возле Saint Sulpice. Она прислала несколько описаний квартала, описала несколько встреч. Эта часть — ее дневники — выпадает, так как погибла при обыске. Остались только стихи.

В отсутствие Черубины Маковский так страдал, что Иннокентий Федорович Анненский говорил ему: «Сергей Константинович, да нельзя же так мучиться. Ну, поезжайте за ней. Истратьте сто, — ну двести рублей, оставьте редакцию на меня... Отыщите ее в Париже».

Однако Сергей Константинович не поехал, что лишило историю Черубины небезынтересной страницы. Для его излияний была оставлена родственница Черубины, княгиня Дарья Владимиров-

на (Лида Брюллова). Она разговаривала с Маковским по телефону и приготовляла его к мысли о пострижении Черубины в монастырь...

Маковский. Тем временем в передовых литературных кружках стали ходить о загадочной Черубине всякие слухи. Среди сотрудников «Аполлона» начались даже раздоры. Одни были за нее, другие — против нее. Особенно издевалась над ней и ее мистическими стихами (не мистификация ли?) некая поэтесса Елизавета Ивановна Дмитриева (рожденная Васильева), у которой часто собирались к вечернему чаю писатели из «Аполлона». Она сочиняла очень меткие пародии на Черубину и этими проказами пера выводила из себя поклонников Черубины. У Дмитриевой я не бывал и даже не заметил ее среди литературных дам и девиц, посещавших собрания «Аполлона», но пародии на Черубину этой Черубининой ненавистницы и клеветницы попадались мне на глаза, и я не смог отказать им в остроумии.

Она вернулась раньше, чем все мы ждали, — вскоре после выхода в свет первой книжки «Аполлона» и разразившейся тогда же «семейной драмы» в редакции журнала. Я разумею дуэль Максимилиана Волошина с Гумилевым...

Волошин. Черубина вернулась. В тот же вечер к ней пришел ее исповедник, отец Бенедикт. Всю ночь она молилась. На следующее утро ее нашли без сознания, в бреду, лежащей в коридоре, на каменном полу, возле своей комнаты. Она заболела воспалением легких.

Кризис болезни намеренно совпал с заседаниями Поэтической Академии в Обществе ревнителей русского стиха, так как там могла присутствовать Лиля и могла сама увидеть, какое впечатление произведет на Маковского известие о смертельной опасности.

Ему ежедневно по телефону звонил старый дворецкий Черубины и сообщал о ее здоровье. Кризис ожидался как раз в тот день, когда должно было происходить одно из самых парадных заседаний. Среди торжественного чтения, когда Вячеслав Иванов делал доклад, Маковского позвали к телефону. Иннокентий Федорович пожал ему под столом руку и шепнул несколько ободряющих слов. Через несколько минут Маковский вернулся с опрокинутым и радостным лицом: «Она будет жить!»

Все это происходило в двух шагах от Лили. Как-то Лиля спросила меня: «Что, моя мать умерла или нет? Я совсем забыла,



и недавно, говоря с Маковским по телефону, сказала: „Моя покойная мать“ — и боялась ошибиться...» А Маковский мне рассказывал: «Какая изумительная девушка! Я прекрасно знаю, что мать ее жива и живет в Петербурге, но она отвергла мать и считает ее умершей с тех пор, как та изменила когда-то мужу, и недавно так и сказала мне: „Моя покойная мать“».

Постепенно у нас накопилась целая масса мифических личностей, которые доставляли нам много хлопот. Так, например, мы придумали на свое горе кузена Черубине, к которому Рапа Мако страшно ревновал. Он был португалец, атташе при посольстве и носил такое странное имя, что надо было быть так влюбленным, как Маковский, чтобы не обратить внимание на его невозможность. Его звали дон Гарпия ди Мантилья. За этим доном Гарпией была однажды организована целая охота, и ему удалось ускользнуть только благодаря тому, что его вообще не существовало. В редакции была выставка женских портретов, и Черубина получила приглашительный билет. Однако сама она не пошла, а послала кузена. Маковский придумал очень хороший план, чтобы уловить дону Гарпию. В прихожей были положены листы, где все посетители должны были расписываться, а мы, сотрудники, сидели в прихожей и следили, когда «он» расписывается. Однако каким-то образом дону Гарпии удалось пройти незамеченным, он посетил выставку и обо всем рассказал Черубине.

В высших сферах редакции была учреждена слежка за Черубиной. Маковский и Врангель стали действовать подкупом. Они произвели опрос всех дач на Каменноостровском. В конце концов Маковский мне сказал: «Знаете, мы нашли Черубину. Она — внучка графини Нирод. Сейчас графиня уехала за границу, и поэтому она может позволять себе такие эскапады. Тот старый дворецкий, который, помните, звонил мне по телефону во время болезни Черубины Георгиевны, был здесь у меня в кабинете. Мы с бароном дали ему 25 рублей, и он все рассказал. У старухи две внучки. Одна с ней за границей, а вторая — Черубина. Только он назвал ее каким-то другим именем, но сказал, что ее называют еще и по-иному, но он забыл как. А когда мы спросили, не Черубиной ли, он вспомнил, что действительно Черубиной».

Лиля, которая всегда боялась призраков, была в ужасе. Ей все казалось, что она должна встретить живую Черубину, которая спросит у нее ответа. Вот два стихотворения, которые тогда, конечно, не были поняты Маковским.



Лиля о Черубине:

*В слепые ночи новолунья
Глухой тревогою полна,
Завороженная колдунья,
Стою у темного окна.*

*Стеклом удвоенные свечи
И предо мною и за мной,
И облик комнаты иной
Грозит возможностями встречи.*

*В темно-зеленых зеркалах
Обледенелых ветхих окон
Не мой, а чей-то бледный локон
Чуть отражен, и смутный страх*

*Мне сердце алой нитью вяжет.
Что, если дальняя гроза
В стекле мне близкий лик покажет
И отразит ее глаза?*

*Что, если я сейчас увижу
Углы опущенные рта,
И предо мною встанет та,
Кого так сладко ненавижу?*

*Но окон темная вода
В своей безгласности застыла,
И с той, что душу истомила,
Не повстречаюсь никогда.*

Черубина о Лиле:

Двойник

*Есть на дне геральдических снов
Перерывы сверкающей ткани:
В глубине амфилад и дворцов*



На последней, таинственной грани
Повторяется сон между снов.

В нем все смутно, но с жизнью схоже...
Вижу девушки бледной лицо,
Как мое, но иное и то же,
И мое на мизинце кольцо.
Это — я, и все так не похоже.

Никогда среди грязных дворов.
Среди улиц глухого квартала.
Переулков и пыльных садов —
Никогда я еще не бывала
В низких комнатах старых домов.

Но Она от томительных будней,
От слепых паутин вечеров —
Хочет только заснуть непробудней,
Чтоб уйти от неверных оков,
Горьких грез и томительных будней.

Я так знаю черты ее рун,
И, во время моих новолуний,
Обнимающий сердце испуг,
И походку крылатых вещуний.
И речей ее вкрадчивый звук.

И мое на устах ее имя,
Обо мне ее скорбь и мечты,
И с печальной каймою листы.
Что она называет своими,
Затаили мои же мечты.

И мой дух ее мукой волнуем...
Если б встретить ее наяву
И сказать ей: «Мы обе тоскуем,
Как и ты, я вне жизни живу» —
И обжечь ей глаза поцелуем.

С этого момента история Черубины начинает приближаться к концу. Прямое развитие темы делает крутой и неожиданный поворот. Мы с Лилей стали замечать, что кто-то другой, кроме нас, вмешивается в историю Черубины. Маковский начал получать от имени Черубины какие-то письма, написанные не нами. И мы решили оборвать...

Гюнтер*. Об этой Черубине де Габриак мне рассказали в первый же день. Стихи, которые мне прочитали, были полны странной, неуловимой и завораживающей печали. Приглушенная страсть, бунтующая тоска. Русские стихи большого, подчас артистического совершенства. Ну, не сенсация ли?!

Всякие попытки — а их было немало — установить с ней личный контакт кончались ничем. Она отклоняла любые встречи и собрания. Однако то, что она при всей сумасбродной необычности прибегала к телефону, выдавало ее явное стремление выговориться. Больше всех завидовали Маковскому, который и вел эти переговоры. Были, конечно, и те, кто посмеивался над влюбленной редакцией. Однако коллективная страсть заразительна: не успел я оглянуться, как тоже оказался в числе рыцарей прельстительной Черубины.

Однажды вечером я опять был у Вячеслава Иванова на Таврической, оказавшись единственным петушком в сугубо дамском кружке. Вера, падчерица Вячеслава, превратившаяся с годами в красавицу с пепельными волосами, собрала у себя на чай небольшой дамский кружок. Тут была Анастасия Николаевна Чеботаревская, несколько взвинченная на декадентский лад дама, жена Федора Сологуба, необыкновенно причудливый, претенциозный синий чулок с аффектацией в голосе, хотя, вероятно, милейшая домохозяйка; тут была Любовь Блок, очень укрепившаяся в себе и повзрослевшая, она приветствовала меня как старого доброго друга; тут была совершенно очаровательная художница, которая писала также стихи, Лидия Павловна Брюллова, миниатюрная, грациозная, с черными бархатными бровями и волнующими синими глазами, внучка великого художника-классициста Брюллова, могучими окороками которого восхищался еще Пушкин; тут была поэтесса Елизавета Ивановна Дмитриева — и вот она-то отпускала колкости

* Гюнтер, Иоганнес Фердинанд фон (1886–1973) — немецкий поэт, прозаик, драматург, переводчик, мемуарист. Переводил на немецкий язык многих русских авторов.



по адресу Черубины де Габриаки, которая должна-де быть ужасной дурнушкой, коли не показывается своим истосковавшимся поклонникам. Дамы с ней, в общем, были согласны; как «аполлоновца» спросили меня, я предпочел уклониться от прямого ответа, прикрываясь плащом невинной незаинтересованности — тем более что меня чрезвычайно заинтриговала фрейлейн Брюллова.

Дмитриева должна была прочесть свои стихи, которые мне показались очень талантливыми, о чем я ей и сказал. А когда Люба Блок заметила, что я очень хорошо перевел стихи ее мужа и что вообще я много перевожу из русской поэзии, Дмитриева вдруг ожилилась, обратила на меня внимание и прочитала еще несколько своих стихотворений, отчасти замечательных; читала она как было принято у символистов, может, с чуть большей нюансировкой звука. В этих стихах было так много оригинального, что я спросил, отчего же она не посылает свои стихи нам в «Аполлон». Она ответила, что господин Волошин, ее добрый знакомый, обещал об этом побеспокоиться. Поскольку она была подругой очаровательной Брюлловой, я не скупился на похвалы. После чего и был зван на вечер к последней, чтобы еще раз послушать стихи ее подруги. Она дала мне свой адрес и телефон. Посчитав, что главная моя цель достигнута, и подустав от «синих чулок», я встал, чтобы откланяться.

Одновременно со мной поднялась и фрейлейн Дмитриева, чтобы тоже проститься. Следуя галантному Петербургскому обычаю, я вынужден был предложить себя ей в провожатые. Фрейлейн Дмитриева сразу же согласилась.

Она была чуть ниже среднего роста, немного полноватой, но довольно изящной. В России часто встречаются такие фигуры. У нее были странно большая голова, темно-каштановые волосы, отливавшие иногда махагониевым оттенком, желтоватый, почти сырный цвет лица; темно-синие глаза под ее непропорционально большим лбом смотрели печально и угнетенно, хотя она могла быть веселой и очень острой на язычок. Рот ее был великоват, зубы выступали вперед, но губы были полные, красные, красивые. Круглый подбородок казался тоже широковатым, зато шея была тонкой и длинной. Туловище с мягко округленными плечами и несколько выпирающей грудью выглядело довольно неуклюже, но, может быть, из-за не слишком выигрышной одежды. Как учительница русского языка в одной из женских гимназий она, видимо, зарабатывала недостаточно для элегантного гардероба.

Нет, красавицей она не была, но какой-то изюминкой обладала — теми флюидами, которые теперь назвали бы «секси». Проявлялось это в том, как она распахивала глаза, как подрагивали ее ноздри, как медленно покачивались ее круглые плечи, но прежде всего это звучало в ее голосе. Не заметить ее было нельзя.

Мы молча спустились по лестнице. Привратник Павел, мой старый друг, добыл нам пролетку. Когда я помог ей сойти у ее дома и уже собирался прощаться, она вдруг предложила еще немного прогуляться. А так как мне хотелось побольше узнать о ее красивой подружке, я согласился, отпустил кучера и спросил, куда ей хочется пойти.

— Куда хотите!

К моему удивлению, она вдруг стала застенчивой, робкой.

Я-то никуда не хотел, поэтому мы просто побрели куда глаза глядят. Был зябкий октябрьский вечер. Петербургские фонари в некоторых кварталах светили едва-едва. Так было и здесь. Прогулка наша затянулась.

Она стала рассказывать мне о своей жизни, не знаю, собственно, почему. Она рассказала, что побывала у Волошина в Крыму, в Коктебеле, долго жила в его уютном доме. «Ага! — подумал я. — Стало быть, она была любовницей Макса». Я слегка съязвил насчет антропософской любви Волошина к Рудольфу Штейнеру, который, правда, больше интересуется дамами постарше и побогаче. Но она оставила мою реплику без внимания, сообщив далее, что познакомилась у Макса с поэтом Гумилевым. В голосе ее послышалось что-то вроде жалобы. Я насторожился. Так, значит, и с Гумилевым у нее что-то было. Смотри-ка! Кто ее только не любил! Впрочем, я мог это понять.

Внезапно меня осенило:

— Вот оно что, а теперь вы насмехаетесь над Черубиной де Габриак, потому что ваши друзья, Макс и Гумми, влюбились в эту испанку?

Она остановилась. Я с удивлением заметил, что она тяжело дышит. Она смотрела на меня, распахнув глаза из самой глубокой их глубины.

— Сказать ли вам кое-что?

Я молчал. Она схватила мою руку.

— Обещаете не выдавать меня? — спросила она, почти заикаясь. И запнулась. В неверном свете фонаря я мог видеть, что она дрожит от волнения. Рука ее была влажной, а когда она чуть наклонилась, я почувствовал ее дыхание.



— Я скажу вам, но дайте слово, что вы будете вечно хранить эту тайну. Обещаете?

Возможно, в таких случаях мы слишком поспешно даем обещания. Возлюбленная Макса и Гумми... Любопытство? Сочувствие?.. Ах, мы так много всего обещаем.

Она рывком подняла голову, заглянув мне в глаза:

— Я должна вам сказать, что я... — И опять запнулась. Ее рука сжимала мою почти до боли. — Вы единственный, кому я это говорю...

Тут она отступила, решительно вскинула голову — и в глазах ее сверкнула угроза. Наконец она жестко выдохнула:

— Я — Черубина де Габриак!

Она отпустила мою руку, внимательно взгляделась в меня и повторила, на этот раз тихо и почти нежно:

— Я — Черубина де Габриак.

У меня рот разъехался чуть не до ушей. Что такое? Она и впрямь сказала, что она Черубина де Габриак? Черубина, в которую поголовно влюблена вся новейшая русская поэзия? Этого не может быть! Лжет, интересничает?

Она отступила еще на шаг.

— Вы мне не верите?

Иной раз и молодые псы бывают отважны. Я подтвердил, что не верю.

— А если я вам это докажу?

Я холодно усмехнулся. Задыхаясь, она забормотала:

— Я могу это доказать. Вы ведь знаете, что Черубина де Габриак каждый вечер звонит в редакцию и разговаривает с Сергеем Константиновичем?

Это все знают.

— Я позволю ему завтра и спрошу его о вас. Вам этого будет достаточно?

Я вскинул руку, словно защищаясь:

— Спросите обо мне? Но каким образом?.. Ведь тогда я должен буду рассказать ему то, что сейчас услышал...

Она вдруг совершенно успокоилась, обрела уверенность:

— Нет. Я спрошу его об иностранных сотрудниках, а уж когда он назовет ваше имя... — Она задумалась. — Тогда я вас опишу и спрошу, тот ли это человек, с которым я познакомилась три года назад на железной дороге в Германии, не назвав ему мое имя...

Я улыбнулся. Как изобретательно! Но стоило поиграть в эту ложь.
— Скажите ему лучше — два года назад, тогда я действительно был в Мюнхене.

— Хорошо. Два года назад. Между Мюнхеном и...

— Между Мюнхеном и Штарнбергом.

И если я все это скажу Маковскому, вы поверите, что я Черубина де Габриак? — Она снова схватила меня за руку, сжав ее почти с мольбой.

Я инстинктивно замедлил ответ. Ее большой рот был искажен, зубы выступили наружу, вид она имела жутковатый.

— Вы тогда мне поверите?

Она была отчаянным игроком. Но, может, она не играет? Но разве так подает себя правда?

— Тогда я, пожалуй, вынужден буду поверить...

— И где мы потом встретимся?

Меня почти испугала твердость ее слов.

— Когда вы позвоните Сергею Константиновичу?

— Как всегда, после пяти.

— Хорошо, приходите в семь часов ко мне. Я живу в «Риге» на Невском проспекте. В ресторане нас могут подслушать. У меня нам никто не помешает. Но вы действительно хотите поговорить об этом с Маковским?

Она приблизилась ко мне почти вплотную.

— Да, хочу. Я должна наконец с кем-то поговорить об этом. Слишком давно я разговариваю только сама с собой.

Она отпустила мою руку и отвернулась. В полном молчании мы дошли до ее дома. Когда я целовал ее руку, как требовал того петербургский обычай, она тихо сказала:

— Вы обещали молчать; да покарает вас Бог, если вы меня выдадите.

Это звучало театрально, но это не было театром. Она стояла двумя ступеньками выше меня, и я мог хорошо рассмотреть ее лицо. Лгуньи выглядят иначе.

— Не знаю, почему я... почему я вам это сказала. Может, так было нужно. Я узнаю об этом завтра. Я знаю, вы не предадите меня. До завтра!

Она взбежала вверх по ступенькам.

На другой день в пять часов в редакции раздался телефонный звонок. Волнуясь, Маковский снял трубку. Это была она.



Напряженно прислушиваясь, все мы отвернулись, — кто закурил, кто уткнулся в газету, кто налил себе чай. После некоторого времени мне послышалось, что Маковский стал перечислять имена наших иностранных сотрудников. Говорил он очень тихо и быстро. Речь шла обо мне? Неужели и правда это она? Неужели Дмитриева — это Черубина де Габриак? Так оно и было. Минут через десять меня поздравил Маковский:

— Вы даже не сказали мне, что знакомы с Черубиной де Габриак!

Молодые люди бывают горазды на выдумку. Я стал все отрицать. Никогда в жизни не видел. В поезде между Мюнхеном и Штарнбергом? Господи, да пол-Мюнхена ездит купаться в Штарнберг. Ну и, вестимо, по дороге треплешься с девушками. Черубина де Габриак? Нет, наверняка нет. Знать не знаю, кто бы это мог быть.

Барон Врангель и Маковский были разочарованы. Они-то надеялись побольше узнать о той, которую так горячо любили.

Но я был в смятении. Неожиданно я оказался посвящен в жуткую тайну и знал теперь то, чего никто не знал, о чем никто даже не догадывался. В зобу прямо дыхание сперло от своего превосходства.

Когда я около семи позвонил у себя в меблированных комнатах, открывшая мне горничная сказала с ухмылкой:

— Барышня уже пришла.

О, боже! Этого еще не хватало! В чем теперь меня будут подозревать! Я еще не представлял, насколько этим подозрениям суждено будет углубиться, ибо Елизавета Дмитриева какое-то время станет посещать меня ежедневно. Она никак не могла выговориться о себе и своих красивых печалях, никак не могла упиться чтением своих стихов, наслушаться утешений. Ее самыми большими недостатками были ненасытность и слишком большая управляемость. Уже вскоре я догадался, что вся эта магия Черубины де Габриак со всеми ее замечательными стихами — плод, не одной ею возделанный, что здесь трудится целое акционерное общество. Но кто были эти акционеры?

В одном отношении, однако, я стал обманутым обманщиком, ибо милости прелестной Лидии, на которые я так рассчитывал, были теперь мне недоступны: эгоцентричная Дмитриева не хотела ни с кем делиться. Однако для двадцатитрехлетнего человека было немалым утешением оказаться единственным обладателем тайны, за которой охотился весь Петербург.

В первый свой визит она сидела, закутавшись в персидскую шаль, в моем кресле. Слегка покраснев, протянула мне почтовый лист — точно такой же, каких немало получил Маковский: «Стихотворение Черубины де Габриак». То было нежное, печальное стихотворение, так свойственное несколько выпренной манере Черубины.

Нельзя не признать, ее жизнь была нелегка. Все ее дружеские связи, нет, все ее с полной отдачей с ее стороны прожитые романы плохо кончались. Все мужчины в конце концов ее разочаровывали, может быть, потому, что она в своем поэтическом безудерже была слишком ненасытна. Больше всего она жаловалась на Гумилева, который в Коктебеле клялся всеми святыми, что женится на ней. С ним она тогда уехала в Петербург, бросив Волошина. А в Петербурге Гумилев ее безжалостно оттолкнул.

— И все-таки вы пошли бы за него замуж?

— Тотчас же.

Стало быть, она еще любила его. Я почувствовал, что держу ее сторону; мне захотелось помочь этой женщине, потому что она заслуживала того, чтобы ей помогали. Из стихов ее было видно, насколько она беспомощна и уязвима. То есть это Черубина де Габриак была уязвима. А Елизавета Дмитриева?

Ибо между Черубиной и Елизаветой ощущалась заметная разница. Стихи первой мало походили на стихи второй. Это выглядело как раздвоение личности. Было ли вообще такое возможно?

Как это ни невероятно звучит, но факт оставался фактом: в Дмитриевой сидели две совершенно разные поэтессы. Такая гениальная особенность прочила ей большое будущее. Нельзя ли было одним махом помочь обоим — и ей, и Гумилеву, если их помирить? Так как я знал, что мой друг Гумми тосковал по женитьбе, по прочной семье, я решил попробовать их снова свести.

Я ведь видел его каждый день, так что было нетрудно, улучив минуту, заговорить об этом.

— Ты должен жениться!

— На ком?

— На Дмитриевой!

Как это мне пришло в голову?

— Вы бы составили замечательную пару — как Роберт Браунинг и его Елизавета, бессмертная поэтическая пара. Ты должен жениться на поэтессе, только настоящая поэтесса сумеет тебя понять и подняться вместе с тобой.



Он пожал плечами:

— Почему ты подумал именно о ней?

Но прислушивался он ко мне, кажется, со вниманием.

— Она великолепная женщина. Кроме того, ты обещал жениться на ней.

Он взвился:

— Кто это сказал?

Я успокаивал его. Мы долго говорили с ним о ее стихах, которые мне очень нравились, и потом незаметно перешли на личное.

— Означает ли это, что у тебя тоже была связь с этой... с этой дамой?

Я только рассмеялся. По его ревности было заметно, что он к ней по-прежнему неравнодушен!

— Нет, выброси это из головы. Потому что Дмитриева все еще любит тебя. Только тебя. Тебе нужно поговорить с ней. И ты убедишься, что лучшей женщины тебе не найти.

А Волошин? Ведь он имел ее в Коктебеле и потом боролся за нее с ним, Гумилевым. Я стал уверять его, что у Волошина, антропософа, все это было совершенно бестелесно. В самом деле, ему нужно поговорить с ней. И в финансовом плане все могло быть в порядке. Она как учительница и он как писатель могли бы снять хорошую квартиру в Петербурге, и он был бы во всех отношениях ухожен. А что еще ему нужно.

Казалось, он соглашался с моими доводами. Я же потихоньку праздновал триумф, ибо окончательный разговор должен был состояться на квартире соблазнительной Лидии Брюлловой, и после ожидаемого примирения мы могли бы составить две пары. Я стремился устроить эту встречу как можно скорее.

По телефону мы условились провести переговоры утром следующего дня.

Мы поехали туда. Нас ждали. На Дмитриевой было темно-зеленое бархатное платье, которое ей очень шло. Она страшно волновалась, все ее лицо покрылось красными пятнами.

Красиво накрытый стол тоже, казалось, рассчитывал на примирение. Лидия Брюллова, в черном шелковом платье, приняла нас очень радушно.

Но что произошло? Небрежно, я бы сказал, надменно ступая, Гумилев приблизился к ним.

— Мадемуазель, — начал он, ни с одной из них не поздоровавшись, — вы распространяете ложь, будто я собирался жениться на вас. Вы были моей метресской. На таких не женятся. Это я хотел вам сказать.

Роковой, презрительный кивок головы. И повернулся спиной. И вышел. Я опешил от этой неожиданной выходки, но мне не оставалось ничего другого, как последовать за ним. Наскоро попрощавшись, я обещал позвонить. Дмитриеву я никогда больше не видел. И не разговаривал с ней по телефону. Писем от нее тоже не было. Ничего.

Выходка была ужасная, для меня совершенно необъяснимая. Я догнал Гумми уже на улице, мы молчали с ним всю дорогу, и только когда добрались до гостиницы, я напустился на него. Я весь кипел от негодования. Он разочаровал меня безмерно.

Он с улыбкой возражал, что только так и надо поступать с такими женщинами, только так и никак иначе.

Я покачал головой:

— Ты поступил как варвар. Ты оскорбил ее в присутствии посторонних людей. Она будет мстить.

Он пожал плечами:

— Кто имеет дело с женщиной, должен понимать, что сражается с дьяволом. Волков бояться — в лес не ходить.

Старая русская пословица. Но в пословицах нетрудно и заблудиться.

Этот скандал остудил наши отношения с Гумми. Его бессмысленная брутальность унизила всех и подействовала на меня удручающе. Я-то еще сохранял романтические представления о женщинах и считал, что так с ними в любом случае нельзя обращаться. Особенно с теми, кого ты любил и кто еще любит тебя и готов быть твоей верной спутницей. Как же он мог поступить с ней так жестоко?!

И не надо меня уверять, будто он поступил с ней по-русски! Как раз русские особенно чутки в любви. Их поэзия — чудесное тому доказательство. Я думаю, ни у какого другого народа нет такой нежной любовной лирики. Да и более поздняя лирика самого Гумилева свидетельствует о том же.

Как же объяснить эту чудовищную выходку?

Тютчев, самый глубокий русский лирик, остерегал деву любить поэта: «О, как убийственно мы любим...»

В этом есть правда. Любил ли Пигмалион свою статую или он любил Галатею? Трудно сказать. Тут случай имманентной



полярности. Нам она ведома. Достаточно вспомнить молодого Гёте и его Фредерику. Прекраснейшие стихи кончаются почти жестокой отповедью.

А тут еще время. Одна умная шведка сказала мне в 1917 году, в разгар войны: «Так и должно было случиться. Фокстрот и танго втолкнули нас в эту беду».

То было время масок, время игры, вспененное время душевной фальши. Мы и сами, вероятно, не знали, что устроены так ненадежно, Мы играли, а ставкой была душа. Над словом «верность» — как и сегодня — больше всего смеялись. Оно считалось старомодным, патриархальным, так же как и слова «благодарность», «самопожертвование», то есть все то, что прежде называли добродетелью. И что теперь выглядело смешно и странно.

Мы заигрались и все же готовы были бы вернуться к истинным ценностям, если бы пуще всего на свете не боялись выглядеть смешными. И мы даже не знали, что движимы этим страхом, он стал нашей второй натурой.

Подчиняясь этой полярности и невольному соблазнителю, Дмитриева стала играть в Черубину де Габриак и заигралась настолько, что превратилась в Черубину де Габриак. Неудивительно, что она потерпела катастрофу.

Я думаю, что на самом деле я был не единственным, кто знал тайну Черубины. Слухи и тогда, должно быть, ходили — ведь обо всем знали Волошин, Лидия Брюллова, а может, и еще кто-нибудь, кому Елизавета Дмитриева в сумасбродном порыве выдала тайну своего поэтического свидетельства.

В один из вечеров в помещении «Аполлона» Сергей Маковский, обычно малодоступный, присел вдруг к нам с Дмитриевой и вовлек ее в весьма откровенный разговор. Об этом случае он потом забыл или вытеснил его из памяти, но так было: он долго разговаривал с ней, повергая ее во все большее смущение. Попросил ее прочитать одно ее любовное стихотворение, а потом стал спрашивать, почти насмешливо, что она вообще знает о любви.

Мы все трое вели тогда какой-то потусторонний диспут о бесполезности любовной лирики, ибо еще Тютчев сказал: «Мысль изреченная есть ложь!»

Неожиданно Маковский со значением посмотрел на собеседницу и стал читать стихотворения Черубины.

Дмитриева сидела, низко склонив голову, а Маковский продолжал упиваться своей любимой ролью — холодного, бесстрастного, элегантного петербуржца.

А месяца через два — дело было после смерти Анненского — поползли слухи. Ну, слухи они и есть слухи. Они приходят и уходят, и одному Богу известно, что от них остается.

Мировая история может выглядеть иной раз как одна мировая сплетня. Ради соблазнения какой-нибудь самочки иной раз вздымаются слухи, похожие на оперение гордого павлина. А потом они уходят в прошлое, развеиваясь как дым.

Но иногда слухи обретают собственную власть. И тогда бывает скверно...

Дмитриева. Наконец Н. Ст. не выдержал, любовь ко мне уже стала переходить в ненависть. В «Аполлоне» он остановил меня и сказал: «Я прошу Вас последний раз — выходите за меня замуж»; — я сказала: «Нет!» Он побледнел — «Ну, тогда Вы узнаете меня». — Это была суббота. В понедельник ко мне пришел Гюнтер и сказал, что У. С. на «Башне» говорил Бог знает что обо мне. Я позвала Н. С. к Лидии Павл. Брюлловой, там же был и Гюнтер. Я спросила Н. С., говорил ли он это. Он повторил мне в лицо. Я вышла из комнаты. Он уже ненавидел меня. Через два дня М. А. ударил его, была дуэль.

Через три дня я встретила его на Морской. Мы оба отвернулись друг от друга. Он ненавидел меня всю свою жизнь и бледнел при одном моем имени.

Больше я его никогда не видела...

Волошин. Лиля, обычно, бывала в редакции одна, так как жених ее, Воля Васильев, бывать с ней не мог. Он отбывал воинскую повинность. Никого из мужчин в редакции она не знала. Одному немецкому поэту, Ганцу Гюнтеру, который забавлялся оккультизмом, удалось завладеть доверием Лили. Она была в то время в очень нервном возбужденном состоянии. Очевидно, Гюнтер добился от нее каких-нибудь признаний. Он стал рассказывать, что Гумилев говорит о том, как у них с Лилей в Коктебеле был большой роман. Все это в грубых выражениях. Гюнтер даже устроил Лиле «очную ставку» с Гумилевым, которому она принуждена была сказать, что он лжет. Гюнтер же был с Гумилевым на «ты» и, очевидно, на его



стороне. Я почувствовал себя ответственным за все это и с разрешения Воли (который был вольноопределяющимся, в нижнем чине) после совета с Леманом, одним из наших общих с Лилей друзей, через два дня стрелялся с Гумилевым...

Маковский. Как произошла эта в достаточной мере фантастическая литературная дуэль? и по какому поводу?

Вот чему я лично был свидетелем. Ближайшие сотрудники «Аполлона» часто навещали в те дни А. Я. Головина* в его декоративной мастерской на самой вышке Мариинского театра. Головин собирался писать большой групповой портрет аполлоновцев: человек десять — двенадцать писателей и художников. Между ними, конечно, должны были фигурировать и Гумилев с Волошиным. Головин еще только присматривался к нам и мысленно рассаживал группой за столом.

Хозяин куда-то вышел. В ожидании его возвращения мы разбрелись попарно в его круглой поместительной «чердачной» мастерской, где ковром лежали на полу очередные декорации, помнится — к «Орфею» Глюка. Я прогуливался с Волошиным, Гумилев шел впереди с кем-то из писателей. Волошин казался взволнованным, не разжимал рта и только посапывал. Вдруг, поравнявшись с Гумилевым, не произнеся ни слова, он размахнулся и изо всей силы ударил его по лицу могучей своей дланью. Сразу побагровела правая щека Гумилева и глаз припух. Он бросился было на обидчика с кулаками. Но его оттащили — не допускать же рукопашной между хилым Николаем Степановичем и таким силачом, как Волошин! Да это и не могло быть ответом на тяжкое оскорбление.

Вызов на поединок произошел тут же. Секретарь редакции Евгений Александрович Зноско-Боровский (известный шахматист) согласился быть секундантом Гумилева.

— Вы недовольны мною? — спросил Волошин, заметив, что меня покорила грубая расправа его с человеком, который до того считался ему приятелем.

— Вы слишком великолепны физически, Максимилиан Александрович, чтобы наносить удары с такой силой. В этих случаях достаточно ведь символического жеста...

Силач смутился, пробормотал сконфуженно:

— Да, я не соразмерил...

* Головин, Александр (1863–1930) — русский художник, сценограф.

Волошин. Мы встретились с ним (с Гумилевым. — *И. Т.*) в мастерской Головина в Мариинском театре во время представления «Фауста». Головин в это время писал портреты поэтов, сотрудников «Аполлона». В этот вечер я позировал. В мастерской было много народу, и в том числе Гумилев. Я решил дать ему пощечину по всем правилам дуэльного искусства, так, как Гумилев, большой специалист, сам учил меня в предыдущем году; сильно, кратко и неожиданно.

В огромной мастерской на полу были разостланы декорации к «Орфею». Все были уже в сборе. Гумилев стоял с Блоком на другом конце залы. Шаляпин внизу запел «Заклинание цветов». Я решил дать ему кончить. Когда он кончил, я подошел к Гумилеву, который разговаривал с Толстым, и дал ему пощечину. В первый момент я сам ужасно опешил, а когда опомнился, услышал голос Иннокентия Федоровича; «Достоевский прав, звук пощечины, действительно, мокрый». Гумилев отшатнулся от меня и сказал: «Ты мне за это ответишь» (мы с ним не были на «ты»). Мне хотелось сказать: «Николай Степанович, это не брудершафт». Но тут же сообразил, что это не вязалось с правилами дуэльного искусства, и у меня внезапно вырвался вопрос:

«Вы поняли?» (То есть; поняли ли за что?)

Он ответил: «Понял»...

Маковский. Дуэль состоялась — рано утром за городом, в Новой Деревне, на том же пустыре, где незадолго перед тем дрался с полковником Мясоедовым Александр Иванович Гучков. Нелегко было найти дуэльные пистолеты. Их достали у Бориса Суворина. Это были пистолеты «с историей», с гравированными фамилиями всех, дравшихся на них раньше. Вторым секундантом Гумилева оказался Кузмин. Секундантами Волошина были А. Толстой и художник князь А. К. Шервашидзе (ученик Головина по декорационной части).

Условия были выработаны мирно настроенными секундантами (совещавшимися очень долго) самые легкие, несмотря на протесты Гумилева: один выстрел с места, на расстоянии двадцати пяти шагов; стрелять по команде (раз — два — три) одновременно.

Вот как описывает эту дуэль один из секундантов Волошина А. Н. Толстой...

Алексей Толстой. На рассвете наш автомобиль выехал за город по направлению к Новой Деревне. Дул мокрый, морской ветер, и вдоль дороги свистели и мотались голые вербы. За городом мы



нагнали автомобиль противников, застрявший в снегу. Мы позвали дворников с лопатами, и все, общими усилиями, вытащили машину из сугроба. Гумилев, спокойный и серьезный, заложив руки в карманы, следил за нашей работой, стоя в стороне.

Выехав за город, мы оставили на дороге автомобили и пошли на голое поле, где были свалки, занесенные снегом. Противники стояли поодаль. Мы совещались, меня выбрали распорядителем дуэли. Когда я стал отсчитывать шаги, Гумилев, внимательно следивший за мной, просил мне передать, что я шагаю слишком широко... Гумилеву я понес пистолет первому. Он стоял на кочке, длинным черным силуэтом, различимый во мгле рассвета. На нем был цилиндр и сюртук, шубу он сбросил на снег. Подбегая к нему, я провалился по пояс в яму с талой водой. Он спокойно выжидал, когда я выберусь, — взял пистолет, и тогда только я заметил, что он, не отрываясь, с ледяной ненавистью глядит на В., стоявшего, расставив ноги, без шапки.

Передав второй пистолет В., я по правилам в последний раз предложил мириться. Но Гумилев перебил меня, сказав глухо и недовольно: «Я приехал драться, а не мириться». Тогда я попросил приготовиться и начал громко считать: «Раз, два»... (Кузмин, не в силах стоять, сел на снег и заслонился цинковым хирургическим ящиком...) «Три!» — крикнул я. У Гумилева блеснул красноватый свет и раздался выстрел. Прошло несколько секунд. Второго выстрела не последовало. Тогда Гумилев крикнул с бешенством: «Я требую, чтобы этот господин стрелял...» В. проговорил в волнении: «У меня была осечка». «Пусть он стреляет во второй раз, — крикнул опять Гумилев, — я требую этого...» В. поднял пистолет, и я слышал, как щелкнул курок, но выстрела не было... Я подбежал к нему, выдернул у него из дрожавшей руки пистолет и, уже в снег, выстрелил. Гашеткой мне ободрало палец. Гумилев продолжал неподвижно стоять. «Я требую третьего выстрела», — упрямо проговорил он. Мы начали совещаться и отказали. Гумилев поднял шубу, перекинул ее через руку и пошел к автомобилям.

Маковский. На следующее утро в меблированные комнаты на Театральной площади, где проживал кн. Шервашидзе (письмом ко мне подтвердивший в общих чертах этот рассказ А. Толстого), явился квартальный надзиратель. Затем было что-то вроде суда, и присуждено наказание — десятирублевый штраф с каждого из участников.

Много писалось в газетах о поединке «декадентов», с зубо-скальством и преувеличениями. Репортеры «желтой прессы» воспользовались поводом для отместки «Аполлону» за дерзости литературного новаторства; всевозможные «вариации» разыгрывались на тему о застрявшей в глубоком снегу калоше одного из дуэлянтов. Не потому ли укрепилось за Волошиным насмешливое прозвище «Вакс Калошин»? Саша Черный* писал:

*Боже, что будет с моей популярностью,
Боже, что будет с моим кошельком?
Назовет меня Пильский дикой бездарностью,
А Вакс Калошин — разбитым горшком.*

На самом деле завязнувшая в снегу калоша принадлежала секунданту Гумилева Зноско-Боровскому.

От примирения поэты отказались. Я не помню, чтобы и позже они протянули друг другу руки. Встречаясь в редакции или на заседаниях «Поэтической академии», просто не замечали друг друга...

Волошин. После этого я встретился с Гумилевым только один раз, случайно, в Крыму, за несколько месяцев до его смерти... Я давно думал о том, что мне нужно будет сказать ему, если мы с ним встретимся. Поэтому я сказал: «Николай Степанович, со времени нашей дуэли прошло слишком много разных событий такой важности, что теперь мы можем, не вспоминая о прошлом, подать друг другу руки». Он нечленораздельно пробормотал мне что-то в ответ, и мы пожали друг другу руки. Я почувствовал совершенно неуместную потребность договорить то, что не было сказано в момент оскорбления: «Если я счел тогда нужным прибегнуть к такой крайней мере, как оскорбление личности, то не потому, что сомневался в правде Ваших слов, но потому, что Вы об этом сочли возможным говорить вообще». «Но я не говорил. Вы поверили словам той сумасшедшей женщины... Впрочем... если Вы не удовлетворены, то я могу отвечать за свои слова, как тогда...»

* Черный, Саша (Александр Михайлович Гликберг) (1880–1932) — русский поэт, прозаик, получивший широкую известность как автор популярных лирико-сатирических стихотворных фельетонов.



Это были последние слова, сказанные между нами. В это время кто-то ворвался в комнату и крикнул ему: «Адмирал Вас ждет, миноносец сейчас отваливает!»...

Маковский. Причина увесистой пощечины Волошина так и осталась неразъясненной. По крайней мере — для меня. Ясно было как будто одно: Волошин счел нравственным долгом своим «прочитать» Гумилева за оскорбление женщины, бывавшей у него, Волошина, на его крымской даче в Коктебеле. Но кто была она?

Многие полагали, что она и есть, каким-то образом, та самая Черубина де Габриак, что будто бы ее Гумилев и обидел... Волошину все это создавало ореол «рыцаря без страха и упрека»...

Гюнтер. Я испугался, потому что, в отличие от других, я-то знал, в чем тут причина. То была месть Дмитриевой. Она наверняка пожаловалась своему другу Волошину, который, похоже, был с нею все еще тесно связан, и Волошин, имевший еще с лета зуб на Гумилева, теперь не сдержался

Но пока еще никто, кроме меня, не знал, что этот скандал произошел в тени соблазнительной, но болезненной Черубины де Габриак. Должен ли я был молчать об этом?

Однако мне нельзя было говорить, я хоть и случайно вляпался в эту паутину, сотканную печальной красотью и озлобленными призраками, но дал слово молчать...

Зноско и Кузмин подробно поведали мне о всех фазах инцидента. Имя Черубины де Габриак при этом не было произнесено... (Оно и не могло быть произнесено, потому что Волошин молчал.)

Маковский. Беседы мои с Черубиной возобновились тотчас по ее возвращении. Вместо голоса «двоюродной сестры» опять зазвучал в телефонной трубке волшебный полусшепот «инфанти», и мне казалось, что он, этот милый голос, еще нервнее отзывался на мое увлечение... Я стал нетерпеливо требовать встречи, и казалось мне, что Черубина отклоняла ее менее решительно: видимо, ее пугала мысль, как бы в конце концов не прекратились наши призрачные отношения. При этом она умела необыкновенно по-женски хитро сдерживать мои порывы, отшучиваясь, чуть иронизируя и над собой и надо мной и убеждая меня потерпеть еще немного...

Давно уже перестал я делиться с приятелями по «Аполлону» моими впечатлениями о Черубине. Чувство росло в ревнивом одиночестве. Происходило то, что Стендаль в своей книге «О любви» определяет как «кристаллизацию» чувства. Тревожило меня и здоровье Черубины. Удалось ли ей заграничное лечение? Ее успокоительным заверениям не слишком верилось: в юные годы (а ведь ей всего восемнадцать) легочные заболевания опасны, в конце концов — может быть, именно болезнь и мешает ей открыться мне? Обреченная на роковую немощь, она не хочет искушать счастья...

Ее стихами я занят был уже значительно меньше. И не я один. Стихи — как стихи, не без риторических перепевов с чужого голоса, иногда — словно переводные, выдуманные, не свои... Но важно то, что эти стихи все же вскрывали душу существа необычайного, она-то и овладела мной. Эта необыкновенная девушка становилась для меня именно той, о которой так легко мечтается в молодые годы, той, кого популярный тогда в кругу «Аполлона» Вилье де Лиль-Адан назвал — в своем знаменитом романе — l'Ève future, той, кому приписываешь все совершенства, подсказанные еще не проученным жизнью воображением. И как верилось страданию этой замученной «Христовой невесты», скорбным и мятежным ее признаниям, обращенным к Игнацию де Лойола:

*Мечтою близка я гордыни,
Во мне есть соблазны греха,
Не ведаю чистой святости...
Плоть Христова, освяти меня!*

*Как дева угасшей лампы,
Отвергшая зов Жениха,
Стою у небесной ограды...
Боль Христова, исцели меня!*

*И дерзкое будит раздумье
Для павших безгласная дверь:
Чти если за нею безумье?
Страсть Христова, укрепи меня!*

*Объятая трепетной дрожью
Понять не хочу я теперь,
Что мудрость считала я ложью...
Кровь Христова, опьяни меня!*



Иннокентий Анненский, которому я поверял свою романтическую тревогу (значительно ее преуменьшая), один Анненский отнесся к Черубиний де Габрик не то что несочувственно, а недоверчиво, скептически, вчитываясь в ее стихи с тем удивительным умением проникать в авторскую душу, каким он отличался от простых смертных.

— Нет, воля ваша, что-то в ней не то. Не чистое это дело, — говорил он.

Однако это не помешало ему уделить Черубине несколько строк в своей статье о поэтессах — «Оне».

Но Анненский так и умер, не узнав «тайны» Черубины.

От царскосельского кладбища, после его похорон, я ехал на извозчике с Волошиным, развивавшим мне свой взгляд на смерть и на мертвых,

— Воображаю, как он теперь удивляется в новой... обстановке.

— Кто «он»?

— Иннокентий Федорович.

— То есть как? — недоумевал я и тут вспомнил, что Волошин убежденный оккультист и что для него умершие души пребывают сначала в «астрале», в некоем полубытии, параллельном земному, и лишь постепенно из этого подобия жизни восходят в высшие миры...

Волошин продолжал своим вкрадчивым, улыбчивым голосом:

— Люди, умирающие скоропостижно (как Иннокентий Федорович), не успевши приготовиться к иному существованию в другом измерении, бесконечно изумлены в первое время, что все вокруг них словно так, да не так... Вот спешит он на лекцию и никак не может найти нужной книги (что часто бывает во сне), и тело у него будто невесомое, насквозь стен проходит, и предметы, чего нехватишься, ускользают, и страшные возникают образы, исчадия загробного полусуществования... Положение трудное. Многие от неожиданности, догадавшись внезапно, что они — мертвые, сходят с ума...

Волошин это «сходят с ума» произнес особенно улыбчивым голосом, и меня отшатнуло от него в эту минуту: он показался мне другим каким-то: или не совсем нормальным, или уж очень бессердечно-умствующим философом, смакующим приключения своей фантазии даже перед гробом друга, только что опущенным в могилу. Иначе говоря — эстетом невысокого уровня... И впечатление это усилилось впоследствии, когда наконец разоблачилась и таинственная Черубина де Габриак. Но теперь, на отдалении полувека, опять все представляется мне иначе...

Волошин. Вячеслав Иванов, вероятно, подозревал, что я — автор Черубины, так как говорил мне: «Я очень ценю стихи Черубины. Они талантливы. Но если это — мистификация, то гениально». Он рассчитывал на то, что «ворона каркнет». Однако я не каркнул. А. Н. Толстой давно говорил мне: «Брось, Макс, это добром не кончится».

Черубина написала Маковскому последнее стихотворение. В нем были строки:

*Милый друг, Вы приподняли
Только край моей вуали...*

Гюнтер. Однажды Кузмин отвел меня в сторонку и спросил, знаю ли я, кто такая Черубина де Габриак. Я ответил, что знаю, но обещал молчать. И тогда он спокойным тоном спросил, буду ли я и дальше молчать, если он мне откроет, что стихи Черубины сочиняла Дмитриева по инициативе Волошина и в соавторстве с ним.

Я сказал ему, что дело зашло так далеко, что мне, пожалуй, и впрямь пора прекратить эту игру, чтобы избежать новых трагедий. Пусть он позвонит Дмитриевой и передаст от меня, что дело раскрыто и что ей надо не мешкая пойти к Маковскому и самой ему все рассказать...

Маковский. Тогда я еще был далек от правды. Мой «роман» продолжался, заманивая меня все глубже в омут безысходной мечты. Между тем не мог я не заметить, что кое-кто из прежних поклонников Черубины начал отзываться о ней насмешливо. Наконец, Кузмин приехал меня предупредить:

— Дело зашло слишком далеко. Надо положить конец недостойной игре! Вот номер телефона: позвоните хоть сейчас. Вам ответит так называемая Черубина... Да вы, пожалуй, и сами догадываетесь? Она — никто иной, как поэтесса Елизавета Ивановна Дмитриева, ненавистница Черубины, школьная учительница, приятельница Волошина. А пресловутая ее «кузина» — Брюллова, из ее квартиры обе и звонят к вам...

Нет! До того я ни о чем не «догадывался». Нет, я не предполагал никакой мистификации, сознаюсь честно. Миф Черубины, которому так единодушно поверили аполлоновцы, подействовал на меня с гипнотической силой.



От разоблачения Кузмина я не мог придти в себя. В первые минуты даже отверг его обиженно. Слишком осязаемым стал для меня образ Черубины, слишком настоящими представлялись наши отношения, — никогда, казалось, ни с одной женщиной до тех пор не совпадала полнее моя мечта о женщине. Нет, я Кузмину не поверил...

Я перестал «не верить» лишь после того, как на мой телефонный звонок по номеру, указанному Кузминым, действительно отозвался — тот, ее, любимый, волшебный голос. Но и тогда я продолжал надеяться, что все кончится к лучшему. Ну что же, — соображал я, — пусть исчезнет загадочная рыжеволосая «инфанта», — ведь я и раньше знал, что на самом деле она не совсем такая, какой себя рисует. Пусть обратится в какую-то другую, в какую-то русскую девушку, «выдуманную себя», чтобы вернее мне нравиться, — ведь она добилась своим умом, талантом, всеми душевными чарами того, что требовалось; стала близкой мне той близостью, когда наружность, а тем более романтические прикрасы перестают быть главным, когда неотразимо действует «сродство душ»... Кто эта школьная учительница Дмитриева, ненавистница Черубины, околдовавшая меня Черубиной? Я совершенно не представлял себе ее внешности. Знал только, что она молода и что кругом восхищались ее острословием, едкостью стихотворных пародий. Ах, лишь бы что-нибудь в ее плотском облике напоминало чудесный мираж, живший в моем воображении! Пусть даже окажется она совсем «так себе», незаметной, ничуть не красивой, я готов был примириться на самом малом; только бы окончательно не потерять вскормленного сердцем призрака. Все это вихрем пронеслось во мне... Но по телефону я обратился к ней сухо, деловито, полунасмешливо, как человек, давно догадавшийся, что с ним «ломают комедию». Голос, каким она ответила, был голосом раненной насмерть лани. Стоном вырвалось:

— Вы? Кто вам сказал?

— Боже мой, неужто в самом деле вы думали, что я не в курсе всей интриги? Но теперь время — поставить, точки на *i* и разойтись а *l'amiable*. Лучше всего, заезжайте-ка ко мне. Хоть сейчас. За чашкой чаю обо всем и потолкуем...

Было десять вечера, когда раздался ее звонок. Я стал прислушиваться к шагам горничной, побежавшей на звонок в переднюю, затем к ее, Черубининым, шагам... Сердце мое стучало. В эту минуту судьба произносила свой приговор, в душе с самого затаенно-дорогого срывался покров.

Дверь медленно, как мне показалось, очень медленно растворилась, и в комнату вошла, сильно прихрамывая, невысокая, довольно полная темноволосая женщина с крупной головой, вздутым чрезмерно лбом и каким-то поистине страшным ртом, из которого высовывались клыкообразные зубы. Она была на редкость некрасива. Или это представилось мне так, по сравнению с тем образом красоты, что я выносил за эти месяцы? Стало почти страшно. Сон чудесный канул вдруг в вечность, вступала в свои права неумолимая, чудовищная, стыдная действительность. И сделалось до слез противно и вместе с тем жаль было до слез ее, Черубину...

Я усадил мою гостью в кресло, налил чаю. Она сразу заговорила. Так, до конца свидания, кажется, и не удалось мне вставить ни слова.

Смысл ее взволнованной, сбивчивой речи был такой:

— Вы должны великодушно простить меня. Если я причинила вам боль, то во сколько раз больше мне самой. Подумайте. Ведь я-то знала — кто вы, я-то встречала вас, вы-то для меня не были тенью! О том, как жестоко искупаю я обман — один Бог ведает. Сегодня, с минуты, когда я услышала от вас, что все открылось, с этой минуты я навсегда потеряла себя: умерла та единственная, выдуманная мною «я», которая позволяла мне в течение нескольких месяцев чувствовать себя женщиной, жить полной жизнью творчества, любви, счастья. Похоронив Черубину, я похоронила себя и никогда уж не воскресну...

На прищуренных глазах показались слезы, и голос, которым я так привык любоваться, обратился в еле слышный шепот.

Она ушла, крепко пожав мне руку. Больше мы не встречались. Говорили, что она уехала в провинцию (я забыл — в какой город). Но последнее слово осталось за мною: в газетке этого провинциального города я поместил, через знакомого журналиста, сонет, посвященный Черубине. Содержание этих четырнадцати строк из моей памяти испарилось...

Гюнтер. А месяц спустя в «Аполлоне» появилась — с красивыми виньетками Евгения Лансере* и с сопроводительными словословиями — подборка блаженной памяти Черубины де Габриак, вскружившей голову целой редакции и ставшей опасным символом умирающего символизма.

* Лансере, Евгений (1975–1946) — русский и советский художник. Народный художник РСФСР. Заслуженный деятель искусств Грузинской ССР.



Зачем Максимилиан Волошин, поэт и оккультист, произвел на свет этот несчастный трюк, так никогда и не прояснилось. Однако поэтесса Марина Цветаева годы спустя как-то призналась, что Волошин долгое время приставал и к ней, соблазняя затеять подобную же игру с Брюсовым. Глубинные мотивы и в этом случае остались непроясненными. Искусство ради искусства. Игра ради игры...

Волошин. Он (Маковский — И. Т.) подозревал о моем сообщничестве с Лилей и однажды спросил меня об этом, но я, честно глядя ему в глаза, отрекся от всего. Мое отречение было встречено с молчаливой благодарностью...

Маковский. Черубина была выдумана Волошиным. Он изобрел эту игру «в таинственную красавицу» для благоговевшей перед ним некрасивой женщины, одаренной острым умом и литературными способностями, но сознававшей недостатки своей внешности и от этого глубоко несчастливой. Он убедил ее вообразить себя другой — прекрасной, желанной, неотразимо-пленительной в образе какой-то веласкезовской героини. Мало того: помогая ей воплотить этот призрак, Волошин насытил его своей собственной мечтой о женщине непостижимо-обаятельной и, таким образом, оказался творцом вдвойне: он создавал призрачную душу и пересоздавал живого человека. Что касается меня лично, то я нужен был ему, вероятно, в этой игре как пробный камень. И пусть Димитриева, поддавшись соблазну игры, может быть, и не рассчитана своих сил... Не знаю. Но Волошин над этими житейскими последствиями не задумывался. Слишком увлечен был «экспериментом» в четырех своих ролях одновременно: в роли самой «Черубины», в ролях друга Димитриевой и моего друга и в роли поэта-демиурга (вдобавок — и собственного критика-астролога).

Волошин сам полюбил Черубину, не Димитриеву, конечно, а ту, вымышленную, созданную и возвеличенную им самим. Черубина была его «Незнакомкой», и, вероятно, ее воображал он, когда писал одно из своих стихотворений — «Она»:

*В напрасных поисках за ней
Я исследил земные тропы
От Гималайских ступеней
До древних пристаней Европы.*

*Она забытый сон веков,
В ней несвершенные надежды:
Я шорох знал ее шагов
И шелест чувствовал одежды.*

*Тревожа древний сон могил,
Я поднимал киркою плиты...
Ее искал, ее ловил
В чертах Микенской Афродиты.*

*Пред нею падал я во прах,
Целуя пламенные ризы
Царевны Солнца-Таиах
И покрывало Монны-Лизы...*

Дмитриева. Вот и всё. Но только теперь, оглядываясь на прошлое, я вижу, что Н. С. отомстил мне больше, чем я обидела его. После дуэли я была больна, почти на краю безумия. Я перестала писать стихи, лет пять я даже почти не читала стихов, каждая ритмическая строчка причиняла мне боль; — я так и не стала поэтом — передо мной всегда стояло лицо Н. Ст. и мешало мне. Я не смогла остаться с Макс. Ал. — В начале 1910 г. мы расстались, и я не видела его до 1917 (или 1916-го?).

Я не могла остаться с ним, и моя любовь и ему принесла муку. А мне? До самой смерти Н. Ст. я не могла читать его стихов, а если брала книгу — плакала весь день. После смерти стала читать, но и до сих пор больно.

Я была виновата перед ним, но он забыл, отбросил и стал поэтом. Он не был виноват передо мной, очень даже оскорбив меня, он еще любил, но моя жизнь была смята им — он увел от меня и стихи и любовь...

И вот с тех пор я жила не живой; — шла дальше, падала, причиняла боль, и каждое мое прикосновение было ядом. Эти две встречи всегда стояли передо мной и заслоняли всё: а я не смогла остаться ни с кем.

И это было платой за боль, причиненную Н. Ст.: у меня навсегда были отняты и любовь и стихи.

Остались лишь призраки их...

Между Черубиной 1909–1910 гг. и ею же с 1915 г. и дальше — лежит очень резкая грань. Даже не знаю — одна она и та же или



уже та умерла. Но не бросаю этого имени, потому что чувствую еще в душе преемственность и, не приемля ни прежней, ни настоящей Черубины, взыскую грядущей. Я еще даже не знаю, поэт я или нет. Может быть, мне и не дано будет узнать это. Одно верно — нечто от Сивиллы есть во мне — только это горечь уже: в наше время нести эту нить из прошлого, Сивиллину муку настоящего, потому что теперь ей не дано ясного прозрения, но даны минуты ясного сознания, что не в ее силах удержать истоки уходящего под землю ключа.

Так в средние века сжигали на кострах измученную плоть для вящей славы духа.

Теперь от мира я иду в неведомую тишину и не знаю, приду ли. И странно, когда меня называют по имени... И я знаю, что я уже давно умерла, — все вы любите умершую Черубину, которая хотела все воплотить в лике... и умерла. А теперь другая Черубина, еще не воскресшая, еще немая...

Не убьет ли эта теперешняя, которая знает, что колдунья, чтобы не погибнуть на костре, должна стать святой, — не убьет ли она облик девушки из Атлантиды, которая все могла и ничего не сумела? Не убьет ли?

Сейчас мне больно от людей, от их чувств и, главное, от громкого голоса.

Душа уже надела схиму...

Маковский. Дмитриева и через десять лет, т. е. уже после революции, продолжала свою литературную деятельность... В 1920 году она работала в Краснодаре, писала стихи и, совместно с С.Я. Маршаком, сочиняла пьесы, которые ставил местный театр для детей. Двумя годами позже ее навестил Волошин, неизменный друг ее и советник. Под его влиянием она увлеклась Штейнером, многие из позднейших ее стихов носят религиозно-антропософский характер. Затем она перебралась в Петербург; там, во время разгрома Академии наук, была арестована и сослана в Соловки (многим ученым, задержанным вместе с нею, в том числе Булгакову и Бердяеву, была дана возможность выезда за границу). Страдавшая туберкулезом коленного сустава, Елизавета Ивановна не перенесла ссылки и вскоре скончалась, то есть около 1925 года...

Лукницкий. Весь вечер провел у АА... Очень долго говорили о Гумилеве, об истории его дуэли с Володиным, и у АА вдруг возник

вопрос: откуда печатавшие ругательные статьи о Гумилеве газеты получили сведения? О фразе Гумилева, сказанной по поводу Дмитриевой, знали только Кузмин, Маковский, Толстой и еще очень немногие сторонники Гумилева. С другой стороны, знали о ней Иоганнес Гюнтер, Волошин и Дмитриева. Кто мог информировать газетных корреспондентов? И во всяком случае, не протокол, потому что протокол в мастерской Головина не был составлен (потому и возможно было газетам место происшествия назвать ресторан «Вену»). Логика подсказывает ответ на вопрос. АА сказала, что совершенно не понимает, что думал Волошин, когда, опорочив себя всем своим отношением к Гумилеву, в свой приезд сюда в 1924 году два раза приходил к ней с визитом — сразу после приезда и перед самым отъездом... и, казалось бы, скомпрометировав себя до того, что ему пришлось навсегда уехать из Петербурга — его здесь не хотели принимать ни Вячеслав Иванов, ни Анненский, ни другие...





Надежда Войтинская*

Я встречалась с ним (с Гумилевым. — *И. Т.*) осенью 1909 г. и весной 1910 г. Я уехала за границу и в Сибирь и вернулась только к весне 1911 г., а осенью 1911 г. он был у нас с Анной Андреевной, потом я была у них в Царском Селе, потом я уж не встречала его никогда.

Я бывала с ним на разных вечерах. На Галерной улице Зноско-Боровский устраивал что-то, шла какая-то его пьеса. Кажется, «Коломба» или «Смерть Коломбины». Были там Кузмин, Ауслендер...

...Салонный жанр в редакции был от трех до пяти часов. Люди приходили, встречались, развлекались, иногда заходили в кабинет к Маковскому, с ним разговаривали.

Установка (в «Аполлоне». — В. Л.) была на французское искусство, и это поручено было Николаю Степановичу — насаждать и теоретически и практически французских лириков, группу «Abbaye» (молодые французские поэты начала века — Ж. Ромен, Вильдрак, Мерсеро и др.).

Днем он позировал один. А по вечерам у нас бывали гости. Приходил он и его приятели: Кузмин, Зноско, Ауслендер... Маковский у нас не бывал.

На Анненского больших надежд не возлагалось из *piet te'a*. Его считали патриархом. Анненскому он поклонялся очень.

Он (Гумилев. — *И. Т.*) не любил болтать, беседовать, все преподносил в виде готовых сентенций, поэтических образов. Дара легкой болтовни у него не было. У него была манера живописать. Он «исчезал» за своими впечатлениями, а не рассказывал. Он прекрасно читал стихи.

Он говорил, что его всегда должна вдохновлять какая-либо вещь, известным образом обставленная комната и т. п. В этом смысле он был фетишистом. В Царском Селе, под ферулой строгого отца и брата офицера, он вдохновляться не мог. Ему не хватало экзотики. Он создал эту экзотику в Петербурге, сделав себе маленькое ателье на Гороховой улице. Он утверждал, что позировать нужно и для того, чтобы писать стихотворение, и просил меня позировать ему. Я удивлялась: «Как?» Он: «Вы увидите «*entourage*»». Я пришла в ателье, там была черепаха, разные экзотические шкуры зверей... Он мне придумал какое-то странное одеянье, и я ему позировала, а он писал стихотворение «Сегодня ты придешь ко мне...»

* Войтинская, Надежда (в замужестве Левидова) (1886–1965) — русская советская художница, переводчица, писательница, литературовед.

...Зимой 1909 года он у нас бывал раза два в неделю. В сущности, мы не были дружны, всегда пререкались, но приходил он по инерции. Папа и мама к нему хорошо относились. Когда он бывал на собраниях где-нибудь, и было поздно возвращаться в Царское Село, он приходил ночевать, спал у папы в кабинете.

Часто я даже не знала, что он пришел, и только утром встречала его. Он был увлечен парнасцами, знал наизусть Леконта де Лиля, Эредиа, Теофиля Готье.

Он благоговейно относился к ремеслу стихосложения... Он поражал всех тем, что придавал больше значения форме и словесным тонкостям. Он был формалистом до формалистов. Он готовился быть мэтром. Он благоговел перед поэзией Вячеслава Иванова гораздо больше, чем перед поэзией Брюсова. В смысле поэзии считал меня варваром. Живописью совершенно не интересовался, французской — немного. Он был изувер, ничем не относящимся к поэзии не интересовался, все — только для поэзии.

Он любил экзотику. Я экзотики не любила, и он находил это непростительным и диким. Он подарил мне живую большую зеленую ящерицу и уверял меня, что она приносит счастье. Чтобы реваншироваться, я подарила ему маленькую безделушку — металлическую ящерицу. Перед дуэлью он говорил мне, что эта безделушка предохранит его от несчастья...

Он проповедовал кодекс средневековой рыцарственности. Было его стихотворение о Даме, и он меня всегда называл «Дамой». Ни капли увлечения ни с его, ни с моей стороны, но он инсценировал поклонение и увлечение. Это была чистейшая игра.

Он мужественно переносил насмешки. Он приехал зимой в Териоки. Я смеялась, что он считал недостатком носить калоши. У него было странного покроя, в талию, «а-ля Пушкин», пальто. Цилиндр. У меня подруга гостила. Мы пошли на берег моря. Я бросила что-то на лед... «Вот, рыцарь, достаньте эту штуку». Лед подломился, и он попал в ледяную воду в хороших ботинках.

Он никогда, и я не видела, чтобы он когда-нибудь рассердился. Я его дразнила, изводила. Он умел сохранить торжественный вид, когда над ним смеялись. Никогда не обижался. Он был недоступен насмешке. Приходилось переставать смеяться, так как он серьезно отвечал и спокойно.

Очень сильная мимика рта, глаза полузакрыты, сильно пальцами двигал, у него были длинные выразительные руки.



В его репертуаре громадную роль играло самоубийство: «Вы можете потребовать, чтоб я покончил самоубийством» — была мелочь...

Он должен был не забыть сделать что-нибудь. Я сказала: «А если забудете?» — «Вы можете потребовать, чтобы я покончил с собой».

Было два письма из Африки и «Жемчуга» с надписью. Я ведь ни малейшего значения не придавала знакомству с Николаем Степановичем...



Софья Эрлих*

...Когда настала осень, я вернулась к Петербургу, университету, к «Кружку молодых». В моей тетради появилось много новых стихов, и все настойчивее становилось желание отдать на суд настоящего критика те их них, которые казались мне законченными. Я перечитывала их, переделывала, и в конце концов выбрала три стихотворения и решила послать их в редакцию «Аполлона», журнала, посвященного литературе и искусству. В противоположность московским «Весам», «Аполлон» был очагом недавно возникшего акмеизма. Сомнения мучили меня до последней минуты, и когда конверт очутился в почтовом ящике, я стояла на углу нашей улицы, стиснув зубы: если бы это было возможно, я бы вернула его из ящика.

Не прошло и недели, как я держала в руках плотный конверт с печатью «Аполлона». Редактор отдела поэзии Н. Гумилев извещал меня, что стихи эти появятся в одной из ближайших книжек, и приглашал зайти в редакцию побеседовать.

С замиранием сердца перечитывала я строки, принесшие невероятную, радостную весть. Хотелось сорваться с места и помчаться на свидание с редактором (я знала строгие, четкие стихи Гумилева и ценила его мастерство, но моим любимым поэтом он не был). Разум, однако, подсказывал сдержанность — я решила подождать два дня.

Редакция помещалась в сумеречном доме, где пахло старинной. Когда я вошла в просторный кабинет с лепным потолком, навстречу поднялся высокий, статный человек. Запомнилось мне ощущение твердости: твердость чувствовалась в рукопожатии, в почти военной выправке, в зорком, внимательном взгляде слегка косящих светлых глаз, в чуть глуховатом голосе.

Почти с первых слов я ощутила себя ученицей, которой предстоит экзамен. Гумилеву явно хотелось выяснить, что представляет собой молодой, начинающий автор. Внешние данные (студентка, член «Кружка молодых») мало обо мне говорили. Моего собеседника, сразу же вошедшего в роль ментора, интересовало мое литературное прошлое. Когда на вопрос о моих любимых поэтах я назвала Фета и Тютчева, Гумилев одобрительно кивнул. Он сказал: «Это хорошая Школа». Хуже обстояло дело с иноязычной литературой.

* Эрлих Софья (урожд. Дубнова) (1885–1986) — поэтесса, театральный критик, переводчица.



Меня поставил в тупик вопрос о Теофиле Готье: пришлось признаться, что я о нем почти ничего не знаю. Гумилев нахмурился, посоветовал пополнить этот пробел в моем литературном образовании и спросил, кого я люблю из французов. Я собралась с духом и решимостью пловца, бросающегося в пучину, назвала имя, которое не могло прийти по вкусу моему собеседнику: я чувствовала, что не могла изменить любимцу юных лет, автору «93 года», «Отверженных», стихов о революции. Услышав имя Виктора Гюго, Гумилев в горьком раздумьи забарабанил пальцами по столу: мои литературные вкусы показались ему подозрительными. Мы заговорили об акмеизме, и мой собеседник принял ясно и уверенно излагать программу нового поэтического мировоззрения. Беседу прервал угрюмый сторож, появившийся со связкой ключей и заявивший, что должен запереть квартиру.

Гумилев предложил продолжить нашу беседу в находящемся неподалеку ресторане. Я была удивлена, когда он ввел меня не в общий зал, а в отдельный кабинет, и сразу почувствовала, как изменился тон разговора. Приглушенный свет лампы под темнокрасным абажуром, вино в бокалах, — Гумилев часто подливал мне и себе, но я отпивала понемногу, он создавал казавшуюся мне натянутой и несколько тяжелую атмосферу интимности. Понизив голос, Гумилев заговорил о себе, рассказал, что у него есть невеста в Царском Селе, и уже шьют белое подвенечное платье, потом спросил, читала ли я недавно напечатанное стихотворение Брюсова — смелый поэтический манифест. Я знала эти чеканные стихи, они говорили о том, что «все в жизни лишь средство для вечно певучих стихов» и что душевные переживания ценны для поэта не сами по себе, а как материал для творчества. Для Гумилева эти слова были символом веры; повторяя их, он разгорячился, на лбу выступили красные пятна, он рассказал мне, что недавно, мучаясь потребностью писать, он прижал к ладони зажженную папиросу и заставил себя терпеть боль, а потом сел к столу и написал стихи. Поэтическое творчество требует преодоления. Поэтому девушка, которая хочет быть поэтом, должна научиться преодолевать девичью стыдливость.

Я сказала, что считаю Брюсова большим мастером поэтического слова и люблю некоторые его стихи, но не собираюсь следовать его совету. Мне думается, что превращая самые интимные наши переживания в средство для писания стихов, мы не достигнем полноты ни в любви к людям, ни в поэтическом творчестве.



Атмосфера становилась напряженной, я почувствовала, что должна уйти, и сказала, что придется закончить нашу беседу, — меня ждут.

Пристально и почти вызывающе глядя мне в глаза, он спросил: «Вас ждет друг?» Мне было ясно, что надо ответить утвердительно, чтобы подняться и уйти. Гумилев проводил меня, посадил в сани. При свете фонарей его лицо показалось мне серым, осунувшимся. Мы молча расстались.

Прошло несколько недель, и настал день, когда я, почти не веря своим глазам, держала в руках журнал с моими стихами.

В печатном виде они казались мне более значительными, я вглядывалась в строки, явившиеся для меня чем-то новым.

Теперь мне ясно, что слова звучат по-разному в разные времена. И когда в настоящее время, подготавливая к печати сборник «Стихи разных лет», я стала перелистывать «Осеннюю свирель», смутно и глухо прозвучали для меня многие обороты, явно навеянные поэзией символистов. Невольно пришло в голову, как мог акмеист Гумилев этого не заметить...

Лукницкий. 26.02.1910 г. АА поехала в Царское Село к Гумилеву. Случайно оказалась в одном вагоне с Мейерхольдом*, Кузминым, Зноско и др. (ехали к Гумилеву), с которыми еще не была знакома. Гумилев встретил их на вокзале, предложил всем ехать прямо к нему, а сам направился на кладбище, на могилу И. Анненского. По возвращении домой познакомил АА со всеми присутствующими (не сказав, однако, что АА — его невеста. Он не был уверен, что свадьба не расстроится). В этот период Гумилев показал ей корректуру «Кипарисового ларца».

АА: «»Все каменные циркули и лиры» — мне всю жизнь кажется, что Пушкин это про Царское сказал, и еще потрясающее: «в великолепный мрак чужого сада» — самая дерзкая строчка из когда-нибудь прочитанных или услышанных мною».

Анна Гумилева. Ранней весной 1910 года С. Я. скончался. После его смерти жизнь в семье Гумилёвых сильно изменилась даже внешне. Отцовский кабинет перешел Коле, и он в нем все

* Мейерхольд, Всеволод (1874–1940) — великий русский советский театральный режиссёр, актёр и педагог. Теоретик и практик театрального гротеска, автор программы «Театральный Октябрь» и создатель актёрской системы, получившей название «биомеханика».



переставил по-своему. Как часто добрые по существу люди бывают подчас неделикатны и даже эгоистичны! Помню, не прошло и семи дней, как пришла ко мне в комнату расстроенная А. И. и жаловалась на колину нечуткость. «Не успели отца похоронить, — говорила она, — как Коля стал устраиваться в его кабинете. Я его прошу подождать хоть две недели, мне же это слишком тяжело! А он мне отвечает: я тебя, мамочка, понимаю, но не могу же я постоянно работать в гостиной, где мне мешают. Дмитрий и Аня так часто и надолго приезжают, что мне всегда приходится уступать им свой кабинет». Без ведома А. И. я сейчас же пошла убеждать Колю повременить, но мои доводы на него не подействовали, он только посмеялся над моей сентиментальностью.

В дом влилось много чуждого элемента. Весною 25-го апреля этого же года поэт женился на Анне Андреевне Горенко (Ахматовой). Свадьбу отпраздновали спокойно и тихо ввиду траура в семье...

Лукницкий. АА: «В Париже, в 1910 г., в кафе просил французских поэтов читать стихи. Они отказались. Николай Степанович очень удивился».

Я просил АА рассказать о пребывании ее с Николаем Степановичем в Париже в 1910 году. АА стала рассказывать подробно — о выставках, о музеях, о знакомых, которых они видели, о книгах, которые Николай Степанович покупал там (целый ящик книг он отправил в Россию — там были все новые французские поэты, был и Маринетти, тогда появившийся на сцене, и другие). Бывал у них Шюзевиль. Николай Степанович бывал у него. АА у Шюзевилья не была ни разу — он служил в какой-то иезуитской коллегии учителем, жил там, и женщинам входить туда считалось неудобным.

Разговор перекинулся на тему о чопорности и торжественности Николая Степановича. АА утверждает, что он совершенно не был таким на самом деле. Говорит, что до замужества она, пожалуй, тоже так думала. Но она была приятно удивлена, когда после замужества увидела действительный облик Николая Степановича — его необычайную простоту, его «детскость» (мое выражение. — П. Л.), его любовь к самым непринужденным играм; АА, улыбнувшись, вспомнила такой случай.

Однажды, в 1910 г., в Париже, она увидела бегущую за кем-то толпу и в ней — Николая Степановича. Когда она спросила его, зачем он бежал, он ответил ей: что ему было по пути и так — скорее,

поэтому он и побежал вместе с толпой. И АА добавила: «Вы понимаете, что такой образ Николая Степановича, бегущего за толпой ради развлечения, немножко не согласуется с представлением о монокле, о цилиндре и о чопорности, — с тем образом, какой остался в памяти мало знавших его людей...»

О десятом годе АА рассказывала долго и плавно. Сказала, что о двенадцатом годе — о путешествии в Италию — она не могла бы рассказать так плавно. Задумалась, помолчала, добавила: «Не знаю почему... Должно быть, мы уже не так близки были друг другу... Я, вероятно, дальше от Николая Степановича была...»

...В 1910 г., на обратном пути из Парижа, в Берлине, АА должна была почему-то пересесть в другое купе. Вошла. В купе сидело три немца в жилетах. Жара была страшная. Увидев АА, они встали надели пиджаки... Потом стали болтать между собой о том, что надели они пиджаки, потому что это русская дама. А если бы это была немка — конечно, не надели бы.

И АА весело проговорила: «...Русская дама — а русской даме 19 лет было!»

Потом два немца легли на верхние полки, а третий — на нижнюю, против АА... Говорил ей, что хочется ехать за ней, куда бы они ни поехала, болтал долго, и АА стоило труда объяснить, что она едет в деревню к родным, и что за ней нельзя ехать... И этот немец не спал и восемь часов смотрел на нее...

Утром АА рассказала о нем Николаю Степановичу, и тот вразумительно сказал ей: «На Венеру Милосскую нельзя восемь часов подряд смотреть, а ведь ты же не Венера Милосская!..»

АА: «Не забывайте этого, душенька, потому что выйдет, что я хвастаюсь».

И рассказала что, когда она первый раз была на «башне» у В. Иванова, он пригласил ее к столу, предложил ей место по правую руку от себя, то, на котором прежде сидел И. Анненский. Был совершенно невероятно любезен и мил, потом объявил всем, представляя АА: «Вот новый поэт, открывший нам то, что осталось нераскрытым в тайниках души И. Анненского...» АА говорит с иронией, что сильно сомневается, что «Вечер» так уж понравился В. Иванову, и было даже чувство неловкости, когда так хвалили «девчонку с накрашенными губами...»

А делал все это В. Иванов со специальной целью — уничтожить как-нибудь Николая Степановича, уколоть его (конечно,

не могло это в действительности Николая Степановича уколоть, но В. Иванов рассчитывал).

Когда АА читала стихи «Вечера» на «башне» или в других местах, люди спрашивали, что думает Николай Степанович об этих стихах. Николай Степанович «Вечер» не любил. Отсюда создается впечатление, что он не понимает, не любит стихов АА.

Николай Степанович никогда, ни в «Академии стиха», ни в других местах не выступал с критикой стихов АА, никогда не говорил о них. АА ему запретила.

Ахматова говорит: «Ни прельстителем, ни соблазнителем Вячеслав Иванов для нас (тогдашней молодежи) не был... В эмиграции Вячеслав Иванов стал придумывать себя «башенного» — Вячеслава Великолепного. Никакого великолепия на Таврической не было».



Вера Неведомская*

Судьба свела меня с Гумилевым в 1910 году. Вернувшись в июле из заграницы в наше имение «Подобино» — в Бежецком уезде Тверской губ. — я узнала, что у нас появились новые соседи. Мать Н. С. Гумилева получила в наследство небольшое имение «Слепнево», в 6 верстах от нашей усадьбы. Слепнево собственно не было барским имением, это была скорее дача, выделенная из «Борискова», имения Кузьминых-Караваевых. Мой муж уже побывал в Слепневе несколько раз, получил от Гумилева его недавно вышедший сборник «Жемчуга» и был уже захвачен обаянием гумилевской поэзии.

Я как сейчас помню мое первое впечатление от встречи с Гумилевым и Ахматовой в их Слепневе. На веранду, где мы пили чай, Гумилев вошел из сада; на голове — феска лимонного цвета, на ногах — лиловые носки и сандалии и к этому русская рубашка. Впоследствии я поняла, что Гумилев вообще любил гротеск и в жизни, и в костюме. У него было очень необычное лицо: не то Би-Ба-Бо, не то Пьеро, не то монгол, а глаза и волосы светлые. Умные, пристальные глаза слегка косят. При этом подчеркнуто-церемонные манеры, а глаза и рот слегка усмеваются; чувствуется, что ему хочется созорничать и подшутить над его добрыми тетушками, над этим чаепитием с вареньем, с разговорами о погоде, об уборке хлебов и т. п.

У Ахматовой строгое лицо послушницы из староверческого скита. Все черты слишком острые, чтобы назвать лицо красивым. Серые глаза без улыбки. Ей могло быть тогда 21-22 года. За столом она молчала и сразу почувствовалось, что в семье мужа она чужая. В этой патриархальной семье и сам Николай Степанович, и его жена были, как белые вороны. Мать огорчилась тем, что сын не хотел служить ни в гвардии, ни по дипломатической части, а стал поэтом, пропадает в Африке и жену привел какую-то чудную: тоже пишет стихи, все молчит, ходит то в темном ситцевом платье вроде сарафана, то в экстравагантных парижских туалетах (тогда носили узкие юбки с разрезом). Конечно, успех «Жемчугов» и «Четок» произвел в семье впечатление, однако отчужденность

* Неведомская Вера (? — ?) — художница, жена В.К. Неведомского — владельца усадьбы Подобино Бежецкого уезда Тверской губернии



все же так и оставалась. Сама Ахматова так вспоминает об этом периоде своего «тверского уединения»:

*Но все мне памятна до боли
Тверская скудная земля.
Журавль у ветхого колодца,
Над ним, как кипень, облака,
В полях скрипучие воротца,
И запах хлеба, и тоска.
И те неяркие просторы,
Где даже голос ветра слаб.
И осуждающие взоры
Спокойных, загорелых баб.*

После чая мы, молодежь, пошли в конюшню смотреть лошадей, потом к старому пруду, заросшему тиной. Выйдя из дома, Николай Степанович сразу оживился, рассказывал об Африке, куда он мечтал снова поехать. Потом он и Ахматова читали свои стихи. Оба читали очень просто, без всякой декламации и напевности, которые в то время были в моде. Расставаясь, мы сговорились, что Гумилевы приедут к нам на другой же день.

Наше Подобино было совсем не похоже на Слепнево. Это было подлинное «дворянское гнездо» — старый барский дом с ампириными колоннами, громадный запущенный парк, овейный романтикой прошлого, верховые лошади и полная свобода. Там не было гнета «старших»: мой муж в 24 года распорядился имением самостоятельно. Были тетушки, приезжавшие на лето, но они сидели по своим комнатам и не вмешивались в нашу жизнь.

Здесь Гумилев мог развернуться, дать волю своей фантазии. Его стихи и личное обаяние совсем околдовали нас и ему удалось внести элемент сказочности в нашу жизнь. Он постоянно выдумывал какую-нибудь затею, игру, в которой мы все становились действующими лицами. И в конце концов мы стали видеться почти ежедневно.

Началось с игры в «цирк». В Слепневе с верховыми лошадьми дело обстояло плохо: выездных лошадей не было, и Николай Степанович должен был вести длинные дипломатические переговоры с приказчиком, чтобы получить под верх пару полурабочих лошадей. У нас же в Подобине, кроме наших с мужем двух верховых лошадей, всегда имелось еще несколько молодых лошадей, которые

предоставлялись гостям. Лошади, правда, были еще мало обьезженные, но никто этим не смущался. Николай Степанович ездить верхом, собственно говоря, не умел, но у него было полное отсутствие страха. Он садился на любую лошадь, становился на седло и проделывал самые головоломные упражнения. Высота барьера его никогда не останавливала и он не раз падал вместе с лошастью.

В цирковую программу входили также танцы на канате, хождение колесом и т. д. Ахматова выступала как «женщина-змея»; гибкость у нее была удивительная — она легко закладывала ногу за шею, касалась затылком пяток, сохраняя при всем этом строгое лицо послушницы. Сам Гумилев, как директор цирка, выступал в прадедушкином фраке и цилиндре, извлеченных из сундука на чердаке. Помню, раз мы заехали кавалькадой человек в десять в соседний уезд, где нас не знали. Дело было в Петровки, в сенокос. Крестьяне обступили нас и стали расспрашивать — кто мы такие? Гумилев не задумываясь ответил, что мы бродячий цирк 2 и едем на ярмарку в соседний уездный город давать представление. Крестьяне попросили нас показать наше искусство и мы проделали перед ними всю нашу «программу». Публика пришла в восторг и кто-то начал собирать медяки в нашу пользу. Тут мы смутились и поспешно исчезли.

В дальнейшем постоянным нашим занятием была своеобразная игра, изобретенная Гумилевым: каждый из нас изображал какой-то определенный образ или тип — «Великая Интриганка», «Дон Кихот», «Любопытный» (он имел право подслушивать, перехватывать письма и т. п.), «Сплетник», «Человек, говорящий всем правду в глаза» и так далее. При этом назначенная роль вовсе не соответствовала подлинному характеру данного лица — «актера», скорее наоборот, она прямо противоречила его природным свойствам. Каждый должен был проводить свою роль в повседневной жизни. Забавно было видеть, как каждый из нас постепенно входил в свою роль и перевоплощался. Наша жизнь как бы приобрела новое измерение. Иногда создавались очень острые положения; но сознание, что все это лишь шутка, игра, останавливало назревавшие конфликты. Старшее поколение смотрело на все это с сомнением и только качало головой. Нам говорили: «В наше время были приличные игры: фанты, горелки, шарады... А у вас — это что же такое? Прямо умопомрачение какое-то!»

Но влияние Гумилева было неизмеримо сильнее тетушкиных поучений. В значительной мере нас увлекала именно известная



рискованность игры. В романтической обстановке старых дворянских усадеб, при поездках верхом при луне и т. п. конечно были увлечения, более или менее явные, и игра могла привести к столкновениям. В характере Гумилева была черта, заставлявшая его искать и создавать рискованные положения, хотя бы лишь психологически. Помимо этого у него было влечение к опасности чисто физической. В беззаботной атмосфере нашей деревенской жизни эта тяга к опасности находила удовлетворение только в головоломном конском спорте. Позднее она потянула его на войну. Гумилев поступил добровольцем в Лейб-Гвардии Уланский полк. Не было опасной разведки, в которую он бы не вызвался. Для него война была тоже игрой — веселой игрой, где ставкой была жизнь. При большевиках он с увлечением составлял заговор среди матросов. Арестованный, он спокойно заявил себя монархистом и непримиримым противником большевизма. Несомненно, что и на расстрел он вышел совершенно спокойно — это входило в правила игры.

Но я забегаю вперед... Мне вспоминается осень 1911 года. В конце августа начались осенние дожди и прекратили наше кочевание по округе. Кому-то явилась мысль о домашнем театре. Мы все забрались в нашу старую библиотеку, где «последней новинкой» было одно из первых изданий Пушкина (там было тоже издание Вольтера, которое можно было читать только в лупу). Все уселись с ногами на диваны, и Николай Степанович стал сочинять пьесу. Называлась она «Любовь отравительница»; место действия — Испания; эпоха — 13-й век. Желания у нас, актеров, были очень пестры: один настаивал, чтобы были введены персонажи итальянской «Комедия дель Арте» — Коломбина, Пьеро, Арлекин и т. д.; другой непременно хотел, чтобы был кардинал, третий требовал яда и смертей, еще кто-то просил для себя роли привидения. И Николай Степанович, шутя, тут же при нас создал пьесу в стихах. Текст пьесы остался в России. В свое время мы все знали его наизусть, но за 40 с лишним лет стихи стерлись из памяти, кроме немногих отдельных строчек. Вот краткое содержание этой пьесы:

Раненый рыцарь, возвращаясь из похода против мавров, падает в провинциальный монастырь. Монашки ухаживают за ним, и он увлекается послушницей, сестрой Марией. Игуменья узнает об этом и возмущена. Влюбленные удручены; но судьба посылает им помощь в лице кардинала, дяди рыцаря. Возвращаясь из Рима от Папы, кардинал по дороге узнает, что его племянник лежит в мо-

настыре раненый, и он заезжает навестить его. Кардинал светский и элегантный, и ему сразу ясна ситуация. Он отзывает игуменью в сторону и между ними происходит очаровательная сцена: кардинал в певучей латинской речи внушает игуменье снисходительность к увлечениям молодежи. Провинциальная игуменья слаба в латыни; она робеет, путается в словах и от конфуза на все соглашается. Фокус Гумилева был в том, что весь разговор был только музыкальной имитацией латыни: отдельные латинские слова и латино-подобные звуки сплетались в стихах, а содержание разговора передавалось только жестами и мимикой.

Казалось бы, все улажено; но судьба создает новое препятствие. В свое время отец рыцаря был убит кем-то неизвестным, и рыцарь связан клятвой мести. Неожиданно появляется друг рыцаря и сообщает, что какая-то старая цыганка, умирая, открыла тайну: отец рыцаря был убит отцом сестры Марии. Долг мести препятствует, браку. Все мрачны и соответственно этому сцена темнеет, сверкает молния, гремит гром и начинается ливень. Стук в монастырские ворота, и жалобные голоса просят приюта на ночь. Это труппа странствующих комедиантов, промокших до нитки. Они отряхиваются, осматриваются и очень быстро уясняют положение дела. Коломбина выступает в защиту любви:

«Христос велел любить!»

Игуменья: «Как сестры и как братья!»

Коломбина: «По всячески и верно без изъятая!»

Обращаясь к рыцарю, комедианты поют:

«Милый дон, что за сон?

Ты ведь юн и влюблен!

Брачного платья мягкий шелк

Забывать поможет тяжкий долг...»

Рыцарь колеблется. Кардинал, любитель театра, просит комедиантов показать свое искусство. Коломбина быстро распределяет роли:

«Ты будь Агамемнон, ты — Гектор, ты — Парис,

Еленой буду я, а это вот нектар...»

(Показывает на бутылочку с лекарством). И в течение нескольких минут они разыгрывают «Прекрасную Елену». Мрачное настроение рассеяно и дело идет к свадьбе. Но тут появляется тень убитого отца и грозит рыцарю проклятьем, если он, забыв святой долг мести, соединится с дочерью убийцы. На этот раз положение



безысходное: рыцарь в отчаянии закаляется, а сестра Мария принимает яд.

Вся пьеса была шаржирована до гротеска. Николай Степанович режиссировал, упорно добываясь ложно-классической дикции, преувеличенных жестов и мимики. Его воодушевление и причудливая фантазия подчиняли нас полностью, и мы покорно воспроизводили те образы, которые он нам внушал. Все фигуры этой пьесы схематичны, как и образы стихов и поэм Гумилева. Ведь и живых людей, с которыми он сталкивался, Н. С. схематизировал и заострял, применяясь к типу собеседника, к его «коньку», ведя разговор так, что человек становился рельефным; при этом «стилизуемый объект» даже не замечал, что Н. С. его все время «стилизует».

Между многочисленными тетушками, приехавшими на лето в нашу усадьбу, была очаровательная тетя Пофинька. Ей было тогда 86 лет. В молодости у нее был какой-то бурный роман, в результате которого она не вышла замуж и законсервировалась, как маленькая, сухенькая мумия. На плечах всегда кружевная мантилька, на руках митенки, на голове кружевная косынка и поверх ее — даже в комнате — шляпа, чтобы свет не слепил глаза. Нам было известно, что тетя Пофинька в течение 50 лет вела дневник на французском языке. Мы все — члены семьи и наши гости — фигурировали в этом дневнике, и Гумилеву страшно хотелось узнать, как мы все отражаемся в мозгу тети Пофиньки. Он повел регулярную осаду на старушку, гулял с нею по аллеям, держал шерсть, которую она сматывала в клубок, наводил ее на воспоминания молодости. Не прошло и недели, как он стал ее фаворитом и приглашался в комнату тети Пофиньки слушать выдержки из заветного дневника. Кончился этот флирт весьма забавно: в одной беседе тетя Пофинька ополчилась на гигантские шаги, которыми мы тогда увлекались, но которые по ее мнению были «неприличными». Для убедительности она рассказала ряд случаев — поломанные ноги, расшибленные головы — все, якобы, на гигантских шагах. Николай Степанович слушал очень внимательно и наконец серьезно и задумчиво произнес: «Теперь я понимаю, почему в Тверской губернии так мало помещиков: оказывается 50% их погребло на гигантских шагах!» Этой иронии тетя Пофинька никогда не простила Н. С. и дневник ее закрылся для него навсегда.

Была и другая тетушка — тетя Соня Неведомская, для своих 76 лет очень еще живая и восприимчивая. Сначала она возмущалась современной поэзией. Потом — нет, нет, да вдруг и попросит:

«Пожалуйста, душка, прочти мне... как это: „Как будто не все пересчитаны звезды, как будто весь мир не открыт до конца...“ Под конец нашей жизни в Подобине, т. е. накануне мировой войны, тетя Соня уже знала наизусть многие стихи Гумилева и полюбила их.

С 1910 по 1914 год мы каждое лето проводили в Подобине и постоянно виделись с Гумилевым. С Н. С. у нас сложились в то время очень дружеские отношения. Помню, осень, если не ошибаюсь, 1912 года. Мы все вместе уезжаем вечерним поездом на зиму в Петербург. На вокзале Гумилев шутя импровизирует:

*Грустно мне, что август мокрый
Наших коней расседлал,
Занавешивает окна,
Запирает сеновал.*

*И садятся в поезд сонный,
Смутно чувствуя покой,
Кто мечтательно влюбленный,
Кто с разбитой головой.*

*И к Тебе, великий Боже,
Я с одной мольбой приду:
Сделай так, чтоб было то же
Здесь и в будущем году.*

Это один из многих экспромтов на домашние темы, которым Н. С. не придавал никакого значения и никогда не помещал в печати.

Ахматова — в противоположность Гумилеву — всегда была замкнутой и всюду чужой. В Слепневе, в семье мужа, ей было душно скучно и неприветливо. Но и в Подобине, среди нас, она присутствовала только внешне. Оживлялась она только тогда, когда речь заходила о стихах. Гумилев, который вообще был неспособен к зависти, ставил стихи Ахматовой в музыкальном отношении выше своих. Я случайно запомнила одно стихотворение Ахматовой, которое, насколько я знаю, не было напечатано:

*Угадаешь ты ее не сразу,
Жуткую и темную заразу,
Ту, что люди нежно называют,
От которой люди умирают.*



*Первый признак — странное веселье,
Словно ты пила хмельное зелье.
А потом печаль, печаль такая,
Что нельзя вздохнуть, изнемогая.*

*Только третий признак настоящий:
Если сердце замирает слаще
И мерцают в темном взоре свечи.
Это значит — вечер новой встречи.*

*Ночью ты предчувствием томима:
Над собой увидишь серафима,
А лицо его тебе знакомо...
И накинёт душная истома*

*На тебя атласный черный полог.
Будет сон твой тяжек и недолог...
А на утро встанешь с новой загадкой,
Но уже не ясной и не сладкой,*

*И омоешь пыточную кровью
То, что люди назвали любовью.*

Зимой мы с Гумилевыми встречались редко. Они жили у матери Николая Степановича в Царском Селе; ей принадлежала там большая дача со старым садом и оранжереей. Помню, один званый вечер у них. Собрались поэты: элегантный Блок, Михаил Кузмин с подведенными глазами; Клюев — подстриженный в скобку и заметно дичившийся; граф Комаровский, незадолго перед тем вышедший из клиники душевнобольных (Гумилев считал его очень талантливым). Кто-то читал свои стихи. Но было в настроении что-то напряженное, и сам Гумилев казался связанным.

Несколько раз встречали мы Гумилевых в «Бродячей Собаке», где собирались поэты, художники и все, кто тянулся к художественной богеме. Там с Гумилевым заметно считались и прислушивались к его мнению; однако я думаю, что близкой дружбы у него не было ни с кем. Ближе других ему был, пожалуй, Блок. Как-то раз у нас с Н. С. зашла речь о пророческом элементе в творчестве Блока. Н. С. сказал:

«Ну что ж, если над нами висит катастрофа, надо принять ее смело и просто. У меня лично никакого гнетущего чувства нет, я рад принять все, что мне будет послано роком».

Надо сказать, что в 1910–12 гг. ни у кого из нас никакого ясно-го ощущения надвигавшихся потрясений не было. Те предвестники бури, которые ощущались Блоком, имели скорее характер каких-то мистических флюидов, носившихся в воздухе. Гумилев говорил как-то о неминуемом столкновении белой расы с цветными. Ему представлялся в будущем упадок белой расы, тонущей в материализме и, как возмездие за это, восстание желтой и черной рас. Эти мысли были скорей порядка умственных выводов, а не предчувствий, но, помню, он сказал мне однажды:

«Я вижу иногда очень ясно картины и события вне круга нашей теперешней жизни; они относятся к каким-то давно прошедшим эпохам, и для меня дух этих старых времен гораздо ближе того, чем живет современный европеец. В нашем современном мире я чувствую себя гостем».

По-видимому, это как раз те самые переживания, которые Гумилев передал в стихотворной форме:

*Я верно болен — все на сердце туман.
Мне скучно все — и люди, и рассказы.
Мне снятся королевские алмазы
И весь в крови широкий ятаган.
Мой предок был татарин косоглазый
Или свирепый гунн. Я веяньем заразы,
Через века дошедшей, обуян.
Я жду, томлюсь, и отступают стены..
Вот океан весь в клочьях белой пены,
Закатным солнцем залитый гранит
И город с голубыми куполами,
С цветущими жасминными садами..
Мы дрались там... Ах да, я был убит.*

Это стихотворение совсем не случайно для Гумилева — он много раз возвращался к этой теме. И это было не позерство, это было очень искренно. Может быть — предчувствие?



Анна Гумилева. В этом году (1910. — И. Т.) Коля осенью поехал в Абиссинию, побывал в самых малодоступных ее местах. В тропических лесах охотился на слонов, в горах со своим абиссинцем ходил на леопарда. Много рассказывал, заражая своими интересными впечатлениями племянника, так называемого Колю-Маленького (Сверчкова), юношу 17-ти лет, который объявил, что тоже хочет

*...бродить по таким же дорогам,
Видеть вечером звезды, как крупный горох,
Выбегать на холмы за козлом длиннорогим
На ночлег зарываться в седеющий мох...*

Коля-поэт обещал любимому племяннику в следующее путешествие взять, его с собой, что и исполнил. Жена осталась дома. Из Абиссинии Коля навез много всяких абиссинских мелочей...

Александра Сверчкова. Женитьба не охладила его стремление путешествовать. Получив от матери деньги, Николай Степанович поехал в Абиссинию в качестве простого путешественника и, вернувшись оттуда, решил предпринять второе путешествие, запасшись нужными бумагами от Академии Наук...

Лукницкий. АА диктует: «8 января — опять в Киеве... Кажется, я с января, честно, уже больше не ездила в Киев. Вот так, в конце января я вернулась из Киева и жила в Царском. Бывала у Чудовских, у Толстых, у Вячеслава Иванова на «башне»...

Весной 11-го уехала в Париж (я в Троицын день была в Париже по новому счету). По дороге была в Киеве. Недолго. Праздник революции (14 июля нов. стиля. — В. Л.) я еще видела в Париже, а 13 июля, по старому, я уже была в Слепневе. В Слепневе — до начала августа (с Николаем Степановичем поехала в Москву, в августе), через несколько дней я уехала одна из Москвы в Петербург. Оттуда — в Киев. 1 сентября я была в Киеве — это день убийства Столыпина, я помню. А 17 сентября уже у Неведомских на именинах. Потом — совпадает дальше с Колей — мы вместе в Царском Селе проводили конец года».

Анна Гумилева. В семье Гумилёвых очутились две Анны Андреевны. Я — блондинка, Анна Андреевна Ахматова — брюнетка. А. А. Ахматова была высокая, стройная, тоненькая и очень гибкая, с большими синими, грустными глазами, со смуглым цветом лица. Она дер-

жалась в стороне от семьи. Поздно вставала, являлась к завтраку около часа, последняя, и войдя в столовую, говорила: «Здравствуйте все!». За столом большею частью была отсутствующей, потом исчезала в свою комнату, вечерами либо писала у себя, либо уезжала в Петербург. Те вечера, когда Коля бывал дома, он часто сидел с нами, читал свои произведения, а иногда много рассказывал, что всегда было очень интересно. Коля великолепно знал древнюю историю и, рассказывая что-нибудь, всегда приводил из нее примеры. Памятно мне любимое большое мягкое кресло поэта, доставшееся ему от покойного отца. Сидя в нем, он писал свои стихи. Творить Коля любил по ночам и часто мы с мужем — комната была рядом с его кабинетом — слышали равномерные шаги за дверью и чтение вполголоса. Мы переглядывались, и муж говорил: «Опять наш Коля улетел в свой волшебный мир».

В домашней обстановке Коля всегда был приветлив. За обедом всегда что-нибудь рассказывал и был оживленный. Когда приходили юные поэты и читали ему свои стихи, Коля внимательно слушал; когда критиковал — тут же пояснял, что плохо, что хорошо и почему то или другое неправильно. Замечания он делал в очень мягкой форме, что мне в нем нравилось. Когда ему что-нибудь нравилось, он говорил: «Это хорошо, легко запоминается», и сейчас же повторял наизусть. Коля и в семье был строг к чистоте языка. Однажды я, придя из театра и восхищаясь пьесой, сказала: «Это было страшно интересно!» Коля немедленно напал на меня и долго пояснял, что так сказать нельзя, что слово «страшно» тут совершенно неуместно. И я это запомнила на всю жизнь.

Когда по вечерам вся семья оставалась дома, после обеда мать любила брать сыновей под руку и ходить взад и вперед по гостиной; тут сыновья очень трогательно оспаривали друг у друга, кто возьмет мамочку под руку, а кто обнимет. Обычно после долгого торга мать, улыбаясь, сама разрешала спор — одного возьмет под руку, а другого обнимет, и все трое маршировали по комнате, весело разговаривая. Но редко приходилось нам проводить вечера «уютным кустиком», как говорил Коля; обыкновенно кто-нибудь нарушал нашу семейную идиллию.

В начале 1911 года Анна Ивановна купила дом в Царском Селе на Малой ул. 15. Она видела, что слишком много денег тратится зря. Купила прелестный двухэтажный дом и тут же небольшой, тоже двухэтажный флигель с садиком и хорошеньким двориком. А. И. с падчерицей и внуками занимали верхний этаж, поэт с женой и я с мужем — внизу. Тут же внизу находилась столовая, гостиная



и библиотека. После своего второго путешествия в Африку Коля внес в дом много экзотики, которая ему всегда нравилась. Свои комнаты он отделал по своему вкусу и очень оригинально.

Вспоминается мне наша чудная библиотека, между гостиной и колиной комнатой. В библиотеке вдоль стен были устроены полки, снизу доверху наполненные книгами. В библиотеке во время чтения было принято говорить шепотом. Для поэта библиотека «святая святых», и он не раз повторял, что надо держать себя в ней, как в настоящей библиотеке. Посредине находился большой круглый стол, за которым читающие чинно сидели.

С годами Коля стал очень общительным. Имел много товарищей и друзей. Дружил с И. Ф. Анненским, Вячеславом Ивановым и многими другими. Часто бывали Городецкий и Блок. Дом Гумилёвых был очень гостеприимный, хлебосольный и радушный. Хозяева были рады всякому гостю, в которых не было недостатка везде, где бы Гумилёвы ни жили. Я очень любила, когда поэт устраивал литературные вечера. Вспоминаю один эпизод. Однажды один молодой поэт читал с жаром и увлечением свою поэму. Царила полная тишина. Вдруг раздался равномерный, громкий храп. Смущенный и обиженный, поэт прервал чтение. Все переглянулись. Коля встал. Окинул взором всех слушателей и видит, все сидят чинно, улыбаются, переглядываются и ищут храпящего гостя. Каково же было наше удивление, когда виновником храпа оказалась собака Молли, бульдог, любимица Анны Ахматовой. Все много смеялись и долгое время дразнили молодого чтеца, называя его Молли.

В 1912 г. у Анны Ахматовой и Коли родился сын Лев...

Лукницкий. АА и Николай Степанович находились тогда в Ц. С. (Царском Селе — И. Т.). АА проснулась очень рано, почувствовала толчки. Подождала немного. Еще толчки. Тогда АА заплела косы и разбудила Николая Степановича: «Кажется, надо ехать в Петербург». С вокзала в родильный дом шли пешком, потому что Николай Степанович так растерялся, что забыл, что можно взять извозчика или сесть в трамвай. В 10 ч. утра были уже в родильном доме на Васильевском острове.

А вечером Николай Степанович пропал. Пропал на всю ночь. На следующий день все приходят к АА с поздравлениями. АА узнает, что Николай Степанович дома не ночевал. Потом наконец приходит и Николай Степанович, с «лжесвидетелем». Поздравляет. Очень смущен.

Ольга Высотская*

Орест Высотский (Гумилев).** В театральном сезоне 1911/12 года... открылось артистическое кабаре «Бродячая собака», которому суждено было войти в историю культурной жизни России. Его творцом стал Борис Константинович Пронин***, давно мечтавший о таком артистическом клубе.

Идея состояла в том, чтобы объединить людей искусства, дать им возможность встречаться не в ресторанах для богатых обывателей, а в своей среде. Пронин — худощавый, подвижный молодой человек — казался сгустком энергии, он ни на минуту не мог остаться бездеятельным, постоянно что-то организовывал, кого-то убеждал. В 1890 году етю, студента Московского университета, власти выслали из города за участие в студенческих волнениях. Познакомившись с Максимом Горьким, он принял участие в организации студии при Московском Художественном театре, подружился с Мейерхольдом, сблизился с Евреиновым. Кажется, в литературно-артистическом мире не нашлось бы человека, с которым Пронин не был коротко знаком.

«Бродячая собака» открылась 31 декабря 1911 года на Михайловской площади. Чтобы попасть в кабаре, надо было пройти под аркой ворот, там повернуть во второй двор и, как гласил шуточный «гимн Собаке», написанный В. Князевым на музыку Шпис-Эшенбурга:

*Во втором дворе подвал,
В нем приют собачий,
Всякий, кто сюда попал —
Просто пес бродячий.*

В день, точнее — в ночь открытия, очень скромного, Пронин приехал к своей знакомой, актрисе «Старинного театра» Ольге Высотской: нужно было взять напрокат пианино, а денег не нашлось.

* Высотская, Ольга (1885–1966) — литературный и театральный деятель, актриса театра Мейерхольда, подруга Николая Гумилёва, мать их общего сына Ореста.

** Высотский, Орест (1913–1992) — внебрачный сын Николая Гумилева.

*** Пронин, Борис (1875–1946) — режиссер, театральный деятель, актер, участник ряда театральных начинаний В. Э. Мейерхольда. Создатель литературных кабаре в Петербурге: «Бродячей собаки» и «Привала комедиантов».



Стены подвала были стилизованно расписаны художниками Судейкиным и Сапуновым*. Кто-то принес и повесил часы с кукушкой. В большой комнате был красиво оформленный камин известного архитектора с надписью: «Камин построил Фомин». Имелся буфет с вином и самыми простыми, дешевыми блюдами. В три часа ночи буфет закрывался, но сидеть посетители могли хоть до утра. Люди искусства по желанию вступали в действительные члены «Бродячей собаки» и могли давать рекомендации тем, кто от искусства был далек.

При входе в главную комнату с небольшой сценой стояла конторка и на ней — большая «Свиная книга», в которой посетители оставляли свои автографы: поэты — экспромты, художники — рисунки.

В пятницу 13 января 1912 года молодые поэты собрались, чтобы отметить четверть века литературной деятельности Константина Бальмонта. Его стихи, очень музыкальные, даже магические, уже не пользовались былой популярностью. (Гумилев писал в «Аполлоне»: «Вечная тревожная загадка для нас К. Бальмонт. Вот пишет он книгу, потом вторую, потом третью, в которых нет ни одного вразумительного образа, ни одной подлинно-поэтической страницы, и только в дикой вакханалии несутся все эти «стозвонкости» и «самосож-женности» и прочие бальмонтизмы».) Молодых больше увлекали стихи Блока или мастерски сделанные строфы Брюсова. Стали входить в моду «Куранты любви» Кузмина.

Но юбилей Бальмонта решили провести в «Бродячей собаке» непременно, хотя самого юбиляра не было, он в то время жил в Париже.

Ольга Высотская, постоянный посетитель и действительный член «Бродячей собаки», сидела за столиком со своей подругой Алисой Твороговой. Обратили внимание на стоявшего у конторки худощавого, высокого мужчину в элегантном темно-сером костюме. Когда он отошел, Высотская заглянула в книгу. Там значилось: «Н. Гумилев». Рядом кто-то из приятелей написал: «Великий синдик Гу поставил точку на лугу».

Высотская уже знала о нем: Гумилев — это тот, кто возглавил новое направление в поэзии, акмеизм, и решил спорить с самим Блоком. Он автор «Жемчугов». Совсем недавно эту книгу

* Сапунов, Николай (1880–1912) — живописец, театральный художник, один из лучших сценографов в истории русского театра.

подарил ей артист Сергей Эрнестович Радлов, и ее поразили стихи, совсем не похожие на все, что она до сих пор читала. Особенно запомнилось стихотворение «Приближается к Каиру судно...», ведь прошлым летом она с братом совершала поездку в Египет, была в Каире, видела пирамиды, побывала в Палестине, купалась в Мертвом море. Взволновало и чудесное стихотворение «Жираф»:

*...Я знаю веселые сказки таинственных стран
 Про черную деву, про страсть молодого вождя,
 Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман.
 Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя...*

Вечер начал Сергей Городецкий остроумной, несколько парадоксальной речью; он говорил не столько о юбиляре, сколько о публике и читателях. Сколько среди них таких, как известный ему болван, который испестрил книгу Бальмонта своими надписями, суждениями и сентенциями, говорящими о полном непонимании поэта.

После доклада читали свои стихи Гумилев, Ахматова, Мандельштам, фон Гюнтер и другие поэты. Когда выступления окончились, Зноско-Боровский познакомил Высотскую и ее подругу с Гумилевым, который сразу сел за их столик и принялся рассказывать про Абиссинию, откуда он возвратился прошлой весной.

В другом конце залы сидела Ахматова в темно-лиловом платье и рядом с ней Николай Недоброво, поэт и критик, который через два года напишет о ней необыкновенно пронизательную статью. У Недоброво был туберкулез, который рано свел его в могилу, но сейчас, глядя на этого человека в безукоризненно сидевшем фраке, многие думали, что он существо из какого-то высшего круга и очень хорошо знает себе цену.

Гости «Бродячей собаки» начали расходиться только под утро. На Михайловской площади в предзакатных сумерках виднелись фигуры извозчиков в долгополых балахонах. После жаркого, продымленного подвала хорошо было дышать свежим морозным воздухом. Гумилев и Высотская сели в маленькие санки, застоявшаяся на морозе лошадь пошла резво. Миновали Казанский собор и свернули с Невского. Глядя прямо перед собой, Гумилев читал стихи густым, тягучим голосом, и они приобретали странное звучание оттого, что он нечетко произносил некоторые слова.

Вскоре отметили двадцатилетний юбилей сценической деятельности артиста Юрьева, прославившегося исполнением ролей



Дон Жуана в пьесе Мольера и Арбенина в «Маскараде». Поставили высокое кресло, подобное трону; на нем была надпись: «Юрию Юрьеву Бродячая собака — лает!» Шею юбиляра украсил широкий золоченый ошейник. Были речи, поздравления, подходили с бокалами в руках. Юрий Михайлович, смущенно улыбаясь, пил свое любимое «Нюи».

Гумилев сел за столик с Высотской. Ненадолго к ним подсел Толстой, выпил бокал вина, рассказал, как ходил в кинематограф, потому что ему сказали, будто в хронике покажут его. В самом деле, на экране высветилась его фигура: сидит на бульваре, папироса в руках. И ему отчего-то сделалось страшно.

После вечера Гумилев опять поехал провожать молодую актрису, и были слова о поиске своей избранницы, своей «половинки разрезанного яблока», о том, как это трудно и какое счастье найти.

Они встречались то в «Бродячей собаке», то в Эрмитаже, то на Конногвардейском бульваре. Гумилев любил рассказывать об Африке, с гордостью вспоминал, как в Аддис-Абебе был принят самим императором Менеликом, черным аристократом, ведущим свой род от царя Соломона и царицы Савской, живших задолго до Рождества Христова. Рассказывал о пышных празднествах, великолепных военных парадах, войнах в леопардовых и львиных шкурах, на конях, разукрашенных черными страусовыми перьями.

Ольге Высотской он казался рыцарем, точно сошедшим с полотна средневекового художника. Однажды Гумилев рассказал ей, как, купаясь в Гаваше, потерял нательный крест, которым его благословила мать перед отъездом в Африку. Это была дурная примета. Он с тех пор все ждал, что случится какое-то несчастье...

Летом в Териоках образовалось товарищество актеров. На дачный сезон там арендовали театр, инициатором была Любовь Дмитриевна Блок, а Всеволод Эмильевич Мейерхольд согласился режиссировать. Труппа состояла из опытных актеров, но были и молодые, в их числе Высотская. Размещались актеры на большой даче Лепони, превращенной в общежитие, все получали бесплатное питание, но никакой платы.

В вечер открытия поставили сочиненную Мейерхольдом пантомиму «Влюбленные» с музыкой Дебюсси и декорациями Кульбина. На премьеру из Петербурга приехал Блок. Он и позже бывал на всех спектаклях, но никогда не оставался ночевать на даче, где с другими актерами оставалась его жена. Высотская сняла отдель-

ную комнату, в которой жила со своей матерью, приехавшей из Москвы. Днем шли репетиции, вечером — спектакли. В свободное время любили запускать на пляже воздушного змея.

Однажды поздним вечером к Высотским зашел художник Сапунов со спутницей, ученицей Высших женских курсов, которую, с его легкой руки, все звали «Принцесса». Сапунов сказал, что они небольшой компанией — художницы Бебутова и Яковлева, поэт Кузмин и он с «Принцессой» — приехали на артистическую дачу. Компания отправилась в казино, а Сапунов с девушкой зашли к Высотским, долго пили чай, говорили о Москве.

Рано утром прибежали со страшным известием: Сапунов утонул. После ужина в казино молодежь решила прокатиться в лодке по морю. Отъехали далеко, стали меняться местами на ходу и перевернулись. Кое-как подплыли к лодке, ухватились за нее. Сапунова не было. Трех девушек и Кузмина спасли финские рыбаки, а тело художника море выбросило через несколько дней в Кронштадте.

Вскоре после этого случая в Териоки приехал Николай Степанович. Ольга познакомила его со своей матерью, которой он не понравился: ужасно церемонно держится, настоящий сноб. Но Ольга не обратила на это внимание. Их встречи с Гумилевым продолжались. Она ни на что не рассчитывала, просто любила своего героя.

Ольга Николаевна родилась и выросла в семье русских интеллигентов; ее отец, сын подмосковного помещика, служил директором Ярославской гимназии и в 1906 году, подобно Иннокентию Анненскому, имел неприятности за свой либерализм и был переведен в Тулу. Лишь к 1910 году он получил должность директора гимназии в Москве, на Разгуляе. Мать Ольги окончила консерваторию в Женеве, где сблизилась с революционной молодежью, жившей в эмиграции, увлеклась передовыми идеями, с восторгом изучала биографии декабристов и даже была в дружбе с сыном одного из них — Якушкиным.

Отец по вечерам вслух читал что-нибудь художественное, мать на концертном рояле играла Бетховена, Баха, Моцарта. Ольга с детства полюбила поэзию, музыку, живопись, но особенно увлекалась театром. Ее учителями стали режиссер Николай Евреинов, а потом Мейерхольд, посвятивший ей в ноябре 1912 года свою постановку пьесы Федора Сологуба «Заложники жизни».

Николая Степановича она полюбила глубоко и серьезно. Он, особенно в начале романа, отнесся к этому как к своей очередной



победе, но постепенно и в нем начали просыпаться более глубокие чувства, которые он старался не показывать: в артистической среде проявлять любовь или ревность считалось плохим тоном.

Отношения в этой среде и правда были свободными. Встретив Высотскую на Невском, Паллада Олимповна, в ту пору — Богданова-Бельская, рассказывала, делая при этом «трагические глаза», что вчера вечером Гумилев объяснялся ей в любви и что устоять перед таким мужчиной она не смогла. Конечно, Паллада могла и приврать, ведь это ей Кузмин посвятил в «Гимне Бродячей собаки» несколько строк о даме, которая «резвится на лугу», ибо ей «любовь одна отрада». Посещавшая не только «Собаку», но и фешенебельные рестораны с отдельными кабинетами, эта актриса снискала себе вполне определенную репутацию. И все-таки Высотская была шокирована. Что в самом деле произошло между нею и Гумилевым в марте 1913-го, никто не узнает. Не было ни бурных сцен, ни слез и упреков. Ольга Николаевна спокойно сказала, что уходит, отрекаясь от всего, что связывало их подобием любви.

Высотская уехала в Москву, а Гумилев 7 апреля отправился в Абиссинию. Из Порт-Саида он послал Высотской открытку с сонетом «Ислам» и приписал: «Всегда вспоминаю. Напишите в Порт-Саид, куда привезти Вам леопардовую шкуру». По тону открытки можно предположить, что он обескуражен неожиданным разрывом, может быть, даже глубоко переживал его, хотя с деланной игривостью пытался представить всю эту историю недоразумением. Но в том же году Гумилев написал «Пятистопные ямбы»:

*...Я знаю, жизнь не удалась... И ты,
Ты, для кого искал я на Леванте
Нетленный пурпур королевских мантий,
Я проиграл тебя, как Дамаянти
Когда-то проиграл безумный Наль.
Взлетели кости, звонкие, как сталь,
Упали кости — и была печаль.
Сказала ты, задумчивая, строго:
«Я верила, любила слишком много,
А ухожу, не веря, не любя,
И пред лицом Всевидящего Бога,
Быть может, самое себя губя,
Навек я отрекаюсь от тебя».*

*Твоих волос не смел поцеловать я,
Ни даже сжать холодных, тонких рук.
Я сам себе был гадок, как паук,
Меня пугал и мучил каждый звук,
И ты ушла, в простом и темном платье,
Похожая на древнее Распятье...*

К кому были обращены эти строки? Высотская всю жизнь считала, что они относятся к ней, а не к Ахматовой, как утверждают литературоведы. Ведь в 1913 году ушла именно она...

Ольга Николаевна Высотская после рождения сына поселилась в небольшом имении Куриловка Курской губернии. Там был небольшой помещичий дом с фруктовым садом, но пахотной земли не было: бывшие владельцы, разорясь, продали ее соседям.

Высотская переписывалась с Мейерхольдом, собиралась по окончании войны вернуться в театр. Революция перечеркнула эти планы.

Началась гражданская война. Село занимали то немцы, то петлюровцы, то деникинцы, то красные. В 1920 году в соседнем уездном городке Высотская стала режиссером любительского театра. Когда кончилась гражданская война, Ольга Николаевна побывала в Москве и только там узнала от Пронина о расстреле Николая Степановича Гумилева.

До самой старости она жила вместе с матерью и старшим братом, учителем подтехникума. Замуж она не вышла, не имела близких друзей. Она увлекалась не только театром, но и музыкой, живописью, любила природу, собирала гербарий.

Последние годы жизни она провела с братом в Вязниках Владимирской области, преподавала в музыкальной школе. Ее всегда окружали молодые любители искусства — артисты, поэты.

Выйдя на пенсию, Ольга Николаевна переехала в Тирасполь к сыну, Оресту Николаевичу; в 1962 году написала воспоминания о работе у Мейерхольда и передала их Пушкинскому дому, где они до сих пор хранятся. Умерла Высотская 18 января 1966 года в возрасте 80 лет...

Орест Высотский с младенчества жил с матерью, бабушкой и дядей в Куриловке, затем учился в Суджанской школе. О своем отце он узнал очень рано. Мать уверяла, что после гражданской войны, когда все успокоится, отец, конечно, отыщется где-нибудь за границей. Только в 1924 году мать сказала, что отца у Ореста нет — он расстрелян...



Анна Гумилева. Никогда не забуду счастливого лица Анны Ивановны, когда она нам объявила радостное событие в семье — рождение внука. Маленький Левушка был радостью Коли. Он искренне любил детей и всегда мечтал о большой семье. Бабушка Анна Ивановна была счастлива, и внук с первого дня был всецело предоставлен ей. Она его выходила, вырастила и воспитала. Коля был нежным и заботливым отцом. Всегда, придя домой, он прежде всего поднимался наверх, в детскую, и возился с младенцем.

Но мятежную натуру поэта патриархальная спокойная семейная обстановка надолго удовлетворить не могла. Он задумал путешествие в Италию. Но всегда его что-то задерживало: осенью этого же года он основал с Сергеем Городецким* Цех Поэтов. Только весной 1912 года ему удалось исполнить свою мечту и поехать в Италию. Он давно хотел побывать в Венеции и воочию увидеть красоту этого города, где

*Лев на колонне, и ярко
Львиные очи горят,
Держит Евангелье Марка,
Как серафимы, крылат.*

Коля посетил несколько городов Италии. Говорил он об Италии с таким жаром, что забывал весь мир и требовал, чтобы мы с мужем обязательно поехали в Рим, где

*Волчица с пастью кровавой
На белом, белом столбе...*

И рекомендовал мужу не засматриваться на красивых ярких итальянок, а хорошенько осмотреть

*Лик Мадонн вдохновенный
И храм Святого Петра,*

что мы и исполнили — через несколько месяцев муж взял отпуск, и мы поехали в Италию.

* Городецкий, Сергей (1884–1967) — русский и советский поэт.

В жизни Коли было много увлечений. Но самой возвышенной и глубокой его любовью была любовь к Маше*. Под влиянием рассказов А. И. о родовом имении Слепневе и о той большой старинной библиотеке, которая в целостности там сохранилась, Коля захотел поехать туда, чтобы ознакомиться с книгами. В то время в Слепневе жила тетушка Варя — Варвара Ивановна Львова, по мужу Лампе, старшая сестра Анны Ивановны. К ней зимой время от времени приезжала ее дочь Констанция Фридольфовна Кузьмина-Караваева со своими двумя дочерьми. Приехав в имение Слепнево, поэт был приятно поражен, когда, кроме старенькой тетушки Вари, навстречу ему вышли две очаровательные молоденькие барышни — Маша и Оля. Маша с первого взгляда произвела на поэта неизгладимое впечатление. Это была высокая тоненькая блондинка с большими грустными голубыми глазами, очень женственная. Коля должен был остаться несколько дней в Слепневе, но оттягивал свой отъезд под всякими предложениями. Нянечка Кузьминых-Караваевых говорила: «Машенька совсем ослепила Николая Степановича». Увлеченный Машей, Коля умышленно дольше, чем надо, рылся в библиотеке и в назначенный день отъезда говорил, что библиотечная «...пыль пьянее, чем наркотик», что у него сильно разболелась голова, театрально хватался при тетушке Варе за голову, и лошадей откладывали. Барышни были очень довольны: им было веселее с молодым дядей. С Машей и Олей поэт долго засиживался по вечерам в библиотеке, что сильно возмущало нянечку Караваевых, и она часто бурно налетала на своих питомиц, но поэт нежно обнимал и унимал старушку, которая после говорила, что «долго сердиться на Николая Степановича нельзя, он своей нежностью всех обезоруживает».

Летом вся семья Кузьминых-Караваевых и наша проводили время в Слепневе. Помню, Маша всегда была одета с большим вкусом в нежно-лиловые платья. Она любила этот цвет, который был ей к лицу. Меня всегда умиляло, как трогательно Коля оберегал Машу. Она была слаба легкими и когда мы ехали к соседям или кататься, поэт всегда просил, чтобы их коляска шла впереди, «чтобы Машенька не дышала пылью». Не раз я видела Колю сидящим у спальни Маши, когда она днем отдыхала. Он ждал ее выхода, с книгой в руках все на той же странице, и взгляд его был

* Кузьмина-Караваева, Мария (? - 1911) — двоюродная племянница Н. С. Гумилева.



устремлен на дверь. Как-то раз Маша ему откровенно сказала, что не в праве кого-либо полюбить и связать, так как она давно больна и чувствует, что ей недолго осталось жить. Это тяжело подействовало на поэта.

*...Когда она родилась, сердце
В железо заковали ей
И та, которую любил я,
Не будет никогда моей.*

Осенью, прощаясь с Машей, он ей прошептал: «Машенька, я никогда не думал, что можно так любить и грустить». Они расстались и судьба их навсегда разлучила.

Поэт много стихотворений посвятил Маше. Во многих он упоминает о своей любви к ней, как, напр., в «Фарфоровом павильоне», в «Дорогах»:

*Я видел пред собой дорогу —
В тени раскидистых дубов,
Такую милую дорогу
Вдоль изгороди из цветов.
Смотрел я в тягостной тревоге,
Как плыл по ней вечерний дым,
И каждый камень на дороге
Казался близким и родным.
Но для чего идти мне ею?
Она меня не приведет
Туда, где я дышать не смею,
Где милая моя живет.*

Весною 1913 года Коля вновь задумал предпринять путешествие в неведомые и малоисследованные места. Хорошо о нем сказано, что он создал новую музу, «музу дальних странствий», чему соответствуют и его слова «...как будто не все пересчитаны звезды, как будто наш мир не открыт до конца...». Свое третье путешествие Коля иначе обставил и совершил. Это было весной 1913 года. У Гумилёвых тогда было много разговоров об академике Радлове, который хлопотал, чтобы Коля был командирован Академией Наук в качестве начальника экспедиции на Сомалийский полуостров

для составления всяких коллекций, для ознакомления с нравами и бытом абиссинских племен. Но насколько я помню, Коля поехал на свои средства. Анна Ивановна дала ему крупную сумму из своего капитала, это я наверное знаю. Но так как Академия Наук тоже заинтересовалась его путешествием, то обещала купить у него те редкие экземпляры, которые он брался привезти. Поехал он, как я уже упомянула, вдвоем с любимым 17-летним племянником Колей Сверчковым, Колей-маленьким. Когда они уехали, семья, в особенности обе матери, сильно беспокоились за сыновей, зная страсть к приключениям Коли-поэта. Он всегда был очень храбрый и с детства презирал малодушие и трусость. «...Да, ты не был трусливой собакой — Львом ты был между яростных львов..!» И его бестрашие немало волновало семью. Старушка няня о нем говорила: «Наш Коленька всегда любит лезть на рожон, вот уж неугомонный! Не сидится ему на месте — все ищет, где поопаснее». Путешествие длилось несколько месяцев...

Александра Сверчкова. В 1913 г. Николай Степанович поехал вторично, пригласив в качестве фотографа и препаратора племянника Колю Маленького. Это путешествие оба они описали в своих дневниках, которые, к сожалению, сохранились не полностью. Особенно жаль трудов Коли Маленького, который, будучи смертельно больным, все-таки описывал очень подробно все приключения, случавшиеся с ним в странах Галла. Эту рукопись у него купил издатель, но во время революции и издатель, и рукопись с многочисленными снимками пропали. Н. С. и в дикой Африке никогда не терял присутствия духа. Так — рассказывал Коля Маленький — понадобилось им найти человека — проводника, знающего французский язык. Отцы иезуиты прислали несколько молодых людей, но никто из них не пожелал идти в неизведанные места к дикарям. Нашелся один — Фасика — который даже знал несколько слов по-русски. Но вот беда: его напускала тетка, и в то время, когда надо было выступать каравану, прислала людей, чтобы его увести. Начался спор. Фасику тянули вправо, тянули влево, и неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы вдруг не появился какой-то абиссинец, размахивавший палочкой над головой. Н. С., долго не думая, вырвал у него из рук палочку и замахнулся на него. «Что вы, что вы! — закричал Фасика, — ведь это ж судья!» Все кончилось вполне благополучно, судья, рассмотрев бумаги, разрешил взять переводчика и даже



подарил Н. С. свою палочку, знак своего могущества, после чего все отправились к тетке Фасика, где засиделись до заката солнца. Как везде в тропических странах, сразу же опустилась страшная темнота. Возвращались в лагерь при свете факелов, и Коля М. вдруг обнаружил, что Н. С. где-то отстал. Как найти его в непроницаемой тьме среди зарослей, когда кругом слышны рычания зверей и хохот гиен? Оказалось, что он устал, сел отдохнуть и нечаянно уснул.

В другой раз подошли они к реке Уаби. Вместо моста была устроена переправа таким образом; на одном берегу и на противоположном росли 2 дерева, между ними был протянут канат, на котором висела корзина. В нее могли поместиться 3 человека и, перебирая канат руками, двигать корзинку к берегу. Н. С. очень понравилось такое оригинальное устройство. Заметив, что деревья подгнили или корни расшатались, он начал сильно раскачивать корзинку, рискуя ежеминутно упасть в реку, кишашую крокодилами. Действительно, едва они вылезли из корзинки, как одно дерево упало и канат оборвался.

В пути караван Н. С. встретился с двумя абиссинцами, которые шли к св. Гуссейну, чтобы он помог им отыскать пропавшего мула. Н. С. заинтересовался и повел караван к жилищу пророка. По дороге туземцы рассказывали ему много чудесного: как святой превратил неприятельское войско в камни, как гора перешла вслед за святым со своего места на новое и т. д.

Гуссейн принял европейцев с почетом, остался доволен подарками, позволил им все осмотреть, но приказал зорко следить, чтобы они ничего не взяли, ни одного камушка, ни одной тряпочки.

Для испытания греховности человека служили 2 больших камня, между которыми был узкий проход. Надо было раздеться донага и пролезть между камнями в очень узкий проход. Если кто застревал — он умирал в страшных мучениях: никто не смел протянуть ему руку, никто не смел подать ему кусок хлеба или чашку воды. В этом месте валялось немало черепов и костей. Как не отговаривал Коля Маленький, Н. С. все-таки рискнул сделать опыт — пролезть между камнями. Коля М. говорил, что он боялся за дядю, как никогда в жизни! Все кончилось благополучно и Коля М. поспешил увести караван подальше, пока дядюшка не выдумал еще какого-нибудь «опыта». Однажды на них напало стадо буйволов. Их спасло только то, что дикие животные испугались, увидя

лицо белого человека и повернули обратно. В другой раз они подверглись нападению обезьян, забравшись слишком глубоко в чащу леса. Коля Маленький побывал в зубах крокодила и спасся только благодаря своей находчивости, а мул, на котором он ехал, погиб.

Во время своего первого путешествия Н. С. заболел тропической малярией, во второй раз этой болезни подвергся Коля Маленький, и только доктор-абиссинец спас его от смерти...

Анна Гумилева. Большой радостью было их возвращение, о котором мы не были предупреждены. Все тревожения были забыты и все были полны интереса к занимательным рассказам, которым, казалось, не было конца. Все обещания Коля выполнил и действительно привез очень много всяких коллекций, которые были им сданы в Музей Антропологии и Этнографии при Академии Наук. Что именно — не помню, но помню, что им были очень довольны, чем и он был очень горд. Царскосельский дом обогатился чудным экземпляром — большой стоячей черной пантерой. Эту огромную пантеру, черную, как ночь, с оскаленными зубами, поставили в нишу между столовой и гостиной и ее хищный вид производил на многих прямо жуткое впечатление. Коля же всегда ею любовался. Помню, как Коля первый раз показал мне свою пантеру. Когда мы приехали с мужем в Царское Село к нашим, дверь в гостиную была заперта, что бывало редко. В передней нас встретил Коля и просил пока в гостиную не входить. Мы поднялись наверх к А. И., ничего не подозревая; думали, что у Коли молодые поэты. Только когда совсем стемнело, Коля пришел наверх и сказал, что покажет нам что-то очень интересное. Он повел нас в гостиную и, как полагается, меня как даму пропустил вперед; открыл дверь, заранее потушив в гостиной и передней электричество. Было совсем темно, только яркая луна освещала стоящую черную пантеру. Меня поразил этот зверь с желтыми зрачками. Первый момент я подумала, что она живая. Коля был бы способен и живую пантеру привезти! И тут же, указывая на пантеру, Коля громко продекламировал: «...А ушедший в ночные пещеры или к заводи тихой реки — Повстречает свирепой пантеры — наводящие ужас зрачки...».

Привез Коля и красивого живого попугая, светло-серого с розовой грудкой. Коля был очень увлекательным рассказчиком. Обычно вне своего литературного кружка он в обществе держал себя очень скромно, но если что-либо было ему интересно и по душе, то он преображался, загорались его большие глаза, и он начинал



говорить с увлечением. Однажды у нас в имении на охоте, где оба брата, Димитрий и Коля, отличились меткой стрельбой, один из гостей сказал поэту, что с таким метким глазом не страшно было бы идти на охоту на слонов и львов, и задал Коле несколько вопросов насчет Абиссинии. Коля с жаром стал рассказывать о своих переживаниях в Африке и так образно, что ясно можно было себе представить, как он с племянником и с тремя провожатыми, из которых один был «...карлик мне по пояс, голый и черный...», шли по лесу, где вряд ли ступала человеческая нога; ночь провели в лесу и долго искали более или менее удобного убежища и наконец нашли. «...И хороша была нора — В благоухающих цветах...». Рассказывал, что туземцы в Абиссинии очень суеверны; многого наслушался он за ночи, проведенные в лесу, как например — если убитому леопарду не опалить немедленно усы, дух его будет преследовать охотника всюду. «...И мурлычит у постели — Леопард, убитый мной». Та леопардова шуба, в которой Коля ходил по Петербургу зимой (всегда расстегнутая и гревшая фактически только спину), была из двух леопардов, один из которых был убит им самим, а другой туземцами. В ней он шествовал обыкновенно не по тротуару, а по мостовой, и всегда с папиросой в зубах. На мой вопрос, почему он не ходит по тротуару, он отвечал, что его распахнутая шуба «на мостовой никому не мешает». Уезжая в Африку, Коля говорил, что «У него мечта одна — убить огромного слона, — Особенно, когда клыки — И тяжелы, и велики». И действительно, по его словам, он наполовину исполнил свою мечту: «Он взял ружье и вышел в лес. — на пальму высохшую влез — И ждал». Туземцы ему сообщили, что «...здесь пойдет на водопой лесной народ...». Долго Коля сидел и ждал, как вдруг «В лесу раздался смутный гул, — Как будто ветер зашумел, — И пересекся небосклон — коричневою полосой, — То, поднимая хобот, слон — Вожак вел стадо за собой». Коля «...навел винтовку между глаз», но «гигант лесной» не был «сражен пулей разрывной». Об этих переживаниях Коля говорил, что они были незабываемы.

Коля очень любил традиции и придерживался их, особенно любил всей семьей идти к заутрене на Пасху. Если даже кто-либо из друзей приглашал к себе, он не шел; признавал в этот день только семью. Помню веселые праздничные приготовления. Все, как полагается, одеты в лучшие туалеты. Шли чинно, и Коля всегда между матерью и женой. Шли в царскосельскую дворцовую церковь, которая в этот высокаторжественный праздник была всегда открыта для публики.

В то же время поэт был очень суеверен. Верно Абиссиния за-
разила его этим. Он до смешного подчас был суеверен, что часто
вызывало смех у родных. Помню, когда А.И. переехала в свой но-
вый дом, к ней приехала «тетенька Евгения Ивановна». Тогда она
была уже очень старенькая. Тетенька с радостью объявила, что
может побыть у нас несколько дней. В присутствии Коли я сказа-
ла А. И.: «Боюсь, чтобы не умерла у нас тетенька. Тяжело в новом
доме переживать смерть». На это Коля мне ответил: «Вы верно не
знаете русского народного поверья. Купив новый дом, умышленно
приглашают очень стареньких, преимущественно больных стари-
ков или старушек, чтобы они умерли в доме, а то кто-нибудь из
хозяев умрет. Мы все молодые, хотим еще пожить. И это правда,
я знаю много таких случаев и твердо в это верю».

Лукницкий. АА рассказывает, что увлечение Николая Степа-
новича А. Губер происходило обычно в «Собаке»... АА хотела уез-
жать оттуда с последним поездом в Царское, а Николай Степанович
решил оставаться до утра — до 7-часового поезда.

Оставалось обычно 5–6 человек. Сидели за столом...

АА: «Я поджимала губы и разливала чай... А Николай Степано-
вич усиленно флиртовал...»

Я вчера много говорил с В. С. Срезневской о Татьяне Адамович*.
Та мне рассказала, что считает роман с Таней Адамович выходящим
из пределов двух обычных категорий для Н. С. (первая — высокая
любовь: к АА; к Маше Кузьминой-Караваевой, к Синей звезде); вто-
рая — ставка на количество — девушек... Роман с Таней Адамович
был продолжительным, но, так сказать, обычным романом в пол-
ном смысле этого слова. В. Срезневская сказала, что однажды в раз-
говоре с Николаем Степановичем она упомянула про какой-то факт.
Он сказал: «Да, это было в период Адамович». — «А долго продол-
жался этот период?» Николай Степанович стал считать по пальцам:
«Раз... два... три, почти три года».

Когда я сегодня рассказал об этом АА, она ответила: «Да не три
года, но, во всяком случае, долго... И это был совершенно официаль-
ный роман: Николай Степанович совершенно ничего не скрывал».

* Адамович, Татьяна (1892–1970) — балетмейстер, преподаватель фран-
цузского языка; сестра поэта, литературного критика Г. В. Адамовича.



АА: «Таня Адамович редко (только в парадных случаях, когда много гостей бывало), но бывала в доме у Гумилевых. А Николай Степанович у нее постоянно бывал...»

Я: «Красивая ли была Таня?»

АА: «Красивая? Красивой она не была, но была интересной...»

Я: «Понимала ли стихи?»

АА: «Понимала... Ну это Жорж (Георгий Адамович — поэт, брат Т. А. — *И. Т.*) ее натаскал... Всегда просила читать ей стихи...»

Я: «В каком году вы отошли «физически» от Николая Степановича?»

АА ответила, что близки они были ведь очень недолго. «До 14 года — вот так приблизительно. До Тани Адамович... Николай Степанович всегда был холост. Я не представляю себе его женатым».

Я спросил АА, как произошло у Николая Степановича расхождение с Адамович? АА рассказала, что она думает об этом. Думает она, что произошло это постепенно и прекратилось приблизительно где-то около выхода «Колчана». Резкого разрыва, по-видимому, не было.

Таня Адамович, по-видимому, хотела выйти замуж за Николая Степановича, потому что был такой случай: Николай Степанович предложил АА развод(!).

АА: «Я сейчас же, конечно, согласилась! — Улыбаясь: — Когда дело касается расхождения, я всегда моментально соглашаюсь!»

Сказала Анне Ивановне, что разводится с Николаем Степановичем. Та изумилась: «Почему? Что?» — «Коля мне сам предложил». АА поставила условием, чтоб Лева остался у нее в случае развода. Анна Ивановна вознегодовала. Позвала Николая Степановича и заявила ему, тут же при АА: «Я тебе правду скажу, Леву я больше Ани и больше тебя люблю...»

АА смеется: «Каково это было услышать Николаю Степановичу, что она Леву больше, чем его, любит?»

После этого Н. С. как-то так «по-дружески» сказал АА, что у Тани такая неприятность, пришли какие-то дамы в институт (Т. Адамович преподавала Далькроза, а окончила она Смольный институт), чтобы выбрать для своих детей учительницу танцев. Местное начальство назвало им Т. Адамович. И вот тут эти дамы заявили: «Что вы, что вы — она любовница Гумилёва!». И что Таня очень расстроена, что испорчена ее репутация. АА усомнилась в истине этого рассказа Тани Адамович, сказала Н. С., что это

фантазия, потому что совершенно неправдоподобно, чтоб какие-то дамы знали об этом, а если и знали, то так сугубо искали бы невинную учительницу (ибо таких не бывает), а если и искали, то не стали бы заявлять об этом во всеуслышание, в казенном учреждении, да еще местному начальству. И Н. С. быстро согласился с АА, что это фантазия Тани Адамович. После этого как будто и началось его охлаждение к Т. Адамович...

АА снова рассказывала, как она «всю ночь, до утра» читала письма Тани и как потом никогда ничего об этом не сказала Николаю Степановичу.

Я говорю, вспоминая сообщения Зубовой, что благородство Николая Степановича и тут видно: он сам курил опиум, старался забыться, а Зубову в то же время пытался отучить от курения опиума, доказывая ей, что это может погубить человека.

АА по этому поводу сказала, что при ней Николай Степанович никогда, ни разу даже не упоминал ни об опиуме, ни о прочих таких слабостях и что, если б АА сделала бы что-нибудь такое, Николай Степанович немедленно и навсегда рассорился бы с нею. А между тем АА уверена, что еще, когда Николай Степанович был с нею, он прибегал к этим снадобьям. АА уверена, что Таня Адамович нюхала эфир и что «Путешествие в страну Эфира» относится к Тане Адамович.

АА задумчиво стала пояснять: «Жизнь была настолько тяжела, что Николаю Степановичу так трудно было, что вполне понятно его желание забыться...»

Анна Гумилева. 5-го июля 1914 года мы с мужем праздновали пятилетний юбилей нашей свадьбы. Были свои, но были и гости. Было нарядно, весело, беспечно. Стол был красиво накрыт, все утопало в цветах. Посредине стола стояла большая хрустальная ваза с фруктами, которую держал одной рукой бронзовый амур. Под конец обеда без всякой видимой причины ваза упала с подставки, разбилась, и фрукты рассыпались по столу. Все сразу смолкли. Невольно я посмотрела на Колю, я знала, что он самый суеверный; и я заметила, как он нахмурился. Через 14 дней объявили войну. Десятилетний юбилей нашей свадьбы мы с Митей скромно отпраздновали на квартире художника Маковского на Ивановской улице в Петрограде при совсем других обстоятельствах. Все было уже не то, и тогда Коля напомнил нам о разбитой вазе...



Надежда Тэффи*

Был такой поэт Василий Каменский. Не знаю, жив ли он и существует ли как поэт, но уже в эмиграции я читала о нем — был в Петербурге диспут «Гениален ли Василий Каменский?» После этого я его имени больше не встречала и ничего о нем не знаю. Он был талантливый и своеобразный.

Он ручей называл «журчеек», сливал журчание с названием. Передавал звуком острый зигзаг молнии.

Это он назвал мои вторники синими. Так и писал о них уже в большевистские времена — «синие вторники».

На «синих вторниках» бывали писатели, актеры, художники и те, которым было интересно посмотреть на всю эту компанию.

Помню, приехал из Оренбурга старенький казачий генерал. Был моим читателем и захотел познакомиться. И вот как раз попал на синий вторник.

Генерал был человек обстоятельный, прихватил с собой записную книжку.

— А кто это около двери? — спрашивал он.

— А это Гумилев. Поэт.

— А с кем же это он говорит? Тоже поэт?

— Нет, это художник Саша Яковлев.

— А кто это рояль настраивает?

— А это композитор Сенилов. Только не настраивает, а он играет свое сочинение.

— Значит, так сочинил? Так, значит, сам сочинил и, значит, сам и играет.

Генерал записывал в книжку.

— А кто эта худенькая на диване?

— А это Анна Ахматова, поэтесса.

— А который из них сам Ахматов?

— А сам Ахматов это и есть Гумилев.

— Вот как оно складывается. А которая же его супруга, то есть сама Гумилева?

— А вот Ахматова и есть Гумилева.

Генерал покрутил головой и записал в книжечку. Воображаю, что он так потом в Оренбурге рассказывал.

* Тэффи, Надежда (урожд. Лохвицкая) (1872–1952) — русская писательница и поэтесса, мемуарист, переводчик.

Украшением синих вторников была Саломея Андреева, не писательница, не поэтесса, не актриса, не балерина и не певица — сплошное «не». Но она была признана самой интересной женщиной нашего круга. Была нашей мадам Рекамье, у которой, как известно, был только один талант — она умела слушать. У Саломеи было два таланта — она умела, вернее любила, и говорить. Как-то раз высказала она желание наговорить пластинку, которую могли бы на ее похоронах прослушать ее друзья. Это была благодарственная речь за их присутствие на похоронах и посмертное ободрение опечаленных друзей.

— Боже мой, — завопил один из этих друзей. — Она хочет еще и после смерти разговаривать!

Многие художники писали ее портреты. У Саломеи была высокая и очень тонкая фигура. Такая же тоненькая была и Анна Ахматова. Они обе могли, скрестив руки на спине, охватить ими талию так, чтобы концы пальцев обеих рук сходились под грудью.

Высокая и тонкая была также Нимфа, жена Сергея Городецкого.

Мне нравилось усаживать их всех вместе на диван и давать каждой по розе на длинном стебле. На синем фоне дивана и синей стены это было очень красиво.

Я очень любила Гумилева. Он, конечно, был тоже косноязычным, но не в чрезмерно сильной степени, а скорее из вежливости, чтобы не очень отличаться от прочих поэтов.

Ахматова всегда кашляла, всегда нервничала и всегда чем-то мучилась.

Жили Гумилевы в Царском Селе в нестерпимо холодной квартире.

— Все кости ноют, — говорила Ахматова.

У них было всегда темно и неудобно, и почему-то всегда беспокойно. Гумилев все куда-то уезжал, или собирался уезжать, или только что откуда-то вернулся. И чувствовалось, что в этом своем быту они живут как-то «пока».

Они любили развлекать друзей забавной игрой. Открывали один из томов Брэма «Жизнь животных» и загадывали на присутствующих, кому что выйдет. Какому-нибудь эстету выходило: «Это животное отличается нечистоплотностью». «Животное» смущалось, и было очень забавно (не ему, конечно).

Н. Гумилев на синих вторниках бывал редко. Встретаться с ним я любила для тихих бесед. Сидеть вдвоем, читать стихи.



Гумилев никогда не позировал. Не носил байроновских воротников с открытой шеей и блузы без пояса, что любил иногда даже Александр Блок, который мог бы обойтись без этого кокетства. Гумилев держал себя просто. Он не был красив, немножко косил, и это придавало его взгляду какую-то особую «сторожкость» дикой птицы. Он точно боялся, что сейчас кто-то его спугнет. С ним можно было хорошо и просто разговаривать. Никогда не держал себя мэтром.

Мы могли бы с ним подружиться, но что-то мешало, что-то вмешалось. В современной политике это называется «видна рука Москвы». Эта «рука Москвы» выяснилась только через несколько лет. Провожая меня с какого-то вечера домой, он разговорился и признался, что нас поссорили. Ему рассказали, что в одном из моих рассказов о путешественниках я высмеяла именно его. Он обиделся. Тут же на извозчике все это дело мы выяснили. Конечно, рассказ не имел к нему никакого отношения.

Мы оба жалели, что это не выяснилось раньше. Он стал заходить ко мне. Но все это длилось недолго. Надвигалась война и его отъезд на фронт.

Беседы наши были забавны и довольно фантастичны. Задумали основать кружок «Островитян». Островитяне не должны были говорить о луне. Никогда. Луны не было. Луна просто вычеркивалась из существования. Не должны знать Надсона. Не должны знать «Синего журнала». Не помню сейчас, чем все это было связано между собою, но нас занимало.

Свое нелепое стихотворение «Сказка» он посвятил мне. В новом издании, напечатанном в Регенсбурге, «Сказку» поместили, почему-то вычеркнув посвящение. Должно быть, решили, что это не имеет значения. Но я эту «Сказку» люблю, и для меня она имеет большое значение, и я ее не отдам. Она моя.

Гумилев собирался на войну. Иногда приходила Анна Ахматова, тревожная и печальная. Он жил один в Петербурге. Все у них было беспокойно, и нельзя было ничего расспрашивать. Чувствовалось, что говорить нельзя. Ахматова быстро уходила.

— Пойду посмотрю на него.

Было что-то больное и тревожное, чего нельзя было касаться. Потом видела я Гумилева уже в военной форме. Все вскользь... И все ушло.

* * *

Я лежала в больнице в Париже. У меня был тиф. И зашел меня навестить Биншток, секретарь Союза иностранных писателей.

Он всегда ужасно волновался, и, хотя сидел далеко от меня, около дверей на стуле для посетителей, мне казалось, что от его волнения все бутылочки, рецепты, стаканы и баночки с моего больничного столика летят на пол, а висящий на стене термометр гонит ртуть до сорока.

Мне было худо. Я сказала Бинштоку:

— Ради Бога, ничего мне не рассказывайте. Меня все беспокоит, я очень больна. Не хочу знать ни плохого, ни хорошего.

— Я знаю, я знаю, — заторопился он. — Я утомлять не буду. Я только одно. Новость. Гумилев расстрелян.

— О-о-о! Ведь я же просила. Зачем вы... Я так любила Гумилева! О-о-о!

И слышу дрожащее блеяние Бинштока:

— Дорогая! Я же думал, что это вас развлечет...

О, Господи!





Вера Алперс*

Из дневника

11 июля 1914 г. Пятница.

Опять зной нестерпимый. Интересные дни были последнее время. Вчера я сделала глупость конечно, согласившись пойти с Гумилевым в отдельный кабинет. Какова смелость! Черт знает что такое! Пожалуй, я слишком уверена в себе. Такие штуки опасны очень. Вела я себя великолепно. Он конечно влюблен в меня. И я это чувствовала, Откровенно говоря, я трусила. Я даже посмотрела на задвижки окон... Разговор был очень интересный. В общем, все это довольно гадко. Он мне совершенно не нравится. Конечно, приятно покорить людей хоть на время, только долго возиться с ними неинтересно. Вчера был страшно хороший день. После обеда мне так весело было играть в теннис с Долиновым**. Мы как дети играли. А когда стемнело, я сидела с доктором у моря. Он очень интересный. Он, пожалуй, лучше всех. Наши все смеялись над моим поведением. Папа даже назвал меня «Незнакомкой». (Впрочем, они тогда еще не знали про отдельный кабинет!) Сегодня мама была удивлена и даже огорчена немного, и сказала, что теперь она ожидает от меня всего. Это ужасно. Конечно, это было легкомысленно. Но странно: у меня есть какая-то сила отдалять людей, не давать им повода не только к фамильярностям, но даже к намеку о фамильярности. Я верю в эту силу и мне приятно ее иногда испытывать. Ну будет об этом. Тут конечно может быть сплетня, а может и ничего не быть. Во всяком случае я с Гумилевым буду осторожна. Дальше нельзя так продолжать. Вчера он говорил, что я должна ему написать письмо. Я была искренне удивлена и конечно не подумала ни писать, ни говорить с ним об этом. У него идет вполне определенная игра и намеренность меня завлечь. Но это ему не удастся. Я вижу его программу. И эти книги... стихи...

14 июля. Понедельник.

Стыдно, стыдно писать такие вещи. Причем тут программа, причем тут игра. Этот человек может помочь мне воспитать саму себя. Я столько узнала о себе за последние дни, я точно вступила

* Алперс, Вера (1892–1982) — русская пианистка.

** Долинов, Михаил (1892–1936) — поэт, журналист, артист, инженер.

в другой мир, мне открылась возможность иной, внутренней жизни, внутренней работы. Я знаю: мне этого не хватало. Я знала, что нужно что-то делать с собой. Но я не знала, над чем мне нужно работать. Я не знала части своих недостатков. И потом я не знала, действительно ли это недостатки. Я думала, что это может быть свойства природы, может быть достоинства. Вчера он дал отдохнуть мне немного. Он почти не говорил обо мне. Мы очень просто и мирно беседовали. Зато накануне он прямо замучил меня. Мне трудно было справиться со всем тем, что он говорил мне, несмотря на то, что я его очень хорошо понимаю. Он уверял меня, что это мне не ново, что я все это уже думала и что если б я и не встретила его теперь, то и сама через год пришла бы к тому же. Надо работать над собой, чтобы достигнуть чудес. Быть сильной духом. Вот для чего это надо! Он говорил, что у меня сила в любви к миру. Что у меня большая любовная сила. Какая-то дрожь... Он уступил мне первенство. Не случайно, а сказал мне это. И это так... Это сказочно. Такие прогулки, такое время могут быть только с поэтом. Я думаю как хочу, не по капризу конечно, а так, как необходимо, он не настаивает. Он говорит, что он сам не может от меня уйти и потому просит меня распоряжаться временем. О! Я конечно не могу равнодушно этого слушать! А между тем я кажется и это приняла как должное.

18 июля. Пятница.

Как много я пережила за эти две недели. Они ни с чем не сравняются. Вчерашний день мог бы кончиться прямо ужасно. Я иногда не понимаю себя. Чего мне нужно? Так нельзя испытывать судьбу. Вчера Гумилев признался, т. е. объяснился мне в любви. Все это ничего, очень приятно, но это было у него, он просил меня дать ему что-нибудь, я была совершенно в его власти... Что меня спасло? Я позволила ему целовать себя. Это гадко. Он думал, что он возьмет меня этим. Что он привяжет меня к себе, что мне это понравится. Он ошибается во мне. Как ошибся тогда с письмом. Вот я за то сразу его поняла. Поняла, что у него программа, поняла, что это гадко. Только почему я отказалась потом от этих предположений. Положим это понятно. Ведь приятно слушать, когда тебя воспевают, когда говорят о духовной красоте. Поняла и то, что он в меня влюбился. Ему нужно мое тело. (Нет! Я понимала свое положение, что не дала ему пощечины!) Это оскорбительно, но это было бы еще более оскорбительно, если бы я стала говорить с ним на эту



тему. Я никому не отдам моего тела. Потому что оно принадлежит одному человеку, который даже нежности не просит. А он любил меня. У него была страсть ко мне. Я не сумела ее принять. Я только наслаждалась ею в душе, сама с собой. Я не делилась с ним этим счастьем, я как скупой рыцарь уходила в подвал любоваться переливами драгоценных камней. Где же любовь, где любовная сила моя!..

20 июля. Воскресенье.

Война, война. События надвигались серьезные. Бежать, пожалуй, придется. В Петербурге плач и стон. Всех забирают. Запасных, ратников, вся гвардия идет. Война какая-то слепая. Мне она напоминает 1812 год. Все это так близко. Самое скверное это то, что папа из Кисловодска еще не приехал.

Мы не знаем, что делать. Ехать ли в ПБ или оставаться здесь. А я странная. Днем — война, говорю о ней, даже думаю иногда. А зато к ночи и утром просыпаясь, вся отдаюсь мечтам. Думаю о Прокофьеве*. Гумилев дал мне намек на чувства и отношения, о которых я только могла подозревать. И потом благодаря ему я как-то больше поняла Прокофьева. Ведь он никогда ничего не говорил мне о своих чувствах, откуда же я могла знать. И я, я тоже самое, откуда же он мог знать! А теперь я прямо брежу им. А его еще на войну возьмут. Да, наверное, наверное. Неужели не пришлет мне ни строчки, если уйдет куда-нибудь... Неужели ни одного слова не найдется для меня у любимого, но не милого! Боже мой! Это мучительно. Чувствовать человека и не иметь его, ведь даже вспомнить нечего. Нельзя ни одним моментом упиться, переживая. Все время не хватало, не хватало чего-то. — А ведь Гумилев, пожалуй, прав, что я первую неделю «сразбега», буду молиться, чтоб его убили, а потом даже не захочу этого. То есть потом я наверно забуду об нем. Он пугал меня, что будет преследовать меня зимой, что будет требовать, чтоб мы видались, и что сильное желание победит все. Я не разубедила его, я только говорила, что требовать любви нельзя. Я все-таки не верю ему. Он мне говорил, что он меня любит, что он меня чувствует. Холодный он человек все-таки. Хотя я чувствовала его страсть, только она скоро пройдет у него.

* Прокофьев, Сергей (1891–1953) — выдающийся русский советский композитор, пианист, дирижёр и педагог.

Сколько счастья мог бы дать мне Прокофьев. А он разве не был бы счастлив лаская меня! Ведь он бы чувствовал, как я отдаюся его ласкам, с каким наслаждением!

26 июля. Суббота. 1914 г.

Страшно быстро пролетела эта неделя.

Неужели доктор ко мне равнодушен? Вчера он с нежностью иногда смотрел на меня, и потом он ловит мои движения. Это очень приятное чувство. Как будто ни одно движение не пропадает, а находит себе определенный смысл. В таких случаях я становлюсь очень скупой на движения. Это хорошо. Гумилев меня избаловал. Мне как-то все разговоры кажутся неинтересными. Вчера я говорила с Долиновым, мы сидели в общественном парке. (На что Вяч. Пав. была кажется в большой претензии и даже зла на меня). Мы говорили о поэзии, о поэтах. Наверно ему было скучно. Долинов мне нравится. Только я отношусь к нему как к младшему, в душе, конечно. Мне нужно с ним играть немножко, кокетничать насколько я могу, не нужно просто хорошо относиться. Для него это скучно. А я хочу ему нравиться. Вот странно. Я его тоже боюсь немножко. Я готова при первом случае, намеке спрятаться в свою раковину. Почему к Гумилеву у меня этого нет. Я его не боюсь, я ему верю. Или он действительно хороший человек или же он хитрый и сумел заставить меня верить ему. Конечно последнее вернее. Для меня это скверно.

28 июля. Понедельник. 1914 г.

Я влюблена. Так я еще не была влюблена. Долинов раздражает меня, дразнит. Когда я сидела вчера рядом с ним, мне стоило некоторых усилий, чтобы остаться сидеть на расстоянии, чтобы не прижаться к нему. Вчера я чувствовала, что у меня загораются глаза. Я старалась не смотреть на него. Хотя это конечно смешно. Почему стараться не смотреть, почему не сесть ближе в лунную ночь, на берегу моря! Только мне хочется, чтобы и ему этого захотелось. А он по-видимому очень спокоен. Ему приятно быть со мной, только у него нет никакого волнения. Впрочем он человек бывалый и опытный, не будет волноваться понапрасну! И мне нужно начать обороняться и потом перейти в наступление, а то может быть плохо. Может быть он отлично чувствует мое отношение, замечает, как у меня иногда понижается голос — и нарочно дразнит меня, не подходит.



Я сегодня вспомнила слова Гумилева. «Как иногда бывает хорошо и странно жить!» Это признак.

9 августа 1914 г. Суббота.

Я на ночь полюбила читать Блока. Читать, плакать над ним, томиться... Днем он мне кажется другим. Мне нравится совсем уже другое. Он скорее ночной. Да, он ведь и говорит, что посвящает свою книгу... ох, ведь она и называется «Снежная Ночь». А я ночь люблю. Ночью люди другими бывают.

Я вспомнила слова Гумилева на днях, что нужно самому творить жизнь, и что тогда она станет чудесной. Я это знаю, у меня иногда бывают такие моменты, я носила в своей душе какой-то мир, и вместе с тем я жила внешним миром, но я его как-то перетворяла. Это не чушь, это чудесно. Но только для этого надо жить. Я ошибалась, когда думала, что если я делаюсь равнодушной и вялой к окружающей жизни, то я живу внутренне. Это не верно. Это просто я застывала.

24 августа 1914 г. Воскресенье.

Я так устала сегодня. Мне даже кажется, что я больна. Сегодня мы в Павловске были. Насколько там хорош парк, настолько отвратительна тамошняя публика. Что-то пыльное, городское, изломанное...

Ну Бог с ней. — Я весь день занята Гумилевым. Почему-то сегодня пришлось много говорить о нем. Соловьем рассказывала о нем, потом по дороге в Павловск встретила Бушен с братом. Опять его вспоминали...

27 августа 1914 г. Среда.

Вчера была у Бонди. Видела Мейерхольда. Он очень мил со мной и как-то серьезен. Говорил, что соскучился обо мне. Вот кто может вскружить голову. Я еще не в безопасности. Но зато я и сама теперь могу играть. Гумилев много мне дал, и многому научил меня. У меня теперь другое отношение к мужчинам. Мне кажется, что Мейерхольд заметил это, хотя он ничего не сказал мне, но он так наблюдал за мной, тихонько и не только из кокетства.

18 октября 1914 г. Суббота.

Вот отчего меня так тянуло на Невский сегодня. Прокофьев там был. Мама встретила его. А я опоздала. Боже мой, как я хочу

его видеть. Гумилев говорил, что если девушка и вспоминает Бога, когда думает о своей любви, если и молится ему — то ошибается. А по-моему он не прав. Любовь ведь это радость. О радости разве нельзя молиться? Ведь я страдаю вот теперь. Как же мне не молиться? И это страдание не только тоска.

4 декабря 1914 г. Четверг.

Ах это ужасно! Это так томительно. Я чувствую, что я вяну, сохну не физически, а нравственно. Гумилев спрашивал меня, чего мне не хватает. Я никак не могла понять, что мне ответить. Я сама не могла понять, чего мне не хватает, мне казалось наоборот, что у меня есть что-то лишнее, с чем мне нужно расстаться (это конечно Прокофьев). Теперь я знаю, что мне действительно не хватает чего-то. Не хватает солнца, света, тепла. Я в тени, ни один луч еще не упал на меня, не проник ко мне. Что мне делать со своим сердцем? Взять и разбить его как пустую, ненужную вещь? Я ходила сейчас гулять по Каменному острову. Я так завидовала этим парочкам, исчезавшим на острове...

11 октября 1915 г. Воскресенье.

...А у меня мысли роем кружатся в голове, и радость иногда охватывает меня. Сегодня мне приятно было; мне кланялся Гумилев. Хотя это даже неприятно может быть, как-то уж очень значительно, поклон — как будто краткое одобрение мне и привет. Фокусник. Но мне было приятно.

Я иногда бываю ужасно недовольна своим дневником. Очень уж редки в нем мысли, все чувства. А между тем я иногда высказываю недурные мысли в разговорах...

10 ноября 1915 г. Вторник.

Я в себе чувствую какие-то силы дремлющие, какая-то атмосфера насыщенности меня охватывает. И это не моментами, а целыми днями. Но я сижу, думаю, дремлю, отвлекаюсь, но привыкла сдерживать себя. Да и что же я сделать могу? Сегодня утром я думала о Бушен и о себе. У меня есть какая-то вера. Самая простая и наивная вера в Бога, которому я могу обо всем молиться. Я раньше скрывала это, я думала, что это скучно, потом я не знала, что и о любви я могу молиться Ему же... Во всем этом меня как-то поддерживал Гумилев. Он сам или любит Бога или привык Его любить,



но он как-то часто и легко упоминал о Нем. Да, что ж мне остается делать? Молиться, любить и надеяться? Это не безумие, не сомнамбулизм, мне хочется любви, счастья. Настоящего счастья...

30 ноября 1915 г. Воскресенье.

Сегодня какой-то особенный день, все меня волнует. Борис (брат Веры Алперс. — *И. Т.*) сегодня уехал в Царское к Гумилеву, обзаведется какое-то новое общество поэтов. Только он успел уехать, как звонит Чеботаревская, говорит, что ей Борис нужен сегодня по делу, непременно сегодня. Я за Бориса ужасно рада. То что его Гумилев пригласил — очень хорошо. Пускай даже тут будут какие-нибудь убыли, не все ли равно. Все это устраивает Мандельштам. Ему конечно очень хочется опять попасть к нам, слушать музыку, читать свои стихи. И не нужно отнимать у него эту надежду, если он может быть полезен. Я так рада теперь за Бориса. Он отошел от студии, появились свои интересы. А в студии он был ничьим, сам не актер, а так, поклонник талантов. Пускай сначала все это туго дается, все эти общества ему еще чужды, но они, эти общества его искусства, а не чужого. А нужно завоевать себе положение...

Александра Сверчкова. Наступил 1914 г. Началась война с Германией. Н. С. из-за глаз не был призван, точно так же, как и Коля М., но они оба были патриоты и не могли оставаться в тылу: они записались вольноопределяющимися в лейб-гвардии кирасирский полк, стоявший в Царском Селе. Обоих их откомандировали в Школу прапорщиков. Н. С. назначили на фронт, а Колю М. по слабости легких оставили в тылу. Взятка писарю и вместо «негоден» поставили «годен», и Коля М. отправлен а полк. Отравленный ядовитыми газами, контуженный, он вернулся домой. Н. С. не был ни ранен, ни контужен, но за свою безумную смелость заслужил 2 Георгия и был направлен во Францию для успокоения наших солдат, бывших там с начала войны...

Лукницкий. Вспоминает Анна Ахматова: «И вот мы втроем (Блок, Гумилев и я) обедаем (5 августа 1914 г.) на Царскосельском вокзале в первые дни войны. (Гумилев уже в солдатской форме.) Блок в это время ходит по семьям мобилизованных для оказания им помощи. Когда мы остались вдвоем, Коля сказал: „Неужели и его пошлют на фронт? Ведь это то же самое, что жарить соловьев“».

Анна Гумилева. День объявления войны застал меня в имении моей матери — Крыжуты, Витебской губернии. Я сейчас же решила ехать к мужу, в Петербург. Приехав туда, поехала на квартиру моих родителей. Отца дома не застала и вообще никого. Оставив записку, помчалась в Царское Село и там узнала, что Коля, движимый патриотическим порывом, записался добровольцем в Лб. Гв. Уланский полк, с которым был отправлен на фронт. Я сама записалась в Свято-Троицкую общину сестер милосердия. Год проработала в Петербурге в лазарете, а затем была отправлена в перевязочный отряд при 2-й финляндской дивизии. В этой дивизии мой муж был в пехотном полку, был награжден «Владимиром с мечами», пробыл три года на фронте и был сильно контужен. Коля уже в начале войны успел настолько отличиться, что был дважды награжден георгиевским крестом за храбрость. Для поэта война была родная стихия, и он утверждал: «И воистину светло и свято — Дело величавое войны. — Серафимы ясны и крылаты — За плечами воинов видны...». Несколько раз Коля приезжал на несколько дней в отпуск и раза два-три наши отпуска совпадали. Мы все трое «фронтовые», как называла нас Муся (племянница), делились впечатлениями. Было метко сравнение поэта:

*Как собака на цепи тяжелой,
Тявкает за лесом пулемет;
И жужжат шрапнели, словно пчелы,
Собирая ярко-красный мед.*

Лукницкий. 1914 год — последний год, когда АА была в «Бродячей собаке». Перестала бывать с началом войны. После объявления войны была только раз, когда Николай Степанович приезжал с фронта и его чествовали. Но АА пришла в «Собаку» тогда очень ненадолго — сейчас же ушла.

АА: «Затем 24 декабря мы уехали. До Вильно — вместе. Потом я поехала в Киев (одна). Погостила в Киеве у мамы. В начале января я вернулась в Царское Село. Это уже пятнадцатый год? Да, пятнадцатый...»

Вот тут, в конце января, читала в Думе стихи Николая Степановича.

Я знаю, что в конце января это было. Весной 15 года переехали в Петербург (из Царского) на Пушкинскую улицу... «Пагода» тот дом назывался.



Была серая и темная комната, была очень плохая погода, и там я заболела туберкулезом, т. е. у меня сделался бронхит. Чудовищный совершенно бронхит.

Это было в первый раз в жизни, что я так кашляла. И вот, с этого бронхита и пошло все. Я так себе представляю — что я, вероятно, апрель, май там провела, вот так... Потом уехала в Слепнево. (В мае или в июне я уехала.) Вот это — военные письма Николая Степановича относятся к этому времени. В Слепневе я очень заболела — туберкулез стал развиваться, и было решено меня отправить на юг, в Крым. Я приехала в Царское одна — летом 15 года, чтобы отправиться оттуда.

Потом приехал Николай Степанович в Царское. (Я приехала в Петербург в день взятия Варшавы и сразу — в Царское.)

Приехал Николай Степанович. Мы жили во флигеле. Дом был сдан кому-то на лето (так всегда было). Потом Николай Степанович уехал на фронт. Опять я была у профессора Ланга. Ланг мне тогда удостоверял впервые, что у меня есть в верхушке туберкулезный процесс, и велел ехать в Крым. Я по 6 часов в день должна была лежать на воздухе. Я так и делала. (В Царском Селе.) Я получила телеграмму, что отец болен очень. Приехала к нему (на Крестовский остров, набережная Средней Невки) и 12 дней была при нем, ухаживала за ним вместе с Еленой Ивановной Страннолюбской (та дама, которая с ним жила лет 25...). 25 августа папа скончался. Я вернулась в Царское. Приблизительно в октябре — в Хювинькуу поехала, в санаторий. Там Коля меня два раза навещал — в Хювинькуу. Привез меня, потому что я не согласилась там оставаться дальше (недели три там пробыла). Потом вернулась в Царское, где и оставалась до весны 16 года».

Анна Гумилева. Как отец, Коля был очень заботлив и нежен. Он много возился со своим первенцем Левушкой, которому часто посвящал весь свой досуг. Когда Левушке было 7–8 лет, он любил с ним играть и любимой игрой была, конечно, война. Коля с бумерангом изображал африканских вождей. Становился в разные позы и увлекался игрой почти наравне с сыном. Богатая фантазия отца передалась и Левушке. Их игры часто были очень оригинальны. Любил Коля и читать сыну и сам много ему декламировал. Ему хотелось с ранних лет развить в сыне вкус к литературе и стихам. Помню, как Левушка мне часто декламировал наизусть «Мика», которого выучил, играя с отцом. Все это происходило уже в Петербурге, когда мы жили вместе. Часто к нам приходили мои племянники

и дети Чудовского. Вся детвора всегда льнула к доброму дяде Коле (так они его называли) и для каждого из них он находил ласковое слово. Помню, как он хлопотал и суетился, украшая елку, когда уже ничего не было и все доставалось с невероятными усилиями. Но он все же достал тогда детские книги, которыми награждал всю детвору. Удалось ему достать и красивую пышную елку. И веселились же дети, а смотря на них, и взрослые, в особенности сам Коля!..





Ольга Гильдебрандт-Арбенина*

Я увидела его в первый раз 14 мая 1916 г. Это был вечер В. Брюсова об армянской поэзии — в Тенишевском училище на Моховой. Народу было много; Брюсов читал прекрасные стихи, очень пыльные — «ты сожгла мое сердце, чтоб подвести себе углем брови», — остального я не помню. Меня одну по вечерам не пускали, я часто болела и иногда падала в обморок — даже в ванну! Со мной была моя Лина Ивановна (которую «мальчики» звали «цербером»). И еще пришел по сговору со мной мой «взрослый» поклонник, поэт Всеволод Курдюмов (у него была жена и даже родился сын).

В антракте, проходя одна по выходу в фойе, я в испуге увидела совершенно дикое выражение восхищения на очень некрасивом лице. Восхищение казалось диким, скорее глупым, и взгляд почти зверским. Этот взгляд принадлежал высокому военному с бритой головой и с Георгием на груди. Это был Гумилев.

Я была очень, очень молода, но по странному совпадению моей судьбы уже пережила и самое печальное в своей жизни — и довольно сильные радости и увлечения, хотя меня крайне строго держали, я много болела и много училась. Он сказал мне потом, что сразу помчался узнавать, кто я такая. «Это сестра Бальмонта». Меня вечно путали с Аней Энгельгардт (вторая жена Гумилева. — *И. Т.*), хотя она и не была похожа со мной, — более темноволосая, кареглазая, с монгольскими скулами, более яркая и, с моей точки зрения, гораздо более хорошенькая! На Никса Бальмонта, ее брата, я скорее могла походить по краскам — он был рыжий, зеленоглазый, со светло-розовым лицом и с тиком в лице — последнее мне очень нравилось в нем — а он ко мне очень нежно относился, говорил, что я должно быть такая, какой была бы его умершая сестра Ариадна — и ставил в пример своей сестре Ане. (Я думаю, Гумилев спрашивал про меня не у Никса, у кого-то другого; я Никса в тот вечер не помню.) И вот — говорил мне потом Гумилев: — «Я пошел и попросил Николая Константиновича — Представьте меня вашей сестре. — Он познакомил меня с нею... Это была тоже очаровательная девушка, но ведь это же не та».

* Гильдебрандт-Арбенина, Ольга (1898–1980) — русская актриса, художник, мемуарист. Супруга поэта Юрия Юркуна.

Мне пришлось опять пройти тем же проходом. Почему одной? Лина Ивановна сидела на месте — но куда девался Курдюмов? и другие знакомые?

Я увидела Аню, и рядом с ней стоял Гумилев, т. е. это я узнала от нее, — она меня остановила, сказав: «Оля, Николай Степанович Гумилев просит меня тебе его представить». Я обалдела! Поэт Гумилев, известный поэт, и Георгиевский кавалер, и путешественник по Африке, и муж Ахматовой... и вдруг так на меня смотрит... Он «слегка» умерил свой взгляд, и я что-то смогла сказать о стихах и поэтах. Аня потом сказала с завистью: «Какая ты умная! А я стою и мямлю, не знаю, что».

Я не могу сказать точно, была ли у меня намеренная уловка, или нет (а он следил за мной), но я одна выбралась опять в фойе, и Гумилев тут же появился и встал передо мной. Он смотрел на меня в упор, и я услышала его голос (теперь это было бы впечатлением от голоса по радио — в то время как сам человек стоит и молчит), но тогда ведь не было радио, и сказанные слова прозвучали как в воздухе, — «я чувствую, что буду вас очень любить. Я надеюсь, что вы не *grude*. Приходите завтра к Исаакиевскому собору».

Я ответила в обратном порядке: — «Это мне очень далеко... И все же неловко...» («так скоро» — я не сказала). Но на любовь я могла только улыбнуться.

На просьбу пойти меня проводить я могла только сказать, что я не одна — телефон ему дала — еще он сказал: «Я вчера написал стихи за присланные к нам в лазарет акации Ольге Николаевне Романовой — завтра напишу Ольге Николаевне Арбениной».

Он был ранен (или контужен) и лежал в лазарете (а не жил у матери), в Царском.

Он, конечно (т. е. я думаю!), пошел проводить Аню (впрочем, этого я точно не знаю. Где они увидались, не знаю). Как она пошла без брата, не знаю. Она была старше меня, была сестрой милосердия и ходила в форме сестры, которая ей чрезвычайно шла. Что было ясно: она «учуяла» опасность и «бросилась наперерез». У нас с ней были общие поклонники, и, как я сказала, нас часто путали. Брат ее не любил Гумилева как поэта; он был поклонником Кузмина.

И вот Гумилев мне позвонил. Он попросил прийти... но я сказала, что занята (я днем ходила одна, но я обещала Курдюмову с ним погулять и Гумилеву сказала на следующий день). Вот и началась комедия-путаница.



(Из стихов Курдюмова:

*Славянских девушек и рек
К другому берегу пристанет.
Неторопливая краса,
Пойдет искать себе ночлег
Ленивый на поле разбег,
Под крепкой кровлею резною...
Тугие — к морю — паруса...
Чураться надо мне весною
А девушка берет челнок,
Славянских девушек и рек.)*

Пошла я в Летний сад с Курдюмовым (отношения сугубо платонические) — и на крайней скамейке у решетки увидела Гумилева с Аней!..

Мужчины о чем-то поговорили, Аня имела вид смущенный, девический и счастливый, а я собрала все свое нахальство и какой-то актерский талант и переглянулась с Гумилевым как в романах Мопассана.

В назначенный день и час мы встретились — как будто в районе Греческой церкви — было ветрено, холодно, листья распустились, но весна задерживалась (я помню, что я не могла надеть зеленый костюм, и от холода носила синее осеннее пальто и шляпу серую с синим), — он, с моего согласия, повез меня не на Острова, а в Лавру. Мы прошли через тот ход, где могила Наталии Николаевны и Ланского. Вероятно, хитрый Гумилев придумал эту овечьную ветрами поездку, чтобы уговорить потом поехать с ним в ресторан — согреться. По дороге мы заехали в книжный магазин, где он купил мне «Жемчуга» и написал:

«Оле. Оль
Отданный во власть ее причуде
Юный маг забыл про все вокруг...»

И поставил какое-то «будущее» число...

В ресторане (в отдельном кабинете, конечно!) я до того бывала только со своим французом-дедушкой и его знакомым французом в Астории и в Европейской, но тут я испугалась... и очень

развеселилась. Было сказано все: и любовь на всю жизнь, и развод с Ахматовой, и стихи (из прочитанных им «старых» стихов мне больше всего понравилось «и закаты в небе пылали, как твои кровавые губы...»). Первые, что он прочел обо мне: «Женский голос в телефоне, Упоительно-несмелый... Сколько сладостных гармоний в этом голосе без тела...» Стихи были довольно длинные, и я их не помню. Очень пылкие и шли crescendo, как в «Самофракийской победе»...

Увы! Эти самые стихи он через год «отдал» Елене из Парижа, конец пропал — и он отрубил им хвост (я прочла их в 1918 г. — в сб. «Костер»... А насчет альбома Елены он рассказал позже, в 20-м. Я, конечно, не унижалась спрашивать причины. Он сам довольно много рассказал). У «нее» звучало:

Женский голос в телефоне — неожиданный и смелый...

Вообще мы говорили обо всем: и о войне, и об Африке, и о царице, и о Ронсаре, и Дю Белле (он, враг немцев, как-то хорошо относился к кронпринцу. Как и я. Вероятно, у кронпринца, как у Гумилева, была какая-то легкая дегенерация). Кажется, мы не упомянули о нашей «неловкой встрече» в Летнем саду — ни об Ане. Надо сказать, очень странную вещь: Аня была бойкая, с загорающим румянцем, вертлявая; о нас говорили: «Коломбина и Пьеретта», имелось (про меня) мнение, что это Блоковская Коломбина, — я была бледнее, болезненнее, и меня без конца называли принцессой Малэн, Мелисандой, Сольвейг, — и другими нежными «северными девушками».

С первой встречи в ресторане меня «подменили», и у меня вдруг прорвалась бешеная веселость и чуть-ли не вакхичность — и сила — выдерживать натиск.

Гумилев доставил мне радость, отметя нежных северянок, и называл меня Хлоей («с козленком, в золотой пыли»), Розиной (это, верно, за нечаянную, но вовсе не свойственную мне хитрость!) и... Кармен. Это была моя мечта: и Блоковская Кармен, и музыка Визе, и сама Кармен — и главное — Судьба. Он еще сказал «красный перец». Тут уж моя доля была predetermined!

Но я выдерживала все натиски и безумно боялась. Я знала все «про любовь» из «Суламифи», из «Саламбо», из романов д'Аннунцио. Я ничего не знала реально. Помню, на улице (на какой, не помню!) мы говорили о существующих поэтах, как



о «кандидатах» (вероятно, я имела в виду французскую традицию «королей поэтов»). «Бальмонт уже стар. Брюсов с бородой. Блок начинает болеть. Кузмин любит мальчиков. Вам остаюсь только я». Я говорила, что очень люблю Блока. Он тоже. Я хотела (по карточке и по стихам) с детства иметь роман с Блоком — но его внешний облик меня расхолодил. (Этого я не сказала). «Я чувствую себя по отношению к Блоку, как герцог Лотарингии к королю Франции». (Когда я стояла в роли пажа на сцене Михайловского театра, в пьесе «Генрих III и его двор», в лиловом трико, и слышала имя Гиза, герцога Лотарингского, я вспоминала... И даже пожалела, когда меня «повысили», и уже в качестве пажа короля (в белом с голубым) становилась первой от публики из девочек за тронном короля.) «Но я бы предпочла быть королевой французской».

Я помню, что проявила зверство, спросив: «Сколько немцев вы убьете в мою честь?». — Ведь я мечтала о проливах, и патриотизм был у нас одного толка.

Мы встретились еще раз, и тут было еще труднее выдержать штурм.

Он говорил, что надо завести «альбом Оли» и туда вписывать все стихи. Увы!... Это было последнее мое свидание с Гумилевым в ту весну. Он начитал мне бездну стихов, и старых, и новых, — и вся эта бурность, которая меня заколдовала, через год перешла в другой альбом — Елены — в Париже. Меня наказали — и мне нельзя было увидеть его перед его отъездом в Массандру, — ни получать от него писем. И потом — пришла Аня, и мы «повывеживали» друг у друга свои новости. Она перешла в мою шкуру, побледнела и стала говорить тише и смиреннее. Мне кажется, у нее уже все случилось. И теперь еще мне непонятно, почему я хохотала, как в исступлении, и меня выбрасывало с кровати по ночам, как будто шло какое-то колдовство?!

И вот я написала «злое», горделивое письмо — он потом мне сказал, что сжег его в Вогезах.

Как, такая хорошенькая девушка, сумевшая принять образ «Иерусалима Пилигримов», не утишила его бешенства?

*У кого я попрошу совета,
Как до легкой осени дожить,
Чтобы это огненное лето
Не могло меня испепелить...*

(Откуда это?)

Я не хочу вспоминать обрывки стихов из «Синей звезды», — он отдал их другой... через год.

А вот это скорее об Ане... «подошла девической походкой, Посмотрела на меня любовь. Отравила взглядом и дыханьем... и ушла — в белый май с его очарованьем»...

Лето (у него, в Массандре, у меня — на даче) кончилось. Осенью я была очень занята, и как-то (даже не помню, как) меня попросили прийти по просьбе Гумилева послушать «Гондлу» и летние стихи.

*В дали, от зноя помертвелой,
Себе и солнцу буйно рада,
О самой нежной, о самой белой
Звенит немолчная цикада...
Увижу ль пены прибрежной
Серебряное полыханье,
О самой милой, о самой нежной
Поет мое воспоминанье...*

(Он сказал в 1920 г. на лестнице, при Ане, что эти стихи обо мне).

Я не пошла. Вероятно, ошибка. Я не повидалась с ним перед границей. И перед войной. Ведь он еще воевал. Я предоставила Ане и проводы, и переписку...

Из Интимного дневника

4 сентября 1916 г.

Боже! Боже! Боже!

Я иду ... я встречаю Аню... да, Аню...

И она торопится на свидание с Гумилевым. А потом неожиданно встречаю их обоих. Он, кажется, улыбается. Но я презрительно прощмыгиваю, не глядя. Он ей писал о любви все лето...

(А она любит другого!). Он зовет ее в Америку... О! не в Египет!

Он просит ее... О, то же самое! Но она счастлива! Свободна! Любима! Любит! С письмами знаменитого поэта!..



Я пришла домой и глупо, по-детски, зарыдала; как глупая истеричка, кричала. Стыдно! Больно! Зло!

Он сейчас целует другую... Он! Эти руки! Ее! Эти губы!!!
Ей посвятил пьесу. Ей писал. О ней думал?!! А я???».

9 сентября.

Все это самоубийственно глупо. Его руки гладят другую. J'aime l'horreur d'être vierge (я ужас люблю быть девственной (*фр.*) — И. Т.). „Чистота — подавленная чувственность, и она прекрасна»...Ах, его слова!.. Но я не хочу жить, если его пальцы не коснутся моих рук больше!

12 сентября.

Вечер. Вчера шла в театр и думала: ровно неделю назад я их встретила. Что, если действительно они встречаются? (Я уже начала вести счет неделям чужого счастья, чужой любви. Больше ничего!)

15 сентября.

Татьяна Адамович открыла *свою* школу ритма. Громадные буквы на афишах... А Аня, верно, поступит к ней в школу. Сегодня как раз открытие. И Гумилев будет иметь удовольствие видеть свою бывшую и свою настоящую любовь. Быть может, и жену Анну приведет для полного ансамбля. А обо мне забыл и думать...

18 сентября.

Ах! Сегодня ровно четыре месяца, как я была так счастлива (я в ресторане с ним пила вино и целовалась в это время).

22 сентября.

Гумилев на войне? 4-го я его еще видела здесь, а теперь уже на фронте?!.. И пишет Ане? — Дрянь!

5 октября.

Проклятие! Гумилев уже давно тут (мне сказала Лидя), останется тут до Рождества. Он с Аней? С кем он? Сердце яростное, сердце глупое, молчи, молчи...

21 ноября.

Но вот Лида сказала, что Гумилев под Ригой, на фронте. Злой! Любит другую! Целует другую! И обо мне и памяти нет... А я скучаю по тем рукам — о мой герцог Лотарингский!

24 ноября.

Письмо... от Ани... Она пишет: „Гумилев пишет с фронта, я была очень вероломной по отношению к нему; но все же я его не очень, не очень люблю!..» Дрянь!

А все-таки она первая обратилась ко мне.

И за что это мне, Господи! Мы в один день с нею с ним познакомились; одинаково и очень обе ему понравились (это-то я наверное знаю); и вот — он пишет ей, а я забыта им, как снега прошлых зим, как зелень старых весен... за что, Господи? Нежной и страстной была я в его руках! Я не отдалась ему, правда, — но и она не его любовница, конечно?..

Мне — мелкие радости, мелкие печали, мелкие волнения, — а ей — любовь и письма прекрасного, великого, бурного поэта!..

27 ноября.

А Ане пишет любимый поэт, и ей жизнь улыбается.

30 ноября.

Он ей нравится. Хоть она и говорит — нет, как я. Он возил ее на острова в автомобиле, они ели в Астории икру и груши, приехал к ней в Вознесенск, и грозой, в беседке с настурциями, безумно целовал ее — как меня... Он посвящает ей стихи и посылает розы!.. Поет гимны ее телу, как моему тогда. Но она смеется: «В два дня он успел тебе наговорить столько, сколько мне в несколько месяцев!» Проклятие! О да! Проклятие!..

(Я ли не покорна судьбе, я ли в нее не верю, не молюсь?). Злые они! Ко мне! Боже! Боже!

Он спросил «жадно» Аню 28-го: „А видали ли вы Арбенину? Была ли Арбенина в студийном кружке?“ Но я — момент. Я — „очаровательный бесенок с порочными глазами“, как говорил он, и они — его любовь!.. Он предлагал развестись с Ахматовой и жениться на



ней; он страшно ревнует ее к Рюрику. Они осенью катались, в музеи и концерты ходили, пока я томила. И летом! О, эти письма!.. Он меня не любит! Забыл! Он хочет под Новый год быть с ней.

5 декабря.

Если он приедет на праздники и вместе с нею будет веселиться под Новый год, ее целовать — я умру. Да, я умру. Я не хочу, чтоб он любил ее больше меня!

9 декабря.

Скоро 1917 год... Что было в 1916-ом? Случайная веселая встреча в мае, — несколько счастливых буйных дней... Но я завидую. И тому, что я не могла ему позволить ехать за мной в Финляндию, — а к ней он приехал! И его письмам к ней, и стихам, и розам, — а главное — любви. И я вправе завидовать. Но я несчастна.

27 декабря.

Не на радость, а на горе я ей звоню! Незадолго до меня был ей звонок: он. Он просит уделить ему „10 минут“. Только что приехал с фронта...

Я много думала о Гумилеве, считала себя внутренне с ним связанной, но не делала ничего, чтобы с ним связаться в жизни. Я забыла написать, что в «ту весну» пришлось говорить много о Гумилеве с Мишей Долиновым. Хотя Гумилев не одобрял Мишу (в статье из «Аполлона»), тот его обожал, рассказывал, как он в «Бродячей собаке» среди общего гама и скандалов стоит с надменным видом и презрительной улыбкой, не реагируя ни на что. Миша не без гордости говорил, что Гумилев слегка ухаживал за Верой Алперс, его женой.

А я... кончая вечер, у меня вырвалось имя Гумилева. И моя московская бабушка, гостившая у нас, говорила: «Ну вот, уж и до Гумилева дошло! Пойду-ка я спать».



Я пишу о себе, но ведь я его не видела столько лет и могу говорить только в прошлом (по его рассказам в 1920 г.) и о том, — позже — что было при мне в этом 1920 г.

А со мной случилось вот что. Весной 1917 г. шел «Маскарад», я встречалась с друзьями Гумилева и слушала о нем всякие рассказы, и моя «магическая» связь с ним не прекращалась! Эта «революционная» весна вспоминается мне тоже счастливым временем. Никогда я не имела такого «массового» успеха. Но веселые воспоминания сменились образом голубого Пьеро из «Маскарада» (худеньким черноволосям мальчиком в жизни), о котором можно сказать стихами Гумилева «в черных глазах томленье, как у восточных пленниц...» (Я со смехом вспоминаю теперь, как ходила окруженная своими кавалерами! Вся панель Невского была запружена. Похоже, как в кинокартине «Сестра его дворецкого» с Диной Дурбин, т. е. человек 11–12. И ведь каждому надо было что-то сказать!) И было счастье другого рода: я потом читала Гумилеву свои стихи о черноглазом мальчике, за которого я выйти замуж не хотела, — это было изменчивое существо моих лет, но этот мальчик — и «все остальные»... «номера» — все это было не то, как потом было представлено в дурных слухах обо мне, я не могу сказать, что все было вызвано моей тоской, может быть, даже без этой тоски было бы еще веселее — и еще нежнее.

Лето я жила на даче, а тут разыгрывались «страшные» события революции. Надвигался голод. В театры ринулась «масса», и был страх, что в атласных ложах заведутся насекомые.

А потом был вечер Маяковского. Я не помню, в каком зале. Не помню, какого числа и месяца. Пьеса Маяковского. Выступал Мейерхольд. Много народу. Я помню восторженную Анну Радлову, в экстазе говорившую про пьесу... и как будто «новые времена». Я со своей «интуицией» почувствовала, что опустился какой-то занавес (позже говорилось «железный» занавес), и все погрузилось в противный серый полумрак. Погас волшебный Мейерхольд, потускнел свет, я не умерла — я «полуумерла», и все события сразу предстали в другом свете — и люди, и желания, и чувства, в ту минуту и надолго, надолго вперед. Конечно, жизнь продолжалась, и было все будто по-прежнему, и случались «хорошие» события и интересные встречи, но даже горе (не только счастье) потеряло свою остроту.

Настал другой век.



Аня*

Аня была старше меня, училась скверно, была шумная, танцевала, как будто полотер, волосы выбивались. По временам была очень хорошенькой, с слегка монгольскими глазами и скулами. Ходили слухи, что она, как и Нике, дочь Бальмонта и ее мать, Лариса Михайловна, развелась с Бальмонтом и вышла за Энгельгардта, захватив детей. Но моя мама знала ее бабушку, тоже Анну Николаевну (в женском благотворительном обществе) и говорила, что она — вылитая бабушка лицом. Нике носил фамилию Бальмонта, а в университете его называли «Дорианом Греем».

Я бы, наверное, не сошлась близко с Аней, если б не мои (и ее) литературные вкусы. Когда же я познакомилась с Никсом, то еще больше подружилась с Аней.

Когда она стала сестрой, я иногда бывала в лазарете, где она работала; помню, какой-то ее подопечный в меня влюбился и писал очень смешные письма. Звали его Адриан.

Я была ужасно занята, много училась и болела. У меня были только «проблески» жизни...

Аня приходила с ворохом событий. Я вспоминаю ее «каскад» разговора.

«Как? ты уже не любишь Вайю (Вайю (полинезийское «ветер») — прозвище К. Д. Бальмонта)? Тебе теперь нравится Игорь Северянин? — Да, я была в студии (Мейерхольда). Там так интересно! Почему тебя не пускают? Столько народа! Знаешь, Жирмунский вставал на колени и сделал мне предложение. Что он думает? Разве он настоящий поэт?.. Я, конечно, отказала. И потом меня называли принцесса Малэн. А... (не помню, кто) сказал, что это не я, а ты — принцесса Малэн.

Никс был в гостях у Паллады. И еще какая-то Клеомена (вероятно, сестра Саломея). Нике бывает у Пастухова (молодой человек из очень богатой купеческой семьи; потом женился), и есть какие-то стихи про него:

*Жил на свете мальчик — Никсик,
У него был ротик алый.
К Пастухову на журфиксы
Мама Никса не пускала.*

* Энгельгардт, Анна (1895–1942) — вторая жена Николая Гумилева (1918–1921).

Но это было раньше, теперь он ходит. А Лева тебе читал стихи?» — «Да». — «Красивые?» — «По-моему, да». — «Как он прочел?»

— Я падаю лозой надрубленной,
Надрубленной серпом искусственным,
Я не любим возлюбленной,
Но не хочу казаться грустным...

(Если бы Лева был настойчивым, я лично его бы полюбила. Боже сохрани, сказать Ане!). — «Знаешь — на самом деле лучше:

Я падаю стеблем надрубленным...
Я не любим моим возлюбленным,
Но не хочу казаться грустным...»

— «Да, так интереснее». — «У Вайю будет вечер. Ты пойдешь? У него и от этой жены дочь. Мирра — Саломея».

— «Нике говорит, что ты похожа на такую травку... Знаешь, не цветок, а такая травка колеблется. Тебе это нравится? А что твоя Шалонская?»

(Шалонская, Кэт, «Ding an Sich» обложка «Vogue'a», с моей точки зрения того года, нечто аналогичное Венере Милосской или Джиоконде — черные волосы, серо-голубые глаза, высокая; модная короткая юбка, меховой жакет — и громадный бант за зачесанными гладко за уши волосами; челка (реденькая). Когда у меня случилась беда — начатки туберкулеза и печальная история с В. Чернявским* — первая (ничего не зная) меня взбадривала, и я смотрела на нее почти как на мужчину (конечно, без греха!), такая она была «самостоятельная». А ее бант (в жизни все связано!) был «свистнут» Радой Одоевцевой. Бант, вошедший в литературу, — Раде бы не придумать! — но Кэт вряд ли была бы особенно довольной быть эталоном очарования среди писателей. Девушка из военной семьи, родом из Ростова-на-Дону, братья — офицеры Феликс и Александр, богатая и нарядная. Я Раду тогда не знала (и не замечала). Не заметить Кэт было невозможно. И потом она была одним из главных персонажей моей жизни в «догумилевский» период. А после я ее больше не видела. Я думаю, ей бы очень подошло стать женой американского миллионера или английского адмирала.

* Чернявский, Владимир (1889–1948) — поэт, актер, декламатор.



...От Ани я услышала впервые о Юре. (Юрий Юркун, русский писатель, художник-график, близкий друг Михаила Кузмина. Позже гражданский муж Гильдебрандт-Арбениной. — *И. Т.*)

Она говорила — «фамилия не то Юренев, не то Юрковский».

В очень «ранний» момент нашей довоенной жизни, в один из счастливых часов, когда я вызвала и выслушала восхищение и всякие слова от В. Чернявского, который считал меня «неземной», Аня, которой он нравился, приревновала и даже заплакала. Это было на улице, и Никс шепнул мне: «Какая вы злая». Мы шли с лекции Мережковского. Мы с В. Чернявским сбежали во время лекции куда-то на лестницу! Лина Ивановна была в ужасе, все волновались, где я. Потом был только разговор. В. Чернявский ко мне остыл после моей болезни, и Аня опять стала его заманивать, но это все было «разговорами». Ведь у меня был почти младенческий возраст. Я все это вспомнила, потому что это имеет отношение к Гумилеву. О Гумилеве говорилось немного. Больше всего говорилось о Блоке, Кузмине, Ахматовой. (Среди друзей и знакомых Никса и Ани). Было известно, что Гумилев воюет. Я знала его сборник «Чужое небо» (Сборник «Чужое небо» был у меня дома — собственность В. Чернявского (после я вернула ему). Он играл «Дон Жуана» в домашнем спектакле. — Там были автографы: Никса, Левы Канегиссера и других. Меня «тогда» мама в дом Канегиссеров не пускала!), и мне нравились «Конквистадоры» и некоторые стихи. Но если б он не обратил на меня внимание, Аня не ринулась бы... на все, чтобы только помешать мне. Но главное то, что мы обе, как звери, одновременно поменяли окраску! В меня будто впрыснули кровь и здоровье, а Аня сразу побледнела и прикинулась тихой и нежной девушкой. В некоторые моменты Аня была похожа на Леонардовского Ангела из Парижского «Св. Семейства». (Совершенно случайно на Ленфильме мне одна знакомая принесла письмо (водяные знаки?), сказав, что это письмо Ахматовой к Гумилеву. Я в изумлении увидела знакомый почерк! Подпись «Анна», письмо на «ты», тон — Мадонны. Кроткий-кроткий. Она уговаривала его не возвращаться в СССР, радовалась, что он собирает коллекцию икон (?). Из знакомых было мало напоминаний. Жизнь свою изображала очень печальной. Это был конец 1917 г. (или?..). «Надо бы мне говорить о тебе на языке Серафимов».)

Гумилев вернулся в Россию в 1918 г. Судьба играет человеком! Я фаталистка, и вот раз в жизни я «выступила» сама, проявила активность. Этого не надо было делать!

Весна 1918 г. На афишах вечер поэзии, Блок — и даже не помню, был ли Гумилев или нет, — но я знала, что он будет. Я выглядела прекрасно (для себя — лучше нельзя). У меня была красивая большая коричневая шляпа с черной смородиной, очень естественной. Единственный раз в жизни — Гумилев был совершенно равнодушен. Нехотя ответил на мой вопрос об Ане, побежал знакомить меня с Блоком — я уже говорила, что пережила все вполсилы — кажется, он уже был, «обручен» с Аней, или как это называлось тогда, но, главное, недалеко от него вертелась какая-то темноволосая невысокая девица — довольно миленькая — его очередной «забег», он у таких «легких» девиц потом даже имени не помнил, — но тогда (он сказал мне в 1920-м) ему надобно торопиться!

Я играла летом в Павловске, увозя громадные букеты сирени из сада милого и умного Саши Зива. (Саша был первый «коллекционер» из моих знакомых. Он подарил мне рисунок Ю. Анненкова с какой-то выставки. Кажется, Это была иллюстрация к «Дурной компании» Юркуна, довольно рискованная. Она у меня пропала. Я его много лет не видала. Он был убит на войне.) Я относилась с какой-то мертвенностью и к Гумилеву, и даже к себе.

Уже к исходу лета (или в середине?) Аня просила меня прийти к ней — она уже была замужем за Гумилевым, даже приглашения (или оповещения) о свадьбе были отпечатаны по всем правилам, и она уговаривала: они оба так хотят, чтобы я пришла, — если бы я не пошла, она бы вообразила, что я ревную, а этого я не хотела показать, да, говоря правду, я была спокойна — шпоры не позванивали, шпага не ударялась о плиты, и нельзя было дотронуться до «святого брелка» — Георгия — на его груди. Он был в штатском, по-прежнему бритоголовый, с насмешливой маской на своем обжигающе-некрасивом лице. Тот — и не тот. Главное — время было другое! Проклятое время!

Я пошла. Они жили тогда на квартире С. Маковского.

Помню длинную, большую комнату. Были ли картины, книги? Я не помню (как будто, стоял какой-то мольберт с картиной). Какой-то нарядный полумрак. Полукруглый диван, на котором



мы сидели. Что ели, пили — не помню. А разговор? Он нес, скорее, какую-то чепуху. Слегка подиздевался над моими королями, и герцогами, и индийскими раджами. Помню, высказал мысль, что на свете настоящих мужчин и нет, — только он, Лозинский (!!) и... Честертон.

И — обо мне — впервые всплыл образ валькирии. Почему? — Мы тогда (в мае) не говорили о валькириях. (Среди моих увлечений (с детства) были балет — Греция — Грузия — русалки и (чтоб не ударяться слишком в стороны) Вагнер. Меня возили на «Нибелунгов». Я потом делала доклад по германской мифологии в гимназии (хвалили!!!). Я не без грусти потом Думала о себе и Ане, что она, как Гудруна, отвела Зигфрида от Брунгильды. Никогда я об этом не сказала ни ей, ни ему. Никому.) Он сравнил меня с борющейся и отбивающейся валькирией, а Аню — с едущей за спиной своего повелителя кроткой восточной женщиной. Эти разговоры при жене казались мне шокирующими, несмотря на слегка иронический тон Гумилева. А я? Мне надо было встать и уйти, но меня как будто парализовали. Гадали на Библии. «Она войдет в твою палатку, Авраам...» И что-то о магии. О черной? Я не соображала от неловкости.

Мы так засиделись, что пришлось «разойтись» и лечь спать. Аня уговаривала меня остаться. Опять — неловко отказаться, будто я боюсь. Комнатка с двумя почти детскими кроватями, беленькая, уютная, — верно детей Маковского. Аня устроила меня на одной (расположение помню) и удрала прощаться со своим супругом. Вернулась со смехом. «Слушай! Коля с ума сошел! Он говорит: приведи ко мне Олю!». — Я помертвела.

Я не знаю, как я вытерпела выждать, пока она заснет, и выбралась из незнакомой квартиры, которая теперь казалась мне пещерой людоеда.

Я теперь играла в других местах и Сашу с букетами сирени передала другой девушке: за мной ходил другой человек, В. (актер), с слегка косящими, как у Гумилева, глазами! Он был старше, выше ростом и гораздо красивей. Это-то конечно. У него были и жена, и взрослые дети, и даже хорошенькая девушка. Он меня пожурил, что я пошла к Гумилеву (что-то я ему рассказывала). Он ужасно меня баловал и возился со мной. У меня было чувство, что

это не моя жизнь. Мне было с ним легко и даже мило. Но без особой причины я с ним рассталась. Он меня возненавидел.

В театре было неплохо, хотя никто из режиссеров не достиг уровня Мейерхольда; товарищи по школе меня любили, играла я много и даже зарабатывала больше, чем потом, будучи актрисой. Заработки за роли «со словами» были порядочные. А я играла цветочницу в Александринке (в пьесе Гнедича «Декабрист») и в Михайловском лебеда Аоди в пьесе «Рыцарь Ланваль». Я дружила с актерами, с Вивьеном, А. Зилоти и особенно с Игорем Калугиным. Но все это не заполняло души, как говорится. О Гумилеве я ничего не знала и знать не хотела.

Когда настала осень, очень теплая и мокрая, я была настолько подавлена, что думала, кажется, только о смерти.

В какой-то вечер услышала такое предложение от Яши (друг Саши), мой вроде как паж, хотя он был влюблен в мою подругу, красивую Аню Петрову: «Пойдите записываться в Академию художеств (?..) Там сегодня заседание (в Академии художеств было собрание. Там «принимали» Лебедев, как будто Левин... Не помню, ведь Академия «перестраивалась»). Вам не будет скучно. Козлинский в вас влюбится. Он вас развлечет». — «Козлинский? Что это?». — Я не рисовала, знала (и любила) художников из «Мира искусства», Сомова, Судейкина. А это были художники «полукубисты», о которых писал Лунин в «Аполлоне». Я вовсе не собиралась рисовать! Когда я уходила (с Яшей), нас нагнал незнакомый Козлинский (Козлинский потом неоднократно появлялся в моей жизни и от Гумилева и от Юры получил «патент на благородство». Да, в этом деятельном и вполне деловом человеке были какие-то рыцарские качества. Он был талантлив, мог, что хотел, но, к сожалению, ограничил свои возможности, работая «за деньги». Он был сын помещика и генерала, до Академии художеств учился в кадетском корпусе. Привык к хорошей жизни и работал крайне не легко. Жаль, что не сделал большего при его возможностях) — высокий, стройный, с какой-то богемной аристократичностью, слегка картавый, Яша исчез, как бес в ночи, только сойдя с лестницы Академии. И вот мы шли через мост (будто лейтенанта Шмидта), разговорились немедленно, и, еще не перейдя моста, я получила от Козлинского самое «законное» предложение! Это было неожиданно — и весело. Несколько месяцев мы встречались почти ежедневно. Он прибегал в театр, мы ходили в балет, в гости, в какие-то столовые, я подружилась с художниками (Левин, Пуни, Богуславская, Сарра и В. В. Лебедев);



помню, в балете, в фойе, ко мне приставал Тырса — голос Козлинского*: «Не подбирайся, Николай Андреич, это моя девочка!». Меня это не обижало. В другой раз — будто подвиг Геркулеса (хотя я была тогда легкая, но, все же, в пальто), было мокро — Козлинский взял меня на руки и понес до угла Невского и Садовой, где оказался извозчик. А двинулись мы из какого-то погребка недалеко от Академии. Я не помню, как и почему мы расстались, — кажется, он уезжал в Москву — во время наших встречен был в периоде развода и вел себя со мной по-джентельменски. (Я думаю, не будь Козлинского, я бы гораздо трагичней перенесла слухи о судьбе Левы Канегиссера** (пытки, смерть), среди «заложников» был и Юра, моя мама волновалась, что могут взять меня... Вероятно, мой телефон не был записан в телефонной книжке Левы. Хотя, к концу 18-го г. мамы в Ленинграде не было, поэтому я так «вольно» бегала с Козлинским.) Он любил играть в карты и был очень азартен. Меня, как ни смешно, укладывали в какой-то комнате. Пить я пила (первые опыты), никогда не пьянела, карты меня не интересовали. Новые знакомые + театр, и актеры, и ученики школы, будто занавесом, задернули историю с Гумилевым.

Я не знаю, когда у Ани родилась дочка, Лена. Вернее, точно не знаю. Шли его пьесы (короткие). Он стал преподавать в какой-то официальной студии. Я прочла об этом потом у Одоевцевой. Я гнала из памяти его фамилию. Я видалась с Всеволодом Курдюмовым, и он мне еще часто писал (все письма и В. Чернявского, и Курдюмова пропали). Время было страшное, голодное. Главное, холодное. На улицах иногда лежали мертвые лошади. Бывший мой «обидчик» В. Чернявский пытался мне что-то объяснить — мне это было неприятно. (Из стихов В. Чернявского помню только две строчки (я решила, что он, как человек, подражал Ставрогину):

*Мой легкий свет, летящий в метеоре,
Ты камнем ляжешь на моей заре...*

* Козлинский Владимир (1891–1967) — сценограф, график.

** Канегисер Леонид (1896–1918) — поэт, член партии народных социалистов, студент Петроградского политехнического института, убийца видного большевика Моисея Урицкого. Расстрелян.

Этот подарил мне книгу стихов Кузмина с надписью, в красном переплете. Она пропала. Даже появился поклонник из бывших друзей Кузмина — совершенно безумный! — Сергей Сергеевич Поздняков. Помню смешной выкрик Анны Радловой об этом человеке (я случайно услышала): «Как такой умный человек, как С. С., гоняется за хвостом такой дуры?...». (Конечно, не в Александринке, а в другом театре, где я играла по «совместительству», — 1919 г.). Больше всего в тот год волновали пайки и кража этих пайков. Ведущие актрисы Александрийского театра бегали в какие-то учреждения за реквизированными меховыми шубами. Конечно, я завидовала шубам, но пойти на подобную гадость я никогда не смогла бы, хотя меня, вероятно, «пристегнули» бы к этим набегам, а главное, «там» выдали бы мне шубку. Я людям из «органов» почему-то нравилась. (Еще одна моя невольная победа: бедный Иван Павлович Беюл, который писал мне смешные письма: «My dear! Сравнить вас с вашими подружками, это все равно, что сравнить бриллиант со стекляшками». Он, бедный, заболел и умер. Я хотела пойти на похороны, но его сестра остановила меня, сказав, что он звал меня в предсмертном бреде и родителям неприятно будет меня видеть. Вот чего я не могла предположить! Даже флирта не было!) (А что о «краже» — то имеющие отношение к посылкам (АРА)ы, не выдавали ничего хорошего в школу, а брали себе). В 1920 г. благодаря халтурам у меня было... 7 пайков. Рекорд! Больше было как будто только у Корчагиной-Александровской. Роли меня мало волновали. Репертуар был средне-интересный. Были неприятности, но в общем меня любили в театре. Актеры, а также техперсонал. Горничные, парикмахеры. Мне давали самые лучшие парики — даже золотые волосы Изольды из «Шута Тантриса».

Начался 1920 год. Январские морозы. Шел «Маскарад». (Я выступала (будучи в школе) в сценах маскарада (2-я картина), а потом на балу (8-я картина) в «барышнях», но тут мне дали на балу заменить Данилову в виде жены английского посла. На высоких каблуках: Данилова была высокая.) В одном из антрактов ко мне кто-то пришел и попросил выйти... к Гумилеву. Гумилев никакого отношения к театру не имел! Я ничего не понимала! Я о нем не думала! Но что делать? Я подобрала свой длинный-длинный палевого цвета шлейф (платье было белое, с огромным вырезом), на голове колыхались



белые страусовые перья — костюм райский! — и пошла. Он стоял на сцене. Не помню ничего, что он объяснял. Кажется, пришел говорить с режиссером насчет «Отравленной туники». Сказал, что надо поговорить со мной. Попросил выйти к нему, когда разденусь. Я согласилась. Пришлось снять наряд прекрасной леди и надеть мое скромное зимнее пальто. Мы пошли «своей» дорогой, т. е. «моя» дорога домой была теперь и «его» дорога — он жил на Преображенской. Что он говорил, не помню. Аня была отослана в Бежецк. Ему надо было прочесть мне новые стихи. «Заблудившийся трамвай». Неужели это переливало через край? Я была, как мертвая, и шла, как овца на заклание. Я говорю сейчас и помню, что у меня не было ни тени кокетства или лукавства. Уговорить зайти к нему домой, с клятвами, что все будет спокойно, было просто. Я «уговорила». В его чтении «Трамвая», однако, опять вкралась ложь. Он прочел: «Оленька, я никогда не думал...» (я не поверила). (Стиль «Трамвая» не допускал «Оленьки». Потом меня называли «Олечкой». Потом он признался, что... Корней Чуковский советовал «Машеньку», как 18-й век! Я сразу поняла, что в «Трамвае» было что-то от истории Гринева и «капитанской дочки».) Стихи меня поразили как очень новые, но меня шокировало слово «вымя» — разве такое слово можно пускать в стихи?..

Были и другие стихи и слова. Я не помню. Но когда все было кончено, он сказал страшное: «Я отвечу за это кровью». Он прибавил печально (и вот это было гораздо важнее): «но я люблю все еще больше». (Неужели он мог свое поведение этих лет называть «любовью»? Все это было тяжело. Я люблю северную весну с ее медленными переходами. Но ведь главное человеческая судьба, а не наша воля. Мне хотелось верить, хотя казалось неправдоподобно. А еще, будто это все и не реально.)

Я не помню, почему я стала опять «бегать» от Гумилева. Не помню, как он меня выследил и вернул.

«Что же сон? Жестокая ты или Нежная и моя?»

Стихи Ахматовой о нем:

*Все равно, что ты наглый и злой...
Все равно, что ты любишь других...*

Наглый? Боже сохрани! Никогда!
Злой? В те месяцы 20-го года? Никогда! Никогда! Как будто капля ртути покатилаь по своему руслу...

Счастья в моем понимании «Sturm und Drang'a», когда все движется и переплескивается через край, быть не могло. Оно было где-то за рубежом нашей жизни, нашей родины. Лицо Гумилева, которое я теперь видела, было (для меня) добрым, милым, походило, скорее, на лицо отца, который смотрит на свою выросшую дочку. Иногда слегка насмешливым. (Говорили, что когда в трамвае Мовшензон обратился к незнакомому с ним Гумилеву с каким-то вопросом: «Николай Степанович». — Гумилев сказал кондуктору: «Объясните гражданину то, о чем он спрашивает». Я была потом в хороших отношениях с Мовшензоном. (Как будто его не унизила реплика Гумилева)). Скорее — к себе. Очень редко — раз или два — оно каменело. Мне нравилось его ироническое и надменное выражение «на сторону».

Мы много говорили... но, главное, о любви.

*Моя любовь к тебе не лебедь белый,
У лебедей змеиные головки;
Не серна гор она — у серны,
Как у дьявола, раздвоены копыта...*

Если представить себе картину, изображающую море, — то это большое пространство, залитое синей краской, и в нем рассыпанные маленькие рисунки кораблей и лодок, — то вот так мне приходится «выскабливать» из этого моря разговоры о литературе, о других людях, о событиях дня. Так было с ним, и то же было и с другими людьми, потом. Очень стыдно, но мне этот разговор никогда не надоедал. (Я только должна сказать, что ни он, ни я никогда не говорили выпрненным или сентиментальным языком. Говорили просто, а потом вдруг переходило в другое.)

Мы много ходили.

Он велел мне креститься на церковь Козьмы и Демьяна на б. Кирочной. В моем детстве я видела как-то в садике у этой церкви расцветший цветок красно-розового шиповника. Еще там был памятник — будто птица?.. Теперь церкви этой нет. Другая церковь была близко от его улицы, на Бассейной, здание существует, но без церкви.



Помню, весна двигалась быстро, рано стало зеленеть. Он сказал мне: «Вот видите, Юг вас услышал и идет вам навстречу». (На аллее около Инженерного замка теперь каштановая аллея.)

Ему еще нравился Данте Габриэле Россетти (с его ранних лет).

Я знала все его критические статьи из «Аполлона» (статьи в «Аполлоне» очень светские, в них есть что-то английское — они мне всегда нравились и казались абсолютom оценок! Даже лучше, тоже прелестных, критик Кузмина). Я спрашивала его мнения, не изменились ли с годами?

Он часто говорил о Чуковском как об интересном собеседнике.

Помню смешное: «Мне достаточно вас одной для моего счастья. Если бы мы были в Абиссинии, я бы только хотел еще К. Чуковского — для разговора». (А кто бы готовил?) Рассказал, что, когда он был в Англии, встречался там с К. Набоковым. Тот вспоминал: в России у меня было только два друга — К. И. Чуковский и покойный Н. Ф. Арбенин. — «У Арбенина хорошенькая дочка». — Набоков, равнодушно: «Да, какие-то дети были». К. Набоков занимал тогда какой-то пост в Лондоне (он — дядя писателя Набокова).

Его любимая героиня Шекспира — Порция. Он восхищался ее скромностью. (Странно, конечно, все мы хотим быть не тем, что нам дано! Могущественная красавица Порция выбирает Бассанио за его красоту. Больше ничем особенно Бассанио не примечателен). Другая его любимица — Дездемона. (Если бы я пела, я на сцене предпочла бы роль Дездемоны Джульетте. В ее любви к Мавру есть какой-то бред. Джульетта более обыкновенная девочка. Но неужели он хотел быть глупым красавцем, в которого влюбляется умная красавица?)

У него было благоговейное отношение к Гёте. Я тоже любила Гёте, как совсем «своего». Первые стихи, которые я помню (лет 3-х)— «Kennst du das Land...» (знаешь ли ты этот край (нем.). — И. Т.). Я даже свое что-то присочиняла, об Италии... Еще в детстве.

Но еще больше (уже с детства) меня пленяла Греция. Мы говорили о Греции. Илиада, мифология. Больше всего хотелось в Грецию:

*И мы станем одни вдвоем
В этот тихий вечерний час,
И богиня с длинным копьем
Повенчает, для Славы, нас.*

(К чему я особенно ревновала, это к стихам к Т. В. Адамович:

*Но мне, увы, неведомы слова,
Землетрясения, громы, водопады,
Чтобы по смерти ты была жива,
Как юноши и девушки Эллады.)*

У него была верная любовь к Абиссинии, а из новых невиданных краев ему очень хотелось побывать на Яве. Привлекал яванский театр теней. В детстве ему нравились книги путешествий и рыцарские эпохи, а также 17-й в. Любил он и Майн Рида.

Разговор о возрасте. Он считал, что каждый человек имеет свой, коренной и иногда вечный, возраст.

Так, у Ахматовой был возраст 15, перешедший в 30.

У Ани — 9 лет. У меня тоже 15, перешедший в 18.

У него самого — 13 лет.

«А Мишеньке (Кузмину) — 3 года! Как он с детским интересом говорит с тетушками о варке и сортах варений!»

Вспоминая детство, все, что у него в стихах. Любимая рыжая собака.

Но надо вспомнить «вокруг» «Заблудившегося трамвая», с которым он явился за мной в театр.

О нем говорилось всегда очень много, как о заядлом Дон Жуане.

Рассказывали о флирте с «рыженькой» поэтессой (Одоевцевой), но фамилии не говорили. Я с конца 1919 г. попала «обедать» в Дом литераторов, на Бассейной. Там кишело сплетнями.

Был вечер поэтов, и много фамилий на афише. Фамилия участницы с именем на «М» (Машенька) была Ватсон. Я взбесилась. На Бассейной меня поймал Гумилев и стал расспрашивать. Он меня не мог разыскать. Я пряталась. Я по-идиотски разревелась и закричала: «Уходите к своей Машеньке Ватсон!» «Он ужасно хохотал, помню, говорил: «Я ненавижу сцен ревности, но у вас и это совершенно очаровательно!» — И показал мне вскоре и познакомил с М. В. Ватсон».



Другой случай был «тяжелее».

Я немного говорила с Гумилевым в театре и в Доме литераторов, но так как мы вечно ходили вместе, а кое с кем из подружек все-таки я кое-что говорила, то (а люди сплетничали со злом, как комары, все вокруг так и вилось) как-то Лена Долинова (сестра М. Долинова) передала мне, что служившая с ней на одной работе Мария Ахшарумова похвасталась, что Гумилев читал ей за ужином «Заблудившийся трамвай» и намекал, что это о ней.

Я опять «поговорила» об этом. Вот тут у него окаменело лицо. Лена передала, что Гумилев как бешеный ворвался на их службу и наорал на М. Ахшарумову, а она упала в обморок.

Восторг Лены от такой сенсации!

Я же побежала в мой любимый дом Канегиссеров на Саперном. (Мой красавец Леонид — даже во сне он являлся мне Ангелом с темными крыльями, будто ограждая от бед. Он очень хорошо относился к Юре, и это отношение склоняло меня в пользу Юры. Но сам Юра (как пострадавший) не так уж любил Леву, ведь его могли расстрелять «через десятого» в тюрьме. Говорил: «Шарлотта Кордэ». Великий князь Николай Михайлович восхищался мужеством и геройством Левы. Говорила мне Loulou, сестра Левы. Они все сидели в тюрьме. Но в 20-м г. были уже дома. Лева и его отец были очень красивые, Сергей (брат) — средне, но мать и Loulou красотой не отличались. Это трагический дом (где люди говорили весело и меня все любили)). Тут у меня был настоящий припадок с воплями. Loulou (полное имя — Елизавета) хохотала: «Как такая хорошенькая девушка рыдает из-за такой обезьяны!» но Аким Самойлович, отец Левы, старый красавец, взял меня на руки и носил по квартире, чтобы успокоить.

А как я помирилась с Гумилевым? Конечно, очень нежно. Он мне объяснил, что жалеет только о том, что не сможет больше бывать у доктора Ахшарумова, отца «Машеньки». И умолял не слушать сплетен.

Кроме спектаклей в театрах были халтуры в разных местах за городом; если я была занята только в первых действиях и халтуры близко, я бежала через Лавру, бегом, как стрела, не глядя по сторонам, чтобы не напасть на привидения или на воров, иногда ездила то в санях, то в других «транспортах», — как-то ехала с нашим директором, актером Аполлонским, который питал ко мне нежные

чувства и ехал (морозы), пряча меня в какую-то исполинскую шубу. Он был красавец, но ума среднего. Помню наш неприличный разговор: «Оля, этот Гумилев, что, он вам нравится?» — «Да, Роман Борисович». — «Ну... чем же он вам может нравиться?» — «Он хороший поэт». — «Поэт..., ну, так... а еще что?» — «У него Георгий за храбрость». — «Так... А еще?» — «Он много путешествовал. Был в Африке. Кажется, у него был роман с негритянкой». — «Ну... я не понимаю, что за удовольствие побывать в черном теле...».

Очень странно, я смотрела на Гумилева с первого дня знакомства как на свою полную собственность. Конечно, я фактически исполняла его желания и ничего от него не требовала, но вот сознание было такое, и думаю, что он это понимал. Я равнодушно относилась к поездкам в Бежецк, где была его семья, и смотрела на Аню как на случайность. Очень хорошо относилась к сыну — Леве, — о девочке он почти не говорил и вообще никогда не говорил ни одного слова, которое бы мне не понравилось. Я никогда не заметила ни одного взгляда или интонации, которая бы меня обидела. Что это — особая хитрость или так все получалось? Надо сказать, что у меня был только один способ: при малейшей тени неприятности убежать и прятаться, а ему — меня разыскивать и улещивать. Думаю, что меня, которую не боялась ни одна собака, он как-то «боялся». Но как он мог подействовать на свою жену и других дамочек (И. Одоевцева была всегда со мной очень любезна, он с ней — «никакой») — это странно!

Как будто я ревновала больше к стихам, чем к «экскурсам» в сторону! Какие-то девицы писали ему записочки с предложениями романа и даже со стихами (мы очень хохотали).

Я помню, я даже ходила через Литейный мост проводить его к цыганам (были ли там и цыганки? вероятно!). (Стихи «У цыган» одни из первых в ту зиму, — начало 20-го г.)

Правда, было состояние, что ртуть покатила по своему руслу, и, может быть, это было счастьем. Он часто говорил мне: «Мое счастье! Как неистошимый мед!»

Из мелочей, помню, я очень рассердилась, что в «Заговоре Фиеско» мне дали играть даму без слов (а я уже числилась



актрисой). Я пошла к нему плакать. (Я никогда не «пускала» Гумилева к себе домой. Также в театр, за кулисы, он ко мне не приходил. Я как-то отмежевалась душой от театра и видела в нем «формальную» службу.) Он смешно сказал: «Ну, стоит ли? Наоборот, скажите им спасибо и что вы довольны. Разве не лучше играть в пьесе Шиллера без слов, чем главную роль в «Поруганном»?»

Помню, он ходил на кухню жарить блинчики (он умел), а я лежала на диване в его кабинете (это тоже к весне) и писала за него рецензии на стихи поэтесс, кажется, он все подписал без помарок («мужские» я боялась). (Конечно, не все всегда было так тихо и мирно. Изредка я чего-то хотела и требовала (пустяков), и лицо у него хмурилось. Но всегда «расхмуривалось» (милый!), а я никогда не спускала (мерзавка). Помню, как мы смеялись над «Родильным домом» у М. Шкапской!

Он серьезно отнесся к моим стихам (я рассказала о своем письме со стихами к Брюсову), говорил, что это очень хорошо, Брюсов редко отвечает на письма, ему ответил, а Ахматовой — нет. Но он сказал, что, если я достигну мастерства «говорить стихами», вряд ли буду иметь такой успех, как Ахматова, — она говорит о чувствах всех решительно женщин, а у меня что-то совсем свое и непонятное. (Я думаю, ему чуть ли не «экзотикой» казалась моя правдивость. Женщины всегда любят носить маску. Я бы «сумела», конечно, наговорить все, что угодно, но мне это было скучно! Я говорила и то, что не в «моем» стиле.) Я не понимаю, что во мне могло быть не так, как у всех? Я же не могла сказать ничего философского, но думаю, мы много говорили, что может быть на том свете, — и об Эросе и Психее, и о том, как кончится жизнь, но я думаю, это все говорят. (Ведь все думают о смерти и о «после смерти».)

Когда настало лето, в саду Дома литераторов цвел жасмин. Мы там часто сидели.

Помню шпалеры розовых римских свеч (или иван-чая) где-то на том берегу Невы, за Охтой.

Он оставлял мне записочки о встречах за зеркалом в Доме литераторов.

Помню, как я ходила во «Всемирную» (редко), и он почему-то брал меня за руку, как маленькую. (Я думаю, надо было «уберечь» от очень опасного Дон Жуана — интересного, хотя рябого, Тихонова. Весной 20-го г. Гумилев познакомил меня с Кузминым

и Юрой. — На Спасской площади (еще зимний вид города). Потом Юра рассказал (или дал прочитать в дневнике): «Как странно, мне стала нравиться жена Гумилева. Мне она раньше никогда не нравилась». Страннее всего, что такой приметчивый Кузмин не заметил разницы между мной и Аней.)

Кроме маленьких неизбежных неприятностей, жизнь казалась легкой. Правда, будто в воздухе вокруг меня была какая-то защитная полоса.

В Доме литераторов я ходила (так глупо!) как султанша, т. е., конечно, я держалась всегда скромно, но было смешно, как «расстилались» Всеволод Рождественский и некоторые другие. Вероятно, многие поэты в душе и в своей компании посмеивались над авторитетом Гумилева, но при нем держались, как вассалы. А я радовалась, как настоящая тщеславная леди Макбет, что со мной ходит такой «мэтр». (Я не была тщеславна за себя — никогда! Но у меня было желание, чтоб мой избранник был «во главе».)

Если я ревновала Гумилева к кому-нибудь, то это предмет моего обожания в детские годы — А. Блок. Гумилев умел найти для его определения как поэта самые «трезвые» слова (в статьях «Аполлона» тоже). Отношения «человеческие» между ними были хорошие и простые. Но он сказал как-то, если бы в Блока стреляли, он бы его заслони́л. Меня подобная «вассальность» взорвала. (Конечно, я ничего не сказала).

Помню, Гумилев как-то рассказал со смехом, что две красивые женщины пришли в качестве делегации от поэтов взять на себя «председателя» Союза поэтов (или, как это называлось тогда, не помню) и стали его целовать. (Позже, уже после смерти и Блока, и Гумилева, я в дневнике Блока прочла несколько грустную фразу Блока об этом событии! Увы! и спустя годы, у меня было немного злорадное чувство... Гумилев не был способен по характеру — на интриги... но... мне это было скорее приятно. (Безобразно, конечно, веселиться из-за грусти Блока. Но Гумилев был «свое»)) Грушко и Радлова (правда, обе красивые, но обе не во вкусе Гумилева).



Помню юбилей М. А. Кузмина в Доме искусств. Там была торжественная часть, а потом вроде ужина, на котором я была с Гумилевым.

Но когда шли поздравления, чудесно говорил Блок, я прослезилась — так нежно и трогательно говорил Блок: «Два ангела напрасных за спиной» — и поцеловал Кузмина. (В мемуарах Милашевского рассказ, как Кузмин странно прыгал перед Блоком! Правда, какое-то странное движение у Кузмина было (я заметила — Милашевского я тогда не знала). Я подумала, что он очень растроган речью Блока или что-то по другому поводу, но вывод Милашевского — «Пушкин и Жуковский» — не имел никакого смысла. Кузмин признавал Блока, но не любил, а тем более не превозносил.)

Гумилев был с Кузминым на «ты» и очень любил его стихи, но речь произнес как-то сухо. (Я потом его ругала за это, потому что очень любила Кузмина). Я на этом вечере (или утре) получила удовольствие. Гумилев познакомил меня с Ак. Волынским, известным балетоманом. Помню формулировку (Волынский был довольно пожилым): «Аким Львович, позволь тебя представить Арбениной, Ольге Николаевне». — Волынский: «Вы — балерина?» — «Нет, я в драме». — «В первый раз ошибся». (Вспомнила, как на Черном море во время качки и всеобщих скандалов я бодро бегала по палубе и заходила в кают-компанию нюхать букет тубероз. Капитан похвалил меня: «Старый морской волк!»)

Я путаю месяцы. Приблизительно лето 20-го г. Было 2 приезда Ани или один? По-моему, более «раннее» лето — был А. Белый. (В дневнике (мемуарах) Одоевцевой — знакомство с Белым у Гумилева. Она, Оцуп и Рождественский (?) читали свои стихи Белому. Одно время, но другой день недели.) Сколько я помню, на его вечере (или утре) (где?) — мы были вдвоем с Гумилевым — Белый (которого я по стихам не любила и не понимала) читал удивительно. Совсем как колдун. Даже необычнее, чем позже Мандельштам. А вот когда он был в гостях у Гумилева, я сидела рядом с Аней за столом в большой столовой (почти никогда там не сидела) и слушала, как Белый разговаривал с Гумилевым. О чем? не помню абсолютно! Мы обе молчали, даже я. Обе с челками и выглядели, наверное, глупо, как Гумилевские одалиски! Аня несколько не держалась «хозяйкой дома».

Помню (как будто это было позже), Гумилев сказал мне: «Сдадите экзамен на парижанку» (?). Или в этом роде что-то. До чего я фактически была податлива — мне важно было внутреннее сознание своей силы. Аня не меняла ничего — ведь я играла, уезжала за город. Куда-то мы ходили втроем. Куда-то, помню, на Потемкинскую. Потом к Мгебровым. (У Мгебровых я взорвалась. Чекан, Виктория, которая знала Аню давно (Гумилев отошел куда-то, был народ), полюбовалась на нее и сказала: «Ваш муж, наверное, вас на руках носит?» — Аня: «Хи-хи...». Интересно, если б Чекан сказала это при нем, как бы он вывернулся?..)

Я жила несколько дальше. Гумилев сказал как-то повелительно Ане: «Ничего, добежишь» — и пошел меня проводить до дома. Ничего похожего на «гаремность» не было.

Ее можно было даже пожалеть. Сидеть в Бежецке и скучать!..

Мы бывали у Мгебровых и без Ани. Помню, Гумилев брал на колени сына Мгебровых. О них ходила молва, что они не очень-то чистые, и я потом сказала Гумилеву, как он не боится набраться чего-нибудь от мальчика. (Это тот самый мальчик, который был потом убит, и Чекан на его похоронах: рыдала артистически: «Мой маленький коммунар!». Этот мальчик похоронен на Марсовом поле, и над его могилой читают лекции пионерам.) Но мне казалось трогательным, что он брал его на колени, — как будто вспоминая своего Леву.

Чаще всего мы бывали, конечно, в Таврическом саду. Я всегда мечтала вырваться из России, как из плена.

*И в твоей лишь затаенной грусти,
Милая, есть огненный дурман,
Что в проклятом этом захолустье
Словно ветер из далеких стран...*

Лето становилось засушливым. Он уезжал на правый берег Невы — дача Чернова, — и я обещала его навестить.

Переехала на пароме (как будто), он встретил меня и снял с пригорка (берег был скалистый), и мы пошли по дороге. У меня было белое легкое платье (материя из американской посылки)



и большая соломенная шляпа. (Спустя несколько лет, у Фромана, ко мне подошла О. Форш и сказала, что записала в своем дневнике такое мое описание: «Стройная девушка в белом платье, в большой шляпе, с зеленоватыми глазами, а рядом — Рада Одоевцева, как рыжая лисица». Очень мило — такая Диана с лисицей на поводке? — Другая писательница, Л. Чарская, которую я обожала в детстве и с которой я теперь часто «халтурила», хотела писать обо мне детский роман и глаза видала, как.. лиловатые» (?). Одоевцева описывает себя в большой летней шляпе с цветами в руках. Я не помню в таком виде. Я с детства таскала цветы и прутики зимой и кланялась лошадям. Поклоны она ввела в стихи, а цветочки приписала себе в мемуарах. Эти цветы возмущали Юру, который говорил: «Бросьте рвать — я вам куплю», — но ведь вся радость была в том, чтобы рвать самой!) На пригорках сидела целая куча ребят (не цыганята, а русские дети). Они сказали хором Гумилеву: «Какая у вас невеста красивая!» Он был очень доволен, а я смутилась.

В этом доме отдыха была красивая рыжая Зоя Ольхина. Я думаю, Гумилев перечел ей все стихи с рыжими волосами!

Вэтожелето (Гумилевуезжал) был праздник III Интернационала на площади Биржи. Я с Диной Мудровой в белокурых париках в виде Англии и Германии стояли на вершине лестницы, Лида Трей и еще кто-то (в черных париках) — ступенями ниже в виде Франции и Италии — и так по всей лестнице. Командовала М. Ф. Андреева, а на состав публики я не обратила никакого внимания! Устала безумно. Помню, отдыхали у Володи Козлинского, который жил уже совсем в другом районе. Козлинский и на этот раз сделал мне предложение. Я Гумилеву рассказала о Козлинском. Гумилев ответил: «У нас с ним такая разница. Я как старинная монета, на которую практически ничего не купишь; а он — как горсть реальных золотых монет». Я это и передала Козлинскому. Он подумал и сказал: «Что же, это правда. Решать вам».

Мы с Гумилевым ходили как-то в Этнографический музей (на Васильевском острове), где были его абиссинские трофеи.

Дома у него уже ничего не было! Меня пригласил актер Любош, большой поклонник Гумилева, посмотреть его квартиру. (Мы с Любошем часто говорили о литературе. Он был начитанный и остроумный. Помню, на какой-то халтуре, стоя за кулисами перед выходом, он шугнул: «Отойдите, сатана. Я не могу слышать эти ваши свирельные взвизги!». Сейчас могила Любоша близко от А. Блока, на Литературных мостках. (Его сын — архитектор). Выглядит почтенно, куда лучше заброшенной могилы Кузмина и... несуществующей могилы Гумилева.)

Мне попалась по дороге роскошная ветвь липы, в цвету — и я с этой ветвью внедрилась в квартиру Любоша — действительно, до грусти красивая комната с абиссинскими трофеями, как было бы интересно, чтоб такое было в квартире самого Гумилева!..

Вспоминая Ахматову, как поэтессу, Гумилев говорил, что она писала стихи про русалок и что-то полудетское под Бальмонта. Потом вдруг у нее получилась фраза (4 строчки, я, конечно, забыла) — вроде слов дамы в гостиной с тайным страданием — нечто похожее на Mahot из «Le bal du comte d'Orgel» (героиня романа «Бал графа Д. О'Ржель» французского писателя Раймона Радиге (1903–1923). — И. Т.) (это я потом прочитала, и мне напомнило), он ей сказал: «Вот тебе надо это зафиксировать! Это то, что надо».

Он говорил, что Ахматова была удивительная притворщица, просто артистка. (Юра, не зная близко Ахматову в быту, точно так объяснял ее сущность и поведение. Но Юру злила ее неблагодарность к Кузмину, написавшему к ее сборнику такое замечательное предисловие. Она Кузмина не только не любила, но как-то почти ненавидела, хотя была очень любезна.)

Сидя дома, завтракала с аппетитом, смеялась, и вдруг — кто-то приходит (особенно — граф Комаровский) — она падает на диван, бледнеет и на вопрос о здоровье цедит что-то трогательно-больное!

Гумилев говорил об Ахматовой всегда добродушно, с легкой иронией. О ее очередном муже, Шилейко, говорил с удивлением, что у нее будто и романа с Шилейко не было, а сам Шилейко был странный, ученый ассириолог — и странный человек — Гумилеву и Лозинскому ни с того, ни с сего целовал руку.



Гумилеву были «противны» такие женщины, как Глебова-Судейкина и Паллада (?), а про Карсавину говорил с восхищением: «Это — наша дама!».

Ему нравился Судейкин (сам) и как художник — картина Судейкина «Отплытье на остров Цитеру» висела у него над кроватью. (Я не совсем понимаю, что могло у Гумилева вызвать образ Гондлы. Кроме его очень некрасивого лица (к которому я привыкла быстро, и оно мне нравилось), у него была стройная фигура, как сосна, — гладкая кожа и прямо стерильная чистота. А ведь «Гондла» появился при мне! В 16-м году!.. Что его мучило?.. У меня с ним связан, скорее, образ птицы, чем зверя. Большой птицы. Он был легкий.)

Я хорошо помню квартиру Гумилева, проходную столовую и кухню (парадный ход был закрыт, — на ул. Радищева), на кухне — увы! — водились тараканы, он их панически боялся (мой отец, по словам мамы, панически боялся пауков; а я — только змей). Но мы там только проходили, а в большой «летней» комнате стоял мольберт с портретом Гумилева работы Шведе — удачный — с темным, почти коричневым лицом, среди скал (я думаю, Абиссиния), с красным томиком в его красивой руке. Там было 2 окна и зеленый диван около дверей.

Я не особенно помню, где у него (в обеих комнатах) были книги, но в передней (между комнатами) стояло кресло, и он часто (в конце зимы, и потом осенью) топил печку.

Иногда мы говорили о стихах, и он объяснял мне свои «разделы»: Кузмин, по его мнению, имел превосходную композицию («как композитор!»), но «вгрызаться в образ» не всегда умел; у Мандельштама была первоклассная стилистика, но у него не было никаких разделений — все шло гурьбой, наплывами, будто сплошное стихотворение!

Доходило и до «страшного» слова «эйдолология» — уж кого он хвалил в этом плане, не помню!

Меня он хвалил за ритм и радовался, что у меня получался «паузный амфибрахий»...

Но вот немножко глупенькое стихотвореньце, которое будто бы... мой стиль:

*Вы, нимфы леса и реки,
Грусть свою излейте...
Спойте песню, ветерки,
На тростниковой флейте...*

(А я «гремела»:

*Она войдет в твою палатку, Авраам —
Открылась Библия на пагубных словах...
...В столице северной свирепствовал январь,
Погонщик яростный бушующих ветров...
И я, как некогда бездомная Агарь...*

(Конечно, не помню!))

Он как-то вскрикнул: «Я каждый день благодарю небо за вашу божественную глупость...» (?)

Я, конечно, не могу писать то небольшое, интимное, что он говорил о двух своих женах. Единственно, что они условились с Ахматовой сказать друг другу о своей первой измене. «Представьте себе, она изменила первая», — сказал он без всякой злости.

О своих «дамах» он был совершенно дискретен, за исключением одной, Татьяны Адамович — которая афишировала свои отношения с ним. Говорила, что она «мстила» за свою сестру... но какая же это месть? Он говорил, что Татьяна была очень бойка, самостоятельна; она ругалась из-за Мопассана, которого она обожала и превозносила. Она его насильно посадила на извозчика и свезла в редакцию, чтобы он (хотя нехотя!) написал посвящение ей в «Колчане».

Она очень почтительно относилась к Ахматовой, а (по слухам) любила девушек — даже первую жену Жоржа Иванова, Габриэль. Но этого Гумилев не говорил.

В Вере Алперс, бледной и неинтересной жене Миши Долинова, он находил какую-то девическую прелесть.

Кто еще? Меня интересовала Одоевцева* — про нее говорил: «Ей бы быть дамой на балу рижского губернатора». Как поэтессу, он находил ее способной — учил ее писать баллады. Рассказывал про «парижскую» любовь — Елену — забыла фамилию. Она была необыкновенна тем, что, будучи строгой и неприступной

* Одоевцева Ирина (1895–1990) — русская поэтесса, прозаик, мемуарист.



девушкой, совершенно сникала и смягчалась, когда ей читал он стихи. (Вот, как и я!.. То-то он вписал ей в альбом и те стихи, что он сочинил для меня! Вероятно, новых не хватало — для ее полного обольщения. Об ее «особой» красоте он, конечно, не смел мне и заикнуться (даже если она и была очень красивой). Она была невестой американца, и вряд ли можно было ей делать предложение — он еще не был разведен с Ахматовой. (Об «английской» любви вообще не говорил; только рассказывал, что в чопорном Лондоне целуются гораздо чаще, чем в бойком Париже.)

Конечно, и то, очень милое, что он говорил мне лично, я не стану писать. А называл он меня, чаще всего, «моя птичка» и еще чаще: «моя певучая девочка» (?.. ведь я никогда в жизни не пела).

Я вспоминала все те случаи, когда я плакала ему в плечо! Но мы гораздо чаще смеялись. Он был наедине скорее веселый. («Ты дышишь солнцем» (Ахматова))

Мне казалось, что его литературные занятия и «Всемирная литература» ему вполне нравились. Он никогда на жизнь не жаловался. Помню, я как-то сказала «Всемирка» — он меня поправил, смеясь: «Ну, зачем вы так? это наша всемирочка, наша девочка...» (т. е. его самое нежное слово!). — Он о своих встречах за границей почти ничего не говорил. И вот, как-то было, он вдруг обратился ко мне с вопросом (точно не помню слова): «Скажите, если б мне грозила опасность и вы знали это, стали бы вы любить меня больше?» — И на мое удивление:

«Если б вдруг это было с вами, я... хотя любить вас больше невозможно (вечная припевка!!!), но, кажется, я бы...».

Как-то в другой раз он заговорил о какой-то возможности (?) какого-то селения и домика с окном, где только один горшочек с цветком... (будто жены декабристов...). Он, видя мой испуг, сказал, обняв меня: «Нет, нет, я думаю, все еще будет хорошо... Не надо пугаться...». Я такого смысла ни из чего не могла «выскоблить». Он был всегда добр, подтянут и (с другими) ироничен. (А Он, чем дальше, тем чаще, говорил о разводе с Аней и женитьбе. Об Ане — он понял, конечно! ее глупость, — и даже ненормальность. Но ведь и я была в житейском смысле глупа! Может быть, ему хотелось бы более серьезную девушку? Хотела ли я этой женитьбы? Скорее, нет. Ведь жизнь бы усложнилась. Остыл бы он ко

мне, как к Ане? Это главное. И потом, развод с Ахматовой — сенсация!! А с Аней?! После его смерти Аня говорила мне (не раз), что он говорил с ней о разводе. Но не представляю себе, в какой форме он мог это делать. Я не могла ее расспрашивать. Мне казались всякие разговоры о прошлом изменой Юре.) Да, мне казалось, никакой злости за отнятое имение и дачу у него не было. Он симпатично говорил о царской семье, величавой и милостивой царице, но никогда не бранил существующую обстановку. Раз как-то пожаловался на физическую слабость... Я, имея в виду образ «конквистадора», безжалостно отвернулась.

...Мне хотелось перемен. Европы, других континентов. Всего «другого». Хотела ли я разлучиться с Гумилевым? Нет и нет. Он меня забрал силой, но я хотела, чтоб он был со мной, и ни на кого не хотела его менять. Вероятно, это была любовь. И может быть, и — счастье?..

Как разительна была перемена в мире!.. В мире все другое... разве можно было повторять (и продолжать) то, что было в 16-м году... и чего я не «доиграла». Мне кажется, его возраст перемахивал с лирики на эпос. Наверное, это «нормальная эволюция». Но мне так хотелось того, прошлого! И военные шпоры, и Георгий на груди... Но связь с ним была крепкая. (У меня по крайней мере). Я ничего на свете не могла этому противопоставить. Это было (внутренне) интереснее всего. Но такая печаль.

*И совсем не в мире мы, а где-то
На задворках мира, средь теней...*

Я не помню, когда я начала ходить в Дом искусств, где он вел занятия. Кажется, это было с осени, но до появления в городе Мандельштама. Я бывала и на переводных занятиях с Лозинским. Никого из «студентов» не помню, кроме (опять-таки, не там) Анны Кашиной, к которой я питала слабость за ее не женскую самостоятельность и энергию, при том, что у нее были веселые светлые глаза Грушеньки и ямочки на щеках...

Как-то он попросил меня прочесть стихи. Я была в ужасном страхе, но читала. Обстановка (комнаты) была такая, как описано у Иды Наппельбаум. Но Иды еще не было. Помню только толстого мальчика, Колю Чуковского, который сидел наискось от меня за столом, близко от Гумилева.



Из Дома искусств мы часто ходили вместе с Лозинским, и я «заказывала» ему читать по-гречески «Илиаду», что тот и выполнял.

Мне очень нравились стихи Кузмина за их «мажор». Интерес к «греческой» любви у меня появился, вероятно, из-за «Дориана Грея», где я влюбилась в лорда Генри; а его разговор в I главе «Дориана» был какой-то энигматический. К тому же брат Ани — Никс был (на вид) тоже какой-то дорианистый. (Никс Бальмонт (по словам Ани) был очень недоволен ее замужеству с Гумилевым. Он потом уехал в Москву. Не пожелал ехать с отцом за границу. Умер в 1926 г., когда я лежала в Боткинских бараках, у меня была скарлатина. Помню, Юра мне рассказал.) Я как-то спросила у Гумилева, нравились ли ему когда-нибудь мальчишки. Он чуть не с возмущением сказал: «Ну, конечно, нет!» (ведь он был крайне мужского типа и вкусов). Я спросила: «Но, если все же...». Подумав, он ответил: «Ну, разве что Никс. И то, конечно, нет!» — Никса когда-то принимали за моего брата. Я была удовлетворена.

Но он смеялся над моим пристрастием. Мы оба любили арабский мир («1001 ночь»), Гёте «Западно-восточный диван», и я обрадовалась его стихотворению «Соловьи на кипарисах». Там «кравчий» и «розовая» усмешка. — «Ну, теперь вы довольны?» — «Да, я довольна».

Странно, что (может быть, после того, как он рассказал мне о пристрастии Татьяны Адамович к Мопассану, которого мы оба не любили, или, может быть, он перечел «Bel-Ami»), (странно было ведь сравнивать красавца и пошляка Bel-Ami — с ним, а активную, бойкую француженку Клотильду — сверхреальное существо — со мной) он как-то сказал, что у нас с ним такая тяга друг к другу, и все призраки растаивают перед этим (не помню выражений). Его «тяга» была, боюсь, чисто мужская (а может быть, и не только?). Но меня «вязала» какая-то магия.

Помню, я как-то его спросила, с кем из поэтов он больше всего связывает меня. К удивлению, немного подумав, он ответил: «С Бодлером». (То же самое я спросила позже у Юры. И тот ответил: «С Бодлером?...» Относительно Ани Гумилев ответил: «Эдгар По, «Аннабель Ли»».)

Помню разговор о «рядах». Он думал, что мы с ним смело будем садиться в 1-й ряд, а Лева (его сын) и моя племянница Тася (когда были детьми) будут более рассудительно выбирать более дальний ряд.

У него было (начиная с Гондлы) пристрастие к кельтской культуре.

Он задумал поэму (вроде как про меня!) с именем, любимым мною, Вероника. Эта Вероника была крестницей феи Абреды, и там действовал и Мерлин. Но сама Вероника должна была быть какой-то доброй Цирцеей. Все попадающие к ней на зеленый остров пленники испытывают полное счастье. (Смею ли я угадать какие-то свои черты из «Девы-птицы», хотя это было после меня и птица была с бледным лицом и черными глазами. Но я будто слышу себя: «Но всего мне жалче, хоть и всего дороже...». Нет, это, наверное, — моя печальная фантазия...) Но как будто она ни за кем из них не следует. Был ли в этом упрек мне?.. Чем я провинилась перед ним?..

У меня память все спутала, и я помню нечетко все, что стало происходить с начала осени и зимы 20-го года.

Помню стихи «Ольга» — как будто злое что-то налетело и опять появилась эта валькирия!.. ((Разве у него было впечатление, что я — язычница?). Я думала, что он и жениться если хочет на мне по обряду, потому что знает, что я верующая, и если я дам клятву перед алтарем, то буду «держаться». Но помимо прочего, я очень боялась, что мне тогда не избежать ребенка, — да непременно бы сделал это, — ведь я его знала... Мне только хотелось быть любящей старшей сестрой для Левы, которого мне было как-то жалко. Он мог сдержать меня от многого.) Это была осень, потому что Лозинский вдруг меня поздравил с именинами. — «Вы ошибаетесь, Михаил Леонидович, мои именины были летом». — «А я имею в виду, „Ольгу“». (Т. е. Лозинский* поздравил со стихотворением как с «именинами».) — И начинаются стихи с «Эльги», а я всегда говорила, что так имя мое мне нравится больше.

* Лозинский, Михаил (1886–1955) — русский советский поэт, переводчик, один из создателей советской школы поэтического перевода.



Когда появился в городе Мандельштам*, точно не помню. Внешне он был неприметен. Стихи (неожиданно) меня ошеломили. Может быть, мой восторг перед этими стихами был ударом в сердце Гумилеву? Тут была и Греция, и море!.. Не помню, как мы с Мандельштамом разболтались (в Доме литераторов, конечно!), а у него была впервые в день вечера Маяковского. Я просто «засиделась» у Мандельштама, и нам было так весело, и мы так смеялись, что не пошла в залу слушать; аплодисменты были слышны. Мандельштам (вероятно!) меня удерживал. В мемуарах Одоевцевой Гумилев волновался (почему-то!).

Удивительно, что когда я прочла Гумилеву: «Когда Психея-жизнь» за свои, он эти стихи принял как мои — он, знавший Мандельштама и мои «возможности», — и такой великолепный критик, как он, верно, я говорила о «пейзажном» восприятии Элизиума... Потом помню стихи — я не помню ничего особенного в моих отношениях с Мандельштамом. Я помню папиросный дым — и стихи — в его комнате. Несколько раз мы бегали по улицам, провожая друг друга — туда и обратно.

У меня не было ссор с Гумилевым; не было как будто ревности ни с его, ни с моей стороны. Моя «беготня» с Мандельштамом и редкие свидания с Мандельштамом в его комнате не вызывали сомнений у Гумилева. Или он ревновал к моему восхищению стихами Мандельштама с «греческими» именами?

И вот как-то он сказал мне: «Неудивительно, что Мандельштам в вас влюбился. Но я уверен, что его страсть возрастает от того, что он поверил, что вы происходите от кн. Голицыных». (В противовес моей «балетной» бабушке, матери мамы, нравственной, как игуменья, моя «дворянская» бабушка, мать папы, говорят, была легкомысленной, и ей приписывали роман с каким-то кн. Голицыным; эти слухи в свое время распространяла мать Никса Бальмонта и Ани Гумилевой, Лариса Михайловна, которой в свою очередь приписывали увлечение моим папой.)

Я рассказала Мандельштаму это, а он со своей забавной интонацией провозгласил: «Со времен Наталии Пушкиной женщина предпочитает гусара поэту».

* Мандельштам, Осип (1891–1938) — русский поэт, прозаик, эссеист, переводчик и литературный критик, один из величайших русских поэтов XX века.

Этапом могла бы назваться история, которая произошла в конце осени на вечере поэтов где-то на Литейном. Одоевцева в мемуарах пишет о нем как для нее важным — и там был Блок. Я же сидела на диванчике между Юрой и Милашевским, в безумной тесноте, и не слышала ничего из «поэзии» или забыла. Впервые «всерьез» началось увлечение Юры. В этот вечер Гумилев обратился ко мне с просьбой «отпустить» его проводить рыжую Зою Ольхину. (Она жила далеко и боялась одна). Я не помню ни рыжей Зои, ни Блока, ничего. «Вас с восторгом проводит Осип». Я дала согласие, и мы пошли с Осипом. На удивление Осип на сей раз стал «интриговать» и говорить о донжуанстве Гумилева и его неверности, чем вконец меня расстроил.

Я выговорила все это Гумилеву. Где и как, не помню, но помню, как на Бассейной (не на нашей стороне, а на обратной) Гумилев при мне выговаривал Осипу, а я стояла ни жива ни мертва и ждала потасовки.

*(Сошлись знаменитый поэт Гумилев
И юный грузин Мандельштам.
Зачем Гумилев головою поник?
Чем мог Мандельштам досадить?
Он в спальню к красавице тайно проник,
Чтоб вымолвить слово «любить».*

Одоевцева приводит конец, который я забыла; причину не приводит, потому что она не хотела, верно, писать обо мне в связи с Гумилевым.) Георгий Иванов увидел эту сценку и, сплетничая, прибавил: «Я слышу страшные слова... предательство... и эта бедная Психея тут стоит».

Я не думаю, чтобы Гумилев думал, что у меня роман с Мандельштамом. Он его не считал способным на реальные романы.

Как я стала ходить с Юрой? Я не помню тоже. Уже зимой, вероятно. Время покатило, как снежный ком, стремительно и как-то оглушительно.

«Царь-ребенок» — дикое для меня замечание Гумилева о какой-то моей манере отбрасывать в стороны, как какой-то «Навуходоносор» или разве что «Клеопатра». Так не делают покорные и льнущие женщины... Но разве я что-нибудь подобное могла?...



Гумилев любил врать и сочинять. Я помню, он как-то мне сказал, что прочел мои стихи Блоку и они ему понравились. Я будто обрадовалась, но не слишком-то верила. После он признался, что не читал Блоку: «Но вы были такая грустная, и я не знал, чем вас развеселить».

Он всегда очень почтительно говорил о своей матери (редко, правда, мы говорили), но как-то вспомнил о легкомыслии своего отца, который как-то советовал ему и старшему брату Дмитрию не очень строго смотреть на хорошенькие лица, потому что «иногда дурнушка окажется очень приятной» (слов, точно, не помню).

Как-то он смеялся: «Я многим девушкам предлагал отправиться со мной в путешествие, но клянусь: поехал бы только с вами! Вы так быстро и много бегаєте — бегом по всем пустыням...».

Он часто довольно говорил мне: «Кошка, которая бродит сама по себе». — «О, мой враг, и жена моего врага, и сын моего врага...» (Я не была самостоятельной в жизни, но во мнениях — всегда. Думаю, меня легче было уговорить украсть и даже убить, — чем сказать, что я люблю то, чего не люблю. Так и докатилась до валькирии...).

А нежно называл, как Бальзак Ганскую: «Моя атласная кошечка».

Как-то мы с Манделъштамом были в Мариинском театре. Сидели в ложе, а вблизи, тоже в ложе, была Лариса Рейснер*. Она мне послала конфет, и я издали с ней раскланялась (Осип бегал к ней здороваться). Потом он был у нее в гостях и рассказал мне, что она плакала, что Гумилев с ней не кланяется. Он вообще неверный. Будто Осип спросил ее: «А как же Ольга Николаевна?». Она ответила: «Но это же Моцарт». (Все это на совести Манделъштама.)

* Рейснер, Лариса (1895–1926) — революционерка, участница гражданской войны в России, журналистка, поэт, писательница.

Растроганная, я стала бранить Гумилева за то, что он «не джентельмен» в отношении женщины, с которой у него был роман. Он ответил, что романа не было (он всегда так говорил), а не кланяется с ней потому, что она была виновата в убийстве Шингарева и Кокошкина. (А слова Гумилева — точные.)

Я не могла понять, что в Африке бывают ритуальные убийства. Черная магия. Может быть, это не имело связи — трехпалый цыпленок? Что это вызвало у него — объединить меня и Манделштама как язычников — «вам мрамор и розы». Я забыла более точно, почему. (Разговор о черной магии мог быть и в другой день. Почему-то бедный цыпленок вызвал у меня ужас! А причем тут внешний вид? Искусства? или смерти?)

Он на мои «державные» покушения сказал: «Единственно кого бы я вам разрешил, это Лияссо — император Эфиопии». — «Да нет, конечно, нет, — ведь у него сифилис». (Он говорил мне об императоре Лияссо. Лияссо похож (я видела потом) на темнокожего юного Блока. Он был давно убит.)

Я всегда вела себя очень искренне, что потом так было по душе Юре; но, может быть, в отношениях с Гумилевым нужна была большая хитрость, даже Аня врала, хоть и глупей была. А девицы той эпохи все играли в «кого-то». Я бы могла еще сильнее «закрутить» своего Гумилева, хотя в том периоде было достаточно его любви и даже верности!.. (Я вспомнила, что не пошла слушать «Гондлу» и стихи 16-го г. по разным причинам (и, может быть, это испортило и мою, и его жизнь), но, среди прочего, у меня не было нового платья (в светло-синем уже ему показывалась). — Я как-то сказала. У него было самое искреннее удивление на лице: «Неужели вы могли подумать, что я смотрел на ваше платье, когда вижу вас?». Вопрос был такой искренний, как будто он видел меня в лучах!.. Я никогда не говорила (что хвалю в себе) ничего вредного для Ани; я держала в секрете ее секреты. Ей многое могло бы повредить. Но коварная подружка сочиняла про меня некоторые вещи навыворот; думаю, Гумилев не верил ей, когда я объясняла. (Но это пустяки).



Какой-то злой рок вытянул меня из моей жизни и втянул в другую. Мне было трудно. Очень. «Иосиф, проданный в Египет, не мог сильнее тосковать...». Почему-то вспомнились (потом) эти слова.

А его слова: «Не было, нет, и не будет...»:

.....
*Не было, нет и не будет
Сердца верней моего...*

Все кончилось.

Как началось с Юрой? Разговоры были. Что я могла рассказать? Бегали мы с Юрой. Наверное, в католическое Рождество. Стихи Кузмина: «Любовь чужая расцвела — Под Вифлеемскою звездою...». Мы с Юрой говорили о героинях Шекспира — Розалинде и Виоле. Все, что я помню. Гумилев преподнес мне целый букет пакостей про Юру. (Верно, все верно! толку мало было.) (Я думаю, он чего-то не сказал, как джентельмен. То же самое скажу про Юру, очень тактичного в разговорах о Гумилеве.) В мемуарах Одоевцевой — ее неожиданный приход «на рождество» к очень печальному и мрачному Гумилеву. (Вспоминаю, Гумилев предлагал мне пойти с ним на панихиду по Лермонтову (?). Я не могла — он тогда взял Одоевцеву. В ее мемуарах — очень молитвенное настроение Гумилева.) Он ей так обрадовался и был так ей благодарен, что будто бы снял со стенки картину Судейкина из рамы и подарил ей. Я помню потом это отверстие в стене — и мои слезы, вероятно последние, в квартире Гумилева. (Он мне сказал, что нужны были деньги для Бежецка, и он продал картину. Потом заменит ее в этой раме.) Я сказала: «Теперь все кончено».

Радовался Мандельштам: «Юрочка такой бархатный». Юра был не бархатный, а железный. Выбросил из моей жизни и Гумилева, и Мандельштама.

Отчего начались все эти предсказания? Почему? Я не помню. Гумилев говорил угрожающе, прямо как Отелло. Я ничего не предполагала. (Может быть, у меня были тайные мысли, что, если он женился на Ане и меня не ждал, — он обязан вытерпеть мой флирт с Юрой?) Тон его речей был странен. Он меня пугал, что его ревность разгорится и потом рассыплется, как пепел. Так было с Ахматовой. И еще там с кем-то... О чем он намекал? О Мандельштаме? О Юре?

Я, кажется, смеялась. Я привыкла быть для него «певучей девочкой» и «счастьем», и эти дикие разговоры меня (будто бы) и не испугали.

Я помню еще и такую фразу: «Я не позволю вам с ним ничего, не только дружбы, даже простого знакомства». «Когда я на вас женюсь, я...» (я имела такт не добавить: «слава Богу, я еще не ваша жена...»). «Я, в конце концов, позволю вам Козлинского, если вам так надо!» (!!! Мне надо? при его арабском темпераменте?!!). (Это было похоже на сцену из «Красной лилии», которую я читала потом. «Только не этот! Только не этот!»)

Почему он все пугал меня и не сказал ни слова о себе?

Почему он не сказал простых русских слов, вроде «не уходи» или «не бросай меня»? Что это, гордость? Стыд? Отчего можно говорить раболепные, слова, когда надо добиться того, чтобы уложить в постель, и не сказать ни слова, чтобы остановить свою женщину? Как он нисколько — ни капли — не верил в мою любовь?.. Я думаю теперь, надо было меня избить (то я говорю теперь. Тогда мне в голову бы не пришло, что можно меня бить) и бросить на пол, а потом легче было бы ему просить прощения, и я обещала бы ему все, все (и все выполнила!).

Вероятно, злая судьба надругалась над нами обоими, и мы оба пошли к своему разрыву, и он — к своей смерти.

Когда мы пошли встречать Новый год в Доме литераторов и я зашла к нему, чтобы идти вместе на эту встречу, ничего не было решено. Мне кажется, и с Юрой не было никакой договоренности. У меня было розовое платье. Кажется, мы собирались «доканчивать» Новый год у Оцупа. У меня не было предчувствия. У него не было особенных злых слов. Мандельштам не встречал Нового года в Доме литераторов. Жестокость в поведении Гумилева была одна — дикая, непонятная. Я говорила: «Потом, — я приду». Но я все же ничего не предположила.

Я помню: мы сидели за столом, на эстраде. Соседей не помню. Народу было много. Юра сидел внизу, за другим столом. Закивал мне. Гумилев не велел мне двигаться. Я, кажется, обещала «только поздороваться». Гумилев пока не ушел. Он сказал, что возьмет часы и будет ждать.

Я сошла вниз — у дверей Юра сунул мне в руки букет альпийских фиалок и схватил за обе руки, держал крепко. Я опустила голову, прямо как на эшафоте. Минуты шли. Потом Юра сказал: «Он ушел».

Я заметалась. Юра сказал: «Пойдем со мной».



Михаил Алексеевич встретил меня приветливо. Мы пошли к Юрию Анненкову. Я мало что помню, но, что помню, — это другая история. (Разве можно было поверить, что веселая встреча в мае 1916 г. да окончится таким бесстыдным разрывом в эту новогоднюю ночь? Что меня можно будет увести, как глупую сучку, как женщину, бросающую свой народ, свой полк, свою веру?.. Кузмин (потом я узнала) уговаривал Юру: «Что вы делаете!!». Он жалел меня. «Она хорошая молодая девушка. Это вам не Надина Ауслендер, не Татьяна Шенфельдт. Она собирается выходить за Гумилева». «Она его не любит» (?..). «Вы же не можете на ней жениться. Что вы делаете?» А я... выпустила из рук — на волю ко всем четырем ветрам — на охоту за другими девушками, на тюрьму, на смерть — своего Гумилева.)

1921 г.

Самое страшное случилось для меня, когда видела Гумилева через... не помню! — сколько дней после Нового года. (Конечно, в моем «побеге» было и что-то веселое, и легкое. И увлечение Юрочкой. Вначале я не так понимала — чем все это может кончиться?..) В Доме литераторов, конечно. На его лице были какие-то борозды — как будто его отстегали. Я защищала его всей душой от насмешки Юры, хотя я знала, что Юра — человек благородный (и может быть, мне это только казалось?), потом я сидела около Юры на диванчике, а за портьерой Гумилев читал новые — и скверные — стихи своим ученикам. Я старалась не слышать и не давать слышать Юре. — Я раньше хотела стихов про русалок! Тут о русалках («Перстень» было сказано иронически; а я (если это только я!) «и доньне я не умела понять, что такое любовь!»). Никогда в жизни я не испытывала такого стыда и такого желанья смерти. (Вероятно, ужас был у меня только после того, как я увидела лицо Гумилева.) Только провалиться сквозь землю! Только ничего не понимать! Я не хотела, чтобы меня прощали на том свете. Я не хотела, чтобы надо мной плакали — они оба. Я видела в себе только бесстыдную, мерзкую тварь. (Тут было не до стихов, не до ревности или кокетства. Как будто я была виновна в физической жестокости, когда безжалостно избивали негров. Я не понимаю, как это могло случиться.)

Я могла шевельнуться только, когда голос смолк и из-за занавески показалась Лютик, я подошла к ней и помню ее неподвижное, но почтительное лицо, как всегда такое. Я ничего не сказала, и Юра, вероятно, увел меня.

В мемуарах Одоевцевой: вспомнилась нелепая сцена во время Кронштадтского восстания. Я вспомнила обстановку, но не помню лиц (не видела), не слыхала точно слов. Я была очень напугана. В столовой Дома литераторов. Одоевцева говорит, что показался Гумилев в очень странном и нелепом одеянии. Кузмин, сидя за одним из столов, ближе к двери, вскрикнул что-то вроде «Коля, что с тобой?», — а Гумилев в дверях выкрикнул нечто вроде оперного проклятия Альфреда над Травиатой, как будто «эта женщина» или «эту женщину». Я выдернула из рядов Одоевцеву и схватилась за нее, потому что боялась, что Юра начнет меня избивать, — и Одоевцева меня избавит от этого ужаса. (У Одоевцевой какие-то другие слова и у Кузмина (не те, слащавые), — и не «женщина» — он не читал моралей.)

Третья память о «другом годе жизни» — тоже в Доме литераторов. До того Голлербах читал сатирические стихи — я смеялась, потому что Голлербах задевал Одоевцеву. После Гумилев подошел ко мне и с каменным лицом сказал точно так: «Ольга Николаевна. В вашей власти было отнять у меня вашу благосклонность, но я надеялся, что вы сохраните доверие к моему знанию русского языка».

Я, кажется, молчала или что-то невразумительное пробормотала. (Тут я видела — прямо у ног между нами, так близко — бездонную щель, непроходимую черту... Ведь я не могла сказать: «Коля, я никогда не смеюсь над вами. Я была рада, что задели Одоевцеву». Он бы сказал: — «дорогая, здесь не место. Идем ко мне... Но для этого был конец».)

Я видела его потом очень редко. Как во сне — на улице, не идешь, а подлетаешь — и за руку не берешься. —

Один раз он сказал что-то очень злое и дерзкое. В другой раз он сказал: «Конечно, он моложе!». (Большей глупости нельзя было и придумать! Я не видела никакой разницы с собою.) В третий раз он сказал: «Через семь лет». (Его мать не верила в расстрел, и мне



говорили, что она думала, что он скрылся на Мадагаскаре. Я вспоминала... через 7 лет, а уже после войны разглядывала план и графюры — виды Мадагаскара.)

Юра говорил мне, что слышал от Сторицына (Петр Сторицын, сплетник), что тот говорил, что хотят арестовать Гумилева.

Юра подошел к нему на улице и сказал: «Николай Степанович, я слышал, что за вами следят. Вам лучше скрыться». Он поблагодарил Юру и пожал ему руку. Обо мне они оба не сказали ни слова.

Как будто об аресте я услышала на похоронах Блока. Напророчил себе Гумилев — умереть за Блока!... Мать Блока на кладбище подошла к Ане и поцеловала ее. (Я, как всегда, приревновала, но я не думала, что Гумилеву скоро конец.)

Афиши (или как назвать?) были вывешены на улицах. Его фамилия была третьей. Пошли слухи — о приказе Ленина не допускать расстрела, и будто это — злая воля Зиновьева. Отомщение Зиновьеву пришло через 13 лет.

Было страшно — и не верилось до конца. На панихиде (около Казанского собора, ведь не было тела) Ахматова стояла у стены, одна. Аня — посередине, с черной вуалеткой, плачущая. Я подошла и ее поцеловала. Из-за Юры я старалась держать себя спокойнее. Одоевцева (на улице) упрекнула меня за перчатки — я их, конечно, сняла. Глупо было так говорить. Юра меня старался успокоить. К Ане подошла одна. Она плакала, рассказывала, как его пришли арестовать. Он ее успокаивал, она целовала его руки. Он сказал: «Пришли Платона. Не плачь».

Берберова (будто бы) посылала ему яблочный пирог в тюрьму. О конечно, не смела — ни сказать, ни послать!)

В другой раз Аня рассказала об Ахматовой. Будто та пришла к ней и сурово заявила: «Вам нечего плакать. Он не был способен на настоящую любовь, а тем более — к вам». Я рассердилась и сказала «Отбери у нее Лурье». (Лурье, бабник, ходил к Ане.) (54 года назад, а я помню, как живое почти, и больно, и очень стыдно.)

Одоевцева и Ида Наппельбаум написали стихи о нем. У Иды — очень трогательные. Я долго не могла свыкнуться с мыслью о его смерти. Будто этого не могло быть, но надо было делать вид, что было, чтоб не сглазить. Я потеряла из виду, куда делись дети — Лева, Лена?.. (В жизни все так течет, и многое «отбрасывается» из чувств и почти забывается в своем течении... но, сколько ни живи, остается во мне какая-то подземная, подводная память — и неистребимая верность (у меня, неверной!) памяти этого, неверного, человека.)

Аня

Аня вела себя «потом» нелепо. У меня из времен гимназии сохранилась какая-то странная власть над Аней — надо мной девочки не то посмеивались, не то восхищались, и был какой-то авторитет: я могла бы исправить что-то в ее поведении, но я не смела из-за Юры; он не любил Аню и держал меня вдали от нее. Она пыталась (на улице) выпытать из меня, было ли у меня что с Гумилевым, потому что было странно с его стороны говорить с ней о разводе — ради кого, из-за чего? Потом она как-то сказала: «Как жаль, что вы разошлись. Он бы не влез в этот дурацкий «заговор», он не мог надолго уехать из Ленинграда (в 21 г.) — он бы без тебя соскучился». (Значит, выходит, я виновата в этой трагедии?.. Еще сказала: «Вы бы уехали за границу, как Ходасевич с Берберовой, и ты могла в Париже стать m-me Рекамье, как ты мечтала». (Я не думаю, что он мог бы поступить, как Ходасевич, бросить детей. И разве могла бы я?.. пожалуй, нет). Я не думала о разводе, не делала ничего, будто и не хотела. Я всегда полагалась на судьбу. А нужна была мне любовь (и стихи), а не брак с «готовкой». Я не была (думаю теперь) совсем такой, какой была ему нужна для брака, и даже такая в «то время». Многого я не собиралась менять в себе. И, правда, нужна была с его стороны только любовь ко мне, если он собирался разводиться и жениться. А иногда я думала, что он страдал от самолюбия! А отчасти был рад «освободиться». Влюбляйся в кого хочешь. Ведь у него был какой-то долг передо мной. Аня его не стесняла больше.)

В другое время она говорила о своем безбожии, чуть ли не повторяла «Ильич», стала заниматься в студии Вербовой. Заводила романы. О ней иронически писал К. Вагинов.



Раз пришла ко мне с «кавалером». Это был длинненький юноша, актер, который в одной из поездок (на севере) таскал мои чемоданы, и я вела себя с ним повелительно! Он и тут смотрел на меня почти восторженно, а она как будто принимала его всерьез. В другой раз я привела к ней по делу Ю. Бахрушина, не без волнения входила в этот дом на Эртелевом — квартира Никса — и ее адрес для Гумилева. Она достала фотографии, продавая их, и довела до приступа смеха Бахрушина: на одной из фотографий были вырезаны головы у (2-х?) сидевших на полу у ног Гумилева девиц — «потому что она была хорошенькая».

Еще раз я видела ее с дочкой — Леночкой — высокой, белокурой, с размытыми бледно-голубыми, косящими глазами — акварельной, хорошенькой дочкой Гумилева. Та стеснялась, я спросила об учении. Аня не хвалила ее — «разве что в затейники...». Дочь Гумилева — в затейники?!.. Я чуть не подавилась.

И еще раз — она сообщила о своей новой дочке — Гале — с черными глазами. От кого?.. Я ничего не спрашивала. (И Аня, и Леночка умерли во время блокады. У Левы я не спросила ничего о них обеих.)

Что говорилось о нем потом? — Редко!

Михаил Алексеевич, добрый секундант Юры, говорил (иногда) с легким сарказмом и не опасался обидеть меня, рассказывая в юмористическом тоне. Юра — очень редко. Помню, он как-то сказал, что юные девочки для Гумилева были самой «легкой» добычей, а по-настоящему ему хотелось бы вполне взрослую даму! И — скорее темноволосую. И из моих портретов он прозвал «Гумилевская девушка» темную шатенку. И еще одно. Как-то мы заговорили с Юрой о Гумилеве. Он вспоминал мой «увод». Я спросила: «Почему он не дрался?». Юра всерьез назвал меня дурой. «Разве он смел насиловать вас, когда был в заговоре?..». Почему-то Юрий Бахрушин говорил о Гумилеве с ненавистью. Я не понимаю, насколько он не был передо мной виноват. Виновата только я.

У меня был (долго) альбомчик (кажется, темно-зеленый) со стихами («отделанными») Гумилева. С замочком. Одоевцева присвоила себе этот альбомчик — там было «Шестое чувство» и моя седьмая канцона, т. е. то, что должно было быть напечатано. «Неготовые» стихи он прятал. Я этот альбомчик вернула... ему?

Ане? Как «ценность». Еще были у меня его переводы. Из Малларме, и еще какие-то. Я их показала Георгию Иванову, и он их замотал. Довольно много переводов. Он мне их просто отдал. Довольно много. Еле помню: «Мадлена со змеей...» и эти «ваши банты у висков», что-то в «венке шалфейном».

6 мая 1976 г. Четверг.

Сон сегодня: в каком-то месте Ленинградской области (но дальше пригородных). Бежецк? Максатиха? Он был в сером костюме, дневной, обычный, слегка насмешливый. Какие-то люди... У него — по делу. Аня — на диване, говорит чуть ли не о любительском спектакле. Свеженькая. В белой шапочке. Хорошенькая.

Он мне что-то дал... «по делу». Пожал мне руку. Не поцеловал меня и руки не поцеловал, а только пожал.

Я вернулась обратно, отнесла то, что надо. Какие-то куски мяса — кошке или собаке. Какие-то вещички. Вернувшись, я проходила через другую комнату. Встретила Всеволода Петрова. Поговорила с ним. У него были темные волосы, как у Бориса Папаригопуло. Войдя в комнату, где Гумилев протянул ему (в платочке) то, что он мне дал, и велел сделать (и я сделала), — вещичка, но главное — крупный серебряный нательный крест. Он взял это из моей руки в свою — «и поднявши руку сухую, он слегка потрогал цветы...». Как будто ничего не сказал, и я ничего, и ничего не случилось, но я поняла, что выполнила его поручение, и крест свой он мне отдал временно, для моей охраны, — и на лице его была написана, очень осторожно, незаметно, не явно, настоящая (бывшая?) любовь.

14 августа. Суббота.

Во сне был Гена Шмаков*, и разговор с ним, и про Барышникова**, и другое... а потом я пошла по Невскому (по солнечной стороне, где театр и где мы ходили с Гумилевым и Лозинским и почти

* Шмаков, Геннадий (1940–1988) — русский поэт, переводчик и балетный критик, специалист по творчеству М. Кузмина и К. Кавафиса, автор биографий Жерара Филиппа и Михаила Барышникова.

** Барышников, Михаил (1948) — выдающийся русско-американский артист балета, балетмейстер, заслуженный артист РСФСР. Киноактер, номинант на премии «Оскар» и «Золотой глобус».



не было встречных (в жизни) и Лозинский читал «Илиаду» по-гречески). Во сне я бежала одна, хотела купить цветы — на мне было черное платье и пальто, Невский был заграничный, толпа не наша, — был длиннее, чем в жизни, — а цветочный магазин был за Владимирским, но попадались цветочницы с весенними цветами (анемонами), а я хотела понарядней... С улицы я попала в зал, полный народу. Среди толпы вдруг появился Гумилев. Его лицо — молодое, до ужаса некрасивое, с Джиокондовой улыбкой и не то с сарказмом, не то с нежностью (как было), и он взял в руку мою руку, и все просветлело, как будто он сказал, что он меня еще любит, и я без слов сказала ему, что я его люблю (чего говорить, никого не любила), хотя я и любила Юру, — верно он меня простил — и принял — во сне...

Третий из принцев крови (с Блоком и Кузминым. — И. Т.) — Гумилев. (Мой!).

Охотник. Мореплыватель Синдбад. О, Каир и Дамаск, Багдад и Афины, Сиракузы и Рим!..

Он ныряет в море „за жемчугами редких слов». Он поет весело — о Женщине и о Мире. Потому что Мир открылся для него как новобрачная, как влюбленная женщина — весь. И посвятил его во все тайны своего Неба и во все прелести своей Земли.

Он смел, мудр, отважен, как рыцарь. Он идет прямо к цели, побеждая препятствия...

Авантюрист, как Казанова.

Он возлюбил экзотические, юные, солнцем палимые страны...

Любит ли он Элладу IV века, как я?..

Он любит кватроченто — это я знаю. Но и современность ему не противна.

Он берет жизнь; и вливает ее в свои дивные, смелые, солнечные строфы... Все так.



Ольга Мочалова*

Дом у нас был свой и довольно большой, но места мне удобного для сосредоточенья не было. Спальня бессветная, зал — проходной, две маленькие комнатки старших сестер, остальное — тетушек. Другая часть — подсобные уголья, помещенья для прислуги. Дом планировался для старшего поколения. Для Оленьки с мужем, для сестриц Лизаньки и Лидиньки. Мы — племянницы, сироты, оказались там по воле волн, когда остались только две тетушки.

В доме было много благостного. Комнатка — молельная, уединенная, с затемненным окном, выходявшим на необитаемый дворик, уставленная иконами с попитрами для чтения священных книг. За передней-прихожей была прохладная буфетная, дальше — кладовая с сундуками. Замки открывались певучим ключом, на дне лежали очерствелые баранки — для счастья. Зал, он же столовая, оклеенный нестареющими белыми тисненными обоями, был глубоким, смотрел в сад на липы и клумбы роз. В нем стоял концертный рояль «Bechstein». Играла музыкальная Аня, ученица сестры Брюсова, Калюжной. Стеклопанная дверь сбоку вела в зимний сад, мы уже не застали его.

Летом по вечерам тетушки пили на террасе кофе. Аннушка приносила самовар. Приходил разделять досуг фильский священник отец Александр Левицкий. Он был спокойный и добродушный. Мне некуда было деваться, я сидела на ступеньках террасы и читала. В тот час розового заката, благоухающего шиповника, мирной тишины у меня в руках оказалась книга стихов «Жемчуга» Гумилева. Имя тогда мне еще неизвестное. Столько наступательного порыва, дерзанья, такое красивое мужское начало, широкий манящий мир. Новый поэт вдруг позвал, потребовал, взбудоражил.

Я уже была студенткой-первокурсницей ВЖК. Хотелось путешествовать. Выпросила у тетушек поездку в Крым с двоюродными Варварой и Алексеем Монинными. Мы все трое были глупы, неопытны, со страхом спрашивали: «Сколько стоит?» Но доехали до Ялты благополучно.

Заняли номер на даче Лутковского на Большой Массандровской улице, которая была уже не улицей, а горной окрестностью. Дом стоял на высоком берегу, сад спускался к самому синему морю.

* Мочалова, Ольга (1898–1978) — поэтесса, мемуарист.



Сад — ярко цветущий, с большими многолетними деревьями. Ровный пляже пестрыми камешками.

Бойкая, смешливая номерная горничная Шура исполняла свои обязанности быстро, шутя. Химичка Ольга, милая 16-летняя Наташа с большой косой, супруги Ставенгагены, композитор Георгий Альбрехт с сестрой, пианист Вася Еленев, мистер Артур Берри, студент-политехник из Курска — те, кто помнятся из обитателей ялтинской дачи.

Мистеру Артуру был 21 год. Приятной наружности, несколько флегматичный. Мы дружили, он называл меня Шоня (Соня), за то, что любила долго спать. Он мне неопределенно нравился, весело было с ним поболтать, посмеяться. Мы встретились с ним еще в Москве снежной зимой того же года, но отношения не завязались: я не смогла пригласить мистера в наш дом, а он жил в общежитии.

Варвара и Алексей, как старшие над младшей, насмешничали надо мной. Алексей издевался и над тем, что я не умею бросать камешки в воду рикошетом, Варвара воровала дневник и вносила язвительные критические замечания. Она принципиально выворачивала наружу чужие тайны. Мне свойственно было говорить во сне. Но для них не раз я это делала нарочно. Бормотала по ночам: «О Боге, о Боге, о Боге». Утром они мне докладывали, что я бредила.

Помню ряд крымских эпизодов: компанией ездили на Ай-Петри смотреть восход солнца, посещали водопад Учан-су, катались верхом.

Как-то я шла вдоль крутого обрыва, навстречу попался матрос. Он сказал: «Какая хорошенькая». В ужасе я прыгнула с горы, камни осыпались, и я скатилась вниз на бедре до самого берега. Дачные жители ахали, но рана быстро зажила. Морская вода целительна.

Я все бросалась в море, забывая снять наручные часики. Они не выходили из ремонта. Как первокурсница, я думала об экзаменах, привезла с собой лекции Кизеветтера, сидела на крутой оgrade сада, болтала ногами и готовилась. Но неусердно.

Ходила с длинной косой, перевязанной красной лентой. Синяя юбка, белая блузка — туалетов не было, и о них не думалось. Ставенгагены считали меня глупой девчонкой, Варвару — более положительной.

Был эпизод взволновавший — Виктор Белавенец, внезапно забредший в наш сад. Не помню его обстоятельств. Мы шли в темноте, он взял мою руку, говорил о злодейском отце, о своем ски-тании. Он не был достаточно смел, а я была слишком дика, и мы

больше не встретились. Но я его запомнила и писала плохие стихи о разлуке с бедным Тристаном. В дальнейшем я слышала, что он увез какую-то княжну, и мне это не было безразлично.

Вероятно, шел конец июня. Варвара явилась на дачу взволнованная: «Я гуляла по Нижней Массандре с книгой стихов Тэффи «Семь огней». Присела на скамейку. Ко мне подошел санаторный отдыхающий в халате и спросил: «Юмористикой занимаетесь?» — «Нет, это стихи», — ответила я. — «А, «Семь огней»». Тэффи известна как юморист, и очень немногие знают ее единственную лирическую книгу. Поэтому я с ним заговорила. Это оказался Гумилев. Он предложил прийти к нему в палату. — «Разве у Вас там какая-нибудь особенная архитектура? Уверена, что нет», — ответила я. «Завтра мы встретимся у входа в парк. Ты иди со мной»».

Гумилев пришел к воротам Массандровского парка в офицерской форме, галифе. Характерна была его поступь — мерная, твердая — шаги командора. Казалось, ему чужда не только суетливость, поспешность, но и быстрые движения. Он говорил, что ему приходилось драться в юности, но этого невозможно было себе представить.

В «Литературных встречах» я приводила ряд его высказываний, и нет надобности их повторять здесь.

Варвара в это лето написала целую тетрадь о нашем знакомстве с Николаем Степановичем. Записки ее, к моему удовольствию, не уцелели. Они отличались иронией, насмешкой. Она не восприняла особенностей Гумилева, обаяния, ставшего для меня незабываемым. В ее истолковании получалось, что он ухаживал больше за ней, но она не пошла ему навстречу, как я, поэтому продолжались встречи со мной. Что ж, может быть. Но запомнил он меня, почему бы то ни было.

Сложилось у Варвары четверостишие, которым она гордилась:

*«Ольга Мочалова
Роста немалого
В поэта чалого
Влюбилась, шалая».*

Описывались все мои грехи, — как бросаюсь в море с часами, плаваю рядом с дельфинами, бормочу по ночам. Ну, словом — шалая. Тем более что еще «О, Тристан» и мистер Артур. А Гумилеву я, конечно, курортная девочка, между прочим.



Синело море, шумел прибой, ночи падали с неба сразу, непроглядным бархатом.

Он нес с собой атмосферу мужской требовательной властности, неожиданных суждений, нездешней странности. Я допускала в разговоре много ошибок, оплошностей. Неопытность, воспитанность на непритязательных фильских кавалерах, смущенье, — все заставляло меня быть сбивчивой. Нет, интересной для него собеседницей я не была. Стихи я читала ему ребячливые:

*«Маркиз Фарандаль,
Принесите мне розу,
Вон ту, что белеет во мгле;
Поймайте вечернюю тонкую грезу,
Что вьется на Вашем челе».*

Он смеялся: «Что же греза вьется, как комар?» На одно стихотворенье он обратил внимание: «В твоём венце не камни ценные». Взял ситуацию плачущей девушки над гробом возлюбленного для концовки «Гондлы», которую писал в то лето. Он читал мне стихи:

*«Перед ночью северной, короткой
И за нею зори — словно кровь...
Подошла неслышною походкой,
Посмотрела на меня любовь...»*

В санатории он написал и прочел мне свою лирическую жемчужину:

«За то, что я теперь спокойный, И умерла моя свобода, О самой светлой, самой стройной Со мной беседует природа».

Тогда я подумала: «На что же я при таком очаровательном воспоминании «о самой стройной, самой белой, самой нежной, самой милой»?»

На закате, на краю дороги, ведущей в Ялту, были поцелуи. Требовательные, бурные. Я оставалась беспомощной и безответной. Мимо прошла наша компания, возвращаясь с прогулки, которую я на этот раз не разделила. Н. С. снял фуражку и вежливо поклонился.

Мы бродили во мраке южной ночи, насыщенной ароматами июльских цветений, под яркими, играющими лучами, звездами.

«Когда я люблю, глаза у меня становятся голубыми».



«Вы не знаете, как много может дать страстная близость».

«Когда я читаю Пушкина, горит только частица моего мозга, когда люблю — горю я весь».

«Вы сами не знаете, какое в Вас море огней».

«Я знаю: вы для меня певучая».

«Я прошу у Вас только одного разрешения. Я мог бы получить несравненно более полное удовлетворение, если бы этим вечером поехал в Ялту». — «Как это делается, — удивлялась я. — Кто эти дамы? Ну что ж, если Вам так нужно, поезжайте».

Мы сидели на камне, упавшем с обрыва на дорогу. «Если Вы согласны, положите руку на мою руку». Я не положила. «Если бы Вы положили руку на мою, я отказался бы от своего желания, но знал бы, что душа у Вас лебединая и орлиная». «Как хорошо. Но я не могла Вас обмануть. Мне так не нужно».

Был поцелуй на горе, заставивший меня затрепетать. Крепко, горячо, бескорыстно. «Вот так». «Если бы Вы согласились, я писал бы Вам письма. Вы получили бы много писем Гумилева».

Ая думала: «Фили, старый дом, тетушки, нескладная шуба, равные ботики, какие попало платья, неустроенность, заброшенность, неумелость. А он знаменитый, светский, избалованный поклонением, прекрасными женщинами. Что могу я для него значить? Нет, не справлюсь».

В разговоре среди другого я ему сказала: «Вот мы с Вами встречаемся, а Вы ни разу ничего не спросили обо мне, — кто я, где я, с кем и как живу?»

Он ответил: «В восемнадцать лет каждый делает из себя сказку».

На другой день он должен был уехать из Ялты. Утром горничная, веселая и возбужденная, ворвалась в наш номер: «Вам просили передать письмо». Он приходил перед отъездом и принес вложенную в конверт карточку. Надпись была:

«Ольге Алексеевне Мочаловой. Помните вечер 7-го июля. Я не пишу прощайте, я твердо знаю, что мы встретимся, когда и как — Бог весть, но верю, что лучше, чем в этот раз. Целую Вашу руку. Здесь я с Городецким. Другой у меня не оказалось.

1916».

А потом разразилась революция. Тетушки умерли одна за другой. Прах их был похоронен на Дорогомиловском кладбище, и после погребения ни одна душа не посетила два скромных холмика, сразу позабытых. Я до сих пор поминаю в молитве имена Ольги



и Елизаветы и прошу прощения за грубость и пренебрежение. Они, сидящие у окошка без дела, ничего не могли дать нам, племянникам, но были незлобивыми, чистосердечными обывательницами. За то и я несчастлива в племянниках.

В дом входили рабочие и описывали вещи. Все менялось, перемещалось, било, скользило, утрачивалось и нападало.

Я металась, сдавала экзамены, дважды уезжала и возвращалась в старый дом.

Какой-то зимой, лютой и снежной, я вышла из своей келейки и сказала сестрам: «Я люблю Гумилева». Аня и Катя испуганно переглянулись и ответили: «Только не сиди часами, запершись в своей комнате». — «А куда же мне деваться?»

Мы все трое были тогда без судьбы.

Лютой зимой 1919 года в Москву приехали Гумилев и Кузмин выступать с чтением стихов в Политехническом музее. Я пришла, конечно, на вечер. Аудитория не отапливалась, все сидели в шубах. Помню, на мне была тогда самодельная шапка из свернутого вокруг боа. Я сидела в партере рядом с пожилым гражданином. Он насмешливо бормотал, слушая Гумилева:

*«Машенька, здесь ты жила и пела,
Меня, жениха, домой ждала.
Где же теперь твой голос и тело?»*

Особого успеха ленинградские поэты не имели. Публика смешанная, неопределенная, скорее больше любопытничала, о чем говорят теперь известные имена. Я чувствовала, что Гумилев не хочет сдаваться времени, отстаивает свой мир, свои прежние темы. Он стоял перед аудиторией твердо и прямо, тоже в шубе с меховым верхом.

В антракте я подошла к нему и робко спросила: «Николай Степанович, помните ли Вы меня?» Он живо и обрадованно ответил: «Да, да, конечно, вспоминал, думал о Вас часами по вечерам».

Уговорились, что я буду ждать его при выходе из подъезда. Светила полная луна, трещал мороз. Он шел ночевать к Коганам, странноприимной чете, любившей не поэзию, а поэтов. Он уверенно вел меня за собой. Но я была в недоумении: «В каком же качестве я туда приду? Куда меня положат? Рядом с ним?» На одном из поворотов я резко остановилась и сказала, что иду ночевать к двоюрод-

ным сестрам. Он удивился, но не стал возражать. Условились, что я завтра приду в Брюсовский институт к 8 часам.

Двоюродные сестры жили в маленьком домике на Трубной площади рядом с рестораном «Эрмитаж», где дядя Жорж директорствовал. Ньюша и Лиля знали, что порой я, опоздав на ночные поезда с литературных вечеров, стучала к ним в окно со двора с просьбой о ночлеге. Со смехом и шутками впускали они меня в дом и укладывали в уголок под теплое покрывало. В эту морозную ночь я испытала здесь сильнейшее из впечатлений от встречи с Н. С. В полусне, полуяви двигались горы, смещались небо и земля, ходили большие розы с темно-красными головами, как бурная вода, текла музыка, было неразлично чувство не то провала, не то полета, бездны или выси. Я оказывалась в неведомых мирах, где все было не названо. Именно потому, что переживанья превышали меру сил, выводили из себя, я не успела в нужную минуту сказать нужное слово. На утро я уехала на Фили, распустила школьных ребят по случаю 25° мороза, попросила у Ани синюю шелковую блузку и отправилась в Москву во Дворец искусств. Я не опоздала к условленному часу. Но в дверях мне попался Михаил Кузмин, и на мой вопрос: «Где Н. С.?» — ответил, что Гумилев недавно ушел, и больше о нем ничего не известно. Я хотела смерти. Мы так и не встретились. Впоследствии он говорил, что ждал меня, мое отсутствие объяснил морозом и Филями и ушел.

Отчего так бьется сердце, так необходимо сегодня особенно тщательно подготовиться, одеться? Есть вышитое платье, соответствующая шапочка и матерчатые туфельки. Ведь все как обычно. Я живу на Знаменке в квартире Мониных. Моя комната проходная, Александр ходит сквозь нее и злится. Так обычно, что в жаркий июльский день 1921 года я иду в Союз поэтов — «Сопатку», по хульному прозвищу Боброва. Какие ни на есть, но Дешкин, Федоров, Ройзман, Мар, Вольпин, Адалис, Захаров-Мэнский, Кусиков, Шершеневич, Мариенгоф, Коган, Грузинов, Соколов — были тогда тем обществом, сужденья которого играли роль. Варвара сидела у входа, она исполняла временно какие-то контрольные обязанности. Когда я вошла в кафе «Домино», она поспешила шепнуть: «Здесь Гумилев».

Опять я подошла к нему, с кем-то беседующему. Помню быстрое движение, мгновенное узнавание. Мы вышли вместе на улицу.

«Вы более прекрасны, более волнующи, чем я думал. И так недоступны».



А Сергей Бобров ехидничал вслед: «Олега уже повели».

В этот вечер мы расстались на углу у Ленинской библиотеки. Он шел ночевать во Дворец искусств. При расставанье он быстро проговорил много бессвязных ласковых слов. На другой день, по условию, он зашел за мной на Знаменку, и мы вместе вышли. Долго ходили по улицам и вышли к запасным путям Ленинградского вокзала, где стоял его поезд, назначенный к отправке через два дня.

Н. С. ехал с юга домой; товарищ предложил ему поездку в Крым для устроенья литературных дел.

Вагон был пуст, в купе мы остались вдвоем. Пили вино. «В юности я выходил на заре в сад и погружал лицо в ветки цветущих яблонь. То же я испытываю теперь, когда Вы в моих руках».

«Вы ничего не умеете».

«Жажда Вас не иссякает, каждая женщина должна этим гордиться».

Свобода действий ведет к свободе высказываний. Он говорил о французских приемах, о случаях многократных повторений. Хвастал, что вот приехал в Москву, взял женщину. Мне не нравилось.

Был в смятенном настроении. Что делать дальше? Писать стихи и только — уже нельзя. Быть ученым? Археологом?

В купе было большое зеркало, в нем промелькнули наши образы рядом. Помню свои строки:

*«В зеркале отразились:
Высокий, властительный он
И девушка, как оруженосец
С романтической бурей волос».*

«В вас прелестная смесь девического и мальчишеского».

«Руки, как флейты».

Просил простить, что не может проводить обратно. Да я не хотела. Надо было остаться одной. Домой пешком летела, как пуля.

Прощаясь у паровоза, сказал: «Если бы я мог найти здесь пещеру с драгоценными камнями — все было бы для Вас».

Мы виделись еще. Ходили по улицам.

«Занимателен разговор с Вами. Ваши сужденья».

«Если бы я не был англичанином, то хотел бы быть американцем».

Вот мы стоим у входа в Союз поэтов. Я упорно говорю: «Не люблю». Полушутя, полуболезненно он отвечает: «Зная свою власть надо мной, Вы пользуетесь ею, чтобы ранить меня».

Мы идем по Лубянской площади, он говорит: «Ваше имя Илойали. Пройдет время, в каких бы то ни было обстоятельствах Вы вдруг почувствуете беспокойство, волненье, неясное томленье, а это я тоскую и зову».

Мы сидели на ступеньках храма Христа Спасителя. Нежно, нежно, тихо, как бы издалека, звал меня: «Оля! Оля!» Я замирала, боясь на него взглянуть.

«В каждой женщине есть образ сказки: русалка, фея, колдунья. Вы — Ангел». Я пошутила: «А, может быть, я — змея?» — «Нет, вы — Ангел, я знаю, Вы — Ангел». И еще: «Что бы ни удалось Вам написать, я знаю, что у Вас душа поэта».

Он выступал в Доме Герцена и не имел успеха у тамошней публики. «Третьестепенный брюсёнок», — отзывался о нем тогдашний литературный заправила Василий Федоров.

«Поэт для оболъщения провинциальных барышень», — судила Надежда Вольпин. Он многим не нравился.

Мы шли втроем: он, Николай Бруни, я, Николай Бруни — священник, летчик, переводчик авиационной литературы. В узком проходе мы остановились, он сказал: «Сначала должен пройти священник, дальше женщина и поэт».

Борис Пронин — основатель ленинградского ночного кабаре «Бродячая собака», любимого места сборища поэтов, оказался в то время жителем Воздвиженского переулка и, встретившись с Гумилевым, предложил посетить его вечером, почитать стихи. Его квартира в глубине квартала с перепутанными ходами оказалась труднодоступной. Мне пришлось спрыгнуть с каменной стены прямо в разъяренный собачий лай. На вечере был Сологуб, тихий и затягивающий в омут своей тишины. Некий художник жаловался мне на горечь ненайденного пути. Я читала свое стихотворение «Полями» и Гумилев сказал: «Эти строки Вы должны были бы прочесть мне раньше».

Когда я уходила, Н. С., спускаясь с лестницы, требовательно притянул меня к себе, как уже признанный завоеватель. Я отбилась. Он опустил руки, сказав: «Амазонка».

Я вернулась на Знаменку.

Прощаясь, мы договорились, что завтра в 12 часов он за мной зайдет.



Он не пришел.

Мы больше не виделись.

А ведь в тот день было очень нежелательное впечатление: шла рядом с нами по улице некая дамочка, виляющая телом, слащаво-фамильярно произносила: «Гум здесь».

Я ее ненавидела.

Затем пришла весть о расстреле Н. С. 25 августа 1921 года.

Ходили противоречивые слухи о заговоре Таганцева, об участии в нем Гумилева, о случайности его ареста. Не было только противоречий в суждениях об исключительной мужественности Н. С. при всех обстоятельствах.

Я была на даче, когда до меня дошла эта весть.

Ночи позднего августа стояли непроглядно-черные, и с неба срывались большие блестящие звезды.

А дальше.

Дальше были отклики окружающих.

Мария Мониная видела из окна, как мы шли под руку по Знаменке, и говорила: «Он плешивый, бесцветный, ему должно быть лестно, что с ним рядом такая девушка».

В Антипьевском переулке нам встретилась, к моей досаде, тетя Варя. Она глянула на нас безрадостно-прозаично: «Вот, мол, кружит ей голову, она верит, а потом будут слезы».

Варвара Мониная занесла в дневник строки: «Встретила Ольгу в Доме Герцена с Гумилевым. Она вдруг — красивая. Вся — обожженность. Вероятно, мимолетная интимность. Не по-женски». Дневничок она с удовольствием распространяла, как образец изящно-лаконического стиля. Она делала и худшее.

Где-то звучал по записи голос Гумилева, читающий стихи.

Павел Лукницкий — молодой ленинградский журналист, посвятил себя составлению биографии Гумилева. Он собрал много материала, рассказов знавших его людей, много фото всех возрастов. На одних Н. С. был обаятелен, на других — пошловат. Павел Николаевич обошел все дома, где бывал поэт.

Зимой 1924 года я сидела в его кабинете и сообщала нужные сведения. Работа Лукницкого, конечно, не вышла в печать, но есть надежда, что она не пропала зря. Павел Лукницкий говорил, что слышал голос, призывающий его совершить этот подвиг.

Долгие годы лежала в моем бюваре засохшая роза, подаренная им. Затем в порыве гнева, протеста, тоски я ее казнила.

Десятилетия он снился мне ежегодно. Проходил мимо, смотрел, и в глазах была сияющая нежность. Слов не было. Потом пропало и это.

Разумеется, я любила других. Но среди других, неизбежно развенчанных, уцелел он один.

Существовало общепринятое мнение: Блок — красивый, Гумилев — некрасивый. Противоположности во всем. Не могу примкнуть к этому суждению. Его стать, осанка, мерный шаг, глубокий голос, нежно и твердо очерченные губы, тонкие пальцы белых рук, а главное — окружающая атмосфера — все не укладывалось в понятие «некрасивый». В нем очень чувствовалась его строфа:

*«Но лишь на миг к моей стране от Вашей
Опущен мост.
Его сожгут мечи, кресты и чаши
Огромных звезд».*

Эти слова — реальная действительность.

Меня не удовлетворяет ни одна статья о нем из известных мне, — ни дифирамбическая, ни ироническая.

Ни друг, ни враг, ни мимо идущий прохожий не отрицал в нем несомненной черты — мужественности. Это черта, которая вспоминается первой при имени Гумилева. Но понятие мужественности разнотранно и разнопланово, и я откликаюсь не на все его проявления.

Было в нем забиячество, задирчивость, самолюбивая горделивость, вкус к ловкачеству — то малоинтересно. Может быть, переизбыток этих свойств относится к более раннему возрасту. Не могу себе представить Н. С. в беге, спешке, драчливых движениях. Все это нарушает эпичность его строки. Слова:

*«Не нужны ли твердые руки
И красная кровь не нужна ли
Республике иль королю?» —*

Звучат переизбытком физической силы, бравурны.

Он, увидавший «во всем ее убранстве Музу дальних странствий», автор «Капитанов», охотник на леопардов, путешественник по дебрям и пустыням, по волнам, по жаре, он — осваивающий земные пространства с предельным напряжением сил — вот более



высокий план его мужества. Истинный, действенный завоеватель земли заслуживает почета.

Всегда — тренировка себя на границах последних крайностей, заглядыванье в лицо смерти, как бы для испытанья ее власти. Неразделимо смешанные — отчаянье и отчаянность.

Но за всем этим стоят строки, заставляющие затрепетать своей значительностью:

*«Победа, слава, подвиг — бледные
Слова, затерянные ныне,
Гремят в душе, как громы медные,
Как голос Господа в пустыне».*

Так, значит, это высшее веленье, неисповедимое призванье. Весь путь его освещается молнийным светом.

Особенно люблю в нем мужество в преодоленье боли улыбкой. Это не война.

*«И когда женщина с прекрасным лицом,
Единственно дорогим во вселенной,
Скажет: «Я не люблю Вас», —
Я учу их, как улыбнуться, отойти,
И уйти, и не возвращаться больше».*

Вот вершина, достойная поклоненья. Я знала его улыбку.

Грань его прекрасной мужественности — белокаменная скрытность. О многом он не говорил никогда никому, при всей щедрости его общительности с людьми, душевные тайники оставались непроницаемыми.

К высокой мужественности относятся его твердые «да» и «нет», — увы, столь редкие в душах неопределенных и расплывчатых. Он любил говорить и писать: «Я знаю, я твердо знаю», — что свидетельствует о большой внутренней осознанности.

Думается, основная его тема — потеря рая. Он был там. Оттуда сохранилась память о серафимах, об единорогах. Это не поэтические «украшения», а живые спутники души. Оттуда масштабность огненных напряжений, светов, горений. Оттуда и уверенная надежда:

«Отойду я в селенья святые».

Один из журнальных критиков писал о нем: «Гумилеву всю жизнь было 16 лет: любовь, война, стихи». Тон рецензии был не слишком почтительный. Но Гумилев отозвался о ней: «Что ж, написано добросовестно».

Любовь его тоже разногранна, конечно, без завоевательных упоений не обойдешься. Он писал о том,

*«Как сладко побеждать
Моря и девушек, врагов и слово».*

Звучали ноты самолюбивого лихачества:

*«Я нигде не встретил дамы,
Той, чьи взоры непреклонны».*

Звучали даже ноты пренебреженья:

*«Лучшая девушка дать не может
Больше того, что есть у нее».*

Но достойно внимания — основное, вершинное:

*«Я твердо, я так сладко знаю,
С искусством иноков знаком,
Что лик жены подобен раю,
Обетованному Творцом».*

Любовь пронзает душу «Синими светами рая», он говорит о ней: «Ты мне осталась одна». Он говорит:

*«Мир — лишь луч от лика друга,
Все иное — тень его!»*

В каждой любви поиски потерянного себя и связей с высшими сферами.

*«С тобою, лишь с тобой одной,
Рыжеволосой, белоснежной,
Я был на миг самим собой».*



Он — неустрашимый — чувствовал себя беспомощным:

«Перед страшной женской красотой».

Он только раз произнес слово «страшная».

Поиски себя, трудность разобраться в себе — одна из насущных тем поэзии Гумилева. Сколько образов в нем сидело, и не все были желательными.

*«Когда же
Я буду снова я —
Простой индеец, задремавший
В священный вечер у ручья».*

О тоскующем одиночестве Гумилева, несмотря на многочисленных поклонников, говорил Алексей Толстой, говорили все, говорил он сам:

«О моей великой тоске, в моей великой пустыне».

«И никогда не звал мужчину братом».

Я хочу только вспомнить, что у него был друг Владимир Эльснер, поэт одной книги стихов, канувшей в бездну забытья. Стихи умные, хорошо написанные, приятного тембра. Помню одно: поэт говорит о какой-то жизненной ситуации:

*«Как в старой немецкой гравюре,
Где страсть, смерть и вино».*

Для полноты образа Н. С. необходимо помянуть его пристрастие к сильным хищникам:

*«Парнас фауной австралийской
Брэм-Гумилев ты населил.
Что вижу? Грязный крокодил
Мутит источник касталийский,
И на пифийскую дыру
Вещать влезает кенгуру».*

Думается, пристрастие выросло из переплетенных корней. Любювь сильного к сильному, завоевательный интерес с ним сопоставиться. Любуваньє красотой хищников: «Меха пантер — мне нравились их пятна». Сочувствие тоске их пленения — и человеком, и условиями дикого существованья. И — наиболее сложное — провиденьє переходных форм звериного бытия. Так, в последнем сборнике рисуется тигр — пьяный гусар — воинствующий ангел. Так:

*«Колдовством и ворожбою
Леопард, убитый мною,
Занят в тишине ночей».*

Только раз упоминается о друге-собаке. Очень дорог мне в нем тайный опыт виденья ночного солнца. Опыт неизреченный, он не объясняет его, скупо сообщает:

«Наяву видевший солнце ночное».

Но без этого внутреннего события нельзя себе представить поэта.

Думается, прекрасен был в нем жест великодушнойнисходительности. Не с позиций высокомерия, надменности, разумеется. Но как бы горькие сожаления об искажении, об ущербе существу, высокая печаль о неизбежности падения.

Ему несвойственно было произносить резкие осуждения. Так, о поэте Ратгаузе, идеале бездарности, он писал: «Рыцарь нивских приложений». В «Письмах о русской поэзии» щедро, добро, гибко откликается он на разнообразные достоинства разнохарактерных поэтов. Как зорко видит малейшую крупинку золота и радуется ей.

А он ли не страдал от жестоких нелепостей жизни, мрачной тупости людских мнений. Он — капризно-нервный, аристократически-изысканный:

*«Какая странная нега
В ранних сумерках утра», —*

писал он. Вот, представляется мне, его скрытый душевный фон. Героичным было само его внешнее спокойствие, самообладание. Ведь он неоднократно кончал с собой. Он постоянно играл со смертью.



Стихотворение «Душа и тело» в его предсмертном сборнике — духовный храм. Он, сказавший:

*«И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что Слово — это Бог»,*

— встал во весь рост и рост исполинский. Эта, в сущности, поэма вызывает трепетный холодок при чтенье.

Отмечу начало 2-й части:

«И тело я люблю».

Т. е. даже и тело, такое стеснительное, требовательное, досадное нередко. То, которое водило его по «задворкам мира», где мы «среди теней», где «так пыльна каждая дорога, каждый куст так хочет быть сухим». Только раз вырвалось в поэзии Гумилева выражение огненной плеткой:

«Что в проклятом этом захолустье».

Я не нашла ему имени. «Николай Степанович» — это еще звучало сносно, но сокращенные имена — никуда. Фамилия «Гумилев» — стальное забрало. Во всем бесконечном разнообразии многонациональных имен — ничего подходящего. И вот в III, заключительной части, «Душа и тело», слова поразительные по значению:

*«Я тот, кто спит, и кроет глубин
Его невыразимое прозвание,
А Вы — Вы только слабый отсвет сна,
Бегущего на дне его сознания!»*

Вы — душа и тело.

Кто не понял, что Гумилев безмерно выше самого себя, не понял в нем ничего. Автор изящных стихов, любитель путешествовать.

И не лучшим ли определеньем его сущности останется название его предсмертного сборника «Огненный столп».

Говорит Гумилев

...В то лето (1916 г. — И. Т.) Николай Степанович написал прелестное стихотворение: «О самой белой, о самой нежной», посвященное Маргарите Тумповской.

Он рассказывал фронтовые эпизоды. Как в него долго и настойчиво целился пожилой, полный немец, и это вызвало гнев.

«Русский народ очень неглуп. Я переносил все тяготы похода вместе со всеми и говорил солдатам: «Привычки у меня другие. Но, если в бою кто-нибудь из вас увидит, что я не исполняю долга, — стреляйте в меня»».

«Женщину солдат наш не любит, а „жалеет“, хотя жалость его очень эротична».

«Физически мне, конечно, было очень трудно, но духовно — хорошо!»

Сердился на меня, что шарахнулась от собак, кинувшихся на встречу с лаем при выходе из парка. «Вы и этого боитесь?»

Говорил, что не любит музыки, находит в ней только стук деревянных клавиш. «Музыка — в ритме стиха, в движении воздушных волн, управляемых словом».

Говорил, что любит синий цвет. Мебель в его тверском имении — синей обивки.

Был против нарядничанья в стихах. «Зачем это «шелковое царство?»» (О стихах В. М.). «Вот у Ходасевича «ситцевое царство», и как это хорошо».

С большой похвалой отзывался о некоторых стихах Марины Цветаевой. Читал наизусть стихотворенье, где она говорит с прохожим из могилы.

«Люблю „Гаргантюа и Пантагрюэль“».

Об Ахматовой: «Она такой значительный человек, что нельзя относиться к ней только, как к женщине».

Возмущался, что у нас на ВЖК нет обязательного изучения «Эдды».

«Денег никогда не хватает. То нужна лошадь, то моторная лодка».

Передразнивал: «Поэт, поэт... И ищут к чему бы придраться... Но писать надо так, чтобы ни одной строки нельзя было бы высмеять».

«В царскосельской гимназии товарищи звали меня *sicambre*, т. е. странный. Директором был Иннокентий Анненский», он меня выделял. Он поражал пленительными, неожиданными суждениями».



«Меня били старшие мальчики, более сильные, и я занялся упражнениями с гириями, чтобы достойно с ними сражаться».

«В 17 лет изучил «Капитал» Маркса и летом объяснял его рабочим».

Николаю Степановичу понравились мои стихи «Песня безнадёжная», которые сама я считала глубоко ученическими.

*«В моем венце — не камни ценные,
Не камни — слезы.
Закрыты очи незабвенные,
Над гробом — розы.
Я целый день сижусь поникшая
Здесь возле гроба,
В нём ты — мечта моя погибшая!
Мертвы мы оба.
Ты — королевич мой единственный,
Безумно-милый!
Любила я тебя таинственной,
Глубокой силой.
Целую руки страшно-бледные,
Целую жадно.
Молчи, о, сердце мое бедное,
Смерть беспощадна».*

Гумилев писал тогда «Гондлу», и образ плачущей девушки над гробом возлюбленного он взял для концовки поэмы.

«Здесь (в Крыму) нет созвездия Южного Креста, о котором тоскую».

«Самое ужасное — мне в Африке нравится обыденность. Быть пастухом, ходить по тропинкам, вечером стоять у плетня».

«Старики живут интересами племянников и внуков, их взаимоотношениями, имуществом; а старухи уходят в поля, роются в земле, собирают травы, колдуют».

«В 18 лет каждый из себя делает сказку».

«Свой сборник „Колчан“ посвятил Татьяне Адамович. Очаровательная... Книги она не читает, но бежит, бежит убрать их в свой шкаф. Инстинкт зверька».

Восхищался «Балладой Редингской тюрьмы» Уайльда.

«Когда я наслаждаюсь стихами, горит только частица мозга, а когда я люблю, горю я весь».

«Петербург — лучшее место земного шара».

«Домаливался до темного солнца». В стихах сказано об этом:

«Наяву видевший солнце ночное».

«Испытал ту предельную степень боли, которая вызывает уже не крик, не стон, а улыбку».

«Разве можно сравнивать Пушкина с Лермонтовым? Пушкин — совершенство, Лермонтов относителен».

Была лютая зима 1919 года. Москва стояла в развалинах. Гумилев и Кузмин приезжали выступать в Политехническом музее. После выступления Н. С. шел к Коганам, где должен был остановиться, и я дошла с ним до ближайшего переулочка. Н. С. был одет в серые меха. Все мы сидели в аудитории в шубах, и Гумилев иронизировал над тем, что москвичи плохо одеты. Сосед мой, слушавший стихи Н. Г., смеялся над ними с видом презрительного сожаления. Это был пожилой гражданин, заросший черным волосом, типа заводских агитаторов. Большого успеха ленинградские поэты не имели.

«Никогда не ношу обручального кольца. Подчеркивать свои оковы».

В. М. прочла стихи, где были строки:

«Печаль навеки, печаль серьезна,

Печаль моя — религиозна».

Н. Г. сказал: «Серьезна? Это говорят: «Мужчина сурьезный», — когда он сильно пьет».

«Наши страдания — обратная сторона должного счастья».

«Анечке (Ахматовой) каждый месяц надо давать 100 рублей на иголки».

Июль 1921 года. Один из ленинградских знакомых и читателей Гумилева предложил ему поездку на поезде на юг и обратно. Гумилев был в Ростове-на-Дону, где группа молодых студийцев ставила его «Гондлу». Н. С. театра не любил, но постановка ему понравилась, и он очень одобрительно отзывался о молодых актерах. Он провел в Москве дня три, пока поезд стоял на запасном пути. Выступал в Союзе поэтов (Тверская, 18), читал стихи об Африке. Мы ходили по улицам, встречались на вечерах, беседовали.



Из высказываний помню:

«Вся Украина сожжена». (Горько.)

«Люблю Купера и Д'Аннунцио».

«Вещи, окружающие нас, неузнаваемы. Я не знаю, — из чего это, это, это... Мы потеряли с ними живую связь».

Показывал черновую тетрадь, где были стихи:

«Колокольные звоны и летучие мыши».

«Что делать дальше? Стать ученым, литературоведом, археологом, переводчиком? Нельзя — только писать стихи».

«Путь поэта — не только очередной сборник».

«В дни революции Ахматова одна ходила ночью по улицам, не зная страха».

«Жена мне — любовница, дети — младшие братья и сестры. А что она им — мать, я как-то не учитываю».

«Как хорош миг счастливого смеха той, кого целуешь».

«Это в семьдесят лет о шестидесятилетнем говорят — мальчик. Я себя «молодым» не считаю» (35 лет).

«Кладу на каждое поколение по 10 лет».

Ночевать шел во Дворец искусств, пришлось перелезть через железную ограду. Встретился в доме с Адалис и долго с ней ночью разговаривал. О ней отозвался: «Адалис — слишком человек. А в женщине так различны образы — ангела, русалки, колдуньи».

«У вас в Москве нет легенд, сказочных преданий, фантастических слухов, как у нас».

«У вас никто не знает соседней улицы. Спросим прохожего наудачу, как пройти на Большую Дмитровку? Нет, не этого, он несет тяжелый мешок». Н. С. приподнял фуражку и спросил встречного молодого человека дорогу. Тот, действительно, не знал.

«Каждая любовь первая».

«Я не признаю двух романов одновременно».

«В моей жизни — семь женских имен».

«Я могу есть много и могу долго терпеть голод».

Шутил над стихами Маяковского, где М. увидел божество и побежал посоветоваться со своими знакомыми.

О вышедшей тогда книге стихов Ирины Одоевцевой «Двор чудес» (его студийной ученицы) говорил: «Приятно и развлекательно, как щелканье орешков».

О предполагаемом вечере, где должен был быть Сологуб, говорил: «Позовем Пастернака, он милый человек и талантливый поэт. А Сергей Бобров только настроение испортит».

«„Ольга“ — прекрасный хорей».

«Забавна у Пастернака строчка:

«И птицы породы „люблю вас“.

«Гимназическая фауна».

«У нас в Ленинграде днем все на определенных местах, все можно найти, уходят по личным делам вечером. А у вас никого не добьешься».

Дразнил женщин, говоря, что стихи посвящены им, и об одном стихотворении несколькими так.

«За что же и стреляться, как не за женщин и за стихи».

«Жена такого-то ослепла». (С большим сочувствием.)

(В узком проходе.) «Сначала пусть пройдет священник, потом женщина, потом поэт».

«Возлюбленная будет и другая, но мать — одна».

«Моим шафером в Киеве был Аксёнов. Я не знал его, и, когда предложили, только спросил — приличная ли у него фамилия, не Голопупенко какой-нибудь?»

«Стихотворение „Дева-птица“ написал о девушке, которая и любя, все тосковала о чем-то другом».

«Прекрасен Блок, его «Снежные маски», его «Ночные часы». Как хорошо и трогательно, что прекрасная дама — обыкновенная женщина, жена».

«Стихов на свете мало, надо их еще и еще».

«Бальмонт, Брюсову, Иванову, Ахматовой, мне — можно было бы дать то благо, что имеет каждый комиссар».

«Вчера в Союзе за мной по пятам все ходил какой-то человек и читал мои стихи. Я говорил — есть такое и такое есть... Он мне надоел. «Кто же вы?» — спросил я. Оказалось, это убийца германского посла Мирбаха Рейнбот. «Ну, убить посла — невелика заслуга, — сказал я, — но что вы сделали это среди белого дня, в толпе людей — замечательно». Этот факт вошел в стихи «Мои читатели» («Огненный столп»):

«Человек, в толпе народа убивший императорского посла».

Говорил шуточные стихи, ходившие в Ленинградском Союзе, о том, какой поэт как умрет. Там были строчки:

«Умер, не пикнув, Жорж Иванов.

Дорого продал жизнь Гумилев».



О Некрасове: «Раньше презирал из эстетизма, теперь люблю величавую простоту:

*„Медленно проходит городом
Дядя Влас — старик седой“.*

Отзывы и рассказы о Н. С.

Андрей Белый: «Гумилев ходит по Питеру гордо-гордо, и каждый шаг его говорит: «Я мэтр! Я — мэтр!»»

Василий Федоров на вечере памяти Гумилева выразился: «Третьестепенный брюсенок».

Небрежное мнение: «Гумилев — герой провинциальных барышень».

Н. П.: «Гумилев искренне считал, что быть поэтом женщине — нелепость. Но когда он вернулся из Африки, и Ахматова прочла ему свой «Вечер», был восхищен. «Ну, что же, Коля, теперь учи меня», — сказала Анна Андреевна, — «Что ты, Анечка, ничего не нужно, — готовый поэт», — ответил он».

«Многие мужчины преклонялись перед мужественностью Гумилева».

М. Т.: «Любя его, не знала, как его называть. «Коля»? Какой он — Коля! Я говорила — дорогой».

Росский: «В Париже Н. С. был влюблен и делал много смешных глупостей».

Маргарита Тумповская говорила: «Ахматова, разойдясь с Гумилевым, ворчала на его новые романы только тогда, когда он плохо выбрал».

Н. А. Бруни: «В кабинете Гумилева строгий порядок, и жизнь его — в точном расписании. Напряженную тишину создают звериные шкуры на стенах, на диване».

Рассказывали, что Н. С. учил молодых поэтов: «Преувеличьте свои чувства в 10 раз, тогда будет что сказать».

Году в 1932-м я слышала на улице разговор. Шел изящный гражданин с интересной спутницей, он рассказывал о Гумилеве. «Это наш поэт?» — ласково спросила она.

Редкостную скрытность Гумилева отмечали все.

Горячо и охотно приводил значащие для него строки Горького:

«А вы на земле проживете,
Как черви слепые живут —
Ни сказок о вас не расскажут,
Ни песен о вас не споют»³⁵.

Н. С.: «Ахматова вызывала всегда множество симпатий. Кто, кто не писал ей писем, не выражал восторгов. Но, так как она всегда была грустна, имела страдальческий вид, думали, что я тиранический муж, и меня за это ненавидели. А муж я был самый добродушный и сам отвозил ее на извозчике на свиданье».

«У Бальмонта есть прекрасные стихи, пришедшие из таких свежих глубин, что все простится ему».

Я сказала, что Вячеслав Иванов обладает даром Наполеона — умеет каждому дать желаемую роль. Н. С. ответил: «Да, но Наполеон и сам при этом играл немалую роль».

Стихи ко мне

1. Ольга.
2. Канцона вторая. «Огненный столп».
3. «Мои читатели» — по впечатлениям наших московских хождений. «Огненный столп».
4. «Я сам над собой насмеялся...» Посмертный сборник.
5. Поэма «ОМ» (Название неточно). В 1919 году брошюрка на грубой бумаге, где сюжет был построен на созвучии ОМ.

Мои стихи ему

Оборванные строки

*Стен высоких, лая бешеного
Сердце не дрожало,
Если уж теперь узнала
Власть морского вала.
Ураган в груди остался,
Дикое бесстрашье, —
Вот с такими бы рогами
На любую башню.
Ты не знал. А из темницы*



Выкрасть час последний —
Всех проклятий, чар и ласк
Пламенной, победней.
Ноги, ноги заварю
Темной, жуткой негой,
Воротися в ворота,
Смерть рассыпав снегом.

1921

Надпись на камне

Она была, как мальчик, безудержной,
Счастливою, как жаворонок в поле.
Ее улыбку, флейты рук и гордость
Я ждал года и взял ее веселой,
От мира неоторванной и свежей,

Как вод нагорных быстрое течение.
Я, видевший пустыни и сраженья,
Мрак раскаленный в зареве молитв,
Перед ее глазами знал сомненье
И горькую ненужность прежних битв.

1922

Молчанье земли

Становится все властнее,
Подавляя наносные шумы,
Становится все неотступней
Молчанье земли.
Чувствую крепкое, целое,
Замкнутое в себе.
Каким объяснить сравненьем
Молчанье земли.
Есть звуки — паденье с веток
Яблока, треск льда.
Которые не нарушают
Молчанье земли.

Есть слова,
Под которые подплывает,
Как твердая опора,
Молчанье земли.
Слушаю лесную поляну
Широким солнечным днем!
Как бесконечно, как весело,
Как бесконечно, как веско
Молчанье земли.
Слушаю в позднюю осень
Черный холодный сад, —
Как неприкрыто, как сирота
Молчанье земли.
Чем свирепее мировые войны,
Сокрушительней треск распада,
Тем крепче держит вниманье
Молчанье земли.
Оттого ли, что оно поглотило отца,
И ту незабываемую улыбку,
Только одно мне родное
Молчанье земли.

1940

Непрестанное поклоненье

Нетрезвая свирепость марокканца —
Не смелость,
Японца механическая беспощадность —
Не храбрость.
Прикрашенная хищность итальянца,
Берлинской банды прорезиненная отупелость -
Не смелость.
Но храбрость — то незыблемое знание,
С которым Данте, обожженный пламенем,
Спускался в ад.
Побеги Сервантеса из Алжира,
Неуступающая кротость мира,
С которой он стоял перед пашой,
Когда был возвращен назад.



И знала я
Улыбку сдержанную боли
И смелость.
Для которой тесен век!
Российским нашим
Средиземным полем
Прошел высокий человек.
Он был убит.

1943

Поговори со мной

Поговори со мной, когда в тоске лишений
Я мучаюсь, сама себе чужда,
Когда безмерностью уничтожений
Жизнь кажется исчерпанной до дна.
Поговори со мной!
Пусти меня высоких комнат в сумрак.
Издаю, издаю,
Переступая всех препятствий хмурость,
Войду робко.
Неведомый! Всегда чудесный!
Теряю мысль, кто умер: я ли, ты?
Роднит с тобой мою скупую местность
Предощущенье красоты.
Названий милостивых жди, узнанья,
Прекраснее, чем знать сама могла.
Возникни губ знакомое дрожанье
И голоса глубокая волна.
Поговори со мной!
Я в мирном равновесье
Залог бесстрашия найду.
Пусть настанет жданное цветенье,
Как время лучшее в году.
Поговори со мной!

1941

Страннику

*Я не была в Италии, прости,
Младенчески слаба пред словом Рим.
Солдатом будней я была простым,
Воображая ненаписанную строчку
По бисерному кошелечку.
Я о Венеции могу судить. Мой челн
Не знал простора океанских волн.
С обрадованным рыданьем
Я к мраморному изваянью
Не припадала. Милостив мне будь.
Полями сумрачными был мой путь.
Я в мелкий дождь не шла живым Парижем,
Где из кафе огонь хвастливый брызжет.
Туманов лондонских старинное сукно
Не раздвигала бледною рукой.
Ты посетил норвежскую страну,
Где пересажен лета цвет в зиму.
Смеется синий лед в мальчишеских глазах,
Привыкших обращать в забаву — страх.
Под крышами случайно видя небо,
Я никогда не попаду в Аддис-Абебу.
Но тот, кто встретил своего героя,
Ни морем не обижен, ни горою,
Пусть он оставлен дружбой, одинок,
Ему сопутствует невидимый цветок.
А если он грустит о расстоянье,
Смерть
Не исполнит ли его желанья?*

1939



Глава повести

Он снял с руки широкий перстень
С цветною россыпью камней
Торжественно, как с шеи крестик,
Чтобы надеть на палец ей.
Был стол в нездешнем ресторане
На четырех персон накрыт.
Два гостя — в черном. Стол на грани
Туманной вечности стоит.
Он дал кольцо соседу слева.
Тот сжал и сузил ободок,
Так перстень с тонких пальцев девы
Скатиться и пропасть не мог.
Заветное кольцо лежало
В бокале с розовым вином,
И он сказал: «Отпей сначала
Глоток вина с моим кольцом».
Но дева медлит. Пусть в бокале
Мерцает обруч золотой,
Ей надо присмотреться к дали,
Побыть наедине с собой,
Побыть еще одно мгновенье
В лесной глуши девичьих снов,
Она не хочет ни движенья,
Ни взгляда, ни желанных слов.
Ты медлила? Ты промолчала
Перед неслыханным концом:
Кольцо похитил из бокала
Тот, справа, с мертвенным лицом.
Тебе на стол браслет безвкусный
Досадливой игрушкой лег,
В нем камень, выкрашенный густо,
Чтоб свет насквозь пройти не мог.
Но ты сняла с руки беспечно
Кольцо, что я ношу сейчас,
Хрусталик в нем простосердечно
Играет, как живой алмаз.
Ты протянула. Взял он в руки.

*Вдруг — камешка в оправе нет.
Незримый, хищный зуб разлуки
Мгновенно выкрал блеск и свет.
И то еще не все: а рядом
С твоей тарелкой синь-сапфир,
Удачно посланной наградой
В кольцо годится вглубь и вширь.
Высокий он и дева в белом,
Разлуки, встречи их вошли
В широкую волну напева
О русской красоте земли.*

1961

*Он ушел, отвертив лицо,
И лицо его — молниенный блеск.
Он ушел, отвертив лицо,
Отвергая звучащую речь.
Полупрозрачная мгла
Вилась и клубилась вокруг,
Полупрозрачная мгла
Одевала, касаясь, его
Нечеловеческий рост,
Нечеловеческий шаг.
Небо, горы, поля
Слились, как вода, в одно.
Своды и почва слились
Неразлично в одно.*

1966





Маргарита Тумповская*

(По записям Ольги Мочаловой)

«Маргарита, Маргарита — прекрасный амфибрахий...»

«Он полюбил меня, думая, что я полька, но, узнав, что я еврейка, не имел ничего против».

«На литературных вечерах, где мы с Н.С. бывали вместе, он ухаживал одновременно и за Ларисой Рейснер. Уходил под руку то со мной, то с ней. Л. Р. была впоследствии из тех революционерок, которые и под гильотиной принимают позу».

«Я как-то сказала ему: „За мной стал сильно ухаживать возлюбленный подруги, который давно был связан с ней трогательным романом. Вот, поди, верь вам, мужчинам!“ Он молчал и улыбался».

«Я никогда не могла называть его Колей. Так не шло ему, казалось именем дачного мужа. Называла — дорогой. А он удивлялся и считал себя Колей».

«Когда, наконец, добиваться уж больше было нечего, он облегченно вздохнул и сказал: „Надоело ухаживать“».

«Такой отвлеченный человек».

«Ведь его взгляды на женщину были очень банальны. Покорность, счастливый смех. Он действительно говорил, что быть поэтом женщине — нелепость».

«Был случай, когда я задумала с ним расстаться и написала прощальное письмо. Он находился тогда в госпитале. Несмотря на запрет врачей, приехал ко мне тотчас, больной, с воспалением легких. Не знаю, разошлись ли мы тогда или сошлись еще крепче».

«Анна Андреевна ворчала на него, когда находила, что он плохо выбрал свою даму. Но я не ворчу на него за выбор Вас».

«Аня Энгельгардт была дикая, застенчивая девушка, когда он ее встретил. Она не могла сопротивляться его напору».

«Стихийное движение и стихийная косность».

«Как сказать — Вам дано, но что сказать — еще нужно нажать».

«Когда я узнала, что в июле 1921 года он приехал в Москву, я была у друзей на даче. Лежала на кушетке и повернулась на другой бок при этом сообщении».

* Тумповская, Маргарита (1891-1942) — поэтесса.

Закат

*Могучий хвост купая в бездне вод
И в небе разметав блистательную гриву,
Он умирал.
Над ним обширный свод,
Подобие палатки прихотливой,
Коврами пышными и пухом райских птиц
Был тщательно разубран.
Мы ж, во прахе
Простертые пред ним, лежали ниц,
И до тех пор в благоговейном страхе
Покоились, пока резец серпа
Не врезался в лазурь небесного герба.»*

М. Тумповская
1921

Лукницкий. В 1916 г. АА была в «Привале комедиантов» (единственный раз, когда она была там), было много народу. В передней, уходя, АА увидела Ларису Рейснер и попрощалась с ней; та, чрезвычайно растроганная, со слезами, взволнованная, подошла к АА и стала ей говорить, что она никак не думала, что АА ее заметит и тем более заговорит с ней... (Она имела в виду Николая Степановича и поэтому была поражена.) «А я и не знала»...





Лариса Рейснер

Вадим Андреев*. Из повести «Детство»

В 1913 году она (Лариса Рейснер. — И. Т.) была молоденькой восемнадцатилетней девушкой, недавно окончившей гимназию, писавшей декадентские стихи, думавшей о революции, потому что в семействе Рейснеров не мечтать о ней было невозможно, но все же больше всего наслаждавшейся необычайной своей красотой. Ее темные волосы, закрученные раковинами на ушах, как у Лолы Монтец, серо-зеленые огромные глаза, белые, прозрачные руки, особенно руки, легкие, белыми бабочками взлетающие к волосам, когда она поправляла свою тугую прическу, сияние молодости, окружавшее ее, — все это было действительно необычайным. Когда она проходила по улицам, казалось, что она несет свою красоту как факел, даже самые грубые предметы при ее приближении приобретают неожиданную нежность и мягкость. Я помню то ощущение гордости, которое охватило меня, когда мы проходили с нею узкими переулками Петербургской стороны...- не было ни одного мужчины, который прошел бы мимо, не заметив ее, и каждый третий — статистика, точно мною установленная, — врывался в землю столбом и смотрел вслед, пока мы не исчезали в толпе. Однако на улице никто не осмеливался подойти к ней: гордость, сквозившая в каждом ее движении, в каждом повороте головы, защищала ее каменной, нерушимой стеной...

Рейснер. Из романа «Рудин»

«Кабачок был расположен на Михайловской площади, в подвале старинного дома. Толпа, изрыгаемая на белый декабрьский снег двумя театрами и большим Варьете, свою пену вливала в его узкие, сырые ворота... Просачиваясь в фантастически расписанный подвал, эта пена струилась вдоль крутых лесенок... Газовые рожки, обрамляя чудовищную и плоскую орнаментальную живопись стен, согревают воздух синими языками... У камина, способного обогреть своей огромной, доброй пастью декадентов всего мира, несколько двадцатилетних эпикурейцев, сидя спиной к огню, наслаждаются

* Андреев, Вадим (1902–1976) — писатель, сын известного писателя Леонида Андреева.

теплом и мучительно ждут приглашения прочесть свои произведения, бесконечно похожие друг на друга и на своих авторов: маленьких, с расчесанными проборами, оттопыренными ушами и мордочками по-человечески испорченных ночных зверюшек.

Огонь в камине трещит... и в восторге бросает на смутный ковер полную горсть своих червонцев... Свет ночных ламп изменил лица, сообщая им неподвижную, ложную, глубокую прелесть, изображенную импрессионистами в «Ночном баре»...

Под аркой, увитой кистями винограда, за чашками черного кофе, за беседой о боге и любви отдыхают прекраснейшие любовники этой зимы. Он некрасив. Узкий и длинный череп (его можно видеть у Веласкеса, на портретах Карлов и Филиппов испанских), безжалостный лоб, неправильные пасмурные брови, глаза — несимметричные, с обворожительным пристальным взглядом. Сейчас этот взгляд переполнен.

По его губам, непрестанно двигающимся и воспаленным, видно, что после счастья они скандируют стихи, — может быть, о ночи, о гибели надежды и белом, безмолвном монастыре. Нет в Петербурге хрустального окна, покрытого девственным инеем и густым покрывалом снега, которого Гафиз (Гумилев. Так зовут героя его пьесы-сказки «Дитя Аллаха». — *И. Т.*) не замутил бы своим дыханием, на всю жизнь оставляя зияющий просвет в пустоту между чистых морозных узоров. Нет очарованного сада, цветущего ранней северной весной, за чьей доверчивой, старинной, пошатнувшейся изгородью дерзкие руки поэта не наломали бы сирени, полной холодных рос, и яблони, беззащитной, опьяненной солнцем накануне венца. И, все еще несытая, воля певца легко и жадно уничтожила много прекрасного и покрыла страницы его рукописей стихами-мавзолеями. Готические башни, острова, забытые роком среди морей, золотые источники завоеванных стран, крики побежденных и лязгающая поступь победителей, неизменная от древних латников и мореходов до наших обгаренных дней, — все это сложилось в гору праздно, разбойничьей красоты. Каждая новая книга Гафиза — пещера пирата, где видно много похищенных драгоценностей, старого вина, пряностей, испытанного оружия и цветов, заглохших без воздуха, в густой темноте. И беззаконная, в каком-то великолепном ослеплении, муза его идет высоко и все выше, не веря, что гнев, медленно зреющий, может упасть на ее певучую голову, лишенную



стыда и жалости. Новое искусство прославило холодность, объективное совершенство ее форм и превосходство царей, с которым она шествует через трясины мертвой, страшной и позорной грязи. О, кто смел думать о том, что самая земля, по которой ступает это бесчеловечное искусство, должна расточиться, погибнуть и сгореть!.. — «Кто это? Я ее не знаю». — «Которая?» — «Вот направо от старухи с морщинистой шеей». — «Тише, на нас смотрят. Не знаю. Девушка в темном. Красивая. Чистое у нее лицо. И сидит серьезно, точно на большой перемене. Как на нее смотрит Гафиз!» — «Еще бы, заметил». Мимо прошла жена профессора с учеником своего мужа. Злословие обратилось на ее полноту и тщательно отставленные локти ее спутника, судорожно согнутые без привычной опоры письменного стола. Между тем Гафиз действительно смотрел на Ариадну (Рейснер. — *И. Т.*). Ее красота, вдруг возникшая среди знакомых лиц, в условном чаду этого литературного притона, причинила ему чисто физическую боль. Какая-то невозможная нежность, полная сладострастного сожаления, оттого что она недосыгаема, эта девушка. Недосыгаема... Пока Ариадну не пригласили читать. Она согласилась, и, когда на ее лице выразилась вся боязнь начинающей девочки, не искушенной в тяжелой литературной свалке, и в руках так растерянно забелел смятый лист бумаги, в который еще раз заглянули, ничего не видя и не разбирая, ее мужественные глаза юноши-оруженосца, маленького рыцаря без страха и упрека, — Гафиз ощутил черное ликование. Все рубцы, нанесенные его душе клыками критики в пору его собственного начинания, вся горькая слюна небрежения, которым награждали его ныне признанный талант когда-то сильные, старшие мэтры, — сладко занули и заболели. Видеть ее, эту незнакомку с непреклонным стройным профилем какой-нибудь Розалинды, с тонким станом, который старый Шекспир любил прятать в мужскую одежду между вторым и четвертым актом своих комедий, — ее, недосыгаемую, и вдруг — на подмостках литературы, зависящей от прихоти критика, от безвкусыя богемской черни, от одного взгляда его собственных воспетых глаз, давно отвыкших от бескорыстия. Это было громадное торжество, сразу уравнившее его и Ариадну. Гафиз ясно ощутил падение перегородок, и одежда, скрывавшая ее темными складками, стала прозрачна; Мальстрем литературы вступал в свои права.

— Что она читает?

— Не знаю, что-то странное. Может быть, она социалистка?

Издатель был растроган, и он, и меценат, и критик, вышедший из моды, ныне применявший к балету свои философские познания. Все они любили большое и бурное. Старые авгуры слушали голос Ариадны, сожмурив глаза: они не ошибались. Какая-то смутная угроза и мечтательная твердость в ее строфах и в ней самой. И даже там, где стихия прорывала неискусную и непослушную форму, слова и образы сливаются у нее в целое весеннее бездорожье, где беспокойно и радостно гуляет ветер, и тает, и возбужденно пахнет землей. Стихи о Петербурге разбудили самых ленивых...

«Последние строки поэмы были покрыты аплодисментами. Ленивый меценат, колебля толстый живот между коротких рук, бил друг о дружку розовыми ладонями и оглянулся на нескольких вполне корректных молодых людей, зависящих от его пособий. Они присоединили свои хлопки вяло, но демонстративно. Живописцы, не слышавшие ничего, но верные красоте, с радостью принесли свою лепту. Хозяин кабачка, видя общее движение, постарался поднять его до такой степени, когда за хорошее вино платят не считая и начинаются крылатые и неожиданные споры... Но каста поэтов, строго подобранный цех, недоступный влияниям минуты, связанный общими вкусами, — цех колебался... Полный отвращения Шилейко направился к выходу. Поэзия, пропитанная гарью близкого социального пожара, причинила ему чисто физическую боль. И за ним жрецы чистого искусства опустили между собой и сценой непроницаемый занавес, их невысказанное порицание пахло в горячее лицо Ариадны сквозняком и серым туманом.

Высоко над толпой сидел Гафиз и улыбался. И хуже нельзя было сделать: он одобрил ее как красивую девушку, но совершенно бездарную. Дама с ним рядом, счастливая возлюбленная поэта, выразила сожаление. И тем не менее, на этот раз буржуазное общество, вопреки мнению своих обычных поставщиков красивого, против воли жрецов, поучавших интеллигентную улицу из-за витрин богатейшего книгопродавца, решилось на самостоятельное увлечение; и рукоплесканиям не было конца.

В течение вечера, проходя между столиков своей простой походкой, Ариадна нашла нескольких отщепенцев, несколько колоколов с трещиной, через которую течет благовест горя и одиночества, несколько молодых поэтов и художников, и просила их о сотрудничестве. И, когда поздно ночью ее провожали домой через длинные,



снежные, безлюдные кварталы студентов, громоздких конок, огибающих пустынные углы с оглушительным звоном, дребезжаньем и гиканьем тракторов, мелочных лавок, деревянных лачуг и новых, высоких каменных домов, полных свежей сырости и электрического света, в привале, уже почти пустом, за чашкою черного кофе издатель крупной либеральной газеты рассказывал своему другу об Ариадне, ее отце, их необычайной семейной истории...».

«Когда в наступившей темноте замелькала белая пленка кинематографа, Ариадна широко и радостно вздохнула: точно ее корабль вышел в море и сзади потухли последние огни. А музыка все играла в темноте, громкая, бессмысленно радостная и бархатная. Упиваясь зрелищем какой-то нелепой сцены, свежестью и брызгами океана, состоящего из ложного света и ложной тени... Ариадна забыла себя, свой дом и восьмичасовой поезд. Все было в ней: и глубочайшая темнота этой залы, и грузный балкон, нависший над креслами косым, безобразным и величественным углом, и лживые, голые украшения стен, и живые глыбы всех тел, прижатых в темноте друг к другу, и, наконец, напряженный, магический, безмерно чужой всему человеческому и телесному, голубой столб света, наискось прорезающий невыносимые сумерки испарений. Столб небесного огня, яркий, прямой и холодный, как зимняя луна. Никогда еще Ариадна так не чувствовала всей темноты и сияния, спрятанного в ее крови. Они вдруг оба проснулись... У людей, живущих чисто интеллектуальными интересами, немое пробуждение духа заменяет собой животную весну. Как гроза без грома и освежающих дождей, оно проносится над темными полями души, рушит и живит, но только отвлеченные понятия, только идеи, живущие и воюющие в своем безвоздушном, в своем несуществующем и все же божественном реальном небе.

Ариадна сидела на своем месте совсем разбитая, слабая и потерянная. Было ей точно в детстве, в церкви, когда вдруг среди дыма и мерцаний одним, всегда страшным толчком открываются золотые ворота, из-за них является будущее в бесконечном отдалении и глухая дорога, на минуту озаренная экстагическими, отвесными лучами... Ей понадобилось полтора часа на то, чтобы... далеко уйти от своего вчера, чуть не забыть сегодня, едва не погрузиться в крутящуюся воронку совершенно новой и неизвестно куда текущей жизни».

Гумилев. 23 сентября 1916 г.

Ее высокородию Ларисе Михайловне Рейснер

*Что я прочел? Вам скучно, Лери,
И под столом лежит Сократ,
Томитесь Вы по древней вере?
— Какой отличный маскарад!
Вот я в своей каморке тесной
Над Вашим радуюсь письмом.
Как шапка Фауста прелестна
Над милым девичьим лицом.
Я был у Вас совсем влюбленный,*

*Ушел, сжимаясь от тоски.
Ужасней шашки занесенной
Жест отстраняющей руки.
Но сохранил воспоминанье
О дивных и тревожных днях,
Мое пугливое мечтанье
О Ваших сладостных глазах.
Ужель опять я их увижу,
Замру от боли и любви,
И к ним, сияющим, приближу
Татарские глаза мои?!
И вновь начнутся наши встречи,
Блужданья ночью наугад,
И наши озорные речи,
И Острова, и Летний сад?!
Но, ах, могу ль я быть не хмурым,
Могу ль сомненья подавить?
Ведь меланхолия амуром
Хорошим вряд ли может быть.
И верно, день застал, серея,
Сократа снова на столе.
Зато «Эмали и камей»
С «Колчаном» в самой пыльной мгле.
Так Вы, похожая на кошку,
Ночному молвили: «Процай!»
И мчит Вас в Психоневроложку,
Гудя и прыгая, трамвай.*



(«Эмали и камеи» — книга французского поэта Теофиля Готье, переведенная Н. Гумилёвым в 1912 году, «Колчан» — его собственный сборник. — *И. Т.*)

Гумилев. 8 ноября 1916 года:

Лери, Лери, надменная дева, ты как прежде бежишь от меня. Больше двух недель, как я уехал, а от Вас ни одного письма. Не ленитесь и не забываюте меня так скоро, я этого не заслужил. Я часто скачу по полям, крича навстречу ветру Ваше имя. Снитесь Вы мне почти каждую ночь. И скоро я начинаю писать новую пьесу, причем, если Вы не узнаете в героине себя, я навек брошу литературную деятельность.

О своей жизни я писал Вам в предыдущем письме. Перемен никаких и, кажется, так пройдет зима... Кроме шуток, пишите мне. У меня «Столп и утверждение истины» (сочинение религиозного философа П. А. Флоренского. — *И.Т.*), долгие часы одиночества, предчувствие надвигающейся творческой грозы. Все это пьянит как вино и склоняет к надменности солипсизма. А это так не акмеистично. Мне непременно нужно ощущать другое существование — яркое и прекрасное. А что Вы прекрасны, — в этом нет сомнения. Моя любовь только освободила меня от увы, столь частой при нашем образе жизни слепоты.

Здесь тихо и хорошо. По-осеннему пустые поля и кое-где уже покрасневшие от мороза прутья. Знаете ли Вы эти красные зимние прутья? Для меня они — олицетворение всего самого сокровенного в природе. Трава, листья, снег — это только одежды, за которыми природа скрывает себя от нас. И только в такие дни поздней осени, когда ветер, и дождь, и грязь, когда она верит, что никто не заметит ее, она чуть приоткрывает концы своих пальцев, вот эти красные прутья. И я, новый Актеон, смотрю на них с ненасытным томлением.

Лера, правда же, этот путь естественной истории бесконечно более правилен, чем путь естественной психоневрологии. У Вас красивые, ясные, честные глаза, но Вы слепая; прекрасные, юные, резвые ноги и нет крыльев; сильный и изящный ум, но с каким-то странным прорывом посредине. Вы — Дафна, превращенная в Лавр, принцесса, превращенная в статую. Но ничего! Я знаю, что на Мадагаскаре все изменит-

ся. И я уже чувствую, как в какой-нибудь теплый вечер, вечер гудящих жуков и загорающихся звезд, где-нибудь у источника в чаще красных и палисандровых деревьев, Вы мне расскажете такие чудесные вещи, о которых я только смутно догадывался в мои лучшие минуты.

До свидания, Лери, я буду Вам писать.

О моем возвращении я не знаю ничего, но зимой на неделю думаю вырваться.

Целую Ваши милые руки. Ваш Гафиз.

Мой адрес: Действующая армия, 5 гусарский Александрийский полк, 4 эскадрон, прапорщику Гумилёву.

Рейснер. Милый Гафиз, это письмо не сентиментально, но мне сегодня так больно, так бесконечно больно. Я никогда не видела летучих мышей, но знаю, что, если даже у них выколоты глаза, они летают и ни на что не натываются. Я сегодня как раз такая бедная мышь, и всюду кругом меня эти нитки, натянутые из угла в угол, которых надо бояться.

Милый Гафиз, много одна, каждый день тону в стихах, в чужом творчестве, чужом опьянении. И никогда еще не хотелось мне так, как теперь, найти, наконец, свое собственное. Говорят, что Бог дает каждому в жизни крест такой длины, какой равняется длина нитки, обмотанной вокруг человеческого сердца. Если бы мое сердце померили вот сейчас, сию минуту, то Господу пришлось бы разорваться на крест вроде Гаргантюа, величественный, тяжелейший...

Ах, привезите с собой в следующий раз поэму, сонет, что хотите, о янычарах, о семиголовом цербере, о чем угодно, милый друг, но пусть опять ложь и фантазия украсятся всеми оттенками павлиньего пера и станут моим Мадагаскаром, экватором, эвкалиптовыми и бамбуковыми чащами, в которых человек якобы обретает простоту души и счастье бытия. О, если бы мне сейчас — стиль и слог убежденного Меланхолика, каким был Лозинский, и романтический чердак, и действительно верного и до смерти влюбленного друга. Человеку надо так немного, чтобы обмануть себя.

Ну, будьте здоровы, моя тоска прошла. Жду Вас.

Ваша Лери.



Зима 1916/17

*Мне подали письмо в горящий бред траншеи.
Я не прочел его, – и это так понятно:
Уже десятый день, не разгибая шеи,
Я превращал людей в гноящиеся пятна.
Потом, оставив дно оледенелой ямы,
Захвачен шествием необозримой тучи,
Я нес ослепший гнев, бессмысленно упрямый,
На белый серп огней и на плетень колючий.
Ученый и поэт, любивший песни Тассо,
Я, отвергавший жизнь во имя райской лени,
Учился потрошить измученное мясо,
Калечить черепа и разбивать колени.
Твое письмо со мной. Нетронуты печати.
Я не прочел его. И это так понятно.
Я только мертвый штык ожесточенной рати,
И речь любви твоей не смоем крови пятна.*

Гумилев. 8 декабря 1916 года:

Лери моя, приехав в полк, я нашел оба Ваши письма. Какая Вы милая в них. Читая их, я вдруг остро понял, что Вы мне однажды сказали, – что я слишком мало беру от Вас.

Действительно, это непростительное мальчишество с моей стороны разбирать с Вами проклятые вопросы. Я даже не хочу обращаться к Вам. Вы годитесь на бесконечно лучшее.

И в моей голове уже складывается план книги, которую я мысленно напишу только для Вас. Ее заглавие будет огромными красными, как зимнее солнце, буквами: «Лери и любовь».

А главы будут такие: «Лери и снег», «Лери и персидская лирика», «Лери и мой детский сон об орле».

На все, что я знаю и люблю, я хочу посмотреть, как сквозь цветное стекло, через Вашу душу, потому что она действительно имеет свой особый цвет, еще не воспринимаемый людьми (как древними не был воспринимаем синий цвет).

И я томлюсь, как автор, которому мешают приступить к уже обдуманному произведению. Я помню все Ваши слова, все интонации, все движения, но мне мало, мало, мало, мне хочется еще. Я не очень

верю в переселенье душ, но мне кажется, что в прежних своих переживаниях Вы всегда были похищаемой, Еленой Спартанской, Анжеликой из Неистового Роланда и т. д. Так мне хочется Вас увезти.

Я написал Вам сумасшедшее письмо, это оттого, что я Вас люблю.

Вспомните, Вы мне обещали прислать Вашу карточку. Не знаю только, дождусь ли я ее, пожалуй, прежде удеру в город пересчитать столбы на решетке Летнего сада.

Пишите мне, целующему Ваши милые, милые руки.

Ваш Гафиз.

Рейснер. Милый Гафиз, Вы меня разоряете. Если по Каменному дойти до самого моста, до барок и большого городского, который там зевает, то слева будет удивительная игрушечная часовня. И даже не часовня, а две каменные ладони, сложенные вместе, со стеклянными, чудесными просветами. И там не один святой Николай, а целых три. Один складной, а два сами по себе. И монах сам не знает, который влиятельнее. Поэтому свечки ставятся всем, уж заодно.

Милый Гафиз, если у Вас повар, то это уже очень хорошо, но мне трудно Вас забывать. Закопает все по порядку, так, что станет ровное место, и вдруг какой-нибудь пустяк, ну, мои старые духи или что-нибудь Ваше — и начинается все сначала, и в историческом порядке.

Завтра вечер поэтов в Университете, будут все Юркуны, которые меня не любят. Много глупых студентов, и профессора, вышедшие из линии обстрела. Вас не будет. Милый Гафиз. Сейчас часов семь, через полчаса я могу быть на Литейном, в такой сырой, трудный, долгий день. Ну вот и довольно ...

Рейснер. Я не знаю, поэт, почему лунные и холодные ночи так бездонно глубоки над нашим городом. Откуда это все более бледнеющее небо и ясный, торжественный профиль старых подъездов на тихих улицах, где не ходит трамвай и нет кинематографов... Милые ночи, такие долгие, такие бессонные. Кстати о снах. Помните, Гафиз, Ваши нападки на бабушкин сон с „щепкой«, которым чрезвычайно было уязвлено мое самолюбие. Оказывается, бывает хуже. Представьте себе мечтателя, самого настоящего и убежденного. Он засыпает, побежденный своей возвышенной меланхолией, а также скучным сочинением какого-нибудь славного, давно



усопшего любомудра. И ему снится райская музыка, да, смейтесь сколько угодно. Он наслаждается неистово, может быть плачет, вообще возносится душой. Счастлив, как во сне. Отлично. Утром мечтатель первым делом восстанавливает в своей памяти райские мелодии, только что оставившие его, вспоминает долго, озлобленно, с болью и отчаянием. И оказывается, что это было нечто более, чем тривиальное, чижик-пыжик, какой-нибудь дурной и навязчивый мотивчик, я это называю — кларнет-о-пистон. О, посрамление! Ангелы в раю, очень музыкальные от природы, смеются, как галки на заборе, и не могут успокоиться. Гафиз, это очень печальное происшествие. Пожалейте обо мне, надо мной посмеялись. Лери.

P. S. Ваш угодник очень разорителен, всегда в нескольких видах и еще складной, с цветами и большим полотенцем.

Гумилев. 15 января 1917 г.

Леричка моя, Вы, конечно, браните меня, я пишу Вам первый раз после отъезда, а от Вас получил уже два прелестных письма. Но в первый же день приезда я очутился в окопах, стрелял в немцев из пулемета, они стреляли в меня, и так прошли две недели. Из окопов писать может только графоман, настолько все там не напоминает окопа: стульев нет, с потолка течет, на столе сидит несколько огромных крыс, которые сердито ворчат, если к ним подойдешь. И я целые дни валялся в снегу, смотрел на звезды и, мысленно проводя между нами линию, рисовал себе Ваше лицо, смотрящее на меня с небес. Это восхитительное занятие, Вы как-нибудь попробуйте. Теперь я временно в полуприличной обстановке и хожу на аршин от земли. Дело в том, что заказанная Вами пьеса (о Кортесе и Мексике) с каждым часом вырисовывается передо мной ясней и ясней. Сквозь „магический кристалл« (помните у Пушкина) я вижу до мучительности яркие картины, слышу запахи, голоса. Иногда я даже вскакиваю, как собака, увидевшая взволновавший ее сон. Она была бы чудесна, моя пьеса, если бы я был более искусным техником. Как я жалею теперь о бесплодно потраченных годах, когда, подчиняясь внушенью невежественных критиков, я искал в поэзии какой-то задушевности и теплоты, а не упражнялся в писаньях рондо, рондoley, лэ, вирелэ и пр. Искусство Теодора де Банвиля и то оказалось бы малым для моей задачи. Придется действовать по-кавалерийски, дерзкой уда-

лю и верить, как на войне, в свое гусарское счастье. И, все-таки, я счастлив, потому что к радости творчества у меня примешивается сознание, что без моей любви к Вам я и отдаленно не мог бы надеяться написать такую вещь.

Теперь, Леричка, просьбы и просьбы: от нашего эскадрона приехал в город на два дня солдат, если у Вас уже есть русский Прескотт, — пришлите мне. Кроме того, я прошу Михаила Леонидовича купить мне лыжи и как на специалиста по лыжным делам указываю на Вас. Он Вам, наверное, позвонит, помогите ему. Письмо ко мне и миниатюру Чехонина (если она готова) можно послать с тем же солдатом. А где найти солдата, Вы узнаете, позвонив Мих. Леонид.

Целую без конца Ваши милые, милые ручки.

Ваш Гафиз.

Рейснер.

Мой Гафиз, — смотрите, как все глупо вышло. Вы не писали целую вечность, я рассердилась — и не подготовила Вашу книгу. Солдат уезжает завтра утром, а мне М. Л. позвонил только сегодня вечером, часов в восемь; значит, и завтра я ничего не успею сделать. Но все равно, этого Прескотта я так или иначе разыщу и Вам отправлю. Теперь — лыжи. Таких, как Вы хотите, нигде нет. Их можно, пожалуй, выписать из Финляндии, и недели через две они бы пришли. Но не знаю, насколько это Вас устраивает?

Миниатюра еще не готова — но, наверно, будет готова в первых числах. Что сказать Вам еще? Да, о Вашей работе.

Помните, мы как-то говорили, что в России должно начаться Возрождение? Я в последнее время много думала об этих странных людях, которые после утонченного, прозрачного, мудрого кватроченто — вдруг просто, одним движением сделались родоначальниками совсем нового века. Ведь подумайте, Микель Анджело жил почти рядом с Содомой, после Леонардо, после женщин, не способных держать даже Лебеда. И вдруг — эти тела, эти тяжести и сновидения.

Смотрите, Гафиз, у нас было и прошло кватроченто. Брюсов, учившийся искусству, как Мазаччио перспективе. Ведь его женщины даже похожи на этих боевых, тяжелых коней, которые занимали всю середину фрески своими нелепо поднятыми ногами, крупами, необычайными телодвижениями. Потом Белый, полный музыки и аллегорий наполовину Боттичелли, Иванов — чудесный график, ученый, как Болонец, точный и образованный, как правоверный римлянин.



А простые и тонкие Бальмонт и его школа — это наша отошедшая готика, наши цветные стекла, бледные, святые, больше пение, чем поэзия.

Я очень жду Вашей пьесы. Вы как ее скажете? Вероятно, форма будет чудесна, Вы это сами знаете. Но помните, милый Гафиз, Сикстинская капелла еще не кончена — там нет Бога, нет пророков, нет Сивилл, нет Адама и Евы. А главное — нет сна и пробуждения; нет героев; ни одного жеста победы — ни одного полного обладания, ни одной совершенной красоты, холодной, каменной, отвлеченной красоты, которой не боялись люди того века и которую смели чтить, как равную. Ну прощайте. Пишите Вашу драму, и возвращайтесь, ради Бога.

Гафиз, милый! Я жду Вас к первому. Пожалуйста, постарайтесь быть, а?

Гумилев. 22 января 1917 года

Леричка моя, какая Вы золотая прелесть, и Ваш Прескотт, и Ваше письмо, и главное, Вы. Это прямо чудо, что во всем, что Вы делаете, что пишете, так живо чувствуется особое Ваше очарование... Я уже совсем собрался вести разведку по ту сторону Двины, как вдруг был отправлен закупать сено для дивизии. Так что я теперь в такой же безопасности, как и Вы. Жаль только, что придется менять план пьесы. Прескотт убедил меня в моем невежестве относительно мексиканских дел. Но план вздор, пьеса все-таки будет, и я не знаю, почему Вы решили, что она будет миниатюрной, она трагедия в пяти актах, синтез Шекспира и Расина!

Лери, Лери, Вы не верите в меня. К первому приехать мне не удастся, но в начале февраля, наверное. Кроме того, пример Кортеса меня взволновал. И я начал сильно подумывать о Персии. Почему бы на самом деле не заняться усмирением бахтиаров? Переведусь в Кавказскую армию, закажу себе малиновую черкеску, стану резидентом при дворе какого-нибудь беспокойного хана и к концу войны, кроме славы, у меня будет еще дивная коллекция персидских миниатюр. А ведь Вы знаете, что моя главная слабость — экзотическая живопись.

Я прочел статью Жирмунского. Не знаю, почему на нее так ополчились. По-моему, она лучшая статья об акмеизме, написанная сторонним наблюдателем, в ней много неожиданного и меткого. Обо мне тоже очень хорошо, по крайней мере, так хорошо обо мне еще не писали. Может быть, если читать между строк, и есть

что-нибудь ядовитое, но Вы знаете, что при такой манере чтения и в Мессиаде можно увидеть роман Поль де Кока.

Почему Вы мне не пишете, – получили ли Вы программу чтения от Лозинского и следуете ли ей. Хотя Вам, кажется, не столько надо прочесть, сколько забыть. Напишите мне, что больше на меня не сердитесь. Если опять от меня долго не будет писем, смотрите на плакаты «Холодно в окопах». Правду сказать, не холодней, чем в других местах, но неудобно очень.

Лери, я Вас люблю.

Ваш Гафиз.

Вот хотел прислать Вам первую сцену Трагедии и не хватило места.

Рейснер. Застанет ли Вас это письмо, мой Гафиз? Надеюсь, что нет: смотрите, не сегодня-завтра начнется февраль, по Неве разгуливает теплый ветер с моря, – значит, кончается год (я всегда год считаю от зимы до зимы) — мой первый год, не похожий на все прежние: какой он большой, глупый, длинный, – как-то слишком сильно и сразу выросший. Я даже вижу — на носу масса веснушек и невообразимо длинные руки.

Милый Гафиз, как хорошо жить! Это, собственно, главное, что я хотела Вам написать.

Что я делаю? Во-первых, обрела тихую пристань. Как пьяница, который долго ищет «свой» любимейший кабачок, я все искала место строгое, уединенное и теплое для моих занятий. В Публичной библиотеке мне разонравилось. Много знакомых, из окна не видно набережной, книги выдаются с видом глубокого недоумения. Вам Блока? А-а...

Гумилев. 6 февраля 1917 г.

Лариса Михайловна, моя командировка затягивается и усложняется. Начальник мой очень мил, но так растерян перед встречающимися трудностями, что мне порой жалко его до слез. Я пою его бромом, утешаю разговорами о доме и всю работу веду сам. А работа ужасно сложная и запутанная. Когда попаду в город, не знаю. По ночам читаю Прескотта и думаю о Вас. Посылаю Вам военный мадригал, только что испеченный. Посмейтесь над ним.

Ваш Н. Г.



*Взгляните, вот гусары смерти,
Игрою ратных перемен
Они, отчаянные черти,
Побеждены и взяты в плен.
Зато бессмертные гусары,
Те не сдаются никогда;
Войны невзгоды и удары
Для них как воздух и вода.
Ах, им опасен плен единый,
Опасен и безумно люб, —
Девичьей шеи лебединой,
И милых рук, и алых губ...*

9 февраля 1917 г.

Лариса Михайловна, я уже в Окуловке. Мой полковник застрелился, и приехали рабочие, хорошо еще не киргизы, а русские. Я не знаю, пришлют мне другого полковника или отправят в полк, но, наверное, скоро заеду в город. В книжном магазине Лебедева, Литейный (против Армии и Флота), есть и «Жемчуга» и «Чужое небо». А, правда, хороши китайцы на открытке? Только негде написать стихотворение.

Искренне преданный Вам
Н. Гумилёв.

Рейснер. Рецензия на «Гондлу» Гумилева январь 1917

Новую поэзию до сих пор часто и не без основания упрекали за слишком узкое понимание художественных задач. Казалось странным, что эстетическая школа, объявив войну целому ряду других направлений (символизм, футуризм и т. д.), сама, в деле осуществления своих принципов, не пошла дальше чисто лирической формы словесного письма.

Эпос и драма — «большое искусство» — оставались в стороне, а вся тяжесть нового мирозерцания, целый ряд тем исторических и философских — оказались втиснутыми в хрупкие сонеты, рондо и канцоны. Перегруженный содержанием и ограниченный в объеме, стих утратил свою нечаянную легкость, и чтобы не лишиться ясности и простоты, заменил

художественную последовательность — схемой и логикой рациональной.

Правда, уже делались попытки к исправлению этой досадной односторонности. «Открытие Америки» и «Пятистопные ямбы» Гумилева — первые большие вещи, переход от сгущенной миниатюры к чему-то большему.

Насколько нужен был еще один шаг в этом направлении — показывает недавно вышедшая лирическая драма «Гондла». Все в ней радуется своему большому росту, стих расправляется в монологах и диалогах, играет силой, нестесненной архитектурным, героическим замыслом. Даже театральные, бутафорские мелочи: заколдованная лютня, охраняющая певца-лебедя, когти и клыки его преследователей — только усиливают чисто поэтическую ценность поэмы. Ясно, что легенда нужна, как роль, как диалектический прием для накопившейся, неудержимо растущей энергии стиха.

В первой же картине определен замысел пьесы, личный и одновременно социальный. На престол Исландии вступает новый король, горбатый певец Гондла, уроженец мирной христианской Ирландии. Женой его должна стать Лера, царевна суровой языческой Исландии, и брак этот, соединив «лебедей и волков» обещает обоим народам славное будущее.

Конечно, гордые ярлы, Груббе, Снорре, Ахти и Лаге, не желают подчиниться власти немощного короля, неспособного «опорожнить на поле колчан», поднять из берлоги медведя и силою добыть любовь Леры.

Не смея коснуться самого царя (дикарям и хищникам свойственно боязливое отношение к слабому), ярлы наносят удар его любви и чести. Леру, ожидающую жениха, Леру, ставшую нежной и покорной девочкой Лаик — обманывает и оскорбляет участник ее воинственных дневных забав, могучий и дерзкий Лаге.

Все, что следует за этим насилием: «неправый волчий» суд, изгнание, позор и одиночество — только начало того пути, который проходят на земле все сильные духом, горбатые лебеди, посаженные в зверинец. Начало религии и есть начало искусства, всякой мысли и красоты в крестном мучении. Оно есть — действии драмы становится древним обрядом, в котором нельзя изменить ни одной, смеющейся или горестной личины. Гондла бежит, и по его следам косматая алчная свора.



Снорре:

*Брат, ты слышишь, качается вереск
Пахнет кровью прохлада лугов.*

Груббе:

*Серый брат мой, ты слышишь?
На берег Вышли козы, боятся волков.*

И певец, которому не уйти, не спастись, видит скорую смерть и в последний раз отвечает хору: «Вой все ближе, унылый, грозящий. Гаснет взор, костенеет рука. Сердце бьется тревожней и чаще, и такая, такая тоска...»

Новая измена Леры, тяжелые и грязные работы у костра ее возлюбленного — все это проходит, как сон. Солнце просияло болью, северные ели, утесы и воды кланяются человеческому страданию. Природа ждет. Еще немного, и безумный, с кленовыми листьями и хвоей на плечах, войдет в ее зеленый и живой рай.

*Новый мир, неожиданно милый,
Целый мир открывается нам...*

Так, по существу, кончается «Гондла», сын скальда, сказочный король «звездный и надзвездный», полюбивший «огнекрылую боль», чужой земле и от нее свободный.

Но для Гумилева Гондла все же, в конце концов, не только художественный образ, но живой и побежденный христианин, загнанный и затравленный царь. И непременно здесь, на земле, среди этих вот язычников, нужна ему окончательная победа. Для нее и умирает Гондла, и мечом, вынутым из его сердца, лебеди крестят волков. Так в самом конце, почти неожиданно на чашу весов падает тяжелое и общее понятие — «христианство», и кажется, что именно оно и перевешивает, поглотив маленький груз личного подвига и отречения.

Совсем минуя какую бы то ни было религию, одной любовью, одной верой искупает свою вину Лаик. Ей все равно, кто положит в ладью тело королевича: «люди, лебеди иль серафимы», и куда его понесет южный ветер.

Есть только одна страна, отчизна лебедей, «многолиственных кленов» и роз, и к ней приводит свободная смерть. Как ни осле-

пителен крест, он подчиняется законам старой, языческой правды, вещему обряду трагических игр.

*Так уйдем мы от смерти, от жизни,
Брат мой, слышишь ли речи мои?
К неземной, к лебединой отчизне
По свободному морю любви*

Совершенство стиха и заключительный монолог Леры — до известной степени вознаграждают идеологическую запутанность последнего действия, которое могло стать роковым для всего «Гондлы».

Гумилев. 22 февраля 1917 г.

Канцона

*Бывает в жизни человека
Один неповторимый миг:
Кто б ни был он, старик, калека,
Как бы свой собственный двойник,
Нечеловечески прекрасен
Тогда стоит он, небеса
Над ним разверсты, воздух ясен,
И наплывают чудеса.
Таким тогда он будет снова,
Когда воскреснувшую плоть
Решит во славу Бога-Слова
К небытию призвать Господь.
Волшебница, я не случайно
К следам ступней твоих приник,
Ведь я тебя увидел тайно
В невыразимый этот миг.
Ты розу белую срывала
И наклонялась к розе той,
А небо над тобой сияло,
Твоей залито красотой.*



Н. Гумилев. 23 февраля 1917 г.

Канцона

*Лучшая музыка в мире — нема!
Дерево ль, жилы ль бычьи
Выразят молниеносный трепет ума,
Сердца причуды девичьи?
Краски и бледны и тусклы! Устал
Я от затей их бесчисленных,
Ярче мой дух, чем трава иль металл,
Тела подводных животных!
Только любовь мне осталась, струной
Ангельской арфы вызывая,*

*Душу пронзая, как тонкой иглой,
Синими светами рая.
Ты мне осталась одна. Наяву
Видевши солнце ночное,
Лишь для тебя на земле я живу,
Делаю дело земное.
Да! Ты в моей беспокойной судьбе
Иерусалим пилигримов.
Надо бы мне говорить о тебе
На языке серафимов.*

Н. Гумилев. 30 мая 1917 г.

Швеции

*Страна живительной прохлады
Лесов и гор гудящих, где
Всклооченные водопады
Ревут, как будто быть беде!*

*Для нас священная навеки
Страна, ты помнишь ли, скажи,
Тот день, как из Варягов в Греки
Пошли суровые мужи?*

*Скажи, ужели так и надо,
Чтоб был, свидетель злых обид,
У золотых ворот Царьграда
Забывт Олегов медный щит?*

*Чтобы в томительные бреды
Опять поникла, как вчера,
Для славы, силы и победы
Тобой крещеная сестра?*

*Ах, неужель твой ветер свежий
Вотще нам в уши сладко выл,
К Руси славянской, печенежсьей
Напрасно Рюрик приходил?*

Н. Гумилев

Привет и извиненья за такие стихи.

Гумилев. 5 июня 1917 г.

Лариса Михайловна, привет из Бергена. Скоро (но когда неизвестно) думаю ехать дальше. В Лондоне остановлюсь и оттуда напишу как следует. Стихи все прибавляются. Прислал бы Вам еще одно, да перо слишком плохо, трудно писать. Здесь горы, но какие-то неприятные, не знаю, чего не достает, может быть, солнца. Вообще Норвегия мне не понравилась: куда ей до Швеции. Та — игрушечка. Ну, до свидания, развлекайтесь, но не занимайтесь политикой.

Преданный Вам Н. Гумилёв.

Рейснер. Осень 1917 г.

В случае моей смерти, все письма вернутся к Вам. И с ними то странное чувство, которое нас связывало и такое похожее на любовь.

И моя нежность — к людям, к уму, поэзии и некоторым вещам, которая благодаря Вам окрепла, отбросила свою собственную тень среди других людей — стала творчеством. Мне часто казалось, что Вы когда-то должны еще раз со мной встретиться, еще раз говорить, еще раз все взять и оставить. Этого не может быть, не могло быть. Но будьте благословенны Вы, Ваши стихи и поступки.



Встречайте чудеса, творите их сами. Мой милый, мой возлюбленный. И будьте чище и лучше, чем прежде, потому что действительно есть Бог.

«Если я умру, эти письма, не читая, отослать Н. С. Гумилёву. Лариса Рейснер».

Всеволод Рождественский* Однажды, как сейчас помнится, в сырой осенней полумгле 1920 года я услышал мягкий шелест автомобильных шин близко за своей спиной. Большая легковая машина, затормозив, остановилась несколько впереди меня. Из окна кабины выглянуло чье-то смутно знакомое женское, приветливо улыбающееся лицо. Но странно — в морской форменной фуражке. Я сделал несколько шагов ближе и сразу же узнал — Лариса! Да, это была она — в морской черной шинели, элегантная и красивая, как всегда...

Лариса жила тогда в Адмиралтействе. Дежурный моряк повел по темным, гулким и строгим коридорам; перед дверью в личные апартаменты Ларисы робость и неловкость овладели нами (с Мандельштамом и Кузминым. — *И. Т.*), до того церемониально было доложено о нашем прибытии. Лариса ожидала нас в небольшой комнатке, сверху донизу затянутой экзотическими тканями. Во всех углах поблескивали бронзовые и медные Будды калмыцких кумирен и какие-то восточные майоликовые блюда. Белый войлок каспийской кочевой кибитки лежал на полу вместо ковра. На широкой и низкой тахте в изобилии валялись английские книги, соседствуя с толстенным древнегреческим словарем. На фоне сигнального корабельного флага висел наган и старый гардемаринский плащ. На низком восточном столике сверкали и искрились хрустальные грани бесчисленных флакончиков с духами и какие-то медные, натертые до блеска, сосуды и ящички, попавшие сюда, вероятно, из тех же калмыцких хурулов. Лариса одета была в подобие халата, прошитого тяжелыми золотыми нитями, и если бы не тугая каштановая коса (цвет волос все воспоминатели называют разный: черный, каштановый, золотистый, русый), уложенная кольцом над ее чистым и строгим пробором, сама была похожа на какое-то буддийское священное изображение...

* Рождественский, Всеволод (1895–1977) — советский русский поэт, в начале 1920-х годов входивший в число «младших» акмеистов.

Я увидел только что появившуюся маску в пышно разлетавшемся бакстовском платье (на маскараде в Доме Искусств. — *И. Т.*). Ее ослепительные, точеные плечи, казалось, тоже отражали все огни зала. Струящиеся локоны, перехваченные лиловой лентой, падали легко и свободно. Ясно и чуть дерзко светились глаза в узкой прорези черной бархатной полумаски. Перед неизвестной гостьей расступались, оглядывали ее с восхищением и любопытством. Она же, задержавшись с минуту на пороге, шуршащим облаком поплыла ко мне...





Надежда Мандельштам*

«Надо создать тип женщины русской революции, — говорила Лариса Рейснер в тот единственный раз, когда мы были у неё после её возвращения из Афганистана, — французская революция свой тип создала. Надо и нам». Это вовсе не значит, что Лариса собиралась писать роман о женщинах русской революции. Ей хотелось создать прототип, и себя она предназначала для этой роли. Для этого она переходила через фронты, ездила в Афганистан и в Германию. С семнадцатого года она нашла свой путь в жизни — этому помогли традиции семьи: профессор Рейснер еще в Томске сблизился с большевиками, и Лариса оказалась в среде победителей.

Во время нашей встречи Лариса обрушила на О. М. (Мандельштама. — *И. Т.*) кучу рассказов, и в них сквозила та же легкость, с какой Блюмкин хватался за револьвер, и его же пристрастие к внешним эффектам. На постройку «женского типа» Лариса употребила сходный с Блюмкиным материал. С теми, кто вздыхал в подушку, сетуя на свою беспомощность, ей было не по пути — в ее среде процветал культ силы. Спокон века право использовать силу мотивируется пользой народа — надо успокоить народ, надо накормить народ, надо оградить его от всех бед... Подобной аргументацией Лариса пренебрегала и даже слово «народ» из своего словаря исключила. В этом ей тоже чудились старые интеллигентские предубеждения. Все острие ее гнева и разоблачительного пафоса было направлено против интеллигенции. Бердяев напрасно думает, что интеллигенцию уничтожил народ, ради которого она когда-то пошла по жертвенному пути. Интеллигенция сама уничтожила себя, выжигая в себе, как Лариса, всё, что не совмещалось с культом силы.

При встрече с О. М. Лариса сразу вспомнила, как она изменила себе и поехала с ним к Дзержинскому: «Зачем вам понадобилось спасать этого графа? Все они шпионы...» Она не без кокетства пожаловалась мне на О. М.: он так на неё набросился, что она, не успев опомниться, «влипла в эту историю»... А в самом деле, почему она согласилась наперекор всей своей позиции ехать просить за неизвестного «интеллигентишку»? О. М. считал, что Ларисе захотелось продемонстрировать своё влияние и похвастаться близостью к власти. А по-моему, она просто выполнила то, что считала прихо-

* Мандельштам Надежда (1899—1980) — русская писательница, мемуарист, лингвист, преподаватель, жена Осипа Мандельштама.

тью О. М., которого была готова как угодно баловать за стихи. Преодолеть любовь к стихам Лариса не могла, хотя это преодоление входило в её программу: разве оно соответствовало образу «женщины русской революции», созданному в её воображении? В первые годы революции среди тех, кто победил, было много любителей поэзии. Как совмещали они эту любовь с готтентотской моралью — «если я убью — хорошо, если меня убьют — плохо»?

Стихи Лариса не только любила, но еще втайне верила в их значение, и поэтому единственным темным пятном на ризах революции был расстрел Гумилева. Когда это случилось, она жила в Афганистане ней казалось, что будь она в те дни в Москве, она сумела бы вовремя дать добрый совет и остановить казнь. При встрече с нами она все время возвращалась к этой теме, и мы присутствовали при зарождении легенды о телеграмме Ленина с приказом не приводить приговор в исполнение. В тот вечер Лариса поднесла нам эту легенду в следующем виде мать Ларисы, узнав о том, что собираются сделать в Петрограде, отправилась в Кремль и уговорила Ленина дать телеграмму. Сейчас роль информатора приписывают Горькому — он, мол, снесся с Лениным... И то, и другое не соответствует действительности. В отсутствие Ларисы мы несколько раз заходили к ее родителям, и мать при нас сокрушалась, что не придавала значения аресту Гумилева и не попробовала обратиться к Ленину — может быть, что вышло... Что же касается Горького, то к нему действительно обращались... К нему ходил Оцуп. Горький активно не любил Гумилева, но хлопотать взялся. Своего обещания он не выполнил: приговор вынесли неожиданно быстро и тут же объявили о его исполнении, а Горький еще даже не раскачался что-либо сделать... Когда до нас стали доходить трогательные истории о телеграмме, О. М. не раз вспоминал о зарождении этой легенды в комнате у Ларисы: до ее приезда подобных слухов не циркулировало и все знали, что Ленину не было никакого дела до поэта, о котором он никогда не слышал... Но почему в нашей стране, где пролито столько крови, именно эта легенда оказалась такой живучей? Мне все время встречаются люди, которые клянутся, что эта телеграмма была даже напечатана в таком-то томе сочинений или лежит целехонька в архиве. Легенда дошла даже до писателя в узеньких брючках, того самого, что носит в кармане коробочку леденцов. Он даже обещал принести мне том, где он сам своими глазами прочел эту телеграмму, но обещания своего так



и не выполнил. Миф, изобретенный Ларисой в угоду собственной слабости, будет еще долго бытовать в нашей стране.

С образом женщины русской революции Ларисе повезло меньше, чем с мифом о телеграмме. Это объясняется, пожалуй, тем, что она, скорее, принадлежала к стану победителей, чем борцов. О. М. рассказывал, что Раскольников* с Ларисой жили в голодной Москве по-настоящему роскошно — особняк, слуги, великолепно сервированный стол... Этим они отличались от большевиков старшего поколения, долго сохранявших скромные привычки. Своему образу жизни Лариса с мужем нашли соответствующее оправдание: мы строим новое государство, мы нужны, наша деятельность — созидательная, а потому было бы лицемерием отказывать себе в том, что всегда достается людям, стоящим у власти. Лариса опередила свое время и с самого начала научилась бороться с еще не названной уравниловкой.

Со слов О. М. я запомнила следующий рассказ о Ларисе: в самом начале революции понадобилось арестовать каких-то военных, кажется, адмиралов, военспецов, как их тогда называли. Раскольниковы вызвались помочь в этом деле: они пригласили адмиралов к себе; те явились откуда-то с фронта или из другого города. Прекрасная хозяйка угощала и занимала гостей, и чекисты их накрыли за завтраком без единого выстрела. Операция эта была действительно опасной, но она прошла гладко благодаря ловкости Ларисы, заманившей людей в западню.

Лариса была способна на многое, но я почему-то уверена, что будь она в Москве, когда забрали Гумилева, она бы вырвала его из тюрьмы, и если бы она была жива и у власти в период уничтожения О. М, она бы сделала все, чтобы его спасти. Впрочем, ни в чем уверенным быть нельзя — жизнь изменяет людей.

У О. М. были приятельские отношения с Ларисой. Она хотела забрать его в Афганистан, но Раскольников воспротивился. Мы были у нее, когда она уже бросила Раскольникова, но на этом наши отношения оборвались — О. М. стал явно чуждаться этой женщины революции. Узнав о ее смерти, он вздохнул, а в 37 году как-то заметил, что Ларисе повезло: она вовремя умерла. В те годы уничтожали массажи людей ее круга.

* Раскольников, Федор (1892–1939) — революционер, дипломат, журналист, писатель, муж Ларисы Рейснер.

Раскольников был чужим человеком во всех отношениях. Однажды он засыпал О. М. телеграммами. Окончательно Воронский вынужден был уйти из «Красной нови» в 1927 г., и тогда это вызвало упоминаемый бойкот «попутчиков»: тогда он занял место отставленного Воронского и редактировал «Красную новь». Странно подумать, но писатели, которых печатал Воронский, так называемые «попутчики», бойкотировали «Красную новь» с ее новым редактором, бесцеремонно севшим в кресло внезапно снятого создателя журнала. Раскольников так нуждался в материале, что обратился даже к О. М. По поводу этих телеграмм О. М. сказал: «Мне все равно, кто редактор: ни Воронский, ни Раскольников меня печатать не будут»... Попутчики вскоре забыли своего первого покровителя и больше на смены редакторов не реагировали, а О. М. так бы и остался со своим «Шумом времени» на руках, если бы в еще не закрытом частном издательстве «Время» не работал Георгий Блок.

Все, кого Лариса знала, когда была профессорской дочкой, издававшей нелепый журнальчик и ходившей в гости к поэтам с первыми пробами нелепых стихов, и потом, когда пыталась стать «женщиной русской революции», погибла, не прожив своей жизни. Она была красива тяжелой германской красотой. В Кремлевской больнице, где она умирала, при ней дежурила ее мать, покончившая самоубийством сразу же после смерти дочери. Мы так не привыкли к естественной смерти от болезни, что мне не верится: неужели обыкновенный тиф мог унести эту полную жизни красавицу? Противоречивая, необузданная, она заплатила ранней смертью за все свои грехи. Мне иногда кажется, что она могла выдумать историю про адмиралов, чтобы украсить убийством свою «женщину русской революции». Ведь люди, строившие новый мир, яростно доказывали, что все законы, вроде «не убий» — сплошное лицемерие и ложь. А ведь это Лариса зашла в самый разгар голода к Анне Андреевне и ахнула от ужаса, увидав, в какой та живет нищете. Через несколько дней она появилась снова, таща тук с одеждой и мешок с продуктами, которые вырвала по ордерам. Не надо забывать, что добыть ордер было не менее трудно, чем вызволить узника из тюрьмы...



Борис Пастернак*

*Лариса, вот когда посожалею,
Что я не смерть и ноль в сравненьи с ней.
Я б разузнал, чем держится без клею
Живая повесть на обрывках дней.
Как я присматривался к матерьялам!
Валились зимы кучей, шли дожди,
Запахивались вьюги одеялом
С грудными городами на груди.
Мелькали пешеходы в непогоду,
Ползли возы за первый поворот,
Года по горло погружались в воду,
Потоки новых запружали брод.
А в перегонном кубе все упрямею
Варилась жизнь, и шла постройка гнезд.
Работы оцепляли фонарями
При свете слова, разума и звезд.
Осмотришься, какой из нас не свалян
Из хлопьев и из недомолвок мглы?
Нас воспитала красота развалин,
Лишь ты превыше всякой похвалы.
Лишь ты, на славу сбитая боями,
Вся сжатым залпом прелести рвалась.
Не ведай жизнь, что значит обаянье,
Ты ей прямой ответ не в бровь, а в глаз.
Ты точно бурей грации дымилась.
Чуть побывав в ее живом огне,
Посредственность впадала вмиг в немилость,
Несовершенство навлекало гнев.
Бреди же в глубь преданья, героиня.
Нет, этот путь не утомит ступни.
Ширяй, как высь, над мыслями моими:
Им хорошо в твоей большой тени.*

* Пастернак, Борис (1890–1960) — русский писатель, поэт, переводчик, один из крупнейших поэтов XX века.

Лукницкий. АА: «Меня удивило, что Лозинский прошлый раз говорил о Рейснер...» Я: «А вы знаете, какова она на самом деле?» АА: «Нет, я ничего не знаю. Знаю, что она писала стихи, совершенно безвкусные. Но она все-таки была настолько умна, что бросила писать их».

После разговора с АА о разводе (1918 г. — В. Л.) Николай Степанович и АА поехали к Шилейко*, чтобы поговорить втроем. В трамвае Николай Степанович, почувствовавший, что АА совсем уже эмансипировалась, стал говорить «по-товарищески»: «У меня есть кто бы с удовольствием пошел за меня замуж. Вот Лариса Рейснер, например... Она с удовольствием бы...» (Он не знал еще, что Лариса Рейснер уже замужем.)

...Ларисе Рейснер назначил свидание на Гороховой в доме свиданий. Л. Р.: «Я так его любила, что пошла бы куда угодно» (рассказывала в августе 1920 г.).

Летом (в августе) 1920-го было критическое положение: Шилейко во Вс. Лит. (изд-во «Всемирная литература». — В. Л.) ничего не получал. Всем. Лит. совсем перестала кормить. Не было абсолютно ничего. Жалованья за месяц Шилейко хватало на дня (по расчету). В этот момент неожиданно явилась Н. Павлова с мешком риса от Л. Рейснер, приехавшей из Баку. В Ш. Д., где жила

АА, все в это время были больны дизентерией. И АА весь мешок раздала всем живущим — соседям. Себе. Кажется, раза два всего сварила кашу. Наступило прежнее голодание. Тут приехала Нат. Рыкова и увезла АА на 3 дня в Ц. С. АА вернулась в Шер. Дом. Снова голод. Тут (зав. Рус. музеем) со своего огорода подарил АА несколько корешков, картофелинок молодых — всего, в общем, на один суп. Варить суп было не на чем и нечем — не было ни дров, ни печки, ни машинки (?), и АА пошла в Училище правоведения, где жил знакомый, у которого можно было сварить суп. Сварила, завязала кастрюльку салфеткой и вернулась с ней в Шер. Д. Вернулась — застала у себя Л. Рейснер — откормленную, в шелковых чулках, в пышной шляпе... Л. Рейснер пришла рассказывать о Николае Степановиче... Она была поражена увиденным, и этой кастрюлькой, и видом АА, и видом квартиры, и Шилейко, у которого был ишиас и который был в очень скверном состоянии. Ушла. А ночью, приблизительно в половине двенадцатого, пришла снова с корзиной всяких продуктов... А Шилейко она

* Шилейко, Владимир (1891–1930) — русский востоковед, поэт и переводчик, второй муж (1918–1926) Анны Ахматовой.



предложила устроить в больницу, и действительно — за ним приехал автомобиль, санитары, и его поместили в больницу.

...Николай Степанович по примеру Т. Б. Лозинской, служившей в детском доме и туда же поместившей своих детей (Т. Б. Лозинская всегда преподавала — и в мирное время), хотел, потому что у него, вероятно, тоже острый момент пришел и не было никаких продуктов, чтобы Анна Ивановна тоже поступила в детский дом и взяла туда Леву. АА это казалось непригодным для Левы, да и для А. И. — старой и не сумевшей бы обращаться с фабричными детьми. АА рассказала об этом Л. Рейснер. Лариса предложила отдать Леву ей. Это, конечно, было так же бессмысленно, как и мысль Николая Степановича, и АА, конечно, отказалась...

О Николае Степановиче говорила (Рейснер. — *И. Т.*) с яростным ожесточением, непримиримо враждебно, была — «как раненый зверь». Рассказала все о своих отношениях с ним, о своей любви, о гостинице и о прочем...

...Правда, потом он предлагал Ларисе Рейснер жениться на ней, и Лариса Рейснер передает АА последовавший за этим предложением разговор так: она стала говорить, что очень любит АА и очень не хочет сделать ей неприятное. И будто бы Николай Степанович на это ответил ей такой фразой: «К сожалению, я уже ничем не могу причинить Анне Андреевне неприятность».

АА говорит, что Лариса Рейснер, это рассказывая, помнила очень всю обиду на Николая Степановича и чувство горечи и любви в ней еще было...

Записка Ахматовой — Ларисе Рейснер:

«Дорогая Лариса Михайловна! Пожалуйста, опустите в Риге это письмо. Оно написано моей племяннице, о которой семья давно не имеет вестей. Отправив это письмо, Вы окажете мне очень большое одолжение. Желаю Вам счастливого пути, возвращайтесь к нам здоровой и радостной. Вольдемар (Шилейко. — *И. Т.*) Вам кланяется. Ваша Ахматова».

Получил от Л. Горнунга письма Гумилева к Ларисе Рейснер. Читал письма, вижу, что они неискренни, что Гумилев играет в любовь, письма несерьезны и надуманны.

Письма эти несомненно — вещественное доказательство их романа.

Пьесу «Завоевание Мексики» он собирался писать, но, кажется, он сам не верил, что напишет ее.

1920. Август или сентябрь. Л. Рейснер в разговоре с АА о Гумилеве сказала ей, что считала себя невестой Н. С., что любила его, а он обманул ее. Говорила о Н. С. с ненавистью.

АА: «Почему Лариса Михайловна в 20 году отзывалась о нем с ненавистью?»

Ведь она его любила крепкой любовью до этого. Не верно ли предположение о том, что эта ненависть ее возникла после того, как она узнала о романе Н. С. с А. Н. Энгельгардт в 1916 году параллельно его роману с ней? А не узнать она, конечно, не могла.

Весьма вероятно, были и другие причины, которых я не знаю, но не эта ли была главной?»

Потом Лариса Рейснер уехала (в 21-м, кажется, в марте или до марта) и уже никакого общения с АА не было. Было только письмо, после смерти Блока, — из Кабула, в 1921 году.

24 ноября Лариса Рейснер послала письмо АА из Кабула. Писала, что узнала из газет о смерти Блока, что хочется написать об этом АА, только с ней говорить. Называет Блока — колонной, упавшей около другой колонны — АА... Очень много восхвалений АА. О Гумилеве — нет, но, несомненно, Лариса, не упоминая его, имела его в виду. Посылает посылку. Письмо это АА получила уже в январе 1922 года. Ей принес его Колбасьев.

А в 1916–1917 гг. АА было безразлично кто — Л. Р., Адамович или еще кто-нибудь, поэтому Л. Р. могла смело рассказывать о себе, зная, что «супружеские чувства» АА не будут задеты.

АА тогда, в 21-м, не знала о Л. Р. ничего, что узнала теперь. Отнеслась к ней очень хорошо. Со стороны Л. Р. АА к себе видела только хорошее отношение. И ничего плохого Л. Р. ей не сделала...

На столе моем лежала вырезка из газеты — извещение о смерти Ларисы Рейснер от брюшного тифа. АА поразила этим известием и очень огорчилась, даже расстроило оно ее. «Вот уж я никак не могла думать, что переживу Ларису!» АА много говорила о Ларисе — очень тепло, очень хорошо, как-то любовно и с большой грустью. «Вот еще одна смерть. Как умирают люди!.. Ей так хотелось жить, веселая, здоровая, красивая... Вы помните, как сравнительно спокойно я приняла весть о смерти Есенина... Потому что



он сам хотел умереть и искал смерти. Это — совсем другое дело... А Лариса!..» И АА долго говорила, какой жизнерадостной, полной энергии была Лариса Рейснер. Вспомнила о ней... «Возьмите меня за руку — мне страшно», — сказала 16-летняя Лариса Рейснер АА на встрече (в Тенишевском?), — рассказывала АА о выступлении (кажется, первом) Ларисы Рейснер... — Бедная — о ней будут нехорошо говорить, нехорошо вспоминать ее за границей за то, что она так быстро перешла на сторону Советской власти».

В дни февральской революции АА бродила по городу одна («убегала из дому»). Видела манифестации, пожар охранки, видела, как князь Кирилл Владимирович водил присягать полк к Думе, не обращая внимания на опасность, ибо была стрельба, — бродила и впитывала в себя впечатления.

...Николай Степанович отнесся к этим событиям в большой степени равнодушно... 26 или 28 февраля он позвонил АА по телефону, сказал: «Здесь цепи, пройти нельзя, а потому сейчас поеду в Окуловку». «Он очень об этом спокойно сказал — безразлично... Все-таки он в политике мало понимал...»

Анна Гумилева. В 1917 г. Коля должен был отправиться на Салоникский фронт. Он поехал в Париж через Финляндию и Швецию, но, прибыв в Париж, был оставлен там в распоряжении представителя Временного Правительства, чем был сильно огорчен. Там он пробыл год...



Елена Дюбуше*

Михаил Ларионов.** В начале лета 1917 г. мы были в Париже. Альбом Николая Степановича, помеченный 1916 г., был начат им в Петербурге, но только начат — все, что там переписанного и заново написанного относится к 1917 году. Мы с Николаем Степановичем видались каждый день почти до его отъезда в Лондон... Подобный альбом им был переписан и подарен Елене Карловне Дюбуше... в замужестве мадам Ловель (теперь американка). В начале многие стихи, написанные во Франции, входили в сборник, называемый «Под голубой звездой» — название создано следующим образом. Мы с Николаем Степановичем прогуливались почти каждый вечер в Jardin des Tuileries ... Недалеко от арки Carrousel, на дорожке, чуть-чуть вбок от большой аллеи стояла статуя голой женщины — с поднятыми и сплетенными над головой руками, образующими овал. Я, проходя мимо статуи, спросил у Н. С., нравится ли ему эта скульптура? Он меня отвел немного в сторону и сказал: «Вот отсюда». — «Почему», — спросил я — «ведь это не самая интересная сторона». — Он поднял руку и указал мне на звезду, которая, с этого места, как раз приходилась в центре овала переплетенных рук. — «Но это не имеет отношения к скульптуре». — «Да! но ко всему, что я пишу сейчас в Париже „под голубой звездой“». Как образовалось «К голубой звезде», мне не ясно. Как мне кажется, это произошло под внезапным впечатлением одного момента... потом осталось так, но означает то же стремление — к голубой звезде — настоящей. Не думаю, чтобы кто бы то ни было мог бы быть для него такой звездой. Почти всегда, самое глубокое чувство, какое у Николая Степановича создавалось в любви к женщине, обыкновенно обращалось в ироническое отношение и к себе и к своему чувству...

Елена Карловна Дюбуше, дочь известного русско-французского хирурга. Вышла замуж за американца, уехала в Америку и жила впоследствии в Чикаго. Ей посвящены стихи сборника «К синей звезде», изданного в Париже посмертно (1923) заботами К. В. Мочульского. В одном из стихотворений сборника Гумилев писал шуточно о подаренном им Е. К. Дюбуше альбоме со своими стихами,

* Дюбуше, Елена (? - ?) — журналистка, лирическая героиня сборника Гумилева «К Синей Звезде».

** Ларионов, Михаил (1881–1964) — русский художник, один из основоположников русского авангарда.



который (говорил он) «Будет в библиотеке стоять /Вашего расчетливого внука / В год две тысячи и двадцать пять». Местонахождение этого альбома в настоящее время неизвестно; может быть, он и стоит среди книг внука Е. К. Дюбуше...

Эмма Герштейн*. Когда в Ленинград приехала из Америки „Синяя звезда“ Н. Гумилева, она позвонила Ахматовой, но не застала ее дома. Она просила передать Анне Андреевне, что просит встречи с ней. Никто из Пуниных не сказал об этом Ахматовой ни слова. Так она и не встретилась с женщиной, внушившей Гумилеву его великую любовь. Анна Андреевна рассказывала об этом несостоявшемся свидании почти со слезами на глазах...

Михаил Ларионов. Стихотворения „К синей звезде“, безусловно, относятся к Елене Карловне Дюбуше, за которой Николай Степанович ухаживал — и это было известно. Насколько он сильно ею увлекался? Не знаю, думаю, ему нужно было — он всегда склонен был увлекаться. Это его вдохновляло. Насколько мне кажется, у него еще, в это время, был другой предмет увлечения. Но Елена Карловна, чужая невеста, это осложняло его чувства... Это ему давало новые ощущения, переживания, положения для его творчества, открывало для его поэзии новые психологические моменты. „Синяя звезда“ (Елена Карловна) была именно далекой и холодной (для него) звездой. „Под Голубой звездой“ — это то, что он проектировал и как хотел назвать... сборник стихов, посвященных парижскому пребыванию и написанных в Париже. Возможно, позднее эти чувства были пересилены другими чувствами, которые остались и вылились „К Синей Звезде“? „Под голубой звездой“ звучит как место, в котором, где совершались известные происшествия и вещи. „К Синей Звезде“ — там главным образом относящиеся к ней (к Елене Карловне). Есть вещи, написанные раньше и включенные туда же, т. е. все, что даже косвенно касалось ее. Я думаю, что, когда Николай Степанович приезжал на короткое время в Париж, перед самым окончательным отплытием в Россию и потом в Петербург, он приехал в Париж, чтобы увидаться с кем-то — с Еленой Карловной? Может быть и с нею; но еще с кем-то — это

* Герштейн, Эмма (1903–2002) — русский советский литературовед, автор трудов по творчеству М. Ю. Лермонтова.

наверное. Знаю, что он приезжал устраивать оставшиеся здесь кое-какие вещи и дела (это официально)...

Гумилев.

*В этот мой благословенный вечер
Собрались ко мне мои друзья,
Все, которых я очеловечил,
Выведя их из небытия.
Гондла разговаривал с Гафизом
О любви Гафиза и своей,
И над ним склонялись по карнизам
Головы волков и лебедей.
Муза Дальних Странствий обнимала
Зою, как сестру свою теперь,
И лизал им ноги небывалый,
Золотой и шестикрылый зверь.
Мик с Луи подсели к капитанам,
Чтоб послушать о морских делах,
И перед любезным Дон Жуаном
Фанни сладкий чувствовала страх.
И по стенам начинались танцы,
Двигались фигуры на холстах,
Обезумели камбоджианцы
На конях и боевых слонах.
Заливались вышитые птицы,
А дракон плясал уже без сил,
Даже Будда начал шевелиться*

*И понюхать розу попросил.
И светились звезды золотые,
Приглашенные на торжество,
Словно апельсины восковые,
Те, что подают на Рождество.
«Тише крики, смолкните напевы!» —
Я вскричал — «И будем все грустны,
Потому что с нами нету девы,
Для которой все мы рождены».
И пошли мы, пара вслед за парой,*



*Словно фантастический эстамп,
Через переулки и бульвары
К тупику близ улицы Декамп.
Неужели мы Вам не приснились,
Милая с таким печальным ртом,
Мы, которые всю ночь толпились
Перед занавешенным окном.*

Ирина Одоевцева. Однажды я даже поехала туда (в кафе «Декамп». — И. Т.), чтобы увидеть, где Гумилев встречался со своей возлюбленной и писал:

*Я вырван был из жизни тесной,
Из жизни скудной и простой,
Твоей мучительной, чудесной,
Неотвратимой красотой.
И умер я... и видел пламя,
Невиданное никогда:
Пред ослепленными глазами
Светилась синяя звезда.*

Броселиана... так назвал он родину Синей звезды. Здесь царствовал Мерлин, сын лесной непорочной Девы и Дьявола... Вначале мне думалось, что эта история в жизни Гумилева не была такой важной. Но потом я пожалела, что не написала о ней, поняв, что он мог прожить „не гибельную« судьбу. Он мог остаться жить в Париже. Никакого заговора, любовь и поэзия...

Гумилев.

*Еще не раз Вы вспомните меня
И весь мой мир, волнующий и странный,
Нелепый мир из песен и огня,
Но меж других единый необманный.*

*Он мог стать Вашим тоже, и не стал,
Его Вам было мало или много,
Должно быть плохо я стихи писал
И Вас неправедно просил у Бога.*

Но каждый раз Вы склонитесь без сил
И скажете: «Я вспоминать не смею,
Ведь мир иной меня обворожил
Простой и грубой прелестью своею».

Отвечай мне, картонажный мастер,
Что ты думал, делая альбом
Для стихов о самой нежной страсти
Толщиною в настоящий том?

Картонажный мастер, глупый, глупый,
Видишь, кончилась моя страда,
Губы милой были слишком скупы,
Сердце не дрожало никогда.

Страсть пропела песней лебединой,
Никогда ей не запеть опять,
Так же как и женщине с мужчиной
Никогда друг друга не понять.

Но поет мне голос настоящий,
Голос жизни близкой для меня,
Звонкий, словно водопад гремящий,
Словно гул растущего огня:

«В этом мире есть большие звезды,
В этом мире есть моря и горы,
Здесь любила Беатриче Данта,
Здесь ахейцы разорили Троию!
Если ты теперь же не забудешь
Девушку с огромными глазами,
Девушку с искусными речами,
Девушку, которой ты не нужен,
То и жить ты, значит, не достоин».



Анна Гумилева. В 1918 году он записался на Месопотамский фронт, но для этого должен был поехать в Англию. Это было в начале года. Но, увы! и тут ему не удалось уехать в действующую армию, в Месопотамию. В Лондоне он пробыл несколько месяцев и весной вернулся через Мурманск в Петербург. Не успел Коля после своих долгих скитаний по загранице вернуться, как сразу окунулся с головой в свой литературный мир. Единственное, что он действительно горячо любил и чему отдавался всей душой, это только одну поэзию. Он был всецело поэт!

В конце 1918 года Коля был членом Литературного Кружка и работал в Доме Литераторов. В этом же году он развелся с Анной Ахматовой...

Лукницкий. Когда Николай Степанович вернулся из-за границы в 1918 г., он позвонил к Срезневским. Они сказали, что АА у Шилейко, Николай Степанович, не подозревая ничего, отправился к Шилейко. Сидели вместе, пили чай, разговаривали.

Потом АА пошла к нему — он остановился в меблированных комнатах «Ира». Была там до утра. Ушла к Срезневским. Потом, когда Николай Степанович пришел к Срезневским, АА провела его в отдельную комнату и сказала: «Дай мне развод». Он страшно побледнел и сказал: «Пожалуйста...» Не просил ни остаться, ничего не расспрашивал даже. Спросил только: «Ты выйдешь замуж? Ты любишь?». АА ответила: «Да». — «Кто же он?» — «Шилейко». Николай Степанович не поверил: «Не может быть! Ты скрываешь, я не верю, что это Шилейко».

Вскоре после этого АА с Николаем Степановичем уехали в Бежецк.

Я: «После объяснения у Срезневских как держался с вами Николай Степанович?»

АА: «Все это время он очень выдержан был... Никогда ничего не показывал, иногда сердился, но всегда это было в очень сдержанных формах (расстроен, конечно, был очень)».

АА говорит, что только раз он заговорил об этом. Когда они сидели в комнате, а Лева разбирали перед ними игрушки, они смотрели на Леву.

Николай Степанович внезапно поцеловал руку АА и грустно сказал ей: «Зачем ты все это выдумала?»

О том, о первом... Н. С. помнил, по-видимому, всю жизнь, потому что уже после развода с АА он спросил ее: «Кто был первый?» и «Когда это было?»

Я: «Вы сказали ему?»

АА тихо: «Сказала...»

...Развод не был принуждением. Отношения с ней прекратились задолго до 18 года. Развод был очень мирным — ведь в 1918 г., уже после того как развод был решен, они ездили в Бежецк, Николай Степанович был очень хорошо настроен к АА, да и тот разговор в Бежецке: «Зачем ты все это выдумала?» — происходил с грустью, но без всякой неприязни. АА предполагает, что в теории Николай Степанович хотел развода с ней. Так, в Париже, думая о Синей звезде, он мог говорить себе, если бы рассчитывал на взаимность со стороны Синей звезды: «Вот разведусь с Ахматовой и...» — тут должны были быть планы в будущем... Но на практике оказалось несколько иначе. Обида самолюбию, несомненно, была, психологически объяснимо, что все свои последующие неудачи, даже такой неудачный брак с Анной Николаевной, Николай Степанович мог относить на счет АА. АА сказала: «Развод вообще очень тяжелая вещь... Это с каждым десятилетием становится легче. Теперь — совсем легко...»

АА говорит про лето 18 года: «Очень тяжелое лето было... Когда я с Шилейко расставалась — так легко и радостно было, как бывает, когда сходишься с человеком, а не расходишься. А когда с Н. С. расставалась — очень тяжело было. Вероятно, потому, что перед Шилейко я была совершенно права, а перед Н. С. чувствовала вину».

АА говорит, что много горя причинила Н. С., считает, что она отчасти виновата в его гибели — нет, не в гибели, АА как-то иначе сказала, и надо другое слово, но сейчас не могу его найти (смысл — «нравственный»).

АА говорит, что Срезневская ей передавала такие слова Н. С. про нее: «Она все-таки не разбила мою жизнь». АА сомневается в том, что Срезневская это не фантазирует..

АА грустит о Н. С. очень и то, в чем невольно была виной, рассказывает как бы в наказание себе.

Я говорю, что все, что говорит АА, только подтверждает мое мнение — то, что Николай Степанович до конца жизни любил АА, а на А. Н. Энгельгардт женился исключительно из самолюбия.



АА сказала, что во время объяснения у Срезневских Николай Степанович сказал: «Значит, я один остаюсь?.. Я не останусь один... Теперь меня женят!»

АА составила «донжуанский» список Николая Степановича. Показывает мне.

До последних лет у Н. С. было много увлечений, но не больше в среднем, чем по одному на год... А в последние годы женских имен — тьма. И Николай Степанович никого не любил в последние годы.

АА: «Разве и Одоевцеву?»

Я: «И ее не любил... Это не любовь была...»

АА не спорит со мной.

Я: «В последние годы в нем шахство было...»

АА: «Да, конечно, было... В последние годы — студий, «Звучащих раковин», институтов — у Н. С. целый гарем девушек был... И ни одну из них Н. С. не любил. И были только девушки — женщин не было...»

Я: «Чем это объяснить? Может быть, среди других причин было и чувство некоторой безответственности, которым был напоен воздух 20–21 года?..»

АА: «Это мое упорство так подействовало... Подумайте: 4 года, а если считать с отказа в 5-м году — 5 лет! Кто к нему теперь проявлял упорство? Я не знаю никого... Или, может быть, советские барышни не так упорны?»



Екатерина Малкина*

Гумилев — Екатерине Малкиной. Петроград. Осень 1918 г.

Екатерина Романовна,

случилось то, чего я никак не мог предполагать: Вы меня в чем-то упрекаете в Вашем письме. Я не совсем понял, может быть, побоялся понять его среднюю часть. Для ясности восстановил события того дня. Я шел к Вольфу, ничего не думая, просто очень радуясь, что увижу Вас. Когда мы встретились, и Вы сказали мне о холоде, у меня замелькали тысячи планов: пойти в Исаакиевский собор, но я не знал, откроется ли он; во «Всемирную литературу», там масса знакомых; в Музей Древностей, это далеко, и т. д. И вдруг я вспомнил, что на Гороховой есть приличная, тихая гостиница, где я часто останавливался, приезжая с фронта и из-за границы. Я думал достать там дров и посидеть перед камином, как в Арионе. Ничего странного или предосудительного я в этом не видел, не вижу и теперь. Наоборот, этот тихий и скромный отель напоминал мне отели константинопольские, афинские и каирские и как-то краем предвосхищал мою мечту о поездке с Вами на Восток. В комнате я несколько раз пытался достать дров, но неудачно и тогда только предложил Вам перейти рядом, где ведь действительно было и теплее и удобнее. Вы написали и о моем огромном усилии воли, и о Ваших колебаниях, которые я, конечно, видел. Приходило ли Вам в голову, что мое усилие воли я направил только на себя и в Ваших колебаниях стал на сторону Вашего теперешнего решения? Нет, очевидно, я просто не понял всей средней части Вашего письма. Все эти дни я ждал, что Вы подадите мне весть о себе, и мы встретимся. Я прекрасно знал, что Вы скажете «нет» и почувствовал, что это «нет» будет для меня ослепительнее и нужнее самого ясного «да». Огненное искушение, о котором говорит апостол Петр, предназначено мне, а не Вам. Я отлично знаю, во имя чего и любовь, и поэзия, и жизнь — это та вершина, которая венчает все мое творчество. Да, Вас бы я мог любить, ничего не ожидая и получая безмерно много для духа.

И вся первая часть Вашего письма не жестокость (как Вы думали), а светлая милость.

Я писал о Вас, когда говорил, представлял себе, что Вы тоже меня слушаете, и говорил хорошо. Никогда еще я так не радовался

* Малкина Екатерина (1899–1945) — филолог, переводчик.



солнцу, как вчера, мне казалось, что оно светит только для Вас. Я думал, как радостно мы встретимся, как я Вам расскажу о том чудесном новом — или только забытом — чему научили меня Ваши глаза и Ваше «нет». И я верил, что Вы захотели бы и стали меня слушать.

Но Вы слишком ясно дали мне понять в письме, что Вам тяжело со мной встречаться, хотя Вы на это «согласны». Я так причинил Вам много боли. Но, правда, если я виновен, то лишь в том, что не до конца понимал тютчевское стихотворение: «Не верь, не верь поэту, дева». Теперь я его понял и скрываюсь. Мы встречались только в Арионе, я не буду туда ходить. Это только справедливо. Мне по вечерам следует работать, Вам — отдыхать после дневной работы. Однако я думаю, было бы много лучше во избежание всяких предрассудков и догадок встретиться еще один раз там же и провести полчаса в одной компании. Сделаемте это завтра: я не буду Вас тревожить разговорами, буду просто болтлив и скоро уйду. К тому же, так как я не могу от Вас чего-нибудь скрывать, мне мучительно хочется увидеть Вас еще один раз, хоть и в последний...



Ирина Одоевцева

Ноябрь 1918 года.

Огромные, ярко-рыжие афиши аршинными буквами объявляют на стенах домов Невского об открытии «Института Живого Слова» и о том, что запись в число его слушателей в таком-то бывшем великокняжеском дворце на Дворцовой Набережной.

В зале с малахитовыми колоннами и ляпис-лазуревыми вазами большой кухонный стол, наполовину покрытый красным сукном. За ним небритый товарищ в кожаной куртке, со свернутой из газеты козьей ножкой в зубах. Перед столом, длинный хвост — очередь желающих записаться.

Запись происходит быстро и просто. И вот уже моя очередь. Товарищ в кожаной куртке спрашивает: — На какое отделение, товарищ?

— Поэтическое, — робко отвечаю я.

— Литературное, — поправляет он. И критически оглядев меня: — А не на театральное ли? Но так и запишем. Имя, фамилия?

Я протягиваю ему свою трудкнижку, но он широким жестом отстраняет ее.

— Никаких документов. Верим на слово. Теперь не царские времена. Языки иностранные знаете?

От удивления я не сразу отвечаю.

— Ни одного не знаете? Значения не имеет. Так и запишем.

Но я, спохватившись, быстро говорю:

— Знаю. Французский, немецкий и английский.

Он прищуривает левый глаз.

— Здорово! А вы не заливаете? Действительно знаете? Впрочем, значения не имеет. Но так и запишем. И чего вы такая пугливая? Теперь не те времена — никто не обидит. И билета вам никакого не надо. Приняты, обучайтесь на здоровье. Поздравляю, товарищ!

Я иду домой на Бассейную 60. Я чувствую, что в моей жизни произошел перелом. Что я уже не та, что вчера вечером и даже сегодня утром.

«Институт Живого Слова».

Нигде и никогда за все годы в эмиграции мне не приходилось читать или слышать о нем.

Я даже не знаю, существует ли он еще.

Скорее всего он давно окончил свое существование.



Но был он одним из самых фантастических, очаровательных и абсолютно нежизнеспособных явлений того времени.

Его основатель и директор Всеволод Гернгросс Всеволодский* горел и пылал священным огнем и заражал своим энтузиазмом слушателей «Живого Слова».

Я никогда не видела его на сцене. Думаю, что он был посредственным актером.

Но оратором он был великолепным. С первых же слов, с первого же взмаха руки, когда он, минуя ступеньки, как тигр вскакивал на эстраду, он покорял аудиторию.

О чем он говорил? О высоком призвании актера, о святости служения театральному делу. О том, что современный театр зашел в тупик и безнадежно гибнет. О необходимости спасти театр, вывести его на большую дорогу, преобразить, возродить, воскресить его.

Вот этим-то спасением, преображением, возрождением театра и должны были заняться — под мудрым водительством самого Всеволодского — собравшиеся здесь слушатели «Живого Слова».

Всеволодский, подхваченный неистовым порывом вдохновения и красноречия, метался по эстраде, то подбегал к самому ее краю, то широко раскинув руки, замирал, как пригвожденный к стене.

Обещания, как цветочный дождь, сыпались на восхищенных слушателей.

— Вы будете первыми актерами не только России, но и мира! Ваша слава будет греметь! Отовсюду будут съезжаться смотреть и слушать вас! Вы будете чудом, немеркнувшим светом! И тогда только вы поймете, какое счастье было для вас, что вы поступили в «Живое Слово»...

Слушателей охватывала дрожь восторга. Они верили в свое непостижимо прекрасное будущее, они уже чувствовали себя всемирными преобразователями театра, увенчанными лучами немеркнувшей славы.

Всеволодский был не только директором «Живого Слова», но и кумиром большинства слушателей — тех, что стремились стать актерами. Кроме них, хотя и в несравненно меньшем количестве, были стремившиеся стать поэтами и ораторами.

* Всеволодский-Гернгросс, Всеволод (1882–1962) — российский и советский актёр, театровед, доктор искусствоведения (1936), профессор.

Лекции пока что происходят в Тенишевском Училище, но «Живое Слово» в скором времени собирается переехать в здание Павловского Института на Знаменской.

В будущую пятницу лекция Гумилева. Стихов Гумилева, до поступления в «Живое Слово», я почти не знала, а те, что знала, мне не нравились.

Я любила Блока, Бальмонта, Ахматову.

О том, что Гумилев был мужем Ахматовой я узнала только в «Живом Слове». Вместе с прочими сведениями о нем — Гумилев дважды ездил в Африку, Гумилев пошел добровольцем на войну, Гумилев в то время, когда все бегут из России, вернулся в Петербург из Лондона, где был прекрасно устроен. И, наконец, Гумилев развелся с Ахматовой и женился на Ане Энгельгардт. На дочери того самого старого профессора Энгельгардта, который читает у нас в «Живом Слове» китайскую литературу.

— Неужели вы не слышали? Не знаете? А еще стихи пишете...

Нет, я не знала. Не слыхала.

Первая лекция Гумилева в Тенишевском Училище была назначена в пять.

Но я пришла уже за час, занять место поближе.

Зал понемногу наполняется разношерстной толпой. Состав аудитории первых лекций был совсем иной, чем впоследствии. Преобладали слушатели почтенного и даже чрезвычайно почтенного возраста. Какие-то дамы, какие-то бородатые интеллигенты, вперемежку с пролетариями в красных галстуках. Все они вскоре же отпали и не получив, должно быть, в «Живом Слове» того, что искали — перешли на другие курсы.

Курсов в те времена было великое множество — от переплетных и куроводства до изучения египетских и санскритских надписей. Учиться — и даром — можно было всему, что только пожелаешь.

Пробило пять часов. Потом четверть и половина шестого. Аудитория начала проявлять несомненные «признаки нетерпения» — кашлять и стучать ногами.

Всеволодский уже два раза выскакивал на эстраду объявлять, что лекция состоится, непременно состоится — Николай Степанович Гумилев уже вышел из дома и сейчас, сейчас будет. Не расходитесь! Здесь вы сидите в тепле. Здесь светло и тепло. И уютно. А на улице холод и ветер и дождь. Черт знает, что творится на улице.



И дома ведь у вас тоже нетоплено и нет света. Одни коптилки, — убедительно уговаривал он. — Не расходитесь!

Но публика, не внимая его уговорам, начала понемногу расходиться. Моя соседка слева, нервная дама с вздрагивающим на носу пенсне, шумно покинула зал, насмешливо кинув мне: — А вы что, остаетесь? Перезимовать здесь намерены?

Мой сосед слева, студент, резонно отвечает ей: — Столько уже ждали, можем и еще подождать. Тем более, что торопиться абсолютно некуда. Мне по крайней мере.

— И мне, — как эхо вторю я.

Я, действительно, готова ждать хоть до утра.

Всеволодский, надрываясь, старается удержать слушателей.

— Николай Степанович сейчас явится! Вы пожалеете, если не услышите его первую лекцию. Честное слово...

Не знаю, как другие, но я несомненно очень жалела бы, если бы не услышала первой лекции Гумилева.

— Он сейчас явится!..

И Гумилев, действительно, явился.

Именно «явился», а не пришел. Это было странное явление. В нем было что-то театральное, даже что-то оккультное. Или, вернее, это было явление существа с другой планеты. И это все почувствовали — удивленный шепот прокатился по рядам.

И смолк.

На эстраде, выскользнув из боковой дверцы, стоял Гумилев. Высокий, узкоплечий, в оленьей дохе, с белым рисунком по подолу, колыхавшейся вокруг его длинных худых ног. Ушастая оленья шапка и пестрый африканский портфель придавали ему еще более необыкновенный вид.

Он стоял неподвижно, глядя прямо перед собой. С минутой? Может быть больше, может быть меньше. Но, мне показалось — долго. Мучительно долго. Потом двинулся к лекторскому столику у самой рампы, сел, аккуратно положил на стол свой пестрый портфель, и только тогда обеими руками снял с головы — как митру — свою оленью ушастую шапку и водрузил ее на портфель.

Все это он проделал медленно, очень медленно, с явным расчетом на эффект.

— Господа, — начал он гулким, уходящим в небо голосом — я предполагаю, что большинство из вас поэты. Или, вернее, счита-

ют себя поэтами. Но я боюсь, что прослушав мою лекцию, вы сильно поколеблетесь в этой своей уверенности.

Поэзия совсем не то, что вы думаете, и то, что вы пишете и считаете стихами, вряд ли имеет к ней хоть отдаленное отношение.

Поэзия такая же наука, как, скажем, математика. Не только нельзя (за редчайшим исключением гениев, которые, конечно, не в счет) стать поэтом, не изучив ее, но нельзя даже быть понимающим читателем, умеющим ценить стихи.

Гумилев говорит торжественно, плавно и безапелляционно. Я с недоверием и недоумением слушаю и смотрю на него.

Так вот он какой. А я и не знала, что поэт может быть так не похож на поэта. Блок — его портрет висит в моей комнате, — такой, каким и должен быть поэт. И Лермонтов и Ахматова...

Я по наивности думала, что поэта всегда можно узнать.

Я растерянно гляжу на Гумилева.

Острое разочарование — Гумилев первый поэт, первый живой поэт, которого и вижу и слышу и до чего же он непохож на поэта!

Впрочем слышу я его плохо. Я сижу в каком-то бессмысленном оцепенении. Я вижу, но не слышу. Вернее слышу, но не понимаю.

Мне трудно сосредоточиться на сложной теории поэзии, развиваемой Гумилевым. Слова скользят мимо моего сознания, разбиваются на звуки —

И не значат ничего...

Так вот он какой, Гумилев! Трудно представить себе более некрасивого, более особенного человека. Все в нем особенное и особенно некрасивое. Продолговатая, словно вытянутая вверх голова, с непомерно высоким плоским лбом. Волосы стриженные под машинку неопределенного цвета. Жидкие, будто молью траченные брови. Под тяжелыми веками совершенно плоские глаза.

Пепельно-серый цвет лица. Узкие бледные губы. Улыбается он тоже совсем особенно. В улыбке его что-то жалкое и в то же время лукавое. Что-то азиатское. От «идола металлического», с которым он сравнивал себя в стихах:

*Я злюсь как идол металлический
Среди фарфоровых игрушек.*

Но улыбку его я увидела гораздо позже. В тот день он ни разу не улыбнулся.



Хотя на «идола металлического» он все же и сейчас похож... Он сидит чересчур прямо, высоко подняв голову. Узкие руки, с длинными ровными пальцами, похожими на бамбуковые палочки, скрещены на столе. Одна нога заброшена на другую. Он сохраняет полную неподвижность. Он, кажется, даже не мигает. Только бледные губы шевелятся на его застывшем лице.

И вдруг он резко меняет позу. Вытягивает левую ногу вперед. Прямо на слушателей.

— Что это он свою дырявую подметку нам в нос тычет? Безобразие! — шепчет мой сосед-студент.

Я шикаю на него.

Но подметка действительно дырявая. Дырка не по середине, а с краю. И пол каблука сбито, как ножом срезано. Значит у Гумилева неправильная, косолапая походка. И это тоже совсем не идет поэту.

Он продолжает торжественно и многословно говорить. Я продолжаю, не отрываясь, смотреть на него.

И мне понемногу начинает казаться, что его косые, плоские глаза светятся особенным таинственным светом.

Я понимаю, что это о нем, конечно, о нем, Ахматова писала:

*И загадочных, темных ликов
На меня поглядели очи...*

Ведь она была его женой. Она была влюблена в него.

И вот уже я вижу совсем другого Гумилева. Пусть некрасивого, но очаровательного. У него, действительно, иконописное лицо — плоское, как на старинных иконах, и такой же двоящийся, загадочный взгляд. Раз он был мужем Ахматовой, он может быть все-таки «похож на поэта»? Только я сразу не умею разглядеть.

Гумилев кончил. Он, подняв голову, выжидательно оглядывает аудиторию.

— Ждет, чтоб ему аплодировали, — шепчет мой сосед-студент.

— Может быть, кому-нибудь угодно задать мне вопрос? — снова раздается гулкой, торжественный голос.

В ответ молчание. Долгодлящееся молчание. Ясно — спрашивать не о чем.

И вдруг из задних рядов звенящий, насмешливо-дерзкий вопрос:

— А где всю эту премудрость можно прочесть?

Гумилев опускает тяжелые веки и задумывается, затем, будто всесторонне обдумав ответ, важно произносит:

— Прочсть этой «премудрости» нигде нельзя. Но чтобы подготовиться к пониманию этой, как вы изволите выражаться, премудрости, советую вам прочсть одиннадцать томов Натурфилософии Кара.

Мой сосед-студент возмущенно фыркает.

— Натурфилософия-то тут при чем?

Но ответ Гумилева явно произвел желаемое впечатление. Никто больше не осмелился задать вопрос.

Гумилев, выждав немного, молча встает и стоя лицом к зрителям, обеими руками возлагает себе на голову, как митру или корону, свою оленью шапку. Потом поворачивается и медленно берет со стола свой пестрый, африканский портфель и медленно шествует к боковой дверце.

Теперь я вижу, что походка у него действительно косолапая, но это не мешает ее торжественности.

— Шут гороховый! Фигляр цирковой! — возмущаются за мной. — Самоедом вырядился и ломается!

— Какая наглость, какое неуважение к слушателям! Ни один профессор не позволил бы себе... — негодует мой сосед-студент.

— Я чувствую себя лично оскорбленной — клоочет седея дама. — Как он смеет? Кто он такой, подумаешь!

— Тоже африканский охотник выискался. Все врет, должно быть. Он с виду вылитый консистерский чиновник и в Африке не бывал... Брехня!

Это последнее, что доносится до меня. Я бегу против ветра только бы не слышать отвратительных, возмущенных голосов, осуждающих поэта. Я не с ними, я с ним, даже если он и не такой, как я ждала...

Много месяцев спустя, когда я уже стала «Одоевцева, моя ученица», как Гумилев с гордостью называл меня, он со смехом признался мне, каким страданием была для него эта первая в его жизни, злосчастная лекция.

— Что это было! Ах, Господи, что это было! Луначарский* предложил мне читать курс поэзии и вести практические занятия в «Живом Слове». Я сейчас же с радостью согласился. Еще бы! Исполнилась моя давнишняя мечта — формировать не только

* Луначарский, Анатолий (1875–1933) — российский революционер, советский государственный деятель, нарком просвещения, писатель, переводчик, публицист, критик, искусствовед.



настоящих читателей, но, может быть, даже и настоящих поэтов. Я вернулся в самом счастливом настроении. Ночью, проснувшись, я вдруг увидел себя на эстраде — все эти глядящие на меня глаза, все эти слушающие меня уши — и похолодел от страха. Трудно поверить, а правда. Так до утра и не заснул.

С этой ночи меня стала мучить бессонница. Если бы вы только знали, что я перенес! Я был готов бежать к Луначарскому откаться, объяснить, что ошибся, не могу... Но гордость удерживала. За неделю до лекции я перестал есть. Я репетировал перед зеркалом свою лекцию. Я ее выучил наизусть.

В последние дни я молился, чтобы заболеть, сломать ногу, чтобы сгорело Тенишевское Училище, — все, все, что угодно, лишь бы избавиться от этого кошмара.

Я вышел из дома, как идут на казнь. Но войти в подъезд Тенишевского Училища я не мог решиться. Все ходил взад и вперед с сознанием, что гибну. Оттого так и опоздал.

На эстраде я от страха ничего не видел и не понимал. Я боялся споткнуться, упасть или сесть мимо стула на пол. То-то была бы картина!

Я принес с собой лекцию и хотел читать ее по рукописи. Но от растерянности положил шапку на портфель, а снять ее и переложить на другое место у меня уже не хватило сил.

О, Господи, что это был за ужас! Когда я заговорил, стало немного легче. Память не подвела меня. Но тут вдруг запрыгало проклятое колено. Да как! Все сильнее и сильнее. Пришлось, чтобы не дрыгало, вытянуть ногу вперед. А подметка у меня дырявая. Ужас!

Не знаю, не помню, как я кончил. Я сознавал только, что я навсегда опозорен. Я тут же решил, что завтра же уеду в Бежецк, что в Петербурге, после такого позора, я оставаться не могу.

И зачем только я про одиннадцать томов Натурфилософии брякнул? От страха и стыда, должно быть. В полном беспомыслии.

— Но у вас был такой невероятно самоуверенный, важный тон и вид, — говорю я.

Гумилев весь трясется от смеха.

— Это я из чувства самосохранения перегнул палку. Как тот чудака, который, помните:

*На чердаке своем повесился
Из чувства самосохранения.*

Нет, правда, все это больше всего походило на самоубийство. Сплошная катастрофа. Самый страшный день моей жизни.

Я, вернувшись домой, поклялся себе никогда больше лекций не читать. — Он разводит руками. — И как видите, клятвы не сдержал. Но теперь, когда у меня часто по две лекции в день, мне и в голову не приходит волноваться.

И чего, скажите, я так смертельно трусил?

* * *

Январь 1919 года. Голодный, холодный, снежный январь. Но до чего интересно, до чего весело! В «Живом Слове», обосновавшемся на Знаменской в бывшем Павловском институте, под руководством Всеволодского-Гернгросса, лекции сменялись практическими занятиями и ритмической гимнастикой по Далькрозу. Кони возглавлял Ораторское отделение, гостеприимно приглашая всех на свои лекции и практические занятия.

Я поступила, конечно, на Литературное отделение. Но занималась всем, чем угодно, и кроме литературы: слушала Луначарского, читавшего курс эстетики, Кони, самого Всеволодского и делала ритмическую гимнастику.

Гумилев, со времени своей лекции, еще перед Рождеством, в Тенишевском училище ни разу не показывался...

Когда в начале февраля нас известили, что в следующую пятницу состоится лекция Гумилева с разбором наших стихов, не только вся литературная группа, но все мои «поклонники» пришли в волнение.

Гумилев на первой своей лекции объявил, что вряд ли наше творчество имеет что-нибудь общее с поэзией. Естественно, Гумилев и предполагать не может, какие среди нас таланты. И, главное, какой талант — я. Было решено удивить, огорошить его, заставить его пожалеть о его необоснованном суждении. Но какое из моих стихотворений представить для разбора? Долго спорили, долго советовались. Наконец, выбор пал на «Мирамарские таверны». Гумилев, как известно, любитель экзотики и автор «Чужого неба». Его не могут не пленить строки:

*Мирамарские таверны,
Где гитаны пляшут по ночам...*

или:



*Воздух душен и пьянщ.
Я надену черное сомбреро,
Я накину красный плащ...*

Эти «Таверны», каллиграфически переписанные на большом листе особенно плотной бумаги, не мной, а одним из моих «поклонников» будут положены поверх всех прочих стихов. И Гумилев сразу прочтет и оценит их. Оценит их и, конечно, меня, их автора. В этом ни у меня, ни у других сомнения не возникало.

В ночь с четверга на пятницу я плохо спала от предчувствия счастья. Я радостно замирала, представляя себе изумление Гумилева.

— Я поражен, — скажет он. — Эти стихи настоящего большого поэта. Я хочу сейчас же познакомиться с ним.

И я встану со своего места и подойду к кафедре. Гумилев спустится с нее, низко поклонится мне и пожмет мне руку своей длинной, узкой рукой.

— Поздравляю вас.

И все заплодируют.

В мечтах мне это представлялось чем-то вроде венчания Петрарки — все же в миниатюре. Я не сомневалась, что все произойдет именно так. Я была уверена, что в жизни сбывается все, чего сильно и пламенно желаешь. А я ли не желала этого с самого детства?

В тот день я оделась и причесалась особенно тщательно и долго крутилась перед зеркалом, расправляя большой черный бант в волосах. Без этого банта меня тогда и представить себе нельзя было.

Дома, как и в «Живом Слове», все знали о моем предстоящем торжестве. И здесь, и там, никто не сомневался в нем.

Класс, где должен был произойти разбор стихов, был переполнен слушателями других отделений. Я скромно уселась на предпоследнюю скамью. С краю. Чтобы, когда Гумилев попросит «автора этих прекрасных стихов» выйти на середину класса, другим не пришлось бы вставать, пропуская меня.

На этот раз Гумилев не опоздал ни на минуту. «Живое Слово» очень хорошо отапливалось и Гумилев оставил у швейцара свою самоедскую доху и ушастую оленью шапку. Без самоедской дохи и ушастой шапки у него, в коричневом костюме с сильно вытянутыми коленями, был гораздо менее экзотичный вид. Держался он, впрочем, так же важно, торжественно и самоуверенно. И так же

подчеркнуто-медленно взошел на кафедру, неся перед собой, как щит, свой пестрый африканский портфель. Он отодвинул стул, положил портфель на тоненькую стопку наших стихов и, опершись о кафедру, обвел всех нас своими косящими глазами.

Я тогда впервые испытала странное, никогда и потом не менявшееся ощущение от его косого, двоящегося взгляда. Казалось, что он, смотря на меня, смотрит еще на кого-то или на что-то за своим плечом. И от этого мне становилось как-то не по себе, даже жутко.

Оглядев нас внимательно, он медленно сел, скрестил руки на груди и заговорил отчетливо, плавно и гулко, повторяя, в главных чертах, содержание своей первой лекции. Казалось, он совсем забыл об обещании разобрать наши стихи. Лица слушателей вытянулись. Осталось только четверть часа до конца лекции, а Гумилев все говорит и говорит. Но вдруг, не меняя интонации, он отодвигает портфель в сторону. — Не пора ли заняться этим? — и указывает своим непомерно длинным, похожим на бамбуковую палочку, указательным пальцем на листы со стихами. — Посмотрим, есть ли тут что-нибудь стоящее?

Неужели он начнет не с меня, а возьмет какой-нибудь другой лист? Я наклоняюсь и быстро трижды мелко крещусь. Только бы он взял мои «Таверны»!

Гумилев в раздумьи раскладывает листы веером.

— Начнем с первого, заявляет он. — Конечно, он не спроста положен первым. Хотя не окажется ли, по слову евангелиста, первый последним?

Он подносит лист с «Мирамарскими Тавернами» к самым глазам.

— Почерк, во всяком случае, прекрасный. Впрочем, не совсем подходящий для поэта, пожалуй. Не без писарского шика.

Я чувствую, что холодею. Зачем, зачем я не сама переписала свои стихи? А Гумилев уже читает их, как-то особенно твердо и многозначительно произнося слова, делая паузу между строками и подчеркивая рифмы. Мое сердце взлетает и падает с каждым звуком его гулко-го голоса. Наконец, он откладывает листок в сторону и снова скрещивает руки по-наполеоновски:

— Так, — произносит он протяжно. — Так! Подражание «Желанию быть испанцем». Кузьмы Пруткова: Торeadор, скорей, скорее в бой! Там ждет тебя любовь!

Он усмехается. Не улыбается, а именно усмехается. Не только злобно, — язвительно, но, как мне кажется, даже кровожадно.



В ответ — робкий, неуверенный смех. Несколько голов поворачиваются в мою сторону с удивлением. А Гумилев продолжает:

— До чего красиво! До чего картинно!

*Я надену черное сомбреро,
Я накину красный плащ...*

по-моему сомбреро и плащ одно и то же, но, может быть, ав-тор настоящий испанец и лучше знает?

Теперь уже громко смеются. Смеются почти все. Злорадно, предательски. Неужели у меня хватит сил вынести эту пытку? Неужели я не упаду в обморок? Нет, сил, как всегда, больше, чем думаешь. И я продолжаю слушать. Гумилев отодвигает рукав пиджака и смотрит на свои большие никелированные часы.

— К сожалению, время в Испании летит стрелой, — говорит он с комическим вздохом. — Приходится спешно покинуть гитан и гидальго. Аривидерчи! Буоно ноче! Или как это у вас, испанцев! — Он прищелкивает пальцами: — Олэ! Олэ! До следующей корриды!

Теперь хохочут все. До слез. До колик. — Олэ! Олэ! — несется отовсюду. Гумилев с презреньем отбрасывает мой листок и вынимает новый из середины стопки.

— Посмотрим, что тут такое?

Я сквозь шум в ушах слышу:

*Осенний ветер свистит в дубах,
Дубы шуршат, дубы вздыхают...*

Пять очень медленно прочитанных строф. И я их все выслушиваю.

— Что же? Довольно грамотно, — произносит Гумилев будто с сожалением, — Только скучное о скучном. Хотя и шуршащие, но дубовые стихи. — И он начинает зло критиковать их. Снова смеются. Но — или это мне только кажется — не так громко, не так предательски. И в голосе Гумилева нет издевательских, злорадных ноток, когда он говорит устало:

— А остальное разберем, если вы еще не убедились, что и разбирать не стоит — в следующий раз.

Он берет свой портфель и не выходит, а торжественно покидает класс. За ним бежит Тимофеев и сейчас же, давясь от смеха, доносит ему, что «испанские стихи принадлежат той рыженькой с бантом».

Об этом я узнала много позже. Но не от Гумилева. Как это ни странно, за все мои ученические годы Гумилев никогда не вспоминал о том, что он чуть было не зарезал меня. — Меня, свою лучшую ученицу. Гумилев притворялся, что так и не узнал, кому принадлежали высмеянные им испанские стихи. Я же притворялась, что верю этому.

Я давным-давно научилась смотреть на себя, ту прежнюю, —

*Как души смотрят с высоты
На ими брошенное тело.*

Разве это была я? И все-таки у меня и сейчас сжимается сердце, когда я вспоминаю, как я в тот снежный вечер возвращалась домой.

Я не помню, как я вышла из класса, спустилась по лестнице, прошла через сад и очутилась на улице.

Я помню только мрачные сумерки, снег и зловещее карканье ворон на углу Бассейной и Греческого.

Обыкновенно я весело кричала каркающим воронам: — На свои головы! На свои головы каркаете!

Но сейчас я молча слушала их карканье. Конечно, на мою голову. На чью же еще, кроме моей?

Дома меня встретили радостными расспросами. Но я, сбросив шубку прямо на пол — пусть другие вешают ее, если хотят — махнула рукой.

— Не пришел. Не пришел Гумилев! Напрасно целый час ждали. Не пришел! У меня голова болит. Я пойду лягу. И обедать не буду.

То, что я пожаловалась на головную боль — у меня никогда не болела голова — и главное то, что я пожелала лечь и не обедать, испугало моих домашних — а вдруг я заболела? И они заходили на носках и стали шопотом советовать, не позвать ли доктора.

У себя в комнате я заперла дверь на ключ и действительно легла. Легла, как ложатся в гроб, сказала я себе громко.

На следующий день я проснулась поздно. Лучше всего было умереть от горя и позора. Но раз умереть не удалось, надо продолжать жить.

Но как и чем? Ведь я жила только стихами.

И вот оказалось, что я ошиблась.

После вчерашнего возврата к поэзии быть не могло. С поэзией все покончено, раз и навсегда.

Я пролежала сутки в кровати, позволяя домашним ухаживать за собой. За это время я успела все обдумать и решить...



Вернувшись в «Живое Слово», я зажила прежней восхитительной, полной жизнью.

Я была почти счастлива.

«Почти» — ведь воспоминание о моем «позоре» все еще лежало, как тень на моей душе.

На лекции Гумилева я, конечно, не ходила. Мои друзья подерживали меня в моем решении навсегда «вычеркнуть» из памяти Гумилева. — Очень он вам нужен, подумаешь! Теперь они будто сговорившись осуждали его за тогдашнее. — Кто же не знает, что сомбреро — шляпа, а не плащ? — Но почему же вы хохотали? — спрашивала я. — Оттого, что он так смешно ломался. Мы не над вашими стихами, а над ним смеялись. Честное слово! Ей Богу! Неужели не верите?

Я качала головой. Нет, я не верила. И все-таки мне было приятно, что они так дружно осуждают Гумилева и по-прежнему восхищаются моими маркизами и гитанами.

Я перестала мечтать о славе, но снова начала писать стихи — в прежнем стиле, как бы назло Гумилеву.

Особенным успехом пользовалось мое стихотворение, кончавшееся строфой:

*Ни Гумилев, ни злая пресса
Не назовут меня талантом —
Я — маленькая поэтесса
С огромным бантом.*

Да, казалось, я примирилась с тем, что с поэзией все кончено, что я из поэта превратилась в «салонную поэтессу».

Я стала ревностно обучаться у Кони ораторскому искусству, слушала лекции Луначарского, Энгельгардта и самого Всеволодского, мне ставили голос. Но с наибольшим удовольствием, пожалуй, я занималась ритмической гимнастикой по Далькрозу. В ней, несмотря на полную немзыкальность, я чрезвычайно отличалась.

Всеволодский даже спросил меня и другую успешную далькрозистку, согласны ли мы отправиться на год в Швейцарию к Далькрозу — разумеется, на казенный счет.

Конечно, это был чисто риторический вопрос — никого из «Живого Слова» не отправили к Далькрозу. Но это свидетельство вало о планетарном размахе Всеволодского.

Хотя я и не ходила на лекции Гумилева, но я не могла не интересоваться тем, что на них происходит.

— Нет, разбора стихов больше не было. Никто больше не пожелал подвергаться такому издевательству. Но практические занятия — обучение как писать стихи — очень забавны.

Я жадно слушала.

— К следующему четвергу мы должны написать стихотворение на заданные рифмы, — рассказывает мне живословка, непохожая на остальных. Она — дама. И даже немолодая дама, годящаяся мне в матери. Очень милая, всем интересующаяся.

Она берет меня под руку и спокойно и уверенно убеждает меня:

— Вам непременно надо ходить на его занятия. Это просто необходимо. Вы многому научитесь у него. Забудьте обиду.

— Никогда! — упрямо отвечаю я. — Никогда в жизни!

Но я все же беру листок с рифмами, переписанными ею для меня. И соглашаюсь дать ей написанные мною стихи с тем, чтобы она выдала их за свои.

Ведь это меня ни к чему не обязывает. Я только проверю себя — могу ли я или не могу исполнить задание. Действительно ли я уже так безнадежно бездарна?

В тот же вечер я заперлась у себя в комнате и написала стихотворение, на данные Гумилевым рифмы:

*Нет, я не верю, что любовь обман.
Из дальних стран китаец косоглазый
Привез измены и греха заразы.
Позорной страстью дух твой обуян.*

*Но непроступны городские стены.
Сны наших жен белее моря пены.
Их верность — золото, их честь — гранит.
За синими мечети куполами,
За городом, за спящими садами,
Там, на заре, китаец твой убит.*

Я отдала его моей покровительнице — снова взяв с нее слово, что она выдаст его за свое.

И стала ждать, ни на что не надеясь.

А все-таки... Вдруг Гумилев похвалит его? Нет, этого не будет, уверяла я себя.



Но Гумилев действительно похвалил и даже расхвалил мое стихотворение.

Рифмы, оказалось, были взяты из его собственного усеченного сонета.

Гумилев сказал: — Этот сонет можно было бы напечатать. Он, право, не хуже моего. Он даже чем-то напоминает пушкинскую Черную Шаль. —

Я слушала и не верила. Гумилев не мог этого сказать. Я стала расспрашивать всех, и все повторяли одно и то же: «Можно напечатать. Похож на Черную Шаль». Что же это такое? Я недоумевала. Значит, я не бездарна? Значит, моя жизнь еще не кончена?..

Теперь, оглядываясь назад, мне ясно, что Гумилеву было известно, кто автор сонета, похожего на «Черную Шаль» и он, пожалев «рыженькую с бантом», снова «перегнул палку» уже в сторону чрезмерных похвал.

И все же я не пошла на следующую лекцию Гумилева. Я выдерживала характер. Хотя эта выдержка давалась мне нелегко.

Я, как тень металась по коридору мимо класса, где вел занятия Гумилев, и только из остатка самоуважения, не подслушивала у дверей.

И однажды случилось невероятное: Гумилев, окончив занятия, вышел раньше обыкновенного из класса и спустился по лестнице.

Я, сама не зная почему, стала тихо спускаться за ним. Он, надев свою доху и оленью ушастую шапку, не пошел к двери, а круто повернул, прямо на меня. Я, как это бывает во сне, почувствовала что окаменела и не могу двинуться с места.

— Почему вы больше не приходите на мои занятия? — спросил он, глядя на меня одним глазом, в то время, как другой глаз смотрел в сторону, будто внимательно разглядывая что-то.

И под этим двоящимся взглядом я не нашла в себе даже силы ответить. — Почему вы не приходите? — повторил он нетерпеливо. — Непременно приходите в следующий четверг в четыре часа. Мы будем вместе переделывать ямбы на амфибрахии. Вы знаете, что такое амфибрахии?

Я молча покачала головой.

— А знать необходимо. — Он улыбнулся и неожиданно прибавил: — Вас зовут Наташа.

Не вопрос, а утверждение.

Я снова покачала головой. — Нет. Совсем нет, — проговорила я быстро, холодея от ужаса за нелепое «совсем нет».

Гумилев по своему оценил мой ответ.

— Вы, мадемуазель, иностранка?

— Нет, я русская, ответила я с раскатом на р — ррусская. И будто очнувшись от этого картавого раската, бросилась от него вверх по лестнице, перепрыгивая через ступеньки.

— Так в четверг. Не забудьте, в 4 часа. Я вас жду, — донесся до меня его голос.

Забуть? Разве можно забыть? И разве я могла не пойти, когда он сказал — я вас жду!

И я в четверг уже сидела в классе, когда вошел Гумилев. В тот день я узнала, что такое амфибрахий.

И даже впервые услышала имя Георгия Иванова*.

Гумилев, чтобы заставить своих учеников запомнить стихотворные размеры, приурочивал их к именам поэтов — так Николай Гумилев был примером анапеста, Анна Ахматова — дактиля, Георгий Иванов — амфибрахия.

Но кто такой амфибрахический Георгий Иванов, я не знала, а Гумилев, считая нас сведущими в современной поэзии, не пояснил нам.

В тот же день мы переделывали «Птичку Божию» в ямбы:

*А птичка Божия не знает
Работы тяжелой и труда...*

и так далее.

и я с увлечением, забыв о прошлом, подыскивала слова.

С тех пор я стала постоянной посетительницей лекций Гумилева, но старательно избегала встречи с ним в коридоре.

Через месяц я уже понимала, что Гумилев был прав, что мои прежние стихи никуда не годятся и сожгла тетрадь, где они были записаны.

— «Вот эта синяя тетрадь с моими детскими стихами» — медленно горела в камине, а я смотрела, как коробятся и превращаются в пепел строки, бывшие мне когда-то так дороги.

Ведь Гумилев говорил: лучше все, что вы написали прежде, сжечь и забыть. Из огня, как феникс, должны восстать новые стихи.

* Иванов Георгий (1894–1958) — русский поэт, прозаик, публицист, переводчик, мемуарист; один из крупнейших поэтов русской эмиграции. Муж И. Одоевцевой.



Но мои новые стихи совсем не были похожи на феникса. Ни легкокрылости, ни полета в них не было. Напротив, они, хотя и соответствовали всем правилам Гумилева, звучали тяжело и неуклюже и давались мне с трудом. И они совсем не нравились мне.

Не нравились мне и стихи, сочиненные под руководством Гумилева на практических занятиях, вроде обращения дочери к отцу-дракону:

*Отец мой, отец мой,
К тебе семиглавый —
В широкие синие степи твои
Иду приобщиться немеркнувшей славы
Двенадцатизвездной твоей чешуи...*

И хотя я поверила Гумилеву, что «Испанцы и маркизы пошлость», но семиглавый дракон с двенадцатизвездной чешуей меня не очаровал. Гумилев сам предложил строчку — «Двенадцатизвездной чешуи», и она была принята единодушно. Все, что он говорил, было непреложно и принималось на веру.

Да, учиться писать стихи было трудно. Тем более, что Гумилев нас никак не обнадеживал.

— Я не обещаю вам, что вы станете поэтами, я не могу в вас вдохнуть талант, если его у вас нет. Но вы станете прекрасными читателями. А это уже очень много. Вы научитесь понимать стихи и правильно оценивать их. Без изучения поэзии нельзя писать стихи. Надо учиться писать стихи. Так же долго и усердно, как играть на рояле. Ведь никому не придет в голову играть на рояле, не учась. Когда вы усвоите все правила и проделаете бесчисленные поэтические упражнения, тогда вы сможете, отбросив их, писать по вдохновению, не считаясь ни с чем. Тогда, как говорил Кальдерон, вы сможете запереть правила в ящик на ключ и бросить ключ в море. Теперь же то, что вы принимаете за вдохновение, просто невежество и безграмотность.

Я ежилась от таких речей. Надо действительно быть всецело преданным поэзии, чтобы выдержать эту «учебу».

Я не пропускала ни одной его лекции и дома исписывала целые тетради всевозможными стихотворными упражнениями.

Сколько рондо, октав, газелл, сонетов я сочинила в те дни!

Был уже май месяц, когда Гумилев, войдя в класс, заявил:

— Сообщаю вам сенсационную новость: На днях открывается Литературная Студия, где, главным образом, будут изучать поэзию.

И он стал подробно рассказывать о Студии и называть имена писателей и поэтов, которые будут в ней преподавать.

— Вам представляется редчайший случай. Неужели вы не сумеете им воспользоваться? — Он оглядел равнодушные лица слушателей. — Боюсь, что никто, — и вдруг протянул руку, длинным пальцем указывая на меня, — кроме вас. Ваше место там. Я уже написал вас. Не протестуете?

Нет, я не «протестовала». Мне казалось, что звезды падают с потолка.

Гумилев был прав — из «Живого Слова» никто, кроме меня, не перешел в Литературную Студию.

Литературная Студия открылась летом 1919 года.

Помещалась она на Литейной в Доме Мурузи, в бывшей квартире банкира Гандельблата.

Подъезд дома Мурузи был отделан в мавританском стиле «под роскошную турецкую баню», по определению студистов.

Когда-то, как мне сейчас же сообщили, в этом доме жили Мережковский и Зинаида Гиппиус, но с другого подъезда, без восточной роскоши.

В квартире банкира Гандельблата было много пышно и дорого обставленных комнат. Был в нем и концертный зал с эстрадой и металлической мебелью, крытой желтым штофом.

В первый же день Гумилев на восхищенное восклицание одной студистки, ошупавшей стул — Да весь он из серебра. Из чистого серебра! — ответил тоном знатока: — Ошибаетесь. Не из серебра, а из золота. Из посеребренного золота. Для скромности. Подстать нам. Ведь мы тоже из золота. Только для скромности снаружи высеребрены.

«Мы» конечно относилось к поэтам, а не к студистам.

Впрочем, из студистов, не в пример живословцам, многие вышли в люди и даже в большие люди...

Ко времени открытия Студии Гумилев уже успел многому научиться и стать более мягким. Разбор стихов уже не представлял собой сплошного «Избиения младенцев». Ни Коле Чуковскому, ни Вове Познеру, ни Лунцу не пришлось пережить того, что пережила я.

Напротив, все для них сошло гладко и легко — как, впрочем, на этот раз и для меня.



На первой лекции Гумилева мы сами читали свои стихи и Гумилев высказывал снисходительные суждения.

Помню стихи, которые читал Коля Чуковский, его милое мальчишеское большеносое лицо, его удивительно чистую, белую рубашку, с разорванным от плеча рукавом.

Гумилев очень похвалил его стихи:

*Я плохо жил,
Я время лил, как воду*

и второе, начинавшееся:

*То не ангелы, то утки
Над рекой летят.*

— Вполне хорошо и главное небанально! — одобрил он важно. Очень похвалил он и Вову Познера, хорошенького черноглазого, черноволосого мальчика, даже еще более картавого, чем я.

Особенно ему понравились стихи Лунца. Впрочем, Лева Лунц не только нравился, но и поражал своей даровитостью — в Студии и в Университете. Он уже был студентом.

В тот день читала и я свой уже заранее, в «Живом Слове», одобренный Гумилевым, сонет:

*Всегда всему я здесь была чужою,
Уж вечность без меня жила земля,
Народы гибли и цвели поля,
Построили и разорили Троию...*

и так далее.

Вот это «построили и разорили Троию» и заслужило одобрение Гумилева.

— Сколько раз говорили о разорении Трои и никто, кроме вас, не вспомнил, что ее и «построили».

В тот день читались, конечно, и очень слабые стихи, но Гумилев воздерживался от насмешек и убийственных приговоров, ограничиваясь только кратким — «Спасибо. Следующий», — и отметкой на лежавшем перед ним листке.

Когда мы все — нас было не больше двадцати — прочли свои стихи, Гумилев объявил, что поделил нас на две группы — для успешности занятий. Я вместе с Чуковским, Познером и Лунцом попала в первую группу.

Но, забегая вперед, должна сказать, что и в Студии, в начале, как и в «Живом Слове», из лекций и практических занятий Гумилева получалось немного.

Хотя Гумилев победил уже свою застенчивость и сумел отделиться от «бесчеловечной жестокости выносимых им приговоров», но он еще не понимал своей аудитории, недооценивал ее критического отношения и ее умственного развития. Он старался во что бы то ни стало поразить ее воображение и открыть перед ней еще неведомые горизонты. Он не умел найти нужного тона и держался необычайно важно и торжественно.

И в Студии многие не выдерживали его «учебы». С каждой лекцией у Гумилева становилось все меньше слушателей.

Но Гумилев, сохраняя олимпийское величие, оглядывал редющие ряды своих слушателей: — Я очень рад, что никчемный элемент отпадает сам собой. Много званых, мало избранных? — и он поднимал, как бы призывая небо в свидетели, свою узкую руку.

В Студии занятия происходили ежедневно, и я, при всем желании, не могла совмещать их с «Живым Словом». Надо было сделать выбор. И я, конечно, выбрала Студию.

Все же, я не порывала с «Живым Словом» совсем, по-прежнему занимаясь ритмической гимнастикой, постановкой голоса... Гумилев продолжал свои лекции и практические занятия, в «Живом Слове» до конца 20-го года у него оставалось всего три-четыре слушателя — включая меня, бессменно присутствовавшую на его лекциях и занятиях.

К концу своей жизни он стал одним из самых популярных лекторов и всецело овладел искусством подчинять себе аудиторию...

* * *

Как началась моя дружба с Гумилевым? Но можно ли наши отношения назвать дружбой?

Ведь дружба предполагает равенство. А равенства между нами не было и быть не могло. Я никогда не забывала, что он мой учитель, и он сам никогда не забывал об этом.

Говоря обо мне, он всегда называл меня «Одоевцева — моя ученица».

Однажды Чуковский — к тому времени я уже стала самостоятельным поэтом, автором баллад и членом II-го Цеха — насмешливо предложил ему:



— Вместо того, чтобы всегда говорить «Одоевцева — моя ученица» привесьте-ка ей просто на спину плакат «Ученица Гумилева». Тогда всем без исключения будет ясно.

Да, дружбы между нами не было, хотя Гумилев в редкие лирические минуты и уверял меня, что я его единственный, самый близкий, незаменимый друг.

Его другом я, конечно, не была. Но у Гумилева вообще не было ни одного друга.

Ни в мое время, ни судя по его рассказам, и в молодости.

Были приятели, всевозможные приятели, начиная с гимназической скамьи, были однополчане, были поклонники и ученики, были женщины и девушки, влюбленные в него и те, в которых он — бурно, но кратковременно — влюблялся.

Был Синдик Сергей Городецкий, деливший с Гумилевым власть в Первом Цехе Поэтов, члены Цеха и аполлонцы, — Осип Мандельштам, Мишенька Кузмин, Георгий Иванов и остальные. Ближе всех других ему был, пожалуй, Лозинский.

С ними всеми, как и многими другими, Гумилев был «на ты». Он вообще, несмотря на свою чопорность и церемонность, удивительно легко переходит «на ты».

С поэтами москвичами отношения оставались более далеки — даже с теми, которых он, как Ходасевича и Белого, очень высоко ставил.

Тогда, в начале лета девятнадцатого года, я и мечтать не смела, что скоро, очень скоро, я не только буду здороваться «за руку» с Гумилевым, но что Гумилев будет провожать меня домой.

В Студии занятия, в отличие от «Живого Слова», происходили не вечером, а днем, и кончались не позже шести часов.

Только что кончилась лекция Гумилева, и я в вестибюле надевала свою широкополую соломенную шляпу — несмотря на революцию мы не выходили из дома без шляпы. И даже без перчаток. Перчаток у меня было множество — целые коробки и мешки почти новых, длинных бальных перчаток моей матери, сохранявшихся годами аккуратно, «на всякий случай». И вот, действительно, дождавшиеся «случая».

Я перед зеркалом заправляла бант под шляпу и вдруг увидела в рамке зеркала, рядом со своим лицом улыбающееся лицо Гумилева.

От удивления я, не оборачиваясь, продолжала смотреть в зеркало на него и на себя, как будто это не наши отражения, а наш общий портрет.

Это, должно быть, длилось только мгновение, но мне показалось, что очень долго.

Лицо Гумилева исчезло из зеркала и я обернулась.

— Вы, кажется, — спросил он, — живете в конце Бассейной? А я на Преображенской. Нам с вами по дороге, не правда ли?

И не дожидаясь моего ответа, он отворил входную дверь, пропустив меня вперед.

Я иду рядом с Гумилевом. Я думаю только о том, чтобы не споткнуться, не упасть. Мне кажется, что ноги мои невероятно удлинились, будто, я, как в детстве, иду на ходулях. Крылья за плечами? Нет, я в тот первый день не чувствовала ни крыльев, ни возможности лететь. Все это было, но потом, не сегодня, не сейчас.

Сейчас — я совершенно потрясена. Это слишком неожиданно. И это скорее мучительно.

Гумилев идет со мной рядом, смотрит на меня, говорит со мной, слушает меня.

Впрочем, слушать ему не приходится. Я молчу или односложно отвечаю: да и нет.

Кровь громко стучит в моих ушах, сквозь ее шум доносится глухой голос Гумилева.

— Я несколько раз шел за вами и смотрел вам в затылок. Но вы ни разу не обернулись. Вы должно быть не очень нервны и не очень чувствительны. Я — на вашем месте — не мог бы не обернуться.

Я еще более смущаюсь от упрека — поэты нервны и чувствительны и он бы на моем месте...

— Нет, говорю я. — Я нервна. Я очень нервна.

И будто в доказательство того, что я действительно очень нервна, руки мои начинают дрожать и я роняю свои тетрадки на тротуар. Тетрадки и листы разлетают веером у моих ног. Я быстро нагибаюсь за ними и стукаюсь лбом о лоб тоже нагнувшегося Гумилева. Шляпа слетает с моей головы и ложится рядом с тетрадками.

Я стою красная, не в силах пошевелиться от ужаса и стыда.

Все погибло. И навсегда...

Убежать, не попрощавшись? Но я застыла на месте и бессмысленно слежу за тем, как Гумилев собирает мои записки и аккуратно складывает их. Он счищает пыль с моей шляпы и протягивает ее мне.

— Я ошибся. Вы нервны. И даже слишком. Но это пройдет.

*Бывают головокруженья
У девушек и стариков*

цитирует он самого себя: — Наденьте шляпу. Ну, идите!

И я снова шагаю рядом с ним. Он, как ни в чем не бывало, говорит о движении на парижских улицах и как трудно их пересекать.

— А у нас теперь благодать, иди себе по середине Невского, никто не наедет. Я стал великим пешеходом. В день верст двадцать делаю. Но и вы ходите совсем недурно. И в ногу, что очень важно.

Я не заметила, что иду с ним в ногу. Мне казалось, напротив, что я все время сбиваюсь с шага.

Возле пустыря, где прежде был наш Бассейный рынок, я оста-навливаюсь. Раз Гумилев живет на Преображенской, ему надо здесь сворачивать направо.

Но Гумилев продолжает шагать.

— Я провожу вас и донесу ваши тетрадки. А то, того и гляди, вы растеряете их по дороге.

И вдруг совершенно неожиданно добавляет: — Из вас выйдет толк. Вы очень серьезно занимаетесь и у вас большие способности.

Неужели я не ослышалась? Неужели он, действительно, ска-зал: У вас большие способности? Из вас выйдет толк?

— До завтра, — говорит Гумилев.

Завтра? Но ведь завтра у него в Студии лекции нет. Только че-рез три дня, в пятницу. Не до завтра, а до после-после завтра, но я говорю только:

— До свиданья, Николай Степанович. Спасибо!

Спасибо за проводы и главное за «из вас выйдет толк». Неуже-ли он действительно, думает, что из меня может выйти толк?

Я вхожу в подъезд нашего дома, стараясь держаться спокойно и благовоспитанно. Я не позволяю себе оглянуться. А вдруг он смо-трит мне вслед?

Но на лестнице сразу исчезают моя сдержанность и благовос-питанность. Я перескакиваю через три ступеньки. Я нетерпеливо стучу в дверь — звонки давно не действуют.

Дверь открывается.

— Что ты так колотишь? Подождать не можешь? Пожар? По-топ? Что случилось?

— Случилось! — кричу я, — случилось! Гумилев! Гумилев...

— Что случилось с Гумилевым?

— Гумилев меня проводил! — кричу я в упоении.

Но моя мать не понимает.

— Ну и?..

Как «ну и...»? Разве это не чудо? Не торжество?

Я бегу в залу, кружусь волчком по паркету, ношусь взад и вперед большими «парадными», далькрозированными прыжками, чтобы как-нибудь выразить свой восторг. И вдруг на бегу поджимаю ногу и падаю навзничь. Этому меня тоже научила ритмическая гимнастика. Это совсем не опасно. Но моя мать в отчаянии.

— Сумасшедшая! Спину ломаешь. Довольно, довольно!... Успокойся!...

Но я ничего не слышу. Я в экстазе, в пароксизме радости.

Такой экстаз, такой пароксизм радости я видела только раз в моей жизни, много лет спустя, в фильме «La ruee vers l'or» — Чаплин от восторга выпускает пух из подушек и, совсем как я когда-то, неистовствует.

Успокойся!.. Но разве можно успокоиться? И разве можно будет сегодня ночью уснуть? И как далеко до завтра, до после-после завтра!..

Но уснуть все же удается. И завтра очень скоро наступает. И в Студии все идет совсем обыкновенно — лекция Чуковского. Лекция Лозинского. И вот уже конец. И надо идти по той самой дорожке, где вчера...

Я нарочно задерживаюсь, чтобы одной возвратиться домой, чтобы все снова пережить. Вот тут, в вестибюле, он сказал: — Нам по дороге, и распахнул дверь, и снял шляпу, пропуская меня, будто я важная дама. До чего он вежлив и церемонен...

Я иду по тому же тротуару, по которому я вчера шла вместе с Гумилевым, и повторяю: — «Из вас выйдет толк...».

Мне кажется, что Гумилев все еще идет рядом со мной. Как глупо я вела себя вчера. Вряд ли он еще раз захочет проводить меня домой. Но и этого единственного раза и воспоминаний о нем мне хватит надолго. На очень долго.

— О чем вы так задумались?

Я подымаю глаза и вижу Гумилева. Он стоит в своем коричневом поношенном пиджаке, в фетровой шляпе, с портфелем подмышкой прислонившись к стене, так спокойно, будто он у себя дома, а не на улице.

— Как вы долго не шли. Я жду вас тут уже кусочек вечности.



— Отчего?.. — спрашиваю я только.

Но это значит, отчего вы меня ждете? И он понимает.

— Я возвращался после лекции у красноармейцев. Очень славные красноармейцы. Ведь я вчера сказал вам — до завтра, помните? А я всегда держу слово. Вы в этом убедитесь, когда вы меня лучше узнаете... Вы ведь меня еще совсем не знаете.

Да, я тогда действительно еще совсем не знала его.

С этого дня я стала его узнавать — все лучше и лучше. Я все же ни тогда, ни теперь не могу сказать, что знала его совсем, до конца.

Кто был Гумилев?

Поэт, путешественник, воин, герой — это его официальная биография, и с этим спорить нельзя.

Но... но из четырех определений мне хочется сохранить только «поэт». Он был прежде всего и больше всего поэтом. Ни путешественника, ни воина, ни даже героя могло не выйти из него — если бы судьба его сложилась иначе. Но поэтом он не мог не быть.

Он сам говорил: — Я родился поэтом, а не стал им, как другие. Мои самые далекие детские воспоминания уже свидетельствуют об этом. Мое мироощущение всегда было поэтическим. Я был действительно

*Колдовской ребенок,
Словом останавливавший дождь...*

Гумилев утверждал, что стихотворение тем богаче и совершеннее, чем больше разнообразных и даже противоречивых элементов входят в него.

Если это определение отнести не к стихотворению, а к поэту — Гумилев был совершенным поэтом. Сколько в нем совмещалось разнообразных элементов и противоречивых черт.

Знал ли кто-нибудь Гумилева по-настоящему, до конца? Мне кажется — нет. Никто.

Гумилеву очень нравилось, что я старалась никому не подражать. Никому. Даже Ахматовой. Особенно Ахматовой.

И в «Живом Слове» и в Студии слушательницы, в своих стихотворных упражнениях, все поголовно подражали Ахматовой, властительнице их дум и душ.

Но как часто бывает, слишком страстное увлечение принесло поклонницам Ахматовой не только добро, но и зло.

Они вдруг поняли, что они тоже могут говорить «о своем, о женском». И они заговорили.

На лекциях Гумилева мне пришлось быть свидетельницей безудержного потока подражаний Ахматовой.

Чаще всего эти подражания принимали даже несколько комический оттенок и являлись попросту перепевами и переложениями стихов «Четок». В них непременно встречалась несчастная любовь, муж, сын или дочка. Ведь в «Умер вчера сероглазый король» говорилось о дочке.

Так, семнадцатилетняя Лидочка Р, краснея и сбиваясь, читала высоким, срывающимся голосом перед Гумилевым, царственно восседавшим на кафедре:

*«Сердце бьется медленно, устало,
На порог я села на крыльцо.
Я ему сегодня отослала
Обручальное кольцо».*

Лицо Гумилева выражает удивление. Он пристально вглядывается в нее.

— Никак не предполагал, что вы уже замужем. Позвольте узнать — давно?

Лидочка Р. еще сильнее краснеет.

— Нет. Я не замужем, нет!

Гумилев недоумевающе разводит руками:

— Как же так? Помилуйте. Кому же вы отослали кольцо? Жениху? Любовнику?..

Лидочка закусывает нижнюю губу в явном, но напрасном усилии не расплакаться и молчит.

— А, понимаю! — продолжает Гумилев, — Вы просто взяли мужа, как и крыльцо из ахматовского реквизита. Ах, вы бедная подахматовка!

«Подахматовками» Гумилев называл всех неудачных подражательниц Ахматовой.

— Это особый сорт грибов-поганок, растущих под «Четками» — объяснял он — подахматовки. Вроде мухоморов.

Но несмотря на издевательства Гумилева, «подахматовки» не переводились.

Уже не Лидочка Р, а другая слушательница, самоуверенно продекламировала однажды:

*«Я туфлю с левой ноги
На правую ногу надела».*



— Ну и как? — прервал ее Гумилев. — Так и доковыляли до-
мой? Или переобулись в ближайшей подворотне?

Но, конечно, многие подражания были лишены комизма и не
служили причиной веселья Гумилева и его учеников. Так строки:

*«Одною болью стало больше в мире
И в небе новая зажглась звезда»...*

даже удостоились снисходительной похвалы мэтра.

— Если бы не было: «Одной улыбкой меньше стало. Одною
песней больше будет», — прибавил он.

* * *

Мы с Гумилевым часто ходили гулять не только летом, но
и осенью и даже зимой.

В Летнем Саду мы бывали редко. Летний Сад был гораздо
дальше, хотя в то время мы «расстоянием не стеснялись». Сейчас
кажется совершенно невероятным, что мы, проделывавшие
не меньше пятнадцати верст в день, еще находили силы для про-
гулок — силы и охоту.

Таврический Сад. Снег скрипит под ногами. Как тихо, как без-
людно. Мы одни. Кроме нас нет никого. Ни у кого нет ни времени,
ни желания гулять. Только мы и вороны на снежных деревьях.

Гумилев читает свои стихи:

*Все чисто для чистого взора.
И царский венец и суму,
Суму нищеты и позора
Я все беспечально возьму..*

И тем же тоном: — Воронам не нравится. Вот они и каркают.

— Вороны глупы и ничего не понимают в стихах, — говорю
я. — На свою голову каркают! На свою!...

Мы подходим к пруду и держась друг за друга, спускаемся
на лед.

— Здесь я когда-то каталась на коньках.

— Совсем не нужно коньков, чтобы кататься — заявляет Гу-
милев, — и начинает выделывать ногами замысловатые фигуры,
подражая конькобежцам, но, поскользнувшись, падает в сугроб.
Я стою над ним и смеюсь, он тоже смеется и не спешит встать.

— Удивительно приятно лежать в снегу. Тепло и уютно. Чувствую себя настоящим самоедом в юрте. Вы идите себе домой, а я здесь останусь до утра.

— Конечно — соглашаюсь я, — Только на прощание спрошу вас:

*В самом белом, в самом чистом саване
Сладко спать тебе, матрос?*

И уйду. А завтра

*над вашим смертным ложем
Взовьется тучей воронье...*

Но он уже встает, забыв о своем желании остаться лежать в сугробе до утра, отряхает от снега доху и спрашивает недовольным тоном.

— Почему вы цитируете Блока, а не меня?

Мы выбираемся на берег. Еще день и совсем светло. Но на бледно-сером зимнем небе из-за оснеженных деревьев медленно встает большая круглая луна. И от нее в саду еще тише, еще пустыннее. Я смотрю, не отрываясь, на луну. Мне совсем не хочется больше смеяться. Мне грустно, и сердце мое сжимается как от предчувствия горя. Нет, у меня никогда не будет горя! — Это от луны — уговариваю я себя. И будто бессознательно желая задобрить луну, протягивая к ней руки, говорю:

— Какая прелестная луна!

— Очень она вам нравится? Правда? Тогда мне придется... Вы ведь знаете — важно заявляет он — мне здесь все принадлежит. — Весь Таврический Сад и деревья и вороны и луна. Раз вам так нравится луна, извольте...

Он останавливается, снимает оленью ушастую шапку и отвешивает мне церемонный поклон — Я вам луну подарю. Подарок такой не снился египетскому царю.

Много лет спустя, уже после войны в Париже, я вставила его тогдашние слова в свои стихи.

*А третий мне поклонился,
Я вам луну подарю.
Подарок такой не снился
Египетскому царю.*



Сделав мне такой царский подарок, Гумилев не забыл о нем, а часто вспоминал о своей щедрости.

— Подумайте только, кем вы были и кем вы стали. Ведь вам теперь принадлежит луна. Благодарны ли вы мне?

Да, я была ему благодарна. Я и сейчас еще благодарна ему.

Гумилев был моим настоящим учителем и наставником. Он занимался со мной каждый день, давал мне книги поэтов, мне до тех пор знакомых только по имени, и требовал от меня критики прочитанного. Он был очень строг и часто отдавал мне обратно книгу.

— Вы ничего не поняли. Прочтите-ка еще и еще раз. Стихи не читают, как роман. И, пожимая плечами, добавлял. — Неужели я ошибся в вас?

Чтобы доказать ему, что он не ошибся, я просиживала часами над стихами, не нравившимися или непонятными мне, стараясь вникнуть в них.

Так я, благодаря Гумилеву, узнала и изучила всевозможных поэтов — не только русских, но и английских, французских и даже немецких, хотя сам Гумилев немецкого языка не знал. И помнил по-немецки только одну строку, которую приписывал Гейне:

«Их бин дер гот дер музика» —

Этот «Гот дер музика», как единственный пример немецкого стихосложения часто вспоминался им.

Книг у Гумилева было множество. Ему удалось с помощью своих слушателей красноармейцев привезти из Царского Села свою библиотеку.

Но мне доказать, что Гумилев «не ошибся» во мне, было иногда не по силам. Так, однажды он достал с полки том Блэйка и протянул его мне. С Блэйком я была знакома с детства и собиралась уже удивить Гумилева своим познаниями:

— Tiger, tiger in the wood... начала я. Но Гумилев, не обратив внимания на «тайгера», открыл книгу.

— Вот тут я не совсем понимаю. Вы лучше знаете английский, чем я. Читайте вслух и переводите.

И я послушно стала читать. Я читала и ничего не понимала. Какие-то философские термины, какие-то математические исчисления, извлечение корней — тут же нарисованных. Отдельные понятные слова в непонятном сочетании. Я с трудом прочла полстраницы и остановилась.

— Ну, переводите же!

— Не могу, Николай Степанович. Я ничего не понимаю.

— Почему же вы не понимаете?

— Оттого, что слишком сложно. Я даже не поняла, о чем это.

Гумилев разочарованно развел руками и свистнул.

— Вот так-так! Значит вы невежественны, как карп?

Я киваю.

— Даже невежественнее карпа, повидимому, — ничего не понимаю.

— А я всегда был уверен, что поэты самые умные из людей, и что философию они постигают, не учась ей. Что ж я, повидимому, ошибся. Я очень ошибся в вас.

Я мигаю обиженно и морщу нос.

— Ах, пожалуйста, — неожиданно раздражается Гумилев, — не вздумайте плакать. Если посмеете заплакать, я с вами перестану заниматься. Кисейные недотроги, обижающиеся на каждое слово, не могут быть поэтами. Поняли? Запомнили?

Я поняла и даже кивнула в знак того, что запомнила.

— Ну, вот и отлично — одобрил меня Гумилев, — Но неужели вы совсем не знаете философии? Ведь философия необходима поэту. Неужели вы не читали «Критики чистого разума» Канта?

— Не читала — сознаюсь я. — Пробовала, но не поняла.

— И Шопенгауэра не читали? И Ницше?

— Не читала.

— Неужели? — Левый глаз Гумилева с недоверием уставляется на меня, правый с таким же недоверием и любопытством смотрит в огонь печки.

— Даже забавно. Но ничего. Мы это исправим. — Он встает, идет в спальню и возвращается, держа в руке книгу в синем сафьяновом переплете.

— Начнем с Ницше. К тому же он еще и поэт. Это совсем легко, увидите. Легко и понятно. Вот вам — «Так говорил Заратустра». Если и это не поймете, ну тогда я, действительно, ошибся.

Но я поняла. И Гумилев в награду подарил мне своего «Так говорил Заратустра» в сафьяновом переплете, сделав на нем в шутку неприятную надпись из «Бориса Годунова».

*Учись, мой сын, наука сокращает
Нам опыты быстротекущей жизни.*



Этот Ницше прибыл со мной в эмиграцию и погиб только во время бомбардировки нашего дома в Биаррице в 1944 году.

Ницше я прочла без особого труда. Прочла я и «По ту сторону добра и зла» и все книги Ницше, бывшие у Гумилева.

Ницше — знакомство с ним помогло мне многое понять в самом Гумилеве. Я поняла, что Ницше имел на него огромное влияние — что его напускную жестокость, его презрение к слабым и героический трагизм его мироощущения были им усвоены от Ницше.

И часто потом я подмечала, что он сам, не отдавая себе в этом отчета, повторял мысли Ницше.

Он говорил:

— «Герои и великие поэты появляются во времена страшных событий, катастроф и революций. Я это чувствую».

Или:

— «В каком-то смысле мне иногда хочется, чтобы люди стали еще злее и мир еще более ужасным и страшным. Люди, не умеющие переносить несчастье, возбуждают во мне презрение, а не сочувствие».

Но я знала, что это только поза, только игра в бессердечие и жестокость, что на самом деле он жалостлив и отзывчив. И даже сентиментален.

Как он любил вспоминать свое детство! У него теплел голос и менялось выражение лица, когда он произносил:

— Я был болезненный, но до чего счастливый ребенок...

— Мое детство было до странности волшебным, — рассказывал он мне. Я был действительно колдовским ребенком. Я жил в каком-то мною самим созданном мире, еще не понимая, что это мир поэзии. Я старался проникнуть в тайную суть вещей воображением. Не только вещей, но и животных. Так у нашей кошки — Мурки — были крылья и она ночами улетала в окно, а собака моей сводной сестры, старая и жирная, только притворялась собакой, а была — это я один знал, — жабой. Но и люди вокруг меня были не тем, чем казались, что не мешало мне их всех — зверей и людей — любить всем сердцем. Мое детское сердце. Для поэта важнее всего сохранить детское сердце и способность видеть мир преображенным.

О своем детстве он мог говорить без конца.

— Детство самая главная, самая важная часть жизни. У поэта непременно должно быть очень счастливое детство. И, подумав, добавлял:

— Или очень несчастное. Но никак не скучное, среднее, серое. Я родился поэтом, а не стал им, как другие. Да, я действительно был колдовской ребенок, маленький маг и волшебник. Таким я сам себя считал. Тогда уже во мне возникло желание воплотить

*мечту мою,
Будить повсюду обожанье.*

В сущности это ключ к пониманию меня. Меня считают очень сложным, но это неправильно — я прост. Вот когда вы меня хорошо узнаете, вы поймете, до чего я прост.

«Когда вы меня хорошо до конца узнаете...»

Но мне, повторяю, несмотря на наши почти ежедневные встречи, так и не удалось его узнать — до конца.

Мы возвращаемся из Таврического Сада.

— Я в молодости был ужасным эстетом и снобом, — рассказывает Гумилев, — я не только носил цилиндр, но завивал волосы и надевал на них сетку. И даже подкрашивал губы и глаза.

— Как? Не может быть! Конквистадор в панцире железном, африканский охотник подкрашивался, мазался?

Должно быть, в моем голосе звучит негодование.

Гумилев отвечает не без обиды.

— Да, представьте себе — мазался. Тогда это, с легкой руки Кузмина, вошло в моду, хотя это вас и возмущает. Почему одним женщинам позволено исправлять природу, а нам запрещено? При дворе Генриха III-го мужчины красились, душились и наряжались больше женщин, что не мешало им быть бесстрашными и храбрыми как львы.

— Нет, все-таки противно, — говорю я. — И у вас наверно был презабавный вид.

Гумилев недовольно пожимает плечами.

— Другая эпоха, другие вкусы. Мы все были эстетамы. Ведь не я один. Много поэтов тогда подкрашивалось. Теперь мне это и самому смешно. Но тогда очень нравилось — казалось необычайно смело и остро. Впрочем, я все это бросил давно, еще до женитьбы на Ахматовой.

Мы продолжаем идти и он снова «погружается в воспоминания»:

— Я ведь всегда был снобом и эстетом. В четырнадцать лет я прочел «Портрет Дориана Грея» и вообразил себя лордом Генри. Я стал придавать огромное значение внешности и считал себя



очень некрасивым. И мучился этим. Я действительно должно быть был тогда некрасив — слишком худ и неуклюж. Черты моего лица еще не одухотворились — ведь они с годами приобретают выразительность и гармонию. К тому же, как часто у мальчишек, ужасный цвет кожи и прыщи. И губы очень бледные. Я по вечерам запер дверь и, стоя перед зеркалом, гипнотизировал себя, чтобы стать красавцем. Я твердо верил, что могу силой воли переделать свою внешность. Мне казалось, что я с каждым днем становлюсь немного красивее. Я удивлялся, что другие не замечают, не видят, как я хорошею. А они, действительно, не замечали.

Я в те дни был влюблен в хорошенькую гимназистку Таню. У нее, как у многих девочек тогда, был «заветный альбом с опрочными листами». В нем подружки и поклонники отвечали на вопросы: Какой ваш любимый цветок и дерево? Какое ваше любимое блюдо? Какой ваш любимый писатель?

Гимназистки писали — роза или фиалка. Дерево — береза или липа. Блюдо — мороженое или рябчик. Писатель — Чарская.

Гимназисты предпочитали из деревьев дуб или ель, из блюд — индюшку, гуся и борщ, из писателей — Майн Рида, Вальтер Скота и Жюль Верна.

Когда очередь дошла до меня, я написал не задумываясь: Цветок — орхидея. Дерево — баобаб, писатель — Оскар Уайльд. Блюдо — Канандер.

Эффект получился полный. Даже больший, чем я ждал. Все ступевались передо мною. Я почувствовал, что у меня больше нет соперников, что Таня отдала мне свое сердце.

И я, чтобы подчеркнуть свое торжество, не стал засиживаться, а отправился домой, сопровождаемый нежным, многообещающим взглядом Тани.

Дома я не мог сдержаться и поделился с матерью впечатлением, произведенным моими ответами. Она выслушала меня внимательно, как всегда.

— Повтори, Коленка, какое твое любимое блюдо. Я не слышала.

— Канандер — важно ответил я.

— Канандер? — недоумевающая переспросила она.

Я самодовольно улыбнулся: — Это, мама — разве ты не знаешь? — французский очень дорогой и очень вкусный сыр.

Она всплеснула руками и рассмеялась.

— Камамбер, Коленька, камамбер, а не канандер!

Я был потрясен. Из героя вечера я сразу превратился в посмешище. Ведь Таня и все ее приятели могут спросить, узнать о канандере. И как она и они станут надо мной издеваться. Канандер!..

Я всю ночь думал, как овладеть проклятым альбомом и уничтожить его. Таня, я знал, держала его в своем комодике под ключом.

Проникнуть в ее комнату, взломать комод и выкрасть его невозможно — у Тани три брата, родители, гувернантка, прислуга — к ней в комнату не проскользнешь незамеченным.

Поджечь ее дом, чтобы проклятый альбом сгорел? Но квартира Тани в третьем этаже и пожарные потушат пожар прежде, чем огонь доберется до нее.

Убежать из дому, поступить юнгой на пароход и отправить в Америку или Австралию, чтобы избежать позора? Нет, и это не годилось. Выхода не было.

К утру я решил просто отказаться от разделенной любви, вычеркнуть ее из своей жизни и больше не встречаться ни с Таней, ни с ее приятелями. Они, к счастью, все были не в одном со мною классе и мне не стоило большого труда избегать их.

Но все это оказалось тщетной предосторожностью. Никто из них, повидимому, не открыл, что такое «канандер». Нелюбопытные были дети. Неинтеллигентные.

Таня напрасно присылала мне розовые записки с приглашением то на именины, то на пикник, то на елку. Я не удостоивал их ответом. А на гимназическом балу она прошла мимо меня, не ответив на мой поклон.

— А вы все продолжали ее любить? — спрашиваю я.

Он машет рукой.

— Какое там. Сразу, как ножом отрезало. От страха позора прошло бесследно. У меня в молодости удивительно быстро проходила влюбленность.

— Не только в молодости, но и сейчас, кажется, Николай Степанович, — замечаю я насмешливо.

Он весело кивает.

— Да, что греха таить. На бессмертную любовь я вряд ли способен. Хотя, кто его знает? Голову на отсечение не дам. Ведь и сам Дон Жуан до встречи...

Но о Дон Жуане он в тот день не успевает мне ничего рассказать.



Прямо перед нами толпа прохожих. На что они смотрят? Мы подходим ближе и видим яростно грызущихся собак, грызущихся не на жизнь, а на смерть. Они сцепились так, что кажутся большим, оглушительно рычащим, катающимся по мостовой клубком черно-рыжей, взъерошенной шерсти. Прохожие кричат и суется вокруг них.

— Воды! Притащите воды. Надо их разлить. А то загрызут друг друга.

— Откуда достать воды?

— А жаль, красивые, здоровые псы! Ничего с ними не поделаешь.

Кто-то боязливо протягивает руку, стараясь схватить одну из собак за ошейник.

— Осторожно! Разъярились псы, осатанели, отхватят руку! Их бы из рогатки, тогда пожалуй!.. Или оглоблей.

— Если бы мы были в Англии, — говорит Гумилев тут уже начали бы пари держать. Кто за черного, кто за рыжего. Азартный народ англичане.

Гумилев выпрямляется и тем же шагом идет прямо на грызущихся собак.

— А я готов пари держать, что псиный бой кончится в ничью.

— Николай Степанович! — я не успеваю удержать его за полу дохи. — Ради Бога, не трогайте их!

Он властным жестом раздвигает прохожих и они расступаются перед ним, — и вдруг, он не оставиваясь, а продолжая спокойно идти, со всех сил бьет ногой в кружащихся на снегу, сцепившихся мертвой хваткой собак.

Мгновенье и собаки, расцепившись, отскакивают друг от друга и с своим стремглав, поджав хвосты, бросаются в разные стороны.

И вот их уже не видно.

А Гумилев так же спокойно, не устаивая вниманием всеобщее одобрение прохожих, возвращается ко мне.

— Этому приему я научился еще у себя в имении. У нас там злющие псы овчарки. Надо только правильно удар рассчитать, — говорит он с напускным равнодушием, но я вижу, что он очень горд одержанной победой. Будто он разнял дерущихся львов, рискуя жизнью.

— Я так испугалась. Ведь они могли вас разорвать на куски, вы просто герой, Николай Степанович!

Он снисходительно улыбается мне.

— Ну, уж и герой!.. Скажете тоже...

* * *

В тот вечер Гумилев позвонил мне по телефону, предупреждая меня, что если я ничем не занята, он зайдет ко мне через час.

Я ничем не была занята, но если бы у меня не было ни минуты свободной, я все равно ответила бы: — Конечно, приходите! Я страшно рада.

Гумилев очень редко пользовался телефоном и то, что он позвонил мне, меня действительно страшно обрадовало. Я не видела его несколько дней. Он уезжал в Бежецк к матери и жене и только сегодня вернулся.

Я, ради такого исключительного случая, решила затопить камин в кабинете. Обыкновенно у нас топилась только «буржуйка» в столовой. У Гумилева камина не было, а ему очень нравилось сидеть на медвежьей шкуре, глядя в огонь камина.

— До чего приятно, — говорил он, жмурясь от удовольствия, — будто меня шоколадным тортом угощают.

Я заняла у наших соседей четыре полена, с обещанием отдать шесть поленьев на будущей неделе. Ростовщические условия, но я согласилась на них.

Гумилев пришел вовремя. Он всегда был очень точен и ненавидел опаздывать. — Пунктуальность — вежливость королей и, значит и поэтов, ведь поэты короли жизни — объяснял он, снимая свою оленью доху и ушастую шапку, известную всему Петербургу.

В те дни одевались самым невероятным образом. Поэт Пяст, например, всю зиму носил канотье и светлые клетчатые брюки, но все же гумилевский зимний наряд бил все рекорды оригинальности.

Мы уселись в кабинете перед камином. Он был очень доволен своей поездкой и рассказывает мне о ней.

— Как быстро растут дети. Леночка уже большая девочка, бегает, шумит и капризничает, Она и Левушка, как две капли воды, похожи на меня. Они оба разноглазые.

«Разноглазые», т. е. косые. Меня это скорее огорчало за них. Особенно за Леночку. Бедная Леночка! А ее мать такая хорошенькая.

— Левушка очень милый и умный мальчик, а Леночка капризна. Знаете, мне иногда трудно поверить, что это мои дети, что я их отец. Отец — как-то совсем не приложимо ко мне. Совсем не подходит. Я хотел бы вернуться в детство.



Peut-on jamais guerir de son enfance?

Как это правильно. Мне, слава Богу, не удалось «guerir de mon enfance».

Он поправляет дрова в камине, хотя они сухие и хорошо горят. Но ему всегда хочется, чтобы пламя было еще ярче и дрова еще скорее сгорали. Он говорит, задумчиво глядя в огонь.

— Ничто так не помогает писать стихи, как воспоминания детства. Когда я нахожусь в особенно творческом состоянии, как теперь, я живу будто двойной жизнью: наполовину здесь, в сегодняшнем дне, наполовину там, в прошлом, в детстве. В особенности ночью.

Во сне — не странно ли — я постоянно вижу себя ребенком. И утром, в те короткие таинственные минуты между сном и пробуждением, когда сознание плавает в каком-то сиянии, я чувствую, что сейчас, сейчас в моих ушах зазвучат строчки новых стихов. Но, конечно, иногда это предчувствие обманывает. И сколько ни бьешься, ничего не выходит.

И все же это ощущение, если его только уметь сохранить, помогает потом весь день. Легче работать и веселее дышать.

Хорошо тоже вспоминать вслух свое детство. Тогда переживаешь его острее от желания заставить другого почувствовать то же, что чувствую я. Но это редко удается. Трудно найти настоящего слушателя, способного действительно заинтересоваться чужим детством. Сейчас же начнутся бесконечные банальные рассказы. — Он поворачивается ко мне — А вот мне Бог послал ваши уши — добавляет он полунасмешливо. — Всегда готовые меня слушать уши. Это очень приятно. Ведь все хотят говорить не «обо мне и о тебе», как полагается в идеальной беседе, а «обо мне и о себе». Слушать никто никого не желает. За уши я вас больше всего и ценю. За хорошие уши, умеющие слушать.

Да, я умела слушать. Не только слушать, но и переживать вместе с ним его воспоминания. И запоминать их навсегда.

Он подбрасывает новое полено в камин, последнее полено. Но в моем «дровяном запасе» еще сломанный стул и два ящика. Следовательно, можно не жалеть о полене.

— Меня очень баловали в детстве, — продолжает Гумилев. — Больше, чем моего старшего брата.

Он был здоровый, красивый, обыкновенный мальчик, а я — слабый и хворый. Ну, конечно, моя мать жила в вечном страхе за меня и любила меня фантастически, так,

*Как любит только мать
И лишь больных детей.*

И я любил ее больше всего на свете. Я всячески старался ей угодить. Я хотел, чтобы она гордилась мной.

Он мечтательно улыбается, снова глядя в огонь, и продолжает: — Это было летом в деревне. Мне было шесть лет. Моя мать часто рассказывала мне о своих поездках за границу, об Италии. Особенно о музеях, о картинах и статуях. Мне казалось, что она скучает по музеям.

И вот в одно, июльское утро я вбежал к ней в спальню очень рано. Она сидела перед туалетом и расчесывала свои длинные волосы. Я очень любил присутствовать при том, как она причесывается и одевается с помощью горничной Вари. Тогда ведь это было длительное и сложное дело — корсет, накрахмаленные нижние юбки, платье, застегивающееся на спине бесконечными маленькими пуговками. Но в то утро я нетерпеливо стал дергать ее за руку. — Идем, идем, мама, в сад. Я приготовил тебе сюрприз.

Я был так взволнован, что она уступила и как была, в пенюаре, в ночных туфельках, с распущенными волосами, согласилась идти со мной.

В саду я взял ее за руку: — Закрой глаза, мама, и не открывай, пока я не скажу. Я поведу тебя.

И она, смеясь, дала мне вести себя по дорожке. Я был так горд. Я задышался от радости.

— Вот, мама, смотри. Это я для тебя! Это музей! Твой музей!

Она открыла глаза и увидела: на клумбе между цветов понатыканы шесты, на них извивались лягушки и ящерицы. Четыре лягушки, две жабы и две ящерицы. Поймать их мне стоило большого труда.

— Это для тебя, мама. Я сам все сделал! Для тебя!

Она с минуту молча смотрела, будто не понимая, потом вырвала свою руку из моей.

— Как ты мог! Какой ужас! — И не оглядываясь, побежала в дом. Я бежал за ней, совершенно сбитый с толку. Я ждал восторженных похвал и благодарности, а она кричала:

— Скверный, злой, жестокий мальчишка! Не хочешь тебя видеть!



Добежав до крыльца, я остановился и заплакал. Она не поняла. Она не сумела оценить моего первого творчества. Я чувствовал себя оскорбленным. Раз она не любит меня, не хочет меня больше видеть, я уйду от нее. Навсегда. И я повернул обратно, прошел весь сад, вышел на дорогу и пошел по ней в лес. Я знал, что в лесу живут разбойники и тут же решил стать и сам разбойником, а может быть даже — у меня всегда были гордые мечты — стать атаманом разбойников.

Но до леса мне дойти не удалось — он был в пяти верстах. Меня очень скоро хватились и за мной уже неслась погоня. Брат и двое дворовых верхом, мама в коляске.

Пришлось вернуться.

Нет, меня не бранили и не наказали за попытку бегства из дома. Напротив, даже. Возвращение блудного сына было, как и полагается, пышно отпраздновано — мать подарила мне книжку с картинками и игрушечный лук со стрелами, а к обеду подали мои любимые вареники с вишнями. Но моей разбойничьей карьере был положен конец. А жаль! Из меня мог бы выйти лихой атаман разбойников.

Он смеется и я тоже смеюсь. Я никак не могу представить себе Гумилева разбойничьим атаманом. Впрочем, как и гусаром Смерти, или африканским охотником на львов. Не могу. У него для этого на редкость неподходящая наружность. Он весь насквозь штатский, кабинетный, книжный. Я не понимаю, как он умудрился наперекор своей природе, стать охотником и воином.

А он, внимательно глядя мне в лицо, уже отвечает мне, будто читает мои мысли.

— Я с детских лет был болезненно самолюбив. Я мучился и злился, когда брат перегонял меня в беге или лучше меня лазил по деревьям. Я хотел все делать лучше других, всегда быть первым. Во всем.

Мне это, при моей слабости, было нелегко. И все-таки я ухитрялся забираться на самую верхушку ели, на что ни брат, ни дворовые мальчишки не решались. Я был очень смелый. Смелость заменяла мне силу и ловкость.

Но учился я скверно. Я почему-то «не помещал своего самолюбия в ученье». Я даже удивляюсь, как мне удалось окончить гимназию. Я ничего не смыслю в математике, да и писать грамотно не мог научиться. И горжусь этим. Своими недостатками следует гордиться. Это их превращает в достоинства.

Я недоумеваю. Я спрашиваю.

— Но какое же достоинство безграмотность?

Он нетерпеливо дергает плечом.

— Ах, всегда вы со своей плоской, трехмерной логикой. Моя безграмотность совсем особая. Ведь я прочел тысячи и тысячи книг, тут и попугай стал бы грамотным. Моя безграмотность свидетельствует о моем кретинизме. А мой кретинизм свидетельствует о моей гениальности. Поняли? Усвоили? Ну, ну, не хохлитесь! Не морщите нос! Я шучу.

Он, конечно, шутит. Впрочем, только наполовину. В свою гениальность он верил. И нисколько не стеснялся своей безграмотности. Писал он, действительно, непостижимо неправильно. Когда ему указывали на его ошибки, он только удивленно качал головой: — Кто его знает! Вы, пожалуй, правы. Пусть будет по-вашему.

Мне давно хотелось узнать, когда он начал сочинять стихи. Мне казалось, что непременно совсем маленьким, еще до времен музея.

— Нет, — говорит он, — гораздо позже музея. Как ни странно, я несмотря на то, что создал себе свой особый мир, в котором

*...Каждый куст придорожный
Мне шептал: поиграй со мной,
Обойди меня осторожно
И узнаешь, кто я такой —*

несмотря на мое поэтическое восприятие жизни и мира, о стихах не помышлял.

Зато с какой невероятной силой обрушились они на меня и завладели мною в четырнадцать лет. Мы переселились в Тифлис. И там, когда я проезжал впервые по Военно-Грузинской дороге, это и началось. Кавказ просто ошеломил меня. На меня вдруг нахлынули стихи Пушкина и Лермонтова о Кавказе. Я их знал и любил уже прежде. Но только здесь я почувствовал их магию. Я стал бредить ими, и с утра до вечера, и с вечера до утра твердил их. Там же, в Тифлисе, я впервые напечатал в «Тифлисском Листке» свои стихи. Такой уж я был решительный и напористый. Читать их вам не хочу. Верьте на слово, что дрянь. Да еще и демоническая. Не хочу. И не буду. Не приставайте.

Он отмахивается от меня рукой.

— Но запомните: с опубликованием своих шедевров спешить не надо. Как я жалел, что выпустил «Путь Конквистадоров». Не сразу, конечно. Жалел потом. Скупал его и жег в печке. А все-таки к моему стыду этот «Путь Конквистадоров» еще и сейчас где-то



сохранился. Ничего не поделаешь. Не надо торопиться. И все же много стихов «Романтических цветов», уже настоящей книги, были написаны еще в гимназии. Как, например:

*Мой старый друг, мой верный Дьявол,
Пропел мне песенку одну..*

Этот «старый друг» явился результатом двойки, полученной мною на уроке алгебры. И утешил меня.

Но это было уже в Царском, в последних классах. В Тифлисе мы провели два года. Там-то я впервые и почувствовал себя тем самым поэтом, который

*верил ветрам юга,
В каждом шуме слышал вздохи лир,
Говорил, что жизнь его подруга,
Коврик под его ногами — мир.*

* * *

Гумилев любил играть во всевозможные, часто им самим тут же выдуманные, игры. Особенно в «театр для себя».

Осенью 1919 года, накануне второй годовщины октябрьской революции, — ее готовились пышно отпраздновать, — он с таинственным видом сказал мне:

— Завтра и мы с вами поспразднуем и повеселимся. Не спрашивайте как. Увидите. Наденьте только ваше рыжее, клетчатое пальто и рыжую замшевую шапочку.

Мое рыжее клетчатое пальто — я им впоследствии поменяю в стихах со статуей в Летнем Саду:

*А она уходит, напевая
В рыжем, клетчатом пальто моем —*

мое клетчатое пальто привезенное мне во время войны из Лондона. Оно не очень теплое, а в Петербурге в конце октября холодно и я уже ходила в шубке.

Но Гумилев настаивал: — Наденьте непременно клетчатое пальто. Я зайду за вами в три часа, завтра.

Он пришел ровно в три. Он вообще был чрезвычайно пунктуален. Хотя часов у него не было. Не только на руке или в кармане, но даже дома.

Его часы остановились еще летом. Часовщик за починку запросил несуразно дорого. Купить новые оказалось невозможным. С тех пор Гумилев научился определять время без часов, «шестым чувством-бис» — чувством времени.

— У гениев и кретинов чувство времени безошибочно. А я, как известно, помесь гения с кретином. Нет ничего удивительного, что за три месяца я ни разу никуда не опоздал. Все же, — рассказывал он мне как-то, — я сегодня утром так увлекся, переводя старинные французские песенки, что забыл обо всем, даже и о том, что должен быть на заседании «Всемирной литературы» на Моховой. Выхожу на улицу, спрашиваю первого встретившегося прохожего — Простите, который час? Тот в ответ развел недоумевающие руками: — А кто его знает? — и побрел дальше.

— Вот если бы у меня была кошка, я бы, как китайцы, по ее зрачкам определял время, до полминуты. Но заведешь кошку — она всех мышей переловит. А я их берегу на случай настоящего голода, про черный день. Михаил Леонидович Лозинский даже пустил слух, что я не только прикармливаю их, но и предательски здороваюсь со старшей мышью за лапку. Вздор. Не верьте. Даже по отношению к мыши я предателем быть не могу..

Я открыла Гумилеву сама — и ахнула. Он стоял в дверях в длинном, почти до пят, макферлане-крылатке, с зонтиком подмышкой. На шее — шотландский шарф. На голове большая кепка, похожая на блин с козырьком. Полевой бинокль через плечо на ремне.

— Hallo! — приветствовал он меня, — Let's go! — И он со смехом объяснил мне, что мы с ним англичане. Он — приехавший на октябрьские торжества делегат Labor Party, а я его секретарша.

Критически оглядев меня, он кивнул:

— Отлично. Настоящая English girl in her teens и даже волосы у вас английские — «оберн». Ведь и я настоящий англичанин, а?

Не знаю, как я, — но он на англичанина совсем не был похож. Разве, что на опереточного, прошлого века. И где только он откопал свой допотопный макферлан и эту нелепую кепку? Но он сам был так доволен своим видом, что я согласилась, сдерживая смех:

— Стопроцентный английский делегат.

— Помните, мы не говорим по-русски. Не понимаем ни слова. И в Петербурге впервые.



Мы вышли на Невский и там ходили в толпе, обмениваясь впечатлениями и громко спрашивали, указывая пальцем то на Гостиный двор, то на Аничков дворец, то на Казанский собор:

— What is that? — После многократно повторенного ответа, Гумилев снимал с головы свой блин и невозмутимо флегматически заявлял:

— I see. Thank you ever so much: Коза-Собо (Казанский собор).

И хотя мы и видом и поведением напоминали скорее ряженых, чем англичан, до нас все время доносилось: — Англичане! Смотри, английские делегаты!

Я, не в силах сдержаться, громко смеялась. Гумилев же, сохраняя англосаксонскую выдержку, повторяя:

— Don't giggle. Don't play the giddy goat. Shut up! — Но я еще сильнее заливалась смехом.

Мы проделали все, что полагалось: смотрели на процессии, аплодировали и даже подпевали. Оба мы были абсолютно безголовы и лишены слуха. Но нам, как гостям-англичанам, все было позволено. Стоявший рядом с нами красноармеец, с явным удовольствием и даже умилением слушал, как Гумилев выводил глухим, уходящим в небо голосом тут же сымпровизированный им перевод Интернационала. Я же, между двумя приступами смеха, душившего меня, только выкрикивала какое-то вау-лау, лау-вау-юю!

Окончив к общему удовольствию пение, мы вместе с толпой двинулись дальше. Гумилев стал спрашивать «The way to Wassilo Ostow», повторяя настойчиво «уосило осто». Но никто, несмотря на явное желание помочь иностранцу, не мог понять, чего он добивается. Гумилев благодарил, улыбался, азартно повторяя: Wonderfull! O, yes! Your great Lenine! Karl Marx! O, yes! — и пожимал тянувшиеся к нему со всех сторон руки.

Какой-то особенно любезный товарищ вдруг громко заявил:

— Должно, от своих отбились. Заплутались. Надо их на трибуны доставить. Где милиционер?

Гумилев горячо — Thank you. Thank you! — поблагодарил его и, подхватив меня под руку, бросился со мной назад, в обратную сторону, будто увидел в толпе англичанина.

Забежав за угол, мы остановились, перевести дух. Тут было тихо и пусто.

— Ох, даже жарко стало, — Гумилев весь трясся от смеха. Хороши бы мы были на трибуне! Представляете себе? Еще сняли бы нас!

И завтра наши портреты появились бы в «Красной газете»! И никто, решительно никто нас бы не узнал. Ну, нечего время терять, идем!

И мы снова вышли на Невский и смешались с толпой. Так мы проходили до самого вечера, в полном восторге.

Когда в толпе начались пляски, мы, хотя и с большим трудом, в особенности я, удержались и не пустились в пляс. Гумилев, для большей убедительности подняв зонтик к звездному небу, заявил:

— An Englishman does not dance in the street. It is shocking! — А я, ослабев от смеха, в изнеможении прислонилась к стене.

— Довольно. Больше не могу. Ведите меня домой!..

На следующий день в Студии Гумилев рассказал Лозинскому об «английских делегатах». Но Лозинский отнесся к нашему развлечению очень неодобрительно:

— С огнем играешь, Николай Степанович. А что было бы, если бы вас забрали в милицию?

— Ничего не было бы, — перебил его Гумилев. — Никто тронуть меня не посмеет. Я слишком известен.

Лозинский покачал головой:

— Я совсем не уверен, что не посмеют, если захотят. Не надо «им» подавать повода. Ты слишком легкомыслен.

— А ты, Михаил Леонидович, слишком серьезен и благоразумен. Мне скучно без развлечений.

Лозинский не сдавался:

— Никто не мешает тебе развлекаться, чем и как хочешь. Только не задевай «их». Оставь «их» в покое!

Гумилев достал свой большой черепаховый портсигар и постучал папиросой по крышке. Как всегда, когда был раздражен.

— Ты недорезанный буржуй, вот ты кто, Михаил Леонидович. Нам друг друга не понять. Тебе бы только покой и возможность работать у себя в кабинете. А мне необходимо vivre dangereusement. Оттого мне вчера и весело было, что все-таки чуточку опасно — в этом ты прав. Без опасности и риска для меня ни веселья, ни даже жизни нет. Но тебе этого не понять...

Дома, когда я поболталась о том, как мы веселились на октябрьских торжествах, мне сильно попало. Отец хотел даже «объясниться по этому поводу» с Гумилевым.

— Ты отдаешь себе отчет, что могла очутиться на Шпальной с обвинением в шпионаже? — горячился отец. — Никто



не поверил бы, что нашлись идиоты, для забавы разыгрывающие англичан-делегатов!

Нет, я не «отдавала себе отчета». Мне казалось, что перепуганные, затравленные «буржуи» боятся даже собственной тени и делают из мухи слона. И я, защищаясь, повторяла:

— Если бы ты знал, как весело было. И как мы смеялись.

— А если бы тебя и твоего Гумилева поволокли расстреливать, вы бы тоже смеялись и веселились?

На это отвечать было нечего.

Но в те дни я не верила не только в возможность быть расстреленной, но и просто в опасность. «Кай смертен», и с ним, конечно, случаются всякие неприятности. Но меня это не касается. У меня было особое чувство полной сохранности, убеждение, что со мной ничего дурного не случится.

* * *

Зима 19-20-го года. Очень холодная, очень голодная, очень черная зима.

Я каждый день возвращаюсь, поздно вечером, из «Института живого слова», одна. По совершенно безлюдным, темным — «хоть глаз выколи» — страшным улицам. Грабежи стали бытовым явлением. С наступлением сумерек грабили всюду. В полной тишине, в полной темноте, иногда доносились шаги шедшего впереди. Я старалась приблизиться к ним. Мне и в голову не приходило, что сейчас может вспыхнуть свет электрического фонарика и раздастся грозное: — Скидывай шубу! — мою котиковую шубку с горностаевым воротничком. Я ее очень любила. Не как вещь, а как живое существо, и называла ее «Мурзик».

«Мурзик» нравился и Гумилеву. Иногда утром, зайдя неожиданно ко мне, Гумилев предлагал:

— А не прогулять ли нам «Мурзика» по снегу? Ему ведь скучно на вешалке висеть.

Я всегда с радостью соглашалась.

Как ни странно, но мы, ежедневно проделывали пешком длиннейшие путешествия, — в трамваях мы почти не ездили, — еще ходили гулять. Просто так. Для удовольствия. В Таврический, — что было ближе, — или в Летний сад.

Проходя мимо церкви, Гумилев всегда останавливался, снимал свою оленью ушастую шапку и истово осенял себя широким

крестным знаменем, «на страх врагам». Именно «осенил себя крестным знаменем», а не просто крестился.

Прохожие смотрели на него с удивлением. Кое-кто шараялся в сторону. Кое-кто смеялся. Зрелище, действительно, было удивительное. Гумилев, длинный, узкоплечий, в широкой дохе с белым рисунком по подолу, развевающегося как юбка вокруг его тонких ног, без шапки на морозе перед церковью, мог казаться не только странным, но и смешным.

Но чтобы в те дни решиться так резко подчеркивать свою приверженность к гонимому «культу», надо было обладать гражданским мужеством.

Гражданского мужества у Гумилева было больше, чем требуется. Не меньше, чем легкомыслия.

Однажды на вечере поэзии у балтфлотцев, читая свои африканские стихи, он особенно громко и отчетливо проскандировал:

*Я бельгийский ему подарил пистолет
И портрет моего государя.*

По залу прокатился протестующий ропот. Несколько матросов вскочило. Гумилев продолжал читать спокойно и громко, будто не замечая, не удостаивая вниманием возмущенных слушателей.

Кончив стихотворение, он скрестил руки на груди и спокойно обвел зал своими косыми глазами, ожидая аплодисментов.

Гумилев ждал и смотрел на матросов, матросы смотрели на него.

И аплодисменты вдруг прорвались, загремели, загрохотали.

Всем стало ясно: Гумилев победил. Так ему здесь еще никогда не аплодировали.

— А была минута, мне даже страшно стало, — рассказывал он, возвращаясь со мной с вечера. — Ведь мог же какой-нибудь товарищ-матрос «краса и гордость красного флота», вынуть свой небельгийский пистолет и пальнуть в меня, как палил в «портрет моего государя». И, заметьте, без всяких для себя неприятных последствий. В революционном порыве, так сказать.

Я, сидя в первом ряду между двумя балтфлотцами, так испугалась, что у меня, несмотря на жару в зале, похолодели ноги и руки. Но я не думала, что и Гумилеву было страшно.

— И даже очень страшно, — подтвердил Гумилев. — А как же иначе? Только болван не видит опасности и не боится ее. Храбрость и бесстрашие не синонимы. Нельзя не бояться того, что страшно.



Но необходимо уметь преодолеть страх, а главное, не показывать вида, что боишься. Этим я сегодня и подчинил их себе. И до чего приятно. Будто я в Африке на львов поохотился. Давно я так легко и приятно не чувствовал себя.

Да, Гумилев был доволен. Но по городу пополз, как дым, прибитый ветром, слух о контрреволюционном выступлении Гумилева. Встречаясь на улице, два гражданина из «недорезанных» шептались друг другу, пугливо оглядываясь:

— Слыхали? Гумилев-то! Так и заявил матросне с эстрады: «Я монархист, верен своему государю и ношу на сердце его портрет». Какой молодец, хоть и поэт!

Слух этот, возможно, дошел и до ушей, совсем не предназначавшихся для него. Вывод: Гумилев монархист и активный контрреволюционер, был, возможно, сделан задолго до ареста Гумилева.

...Шесть часов вечера. Падает снег. Я иду домой с родственных именин. По Бассейной.

Я сегодня ни в Студии, ни в «Живом слове» не была. И не видела Гумилева.

Меня ждут дома. Но я сворачиваю на Преображенскую. Ничего, опоздаю к обеду — к этому у меня уже привыкли.

Я поднимаюсь с черного хода. Парадный недавно заколотили — для тепла и за ненадобностью. «Нет теперь господ, чтобы по парадным шляться!»

Дверь кухни открывает Паша, старая, мрачная домработница, неизвестно, как и почему служащая у Гумилева. То ли Аня — вторая жена Гумилева, дочь профессора Энгельгардта — оставила ее мужу в наследство, уезжая с новорожденной дочкой в Бежецк, то ли сам Гумилев, угнетенный холостым хозяйством, предложил мешочнице, продававшей на углу яблоки из-под полы: — Хотите у меня работать? Сыты будете.

Как бы там ни было, но Паша верой и правдой служила Гумилеву, к их обоюдному удовольствию. Исчезла она — и опять по неизвестной мне причине, не то умерла, не то ей снова захотелось мешочничать — весной 21-го года.

Сейчас она еще здесь и встречает меня мрачно-фамильярным: — Входите. Дома!

Эта Паша, несмотря на свою мрачность, была не лишена стремления к прекрасному. Иногда, когда Гумилев читал мне стихи,

дверь комнаты, где мы сидели, вдруг открывалась толчком ноги и на пороге появлялась Паша.

Гумилев недовольно прерывал чтение.

— Что вам, Паша?

— А ничего, Николай Степанович, — мрачно отвечала Паша, уютно прислонившись к стенке, спрятав руки под передник. — Послушать пришла стишки. Только и всего.

И Гумилев благосклонно кивнув ей, продолжал чтение, будто ее и не было в комнате.

Как-то он все же спросил ее:

— Нравится вам, Паша?

Она застыдивась, опустила голову и прикрыла рот рукой:

— До чего уж нравится! Непонятно и чувствительно. Совсем, как раньше в церкви бывало.

Ответ этот поразил Гумилева:

— Удивительно, как простой народ чувствует связь поэзии с религией! А я и не догадывался.

Впустив меня, Паша возвращается к примусу, а я, стряхнув снег с шубки и с ног, иду через холодную столовую.

Никогда я не входила к Гумилеву без волнения и робости.

Я стучу в дверь.

— Войдите!

И я вхожу.

*Низкая комната, мягкая мебель,
Книги повсюду и теплая тишь...*

Впрочем, я лучше приведу полностью все это стихотворение, написанное мною под Рождество 1920 года:

*Белым полем шла я ночью
И странник шел со мной.
Он тихо сказал, качая
Белоснежной головой:*

*— На земле и на небе радость —
Сегодня Рождество!
Ты грустна оттого, что не знаешь, —
Сейчас ты увидишь его.
И поэт прошел предо мною,
Сердцу стало вдруг горячо.*



*И тогда сказал мне странник:
— Через правое взгляни плечо.*

*Я взглянула — он был печальный,
Добрый был он, как в стихах своих,
И в небе запели звезды
И снежный ветер затих.*

*И опять сказал мне странник:
— Через левое плечо взгляни.*

*Я взглянула.
Поднялся ветер
И в небе погасли огни.
А он стал злой и веселый,
К нему подползла змея,
Под тонкой рукой блеснула
Пятнистая чешуя.*

*Год прошел и принес с собою
Много добра и много зла
И в дом пять, по Преображенской,
Я походкой робкой вошла:
Низкая комната. Мягкая мебель,
Книги повсюду и теплая тишь.
Вот сейчас выползет черепаха,
Пролетит летучая мышь...
Но все спокойно и просто
Только совсем особенный свет:*

*У окна папиросу курит
Не злой и не добрый поэт.*

Да, все совсем так, как в моем стихотворении. Все правильно — и разбросанные повсюду книги, и теплая тишь, и сказочное ощущение, что «вот сейчас выползет черепаха, пролетит летучая мышь». и «особенный свет», таинственно освещающий курящего Гумилева. Свет горячей печки. Ведь Гумилев курит не у окна, а у печки.

Гумилев встает и церемонно здоровается со мной, прежде чем помочь мне снять шубку. Он совсем не удивлен моим неожиданным приходом, хотя вчера было условлено, что мы сегодня не увидимся.

— Я вас ждал. Я знал, что вы сейчас придете.

— Ждали? Но ведь я совсем не собиралась идти к вам. Я шла домой.

Гумилев пожимает плечами.

— Шли домой, а пришли ко мне. Оттого, что мне очень хотелось вас сейчас увидеть. Я сидел здесь у печки и заклинал огонь и звал вас. И вот — вы пришли. Против своей воли пришли.

Я не знаю, шутит он или говорит серьезно. Но я стараюсь по-пасть ему в тон:

— Должно быть я, действительно, почувствовала. И потому пришла к вам.

Он пододвигает зеленое креслице к печке.

— Мне сегодня ужасно тяжело с утра. Беспричинно тяжело, — искренно и просто признается он. Даже голос его звучит иначе, чем всегда, тише и мягче. — Как я одинок, Господи! Даже поверить трудно.

— Одиноки? — недоверчиво переспрашиваю я. — Но ведь у вас столько друзей и поклонников. И жена, дочь и сын, и брат. И мать.

Он нетерпеливо машет рукой.

— Ах, все это не то! Это все декорация. Неужели вы не понимаете? У меня нет никого на свете. Ни одного друга. Друзей вообще не существует. До чего я одинок! Даже поверить нельзя. Я всегда сам по себе. Всегда «я», никогда ни с кем не «мы». И до чего это тяжело.

Он вздыхает, глядя в огонь.

Я понимаю, что ему очень тяжело, очень грустно. Я молчу, не зная, чем ему помочь. И можно ли вообще ему помочь? Что ему сказать? Что?

Он поворачивает ко мне лицо, освещенное снизу пламенем печки. Один из его косящих глаз продолжает смотреть в огонь, другой выжидательно останавливается на мне.

Я, как всегда, чувствую себя неловко под его раздвоенным взглядом. Я растерянно моргаю и молчу. Все утешения кажутся мне такими ничтожными и глупыми.

Он продолжает молчать и мне становится невыносимо его молчание. И этот взгляд. Мне хочется вскочить, схватить его за руку и вместе с ним побежать по снежным улицам в Дом Литераторов.

Там светло, шумно и многолюдно. Там всегда можно встретить Кузмина с Юрочкой Юркуном. И мало ли еще кого?

Но я молчу. И Гумилев, глядя на меня, вдруг неожиданно улыбается. Конечно, он смеется надо мной. У меня должно быть, от смущения и незнания, что сказать, очень комичный вид. Но я отвечаю улыбкой на его улыбку.



— Вот мне и легче стало, — говорит он повеселевшим голосом. — Просто от вашего присутствия. Посмотрел на ваш бант. Такая вы забавная, в особенности когда молчите. Как хорошо, что вы пришли.

Да, очень хорошо. В этот снежный зимний вечер он не говорил, как обычно, о поэзии, поэтах и стихах, а только о себе, о своем одиночестве, о смерти.

— Все мы страшно, абсолютно одиноки. Каждый замурован в себе. Стучи не стучи, кричи не кричи, никто не услышит. Но ничто не спасает от одиночества, ни влюбленность, ни даже стихи. А я, к тому же, живу совсем один. — И как это тягостно! Знаете, я недавно смотрел на кирпичную стену и завидовал кирпичикам. Лежат так тесно прижавшись друг к другу, все вместе, все одинаковые. Им хорошо. А я всюду один, сам по себе. Даже в Бежецке. В первый же день мне становится скучно. Я чувствую себя не на своем месте даже в своей семье. Мне хочется скорее уехать, хотя я к ним всем очень привязан и очень люблю свою мать. — Он разводит руками. — А вот поймите, я там чувствую себя еще более одиноким, чем здесь.

Он поправляет игрушечной саблей горящие в печке поленья и продолжает:

— Я в последнее время постоянно думаю о смерти. Нет, не постоянно, но часто. Особенно по ночам. Всякая человеческая жизнь, даже самая удачная, самая счастливая — трагична. Ведь она неизбежно кончается смертью. Ведь как ни ловчись, как ни хитри, а умереть придется. Все мы приговорены от рождения к смертной казни. Смертники. Ждем — вот постучат на заре в дверь и поведут вешать. Вешать, гильотинировать или сажать на электрический стул. Как кого. Я, конечно, самонадеянно мечтаю, что:

*Умру я не на постели
При нотариусе и враче...*

Или что меня убьют на войне. Но ведь это, в сущности, все та же смертная казнь. Ее не избежать. Единственное равенство людей, равенство перед смертью. Очень банальная мысль, а меня все-таки беспокоит. И не только то, что я когда-нибудь, через много-много лет, умру, а и то, что будет потом, после смерти. И будет ли вообще что-нибудь? Или все кончается здесь на земле: «Верю, Господи, верю, помоги моему неверию...»

Он на минуту замолкает, глядя на пляшущее в печке пламя. И вдруг, повернувшись ко мне, неожиданно предлагает:

— Давайте пообещаем друг другу, поклянемся, что тот, кто первый умрет, явится другому и все, все расскажет, что там.

Он протягивает мне руку и я, не колеблясь, кладу в нее свою руку.

— Повторяйте за мной, — говорит он медленно и торжественно: — Клянусь явиться вам после смерти и все рассказать, где бы и когда бы я не умерла. Клянусь.

Я послушно повторяю за ним:

— Клянусь!

Он, не выпуская моей руки, продолжает еще торжественнее:

— И я клянусь, где бы и когда бы я не умер, явиться вам после смерти и все рассказать. Я никогда не забуду этой клятвы и вы никогда не забывайте ее. Даже через пятьдесят лет. Даже если мы давно перестали бы встречаться. Помните, мы связаны клятвой.

Он выпускает мою руку и я прячу ее в карман юбки. Мне становится очень неуютно. Что я наделала? Зачем я поклялась? Ведь я с детства до ужаса, до дрожи боюсь привидений и всяких сношений с загробным миром.

— Естественно и логично, что я умру первый. Но знать ничего нельзя. Молодость, к сожалению, не защищает от смерти, — серьезно продолжает он и вдруг перебивает себя: — Что это вы как воробей наохлились? И отчего вы такая бледная? Неужели испугались?

Я энергично трясую головой, стараясь улыбнуться:

— Нет. Совсем нет.

— Ну и слава Богу! Пугаться нечего. Ведь и я и вы доживем до самой глубокой старости. Я меньше, чем на девяносто лет, не согласен. А вы, насколько мне известно, хотите дожить до ста. Так ведь?

— До ста с хвостиком, — поправляю я. — К тому времени, наверно, изобретут эликсир долголетия.

— Непременно изобретут, — соглашается он. — Как мне нравится в вас это желание жить как можно дольше! Ведь обыкновенно молодые девушки заявляют: «Я хочу умереть в двадцать пять лет. Дальше жить не интересно». А вы — сто с хвостиком! — Он смеется: — Молодец! Ведь чем дольше живешь, тем интереснее. И, я уверен, самое лучшее время — старость. Только в старости и в детстве можно быть совсем, абсолютно счастливым. А теперь хорошо бы чаю попить. — Он встает. — Пойдем, скажем об этом Паше.

Мы идем на кухню. Но кухня пуста. Паши нет.



— Должно быть пошла хвоститься за хлебом в кооператив, — говорит Гумилев. — Ничего, я хитрый, как муха, и сам могу приготовить чай.

Он наливает воду в большой алюминиевый чайник, снимает кастрюльку с примуса и ставит на него чайник. Все это он проделывает с видом фокусника, вынимающего живого кролика из своего уха.

Мы садимся на кухонный стол и ждем, пока вскипит вода. Ждем долго.

— Удивительно некипкая, глупая вода, — замечает Гумилев. — Я бы на ее месте давно вскипел.

И как бы в ответ, крышка чайника начинает громко хлопать.

— Вот видите, — торжествует Гумилев, — обиделась и сразу закипела. Я умею с ней обращаться. Вода, как женщина — надо ее обидеть, чтобы она вскипела. А то бы еще час ждали.

Мы возвращаемся к печке пить чай.

Гумилев достает из шкафа кулек с «академическим изюмом».

— Я сегодня получил академический паек. И сам привез его на саночках, — рассказывает он. — Запрягся в саночки и в своей оленьей дохе чувствовал себя оленем, везущим драгоценный груз по тайге. Вы бы посмотрели, с какой гордостью я выступал по снегу. — И вдруг перебивает себя: — А обещание свое вы никогда не забываете. Никогда. И я не забуду..

Но Гумилев так и не сдержал своего обещания и не являлся мне.

Только раз, через несколько дней после его расстрела, я видела сон, который хотя и отдаленно, но мог быть принят за исполнение обещания. За ответ.

Тогда же я написала стихотворение об этом сне:

*Мы прочли о смерти его.
Плакали горько другие.
Не сказала я ничего
И глаза мои были сухие.*

*А ночью пришел он ко мне
Из гроба и мира иного во сне,
В черном старом своем пиджаке,
С белой книгой в тонкой руке*

*И сказал мне: плакать не надо,
Хорошо, что не плакали вы.
В синем раю такая прохлада
И воздух легкий такой
И деревья шумят надо мной,
Как деревья Летнего Сада...*

* * *

С. К. Маковский с своих воспоминаниях «На Парнасе Серебряного Века!» совершенно честно описал того Гумилева, которого видел и знал. Но до чего этот Гумилев не похож на моего!

Не только внутренне, но даже внешне. Маковский пишет, что Гумилев был блондин среднего роста, тонкий и стройный с «неблагообразным лицом, слегка косящий, с большим мясистым носом и толстыми бледными губами».

Портрет этот относится к 1909 году.

Я же увидела Гумилева только в конце 1918 года. Но все же вряд ли он мог так измениться.

Гумилев сознавал, что сильно косит, но, как ни странно, гордился этим, как особой «божьей отметиной».

— Я разноглазый. И дети мои все разноглазые. Никакого сомнения, что я их отец, — с удовлетворением повторял он.

Гумилев находил свои руки поразительно красивыми. Как и свои уши. Его уши, маленькие, плоские и хорошо поставленные, были действительно красивы. Кроме них решительно ничего красивого в нем не было.

Он не сознавал своей «неблагообразности» и совсем не тяготился ею. Напротив, он часто говорил, что у него очень подходящая для поэта внешность.

Николай Оцуп* в своей диссертации о Гумилеве, прочитанной им в Сорбонне и потом напечатанной в «Опытах», вывел из некрасивости Гумилева целую теорию, объясняющую его поэтический и жизненный путь. Там же Оцуп доказывает, что Гондла — автобиографическое произведение и что Гумилев чувствует себя горбуном.

* Оцуп, Николай (1894–1958) — русский поэт и переводчик, известен также успешной организаторской и издательской деятельностью в России и в эмиграции.



Все это, конечно, чистая фантазия и я удивляюсь, как Оцуп, хорошо знавший Гумилева, мог создать такую неправдоподобную теорию.

С духовным обликом — по Маковскому, дело обстоит еще хуже. Гумилев, в его описании, какой-то простачок-недоучка, более чем недалекий, одержимый поэзией и ничем, кроме поэзии, не интересующийся.

Гумилев, действительно, был «одержим поэзией», но ни простачком-недоучкой, ни недалеким он не был.

Мне не раз приходилось слышать фразу: — «Гумилев был самым умным человеком, которого мне довелось в жизни встретить».

К определениям, «самый умный» или «самый талантливый», я всегда отношусь с недоверием.

«Самым умным» назвать Гумилева я не могу. Но был он, безусловно, очень умен, с какими-то иногда даже гениальными проблемами и, этого тоже нельзя скрыть, с провалами и непониманиями самых обыкновенных вещей и понятий.

Помню, как меня поразила его реплика, когда Мандельштам назвал одного из членов «Всемирной Литературы», вульгарным.

— Ты ошибаешься, Осип. Он не может быть вульгарным — он столбовой дворянин.

Я думала, что Гумилев шутит, но он убежденно добавил: — Вульгарным может быть разночинец, а не дворянин, запомни.

Мандельштам обиженно фыркнул и покраснел. Сам он понятно дворянином не был.

Конечно, это могло быть только позой со стороны Гумилева, но Мандельштам насмешливо подмигнул мне и сказал когда мы остались одни:

— Не без кретинизма ваш мэтр.

Необразованным Гумилева назвать никак нельзя было. Напротив. Он прочел огромное количество книг и память у него была отличная.

Он знал поэзию не только европейскую, но и китайскую, японскую, индусскую и персидскую.

Неправильно также, что он ограничивался изучением одной поэзии. Он считал, что поэту необходим огромный запас знаний во всех областях — истории, философии, богословии, географии, математике, архитектуре и так далее.

Считал он также, что поэт должен тщательно и упорно развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. Что надо учиться

видеть звуки и слышать цвета, обладать слышащими глазами и зрячими ушами, чтобы воспринимать жизнь во всей ее полноте и богатстве.

— Большинство людей, говорил он, полуслепые и как лошади носят наглазники. Видят и различают только знакомое, привычное, что бросается в глаза и говорят об этом привычными штампованными готовыми фразами. Три четверти красоты и богатства мира для них пропадает даром.

В своих воспоминаниях Маковский уверяет, что Гумилев не знал ни одного иностранного языка. Это не так. Французский язык он знал довольно хорошо, Правда, известный факт перевода «chat Minet» не свидетельствует об этом. Непонятно, как он мог спутать chat Minet с православными Четьи-Минееми, которые француженка-католичка никак, конечно, читать не могла.

И все-же, несмотря на злосчастного chat Minet, Гумилев свободно, хотя и с ошибками, — в них он не отдавал себе отчета — говорил и писал по-французски. И читал даже стихи a livre ouvert — трудных и сложные поэтов, как Heredia, Malarme, Rimbaud — и переводил их, не задумываясь, очень точно.

С английским дело обстояло хуже, хотя Гумилев провел несколько месяцев в Англии, и рассказывал мне, что на большом обеде у какого-то лорда он рассказывал о своих путешествиях по Африке.

Я сомневаюсь, чтобы гости лорда что-нибудь поняли. Выговор у него был отчаянный, но читал он довольно бегло. Немецкого языка он не знал, и жалел, что не знает. Он считал его лучшим, после русского, для стихов. Он иногда заставлял меня читать ему немецкие стихи — балладу Шиллера Der Handschuh, он особенно любил. Слушая он, непременно прислонясь к стене, сложив руки на животе — изображая прислугу Пашу и подражая ей говорил вздыхая: Красиво! Непонятно и чувствительно! Если бы не лень, обучился бы.

Но думаю, что обучиться ему мешала не только лень, но и отсутствие способностей к языкам, как и ко многому другому.

Гумилев очень любил сладкое. Он мог «ликвидировать» полфунта изюма или банку меда за один вечер, весь месячный академический паек.

— Я не только лакомка. Я едок объедало, — с гордостью говорил он. — Я могу один съесть целого гуся.

Но это явное хвастовство. Гуся он в те дни никак съесть не мог — по простой причине, что гусей тогда и в помине не было.



Аппетит у него действительно был большой. Когда через год открылись «нелегальные» столовые, мне часто приходилось присутствовать при его «пантагрюэлевских трапезах».

— Приглашаю вас, — говорил мне Гумилев, выходя из Студии, на пантагрюэлевскую трапезу, — и мы шли в маленькую темную квартиру на Фурштадтской, ничем не напоминавшую ресторан.

В двух комнатах, спальне и столовой, стояли столы, покрытые пестрой клеенкой. Вид широкой кровати со взбитыми подушками, по-видимому, не портил аппетита посетителей — в спальне обедающих бывало больше, чем в соседней столовой.

Гумилев обыкновенно усаживался в столовой, в конце стола.

Усевшись, он долго и основательно изучал меню, написанное на клочке оберточной бумаги, потом подозвав хозяйку, заказывал ей: — Борщ. Пирог с капустой. Свиную отбивную в сухарях и блинчики с вареньем. С клубничным вареньем.

И только, заказав все, оборачивался ко мне: — А вы? Берите, что хотите.

Я неизменно благовоспитанно отвечала: — Спасибо. Я сыта.

И Гумилев, не удивляясь тому, что я «сыта», не споря, соглашался.

— Барышне подадите стакан чаю, раз ее ничто не соблазняет.

Я наблюдала за своим стаканом чая, с каким наслаждением он «ликвидировал» одно блюдо за другим, не переставая говорить о стихах.

Сейчас меня удивляет, что я, голодная, — я тогда всегда была голодна — могла спокойно слушать его, глядя на «свиную отбивную, в сухарях», чувствуя ее запах. Ведь я столько месяцев не ела ни кусочка мяса. А это так вкусно! И как мне хочется обгрызть хоть оставшуюся у него на тарелке косточку.

— Вы напрасно отказались. Превкусная котлета! — говорит Гумилев и, обращаясь к хозяйке: — дайте еще порцию!

У меня замирало сердце. Неужели он заказал эту «порцию» для меня! Но нет! Надежда напрасна. Он аккуратно съедает «еще порцию», не прерывая начатого разговора.

Конечно, если бы я сказала: — Пожалуйста, дайте мне борщ, котлету и пирожное, он бы не выказал неудовольствия. Но раз я благовоспитанно отказалась, он не считает нужным настаивать, — по плюшкински: — «хороший гость всегда победавши».

Мне и сейчас непонятно, как можно есть в присутствии голодного человека.

Но раз я не заявляла о своем голоде, Гумилев попросту игнорировал его. Не замечал. В голову не приходило.

Его жена, Аня Энгельгардт, как все продолжали ее звать, однажды пожаловалась мне: — Коля такой странный. Вчера на вечере в Доме Поэтов мы подходили к буфету. Он ест одно пирожное за другим. — «Бери, Аня, что хочешь». Вот если бы он положил мне на тарелку пирожное. А то он ест, а я только смотрю. Он даже не заметил.

Возможно, что он действительно не замечал. Он был очень эгоистичен и эгоцентричен. И к тому же мы с Аней сами были виноваты — не брали «что хотите» — от скромности и чрезмерной благовоспитанности. Такие глупые!

Жена Гумилева, Аня Энгельгардт, приезжала раз в год на несколько дней к мужу — рассеяться и подышать петербургским воздухом.

«Рассеяться», ей бедной, действительно, было необходимо. Она жила в Бежецке у матери и тетки Гумилева, вместе с дочкой Леночкой и Левой, сыном Гумилева и Ахматовой. С тем самым Левой, которому Ахматова писала:

*Жил на свете мальчик с пальчик,
Как тебя унять?
Спи, мой тихий, спи мой мальчик,
Я дурная мать...
Долетают редко вести
К нашему крыльцу.
Подарили белый крестик
Твоему отцу.
Было горе, будет горе,
Горю нет конца...*

Гумилев не раз вспоминал при мне, как она в ответ на его вопрос — хочет ли она стать его женой — упала на колени и всхлинула: я не достойна такого счастья!

Жизнь в Бежецке назвать «счастьем» никак нельзя было. Скорее уж там: «Было горе. Будет горе. Горю нет конца».

Аня Энгельгардт казалась четырнадцатилетней девочкой не только по внешности, но и по развитию.



Очень хорошенькой девочкой, с большими, темными глазами и тонкими, прелестными веками. Я никогда, ни у кого больше не видела таких век.

В то июльское воскресенье 20 года, когда она открыла мне кухонную дверь, я, хотя и знала, что к Гумилеву на три дня приехала его жена, все же решила, что эта стриженная девочка-ломака в белой матроске в сандалиях и коротких чулках, никак не может быть женой и матерью.

Она же сразу признала меня и как-то особенно извернувшись, звонко крикнула через плечо: — Коля! Коля! Коля! к тебе твоя ученица пришла!

То, что я ученица ее мужа она никогда не забывала. И это иногда выражалось очень забавно.

Так, уже после расстрела Гумилева, она, во время одного из моих особенно удачных выступлений, сказала:

— И все-таки я отношусь к Одоевцевой, как королева. Ведь я вдова Гумилева, а она только его ученица.

Но была она премилая девочка и жилось ей не только в Бежецке, но и в Петербурге нелегко. Гумилев не был создан для семейной жизни. Он и сам сознавал это и часто повторял: — Проводить время с женой также скучно, как есть отварную картошку без масла.

Еще об эгоизме Гумилева.

Весной 21-го года обнаружилось, что Анна Николаевна, как он подчеркнуто — официально звал свою жену, почему-то не может продолжать жить в Бежецке и должна переехать в Петербург.

К тому времени Паши уже не было. Вместе с Аней приехала и Леночка.

— Можно с ума сойти, хотя я очень люблю свою дочку, — жаловался Гумилев. Мне для работы необходим покой. Да и Анна Николаевна устает от хозяйства и возни с Леночкой.

И вот Гумилев «разрубил Гордиев узел», приняв Соломоново решение, как он смеясь говорил.

В Доме Искусств тогда жило много писателей.

Гумилев решил перебраться в Дом Искусств. — В бывшую баню Елисеевых, роскошно отделанную мрамором. С потолком, расписанным амурами и богинями. Состояла она из двух комнат. У Гумилева был свой собственный «банный» кабинет.

— Я здесь чувствую себя древним римлянином. Утром, завернувшись в простыню, хожу босиком по мраморному полу и философствую, — шутил он.

Жить в Доме Искусств было удобно. Здесь Гумилев читал лекции, здесь же вместе с Аней и питался в столовой Дома Искусств.

Но возник вопрос. Как быть с Леночкой? Детям в Доме Искусств места не было. И тут Гумилев принял свое «Соломоново решение». Он отдал Леночку в один из детдомов.

Этим детдомом, или по старому приюту, заведовала жена Лозинского, его хорошая знакомая. Гумилев отправился к ней и стал ее расспрашивать, как живет детям в детдоме?

— Прекрасно. Уход и пища и помещение все выше похвал, — ответила она. Она была одной из тех высоко-настроенных интеллигенток-энтузиасток, всей душой преданных своему делу — их было немало в начале революции. Гумилев улыбался.

— Я очень рад, что детям у вас хорошо. Я собираюсь привести вам мою дочку — Леночку.

— Леночку? Вы шутите, Николай Степанович? Вы хотите отдать Леночку в детдом? Я правильно поняла?

— Совершенно правильно. Я хочу отдать Леночку вам.

Она всплеснула руками:

— Но это невозможно. Господи!..

— Почему? Вы ведь сами сейчас говорили, что детям у вас прекрасно.

— Да, но каким детям? Найденным на улице, детям пьяниц, воров, проституток. Мы стараемся для них все сделать. Но Леночка ведь ваша дочь.

— Ну и что из этого? Она такая же, как и остальные. Я уверен, что ей будет очень хорошо у вас.

— Николай Степанович, не делайте этого! Я сама мать, — взмолилась она: — Заклинаю вас!

Но Гумилев только упрямо покачал головой:

— Я уже принял решение. Завтра же я привезу вам Леночку.

И на следующий день дочь Гумилева оказалась в детдоме.

Передавая мне этот разговор, Гумилев недоумевал. — Как глубоки буржуазные предрассудки. Раз детям хорошо в детдоме, то и Леночке там будет хорошо. Смешно не пользоваться немногими удобствами, предоставленными нам. Тогда и хлеб и сахар по карточке брать нельзя — от большевиков.

Был ли Гумилев таким эгоистом? Таким бессердечным, жестоким, каким казался?

Нет, конечно, нет!



Он был добр, великодушен, даже чувствителен. И свою дочку — Леночку очень любил. Он уже мечтал, как он будет с ней гулять и читать ей стихи, когда она подрастет.

— Она будет — я уверен — умненькая, хорошенькая и милая. — А когда она влюбится и захочет выходить замуж, — говорил он со смехом, — я непременно буду ее ревновать и мучиться, как будто она мне изменила. Да, отцы ведь всегда ревнуют своих дочерей — так уж мир устроен.

Он никогда не проходил мимо нищего, не подав ему. Его холод, жестокость и бессердечие были напускными. Он ими защищался как щитом. — Позволь себе только быть добрым и слабым, сразу все бросятся тебе на горло и загрызут. Как раненного волка загрызут и сжирают братья-волки, так и братья-писатели. Нравы у волков и писателей одинаковые.

— Но вы ведь — я знаю — очень добры, Николай Степанович, — говорила я.

— Добр? — Гумилев пожимал плечами. — Возможно если бы я распустил себя, то был бы добр. Но я себе этого не позволяю. Будешь добрым — растаешь, как масло на солнце и поминай как звали поэта, воина и путешественника. Доброта не мужское качество. Ее надо стыдиться, как слабости. И предоставить ее женщинам.

Гумилев действительно стыдился не только своей доброты, но и своей слабости. От природы у него было слабое здоровье и довольно слабая воля. Но он в этом не сознавался никому, даже себе.

— Я никогда не устаю, — уверял он. — Никогда.

Но стоило ему вернуться домой, как он надевал войлочные туфли и садился в кресло бледный, в полном изнеможении.

Этого не полагалось замечать, нельзя было задавать ему вопроса: — Что с вами? Вам нехорошо?

Надо было просто «не замечать», взять книгу с полки или перед зеркалом «заняться бантом», как он говорил.

Длились такие припадки слабости всего несколько минут. Он вставал, отряхивался, как пудель, вылезший из воды и, как ни в чем не бывало, продолжал разговор, оборвавшийся его полуобморочным молчанием.

— Сократ говорил: Познай самого себя!, а я говорю: Победи самого себя! Это главное и самое трудное, часто повторял он.

— «Я как Уайльд — побеждаю все, кроме соблазна». Он вечно боролся с собой, но не мог побороть в себе «paresse-delice de

Гаме» — по Ларошфуко, желания валяться на кровати читая не Ронсара или Клеман Вретано, а «Мир Приключений» — и жаловался мне на себя, комически вздыхая.

«Мира Приключений» он стыдился, как чего-то неприличного и прятал его под подушку от посторонних глаз. Зато клал на подушку «на показ» для посетителей открытый том Критики Чистого Разума или Одиссею, хотя он их больше «ни при какой погоде не читал».

Он был вспыльчив, но отходчив. Рассердившись из-за какого-нибудь пустяка, он принимал скоропалительное решение.

— Никогда не прошу. Никогда не помирюсь. Кончено!

Но на следующий же день встречался и разговаривал с тем, с кем навсегда все было «кончено», как ни в чем не бывало.

— Главное, не объясняться. Никаких «я тебя», «ты меня», которые так любят женщины, Запомните это правило. Оно вам пригодится в жизни — никаких «выяснений отношений», в особенности любовных. Ах если бы Ахматова не говорила с первого же года — Николай, нам надо объясниться... На это я неизменно отвечал: — Оставь меня в покое, мать моя!..

Был он и довольно упрям, что тоже скорей свидетельствует о слабой воле. Сколько я ни встречала упрямых людей, все они были слабовольны.

Гумилев признавался: — Я знаю, что неправ, но сознаться в этом другому мне трудно. Не могу. Как и просить прощения. Зато терпеть не могу, когда у меня просят прощения. Надо забывать. Раз забыто, так и прощено.

— А как же, Николай Степанович, афоризм: «Мужчина прощает, но не забывает. Женщина не прощает, но забывает», значит вы поступаете по-женски? Вы женственны?

Но упрек в женственности возмущает Гумилева.

— Вздор. Чепуха. Женщины внимательны на обиды, внимательны до ужаса. Вы, например, не забываете ни одной обиды, никакого зла.

— И никакого добра, — добавляю я: у меня хорошая память. Но, может быть это во мне мужская черта?

Гумилев смеется.

— Ну, знаете, мужских черт в вас днем с огнем не сыщешь. Вас бы в средние века сожгли на костре, как ведьму. И не только оттого, что вы рыжая.

Я говорю:

— Вот и опять обида. Я ее прощу, но не забуду.



Гумилев продолжает смеяться:

— Быть названной ведьмой, — комплимент, а не обида, в особенности для пишущей стихи. Зинаида Гиппиус очень гордилась тем, что ее считают и даже в печати называют ведьмой. Ведьмовское начало схоже с вдохновением. Ведьмы сами были похожи на стихотворения. Вам скорее лестно, что вас сожгли бы на костре. Непременно сожгли бы. И правильно бы поступили.

На следующий день я принесла Гумилеву две строфы:

*Вьется вихрем вдохновенье
По груди моей и по рукам,
По лицу, по волосам,
По цветущим рифмами словам.
Я исчезла. Я — стихотворенье,
Посвященное вам.*

и вторую

*А ко мне сегодня в лунном сне
Прилетела рыжая сестра
И со мной осталась до утра.
И во сне вложила в сердце мне
Уголек из своего костра.*

Гумилев, что с ним не часто случалось, одобрил их и меня: — У поэта должно быть плюшкинское хозяйство. И веревочка пригодится. Все, что вы слышали или читали, тащите к себе, в стихи. Ничего не должно пропадать даром. Все для стихов.

Стихи я тогда писала каждый день. По совету, вернее даже по требованию, Гумилева. Он говорил: — «День без новых стихов, пропащий день».

Я ежедневно давала Гумилеву свои стихи на суд — «скорый и немилостивый», как он сам его определил.

Как-то я пришла к нему с букетом первой сирени. Я весной и летом постоянно ходила с цветами. Выходя из дома, я покупала у уличных мальчишек, будущих беспризорных, цветы и так и носила их с собой целый день, воображая, что я гуляю в саду, где цветет сирень, жасмин и черемуха.

Гумилеву очень нравилось мое «хождение с цветами», как он его называл. Он сам с удовольствием принимал участие в прогулках

с черемухой или сиренью, в игру в цветущий сад и даже сочинил о наших прогулках с цветами строфу:

*Снова идем мы садами
В сумерках летнего дня,
Снова твоими глазами
Смотрит весна на меня.*

Но сегодня, хотя день солнечный и голубой — настоящий «прогульный день» по его выражению, он не желает выходить из дома.

— Нет, лучше позанимаемся, садитесь, слушайте и отвечайте.

Он берет из моих рук сирень и кладет ее передо мной на стол.

— Представьте себе, что вы еще никогда не видели сирени, не знаете ее запаха, даже не трогали ее — что вы скажете о ней несбитыми нешаблонными, словами?

И я как могу, стараюсь описать сирень, ее влажную хрупкость и благоухание и двенадцатилепестковую звездочку, приносящую счастье.

Он внимательно выслушивает меня.

— Совсем неплохо. А теперь стихами то же самое или что хотите о сирени, без лишних слов, ямбом. Не более трех строф. Не задумываясь. Даю вам пять минут.

Я зажмуриваюсь от напряжения и почти сразу говорю:

*Прозрачный, светлый день
Каких весной не мало,
И на столе сирень
И от сирени тень.
Но хочет Гумилев
Чтобы без лишних слов
Я б ямбом написала
Об этой вот сирени
Не более трех строф
Стихотворенье.*

Брови Гумилева удивленно поднимаются. В его раскосом взгляде один глаз на меня, другой в сторону на сирень — вспыхивают искры.



— Хорошо. Даже очень. Вы действительно делаете мне честь, как ученица. Вы моя ученица номер первый. Гордость моей Студии. Предсказываю вам, — вы скоро станете знаменитой. Очень скоро.

Сердце мое, вылетев из груди, бьется в моем горле, в моих ушах.

Не может быть! Неужели? Наконец! Наконец-то. Гумилев хватил меня, и еще как!

Я вскакиваю и начинаю кружиться по кабинету. Гумилев недовольно смотрит на меня.

— Не кружитесь волчком, вы собьете меня с ног. Да перестаньте же!

Но я не перестаю. Я кружусь от восторга, захлестывающего меня.

— Вы скоро будете знаменитой, — повторяю я нараспев.

— Господи! — вздыхает Гумилев, — Как вас унять?

И вдруг он, подойдя ко мне, двумя руками берет меня за талию. Мне кажется, что он хочет кружиться и танцевать со мной. Но ноги мои уже не касаются пола. Я в воздухе. Он поднимает меня. И вот я уже сижу на шкафу и он притворно строго говорит, грозя мне пальцем:

— Сидите тут тихо. Совсем тихо. Мне надо докончить перевод. Не мешайте мне.

Я сижу в полном недоумении на шкафу, свесив ноги. Что же это такое?

Гумилев, посадив меня на шкаф, поворачивается ко мне спиной и возвращается к столу. Он сбрасывает мою сирень на пол — и раскладывает перед собой толстую рукопись. Что же это такое в самом деле?

Сидеть на шкафу неудобно. Паша, по-видимому, никогда не вытирает пыль на шкафу и он оброс ею, как мохом. От пыли и от обиды щекочет в носу. Но я молчу. Я выдерживаю характер.

Страницы рукописи шуршат. Красный карандаш в руке Гумилева делает пометки на полях. Гумилев молча перелистывает рукопись. Он ни разу даже не повернул головы, не взглянул на меня.

Я не выдерживаю.

— Николай Степанович. Меня ждут дома!

Гумилев вздрагивает, как от неожиданности, и вот уже он стоит передо мною.

— Ради Бога простите! Я совсем забыл. Мне казалось, что вы давно ушли.

Притворяется он или действительно забыл обо мне? В обоих случаях обидно, во втором даже еще обиднее.

Он осторожно снимает меня со шкафа.

Мое платье и руки перепачканы пылью. Он достает щетку: — Почиститесь. Или давайте лучше я.

Но я отстраняю щетку. Я слишком оскорблена.

— Не надо. Я спешу. И так пойду.

Я натягиваю перчатки на запыленные руки. Молча. С видом оскорбленного достоинства.

— Неужели вы сердитесь?

Я поднимаю с пола сирень. Иду на кухню.

— Нисколько не сержусь. Мне надо домой, — говорю я сдержанно и холодно.

Глупо показывать обиду, да он все равно не поймет.

Но он, кажется понимает.

Он достает с полки большой мешок.

— Вот возьмите. Я приготовил для вас. Тут двадцать селедок из академического пайка. На хлеб выменяете.

От селедок я не отказываюсь. Селедки действительно можно выменять на хлеб. Или на сахар. Пригодятся. Еще как пригодятся.

— Спасибо, — говорю я так же холодно. И беру мешок с селедками и мой полузавядший букет сирени. Гумилев открывает передо мной кухонную дверь.

— Не сердитесь. И помните, вы действительно скоро будете знамениты.

Я иду домой. Мешок с селедками очень тяжелый и оттягивает руки. Нести его и сирень неудобно. Бросить сирень? Но я прижимаю ее к груди, придерживая подбородком. И улыбаюсь мечте о будущей славе.

Нет, я не предчувствую, не догадываюсь, что предсказание Гумилева «вы скоро будете знаменитой» действительно исполнится не когда-нибудь там, а молниеносно скоро...

* * *

Как это ни странно меня «открыл» не мой учитель Гумилев, а Георгий Иванов. Произошло это, важное в моей жизни событие, 30-го апреля 1920 года.



Гумилев за несколько дней сообщил мне, что у него в будущую субботу в пять часов вечера прием в честь приехавшего из Москвы Андрея Белого*. С «поэтическим смотром». Выступят Оцуп, Рождественский и я.

И Оцуп и Рождественский, хотя и молодые, но настоящие поэты. Я же только — студистка. Выступить с ними на равных началах мне чрезвычайно лестно.

В субботу 30 апреля я прихожу к Гумилеву за полчаса до назначенного срока. Оцуп и Рождественский уже здесь и оба, как и я, взволнованы.

«Смотр» почему-то происходит не в кабинете, а в прихожей. Перед заколоченной входной дверью три стула — для нас. На пороге столовой — два зеленых кресла — для Гумилева и Белого.

Гумилев распоряжается, как режиссер. Он усаживает меня на средний стул, справа Рождественский, слева Оцуп.

— Николай Авдеевич, ты будешь читать первым. Каждый по два стихотворения. Давайте прорепетируем!

И мы репетируем.

— Громче. Отчетливее, — командует Гумилев, — держитесь прямо. Голову выше.

Я чувствую себя на сцене. Мною овладевает актерский «трак».

Напряженное ожидание. Наконец — стук в кухонную дверь.

— Андрей Белый прибыл! — громко объявляет Гумилев.

«Прибыл». В дворцовой карете с ливрейными лакеями или, по крайней мере, в сверкающем, длинном Бенце прибыл, а не пришел пешком.

Гумилев спешит на кухню с видом царедворца, встречающего коронованную особу.

Мы все трое, как по команде, встаем.

Об Андрее Белом ходит столько легенд, что для меня он сам превратился в легенду. Мне не совсем верится, что он сейчас появится здесь.

В Студии рассказывают, что он похож на ангела. Волосы, как золотое сиянье. Ресницы — опახала. Глаза — в мире нет подобных глаз. В него все влюблены. Нельзя не влюбиться в него. — Вот увидите сами! Он — гений. Это чувствуют даже прохожие на улице и уступа-

* Белый, Андрей (Борис Бугаев) (1880–1934) — русский писатель, поэт, критик, мемуарист, стиховед; один из ведущих деятелей русского символизма и модернизма.

ют ему дорогу. В Москве, задолго до войны, все были без ума от него. Но он, устав от славы, уехал, скрылся за границей. Во время войны он в Швейцарии, в Дорнахе, строил «Гетеанум». С доктором Штейнером.

Потом он вернулся в Россию. Он здесь. И я сейчас увижу его.

Из кухни доносятся голоса. Слов не разобрать. Шаги...

Гумилев особенно чопорный, и будто весь накрахмаленный, с церемонным поклоном пропускает перед собой... Но разве это Андрей Белый? Не может быть!

Маленький. Худой. Седые, легкие как пух волосы до плеч. Черная атласная шапочка не вполне закрывает лысину. Морщинистое, бледное лицо. И большие, светло-голубые сияющие, безумные глаза.

— Борис Николаевич, — голос Гумилева звучит особенно торжественно, — позвольте вам представить двух молодых поэтов: Николая Оцупа и Всеволода Рождественского.

Оцуп и Рождественский, не сходя с мест, молча кланяются.

Но Андрей Белый уже перелетел прихожую и трясет руку Оцупа, восторженно заглядывая ему в глаза.

— Так это вы, Оцуп? Я слышал. Я читал. Оцуп! Как же! Как же... — И не докончив фразы бросается к Рождественскому.

— Вы, как я и думал, совсем Рождественский. С головы до ног — Рождественский. Весь, как на елке!

Рождественский что-то смущенно бормочет. Гумилев, хотя церемония представления явно разворачивается не по заранее им установленному плану, указывает на меня широким жестом.

— А это — моя ученица. Без фамилии. Без имени.

Сияющие, безумные глаза останавливаются на мне.

— Вы — ученица? Как это прекрасно! Всегда, всю жизнь оставайтесь ученицей! Учитесь! Мы все должны учиться. Мы все ученики.

Он хватает мою руку, высоко поднимает ее и, встряхнув, сразу выпускает из своей. Потом быстро отступает на шаг и оглядывается. Будто сомневается, нет ли здесь еще кого-то, кого он не заметил, не одарил сиянием своих глаз и своего восхищения.

И вот он уже снова рядом с Гумилевым. Движения его легки, отрывчаты и неожиданны. Их много, их слишком много.

Он весь движение — руки простерты, для полета, острые колени согнуты, готовы пуститься в присядку. И вдруг он неожиданно весь застывает в какой-то напряженной, исступленной неподвижности.



Гумилев пододвигает ему кресло.

— А теперь, с вашего позволения, Борис Николаевич, начнет чтение стихов.

Белый кивает несколько раз.

— Стихи? Да, да. Непременно стихи. Стихи это хорошо!

Он садится, вытягивает шею, поворачивает голову в нашу сторону. Вся его поза подчеркивает, что он весь слух и внимание.

Первым, как было условлено, читает Оцуп. Спокойно.. Внятно. Уверенно:

*О, жизнь моя. Под говорливым кленом
И солнцем проливным и легким небосклоном
Быть может, ты сейчас последний раз вздыхаешь...
Быть может, ты сейчас как облако растаешь...*

Белый, встrepенувшись, начинает многословно и истово хвалить:

— Я был уверен... Я ждал... И все же я удивлен — лучше, еще лучше, чем я думал...

Но я не слушаю. Я, зажмурившись, повторяю про себя свои стихи. Только бы не забыть, не сбиться, не оскандалиться.

Дирижерский жест Гумилева в мою сторону.

— Теперь вы!

Я встаю — мы все всегда читали стихи стоя — и сейчас же начинаю:

*Всегда, всему я здесь была чужая
Уж вечность без меня жила земля...*

Прочитав первое стихотворение, я делаю паузу и перевожу дух.

Но эта полминутная тишина выводит Белого из молчания и оцепения.

Он весь приходит в движение. Его глаза сверкают. Голос звенит:

— Инструментовка... Аллитерация... Вслушайтесь, вслушайтесь! «Всегда всему я». Ведь это а-у-я. А-у-я! — И вдруг подняв, к потолку руку, уже поет: — А-у-я! Аллилуйя! — Он поворачивает к Гумилеву бледное восторженно-вдохновенное лицо, скосив на меня глаза. — Как она могла? Сразу же без подготовки. В первой же строчке — Аллилуйя! Осанна Вышнему! Осанна Учителю!

Я слушаю. Казалось бы я должна испытывать радость от этих похвал. Но нет. Мне по-прежнему неловко. Мне от этих «аллилуй» и «осанн» стыдно — за себя, за него, за Гумилева. Не надо. Не надо...

Ведь я чувствую, я знаю, он говорит это так, нарочно, зря. Ему совсем не понравились мои стихи. Он вряд ли их даже слышал. Только первую строчку и слышал.

Он заливает меня сиянием своих глаз, но вряд ли видит меня. Я для него просто не существую. Как, впрочем, и остальные. Я для него только предлог, чтобы воскликнуть: Аллилуйя! Осанна Андрею Белому!

Торжественно-официальный голос Гумилева: Еще!

И я читаю «Птицу». И дочитав, покорно жду.

Но видно Белый истратил на меня слишком много красноречия. Он молчит. И Гумилев, убедившись, что Белый о «Птице» ничего не желает сказать, делает знак Рождественскому.

Рождественский закидывает голову и сладостно и мелодично начинает выводить нараспев свое прелестное, — всех, даже Луначарского, восхищавшее стихотворение:

*Что о-ни с торбою сде-ла-ли
Бедная мо-я Мос-ква!*

Окончив, Рождественский от волнения вытирает лоб платком.

Новый взрыв восторга Белого. И я опять понимаю, что он не слышал, что он хвалит не стихи Рождественского, а жонглирует словами.

— Замечательно находчиво! Это они — они. О-ни! О — эллипсис. О — дыра. Дыра — отсутствие содержания. Дыра, через которую ветер вечности уносит духовные ценности. О — ноль! Ноль — моль. Моль съедает драгоценные меха — царственный горноста́й, соболь, бобер. — И вдруг, понизив голос до шепота. — У меня у самого котиковая молью траченная шапка, там на кухне осталась. И сердце тоже, тоже траченное молью.

Рождественский выжидательно смотрит на Гумилева. Ему по программе полагается прочесть еще свое, тоже всех очаровывающее:

Это Лондон, леди. Узнаете?

Но можно ли прервать словесные каскады Белого? Гумилев незаметна качает головой и Рождественский, вздохнув, снова занимает свое место.

А Белый, разбрасывая фонтаном брызги и блески вдохновения, поднимается в доступные ему одному, заоблачные выси.

— Мое бедное сердце траченное молью! А ведь сердце — лев. И значит — травленный молью котик на голове и травленный



молью лев в груди. — Всплеск рук — un lion mite! И я сам — un lion mite! Ужас! Ужас! Но ведь у меня, как у каждого человека, не только сердце, но и печень, желудок, легкие. Печень — волк, желудок — пантера, легкие — лебедь, широко раскинувший крылья, легкий двукрылый лебедь. Мое тело — лес, где все они живут. Я чувствую их в себе. Они все еще здоровые, только вот сердце — лев, бедный лев, бедный lion mite. Они загрызут его. Я боюсь за него. Очень боюсь! — и неожиданно перебивает он себя. — А вы Николай Степанович тоже чувствуете их в себе?

Гумилев совершенно серьезно соглашается.

— Конечно. Часто чувствую. Особенно в полнолунные ночи.

И Гумилев начинает выкладывать какие-то обрывки схоластических познаний о соотношении органов человеческого тела с зверьми и птицами, согласно утверждениям оккультистов.

— Гусь, например...

Белый болезненно морщится и вежливо поправляет: — Не совсем так. Нет, совсем не так! Гусь тут не при чем. Гусь, тот сыграл свою роль при сотворении мира в древнеегипетском мифе. Помните? В начале был только остров в океане. На острове четыре лягушки. И четыре змеи. И яйцо. — Белый привстает, протирает руки вперед, на мгновение он застывает, кажется что он висит в воздухе. Лицо его вдруг перекашивается. Он почти кричит. — Яйцо лопнуло! Лопнуло! Из яйца вылупился большой гусь. Гусь полетел прямо в небо и... — он весь съеживается, прижимает руки к груди. — Гусь стал солнцем! Солнцем! — Он с минуту молчит, закрыв глаза, будто ослепленный гусем-солнцем. Потом поворачивается к Гумилеву и внимательно пристально смотрит на него, как бы изучая его лицо.

— Если человек похож на гуся, вот, скажем, как вы, Николай Степанович, это значит, что он отмечен Солнцем. Символом солнца!

Гумилев улыбается смущенно и в то же время гордо. Лестно быть отмеченным солнцем. Хотя сходство с гусем скорее обидно. Но он не спорит.

Я смотрю на Белого. Кого он мне напоминает? И вдруг вспоминаю — профессора Тинтэ из сказки Гофмана «Золотой Горшок».

Как я сразу не догадалась? Ведь Белый вылитый профессор Тинтэ, превращавшийся в большую, черную, жужжащую муху. Меня бы не очень удивило, если бы Белый вдруг зажужжал черной мухой под потолком.

Гумилев встает.

— А теперь Борис Николаевич, пожалуйста чай пить. — Полукивок в сторону наших стульев. — И вы, господа.

Как будто без этого пригласительного полукивка нас троих могли оставить в прихожей, как зонтик или калоши.

В столовой на столе, покрытом белой скатертью, чашки, вазочки с вареньем, с изюмом, медом, сухарики и ярко-начищенный, клокочущий самовар. Полный парад.

Обыкновенно Гумилев пьет чай прямо на пестрой изрезанной клеенке, из помятого алюминиевого чайника. Самовар я у него вижу в первый раз. Я впервые присутствую на приеме у Гумилева.

Мы рассаживаемся в том же порядке — с одной стороны стола Оцуп, я и Рождественский, с другой Белый и Гумилев у самовара.

Я очень боялась, что Гумилев заставит меня разливать чай. Но нет. Он сам занялся этим.

Белый вскакивает, подбегает к самовару, смотрится в него, как в зеркало, строя гримасы.

— Самовар! — блаженно вздыхает он. — Настоящий томпаковый, пузатый! С детства люблю глядеться в него — так чудовищно и волшебю. Не узнаешь себя. А вдруг я действительно такой урод и все другие видят меня таким и только я не знаю? — и оторвавшись от самовара, вернувшись на свое место. — С детства страстно люблю чай. Горячий. Сладкий-пресладкий. И еще с вареньем.

Он накладывает себе в чашку варенья, сухарики хрустят на его зубах. Он жмурится от удовольствия. От удовольствия? Или от желания показать, какое невероятное удовольствие он сейчас испытывает?

— Ведь я в Москве — глаза его ширятся, становятся пустыми — почти голодаю. Нет, не почти, я просто голодаю. Хвосты! Всюду хвосты! Но я не умею стоять в хвостах. Я не могу хвоститься. Я — писатель. Я должен писать. Мне некогда писать. И негде — с ужасом — Негде! У меня ведь нет комнаты. Только темная, тесная, грязная каморка. И за стеной слева пронзительное з-з-з-з! — пила, а справа трах, трах, трах! — топор. Дуэт, переключка через мою голову, через мой мозг — пилы и топора. Мозг мой пилят и рубят. А я должен писать!

Гумилев пододвигает Белому изюм.

— Да, Борис Николаевич, трудные, очень трудные времена!..

— Трудные? Нет, нет. Совсем не трудные! Трудные времена благословенны. Времена полные труда. Я хочу трудиться, а мне не дают, — как самовар шумит и клокочет Белый. — Поймите,



не дают! Скажите, что мне делать?.. Что? Что мне делать, Николай Степанович?

Гумилев недоумевающе и скорбно разводит руками.

— Право, Борис Николаевич..

И вдруг, как бы в ответ раздается дробный стук в кухонную дверь. Лицо Гумилева сразу светлеет. — Это Георгий Иванов, — говорит он с облегчением.

Гумилев встает. Без официальной церемонности. С гостеприимной улыбкой. Два шага навстречу уже входящему Георгию Иванову.

— Как хорошо, что ты пришел, Жоржик! Я уже боялся, что ты за обедом у Башкирова забудешь о нас.

Да, хорошо, очень хорошо, что Георгий Иванов в тот вечер не остался у Башкирова. Не столько для Гумилева, как для меня. Если бы в тот вечер... Но не стоит гадать о том, что было бы, если бы не было...

Георгий Иванов здороваётся с Белым и Белый, уже сияющий восторгом встречи, рассыпается радостными восклицаниями: — Как я рад! Так страшно давно... Наконец-то!

Отулыбавшись и сказав несколько приветственных слов Белому, Георгий Иванов кивает Оцупу: — Здравствуй, Авдей!

Авдей — это удивляет меня. Ведь Оцупа зовут Николай. Николай Авдеевич.

Я молча подаю руку Георгию Иванову. В первый раз в жизни. Нет. Без всякого предчувствия.

Георгия Иванова я уже видела на улице, возвращаясь с Гумилевым из Студии и в самой Студии, где он, изредка, мимолетно появлялся.

Он высокий и тонкий, матово-бледный с удивительно-красным большим ртом и очень белыми зубами. Под черными резко очерченными бровями живые, насмешливые глаза. И... черная челка до самых бровей. Эту челку, как мне рассказал Гумилев, придумал для Георгия Иванова мэтр Судейкин. По-моему — хотя Гумилев и не согласился со мной — очень неудачно придумал.

Георгий Иванов чрезвычайно элегантен. Даже слишком элегантен по «трудным временам». Темно синий, прекрасно скроенный костюм. Белая рубашка. Белая дореволюционной белизной. Недавно маленькая девочка из нашего дома сказала про свое плохо выстиранное платьице — оно темно-белое, а мне хочется светло-белое!

У Георгия Иванова и рубашка и манжеты и выглядывающий из кармана носовой платок, как раз светло-белые. У Гумилева все это темно-белое.

На Оцупе ловко сидящий френч без признаков какой бы то ни было белизны и ловкие ярко-желтые высокие сапоги, вызывающие зависть не только поэтов.

Белый же весь, начиная со своих волос и своего псевдонима — Белый, сияюще-белый, а не только светло-белый. Впрочем, рубашка на нем защитного цвета. Но она не защищает его от природной белизны.

Георгий Иванов садится напротив меня, но я отвожу глаза, не решаясь смотреть на него. Я знаю от Гумилева, что он самый насмешливый человек литературного Петербурга. И вместе с Лозинским самый остроумный. Его прозвали «общественное мнение». — Вам непременно надо будет постараться понравиться ему. Для вас это, помните, очень важно, — настаивал Гумилев.

Георгий Иванов весело рассказывает, что он только что обедал у Башкирова, у поэта Башкирова-Верина. И тот прочел ему свои стихи:

*...И я воскликнул, как в бреду:
Моя любовь к тебе возмездие,
Бежим скорее на звезду!..*

— Я посвятил эти стихи одной восхитительной баронессе, объяснил Башкиров-Верин. — С ней действительно хочется подняться к звездам.

А подававшая пирог курносая девчонка-горничная громко фыркнула. — Полно врать, Борис Николаевич. Какая там еще баронесса? Ведь вы это мне написали!

Все смеются, Белый особенно залихватно и звонко — Полно врать, Борис Николаевич! повторяет он. — Это и мне часто следует говорить. Как правильно! Как мудро! Ах, если бы у меня была такая курносая девчонка-горничная! — И уже совсем другим тоном, грустно и серьезно — Ведь я вру. Я постоянно вру. Не только другим. Но и себе. И это страшно. Очень страшно.

Снова тягостное молчание. Всем неловко. Гумилев старается спасти положение.

— Ты опоздал, Жоржик. Мы здесь с Борисом Николаевичем слушали без тебя стихи, — и как утопающий хватается за соломинку, — может быть послушаем еще?



Георгию Иванову, по-видимому, не очень хочется слушать стихи. Но он соглашается.

— Отлично. С удовольствием. Стихи Николая Авдеевича и Всеволода Александровича я, впрочем, и сам могу наизусть прочитать. А вот твою ученицу, — он кивает мне, улыбаясь, — еще ни разу слышать не пришлось.

Я холодею от страха. Неужели же мне еще придется читать?

— Прочтите что-нибудь, — говорит Гумилев.

Но я решительно не знаю, что. Я растерянно моргаю. И ничего не могу вспомнить.

Гумилев недоволен. Он стучит папиросой по крышке своего черепахового портсигара. Он терпеть не может, когда поэты ломаются.

— У вас же так много стихов. Какое-нибудь. Все равно какое.

Но я продолжаю молчать.

— Ну, хотя бы, — уже раздраженно говорит он — хотя бы эту вашу «Балладу о Толченом Стекле».

Балладу? Неужели он хочет, чтобы я прочла ее? Ведь я написала ее еще в октябре. Я была уверена, что мне наконец удалось сочинить что-то стоящее, что-то свое. Я принесла ее Гумилеву чисто переписанной. Но он прочитав ее нахмурился:

— Что ж? Очень хорошо. Только сейчас никому ненужно. Никому не понравится. Большие, эпические вещи сейчас ни к чему. Больше семи строф современный читатель не воспринимает. Сейчас нужна лирика и только лирика. А жаль — ваша баллада совсем недурна. И оригинальна. Давайте ее сюда. Уложим ее в братскую могилу неудачников. — И он спрятал мою балладу в толстую папку своих забракованных им самим стихов. Это было в октябре. И с тех пор он ни разу не вспоминал о ней.

— Если не помните наизусть я принесу вам рукопись, — предлагает он.

— Нет, я помню.

И я не задумываясь начинаю решительно:

Баллада о Толченом Стекле

*Солдат пришел к себе домой,
Считает барыши...*

Я произношу громко и отчетливо каждое слово. Я так переволновалась, не зная какие стихи прочесть, что сейчас чувствую себя почти спокойно.

Гумилев слушает с благодушно-снисходительной улыбкой. И значит все в порядке.

*...Настала ночь. Взошла луна.
Солдат ложится спать.
Как гроб тверда и холодна
Двухспальная кровать...*

Гумилев продолжает все так же благодушно-снисходительно улыбаться и я решаюсь взглянуть на Георгия Иванова.

Он тоже слушает. Но совсем иначе. Без снисходительной улыбки. Он смотрит на меня во все глаза с острыми, колючим любопытством. — Наверно, хочет разглядеть и запомнить «ученицу Гумилева» во всех подробностях. И завтра же начнет высмеивать мой бант, мои веснушки, мою картавость и, главное, мою злосчастную балладу. Зачем только Гумилев заставил меня читать ее? Ведь он сам предупреждал меня: — Бойтесь попасть на зубок Георгию Иванову — съест! И вот сам отдал меня на съедение ему.

Мне становится страшно. Я произношу с трудом, дрожащим голосом:

*И семь ворон подняли труп
И положили в гроб...*

Георгий Иванов порывисто наклоняется ко мне через стол.

— Это вы написали? Действительно вы? Вы сами?

Что за нелепый, что за издевательский вопрос?

— Конечно, я. И, конечно, сама.

— Правда, вы? — Не понимает он. — Мне, простите, не верится, глядя на вас.

Теперь не только он, но и Оцуп и Рождественский с любопытством уставляются на меня. У Гумилева недоумевающий, даже слегка растерянный вид. Наверно ему стыдно за меня.

Я чувствую, что краснею. От смущения, от обиды. Мне хочется встать, убежать, провалиться сквозь пол, выброситься в окно. Но я продолжаю сидеть. И слушать.

— Это замечательно, — неожиданно заявляет Георгий Иванов. — Вы даже не понимаете до чего замечательно. Когда вы это написали?

Отвечать мне не приходится. За меня отвечает Гумилев.

— Еще в начале октября. Когда я — помнишь — в Бежецк ездил. Только чего ты, Жоржик, так горячишься?



Георгий Иванов накидывается на него.

— Как чего? Почему ты так долго молчал, так долго скрывал? Это то, что сейчас нужно — современная баллада! Какое широкое эпическое дыхание, как все просто и точно...

Георгий Иванов — о чем я узнала много позже — был великим открывателем молодых талантов. Делал он это с совершенно не свойственной ему страстностью и увлечением. И даже с пристрастностью и преувеличением. Но сейчас его странное поведение окончательно сбивает меня с толку. Он продолжает расхваливать мою «современную балладу».

— Современной балладе принадлежит огромная будущность. Вот увидите, — предсказывает он. — Вся эта смесь будничной повседневности с фантастикой, с мистикой...

Но тут Белый — ему, по-видимому, давно надоело молчать и ему, конечно, нет никакого дела до моей баллады — не выдерживает:

— Мистика, — подхватывает он. — Символика ворон. Так и слышишь в каждой строфе зловещее карканье. Кра-кра-кра! Но Египетский Бог... Ра...

— В особенности в таком картавом исполнении, — насмешливо бросает Георгий Иванов.

— Но Бог Солнца Ра... — не слушал продолжает Белый с увлечением.

От смущения я плохо понимаю. Но слава Богу! Слава Солнечному Богу Ра, я уже не в центре общего любопытства и внимания.

Разговор, вернее монолог Белого, прерываемый остротами Георгия Иванова, течет пенящимся горным ручьем.

Чаепитие окончено. Все встают и переходят в кабинет.

Я незаметно выскальзываю на кухню. Гумилев нагоняет меня.

— Неужели вы уже уходите? Можете уйти?

— Меня ждут дома. Я обещала.

Он помогает мне надеть пальто.

— Вы, кажется, не отдаете себе отчета в том, что произошло. Признаюсь, я не думал, что это случится так скоро. Запомните дату сегодняшнего дня — 30-е апреля 1920 года. Я ошибся. Но я от души поздравляю вас!..

Поздравляет? с чем? Я не спрашиваю. Я подаю ему руку.

— Спасибо, Николай Степанович! Спокойной ночи.

— Счастливой ночи, — говорит он.

И я выхожу на улицу.

* * *

Это было в субботу 30 апреля. Сегодня вторник 3 мая. Я на публичной лекции Чуковского* «Вторая жена». О Панаевой.

Зал набит. Чуковский, как всегда, на публичных своих выступлениях, гораздо менее блестящ, чем в Студии. Он читает по тетрадке, не глядя на слушателей. И от этого многое теряется. И все таки очень интересно. Ему много хлопают. Он кончил. Он встает. К нему, как всегда, подбегает толпа студистов и молодых поклонников. Он идет по коридору. Они бегут за ним. Он выше всех, его видно в толпе. Он что-то говорит жестикулируя и спрутообразно извиваясь. И вдруг останавливается и, повернув, идет решительно прямо на меня. Публика расступается. Вокруг него и меня образуется пустое место.

Чуковский кланяется, как всегда «сгибаясь пополам». Этот поклон предназначается мне. И все видят.

— Одоевцева, я в восторге от вашей баллады! — говорит он очень громко. И все слышат. Нет, может быть он произносит другие слова — от волнения я плохо слышу. Но смысл их — восхищение моей балладой.

— Я очень прошу вас записать «Толченное Стекло» в Чукоккалу. Обещаете?

Я ничего не обещаю. У меня для обещания нет голоса. Я даже кивнуть головой не могу.

Но ведь его «обещаете» — только цветок риторического красноречия, поднесенный им мне.

«Чукоккала» — святая святых, тетрадь в черном кожаном переплете. Только знаменитости удостоиваются чести писать в ней.

Чуковский снова отвешивает мне нижайший театральный поклон. Он идет к выходу. Я стою на том же месте. Гумилев трогает меня за плечо — Идемте! Слушатели все еще толпятся вокруг меня. Теперь они идут за нами с Гумилевым. До меня доносится: Как ее зовут? Как? Одоевцева? Какое такое «Стекло»? Кто она такая?

Мы на Невском. Гумилев говорит взволнованно: — Вот видите. И случилось. Поздравляю вас!

* Чуковский, Корней (Николай Корнейчуков) (1882—1969) — русский советский поэт, публицист, литературный критик, переводчик и литературовед, детский писатель, журналист. Отец писателей Николая Корнеевича Чуковского и Лидии Корнеевны Чуковской.



Но я не понимаю. Откуда Чуковский знает? Почему? И Гумилев рассказывает, что он вчера, в понедельник, брился в парикмахерской Дома Искусств рядом с Чуковским и прочел ему «Толченное Стекло». Наизусть. И Чуковский, как Георгий Иванов, пришел в восторг. — И вот результат. Поздравляю. Я думал, что вы будете знаменитой. Но не думал, что так скоро. Теперь вас всякая собака знать будет.

«Всякая собака» — вряд ли. Петербургские собаки были по-прежнему заняты своими собачьими делами. Но, действительно, с вечера 3 мая я стала известна в литературных — и не только литературных — кругах Петербурга.

Так. Сразу. По щучьему велению. Не успев даже понять, как это случилось.

С этой весны для меня началась уже настоящая литературная жизнь и понеслась ускоренным, утроенным, удесятеренным темпом. Не хватало времени, чтобы перевести дух. Столько событий кружились и кружили нас снежным вихрем. Лекции сменялись литературными вечерами и концертами, концерты танцевальными вечерами. Все это происходило в Доме Литераторов и в Доме Искусств. Были и настоящие балы.

Столько событий! И мое первое публичное выступление.

3 августа 20 года я читала впервые Балладу о Толченом Стекле на литературном утреннике Дома Литераторов. Уже как настоящий, полноценный поэт. Ведь никаких ученических и дилетантских выступлений здесь не полагалось.

Волновалась ли я? Не особенно. Я в мечтах давно пережила все свои выступления и успехи. И когда они, наконец, стали реальностью, отнеслась к ним довольно сдержанно.

В день моего первого выступления Гумилев зашел за мной. Я вышла к нему уже готовая, в туфлях на высоких каблуках и чулках. В обыкновенное время я, следуя тогдашней моде, ходила в носочках. Но для торжественного выступления они — я понимала — не годятся. На мне синее платье. Не белое кисейное с десятью воланами, ни розовое, а синее шелковое. Для солидности. И в волосах, как птица, бант. Синяя птица — в цвет платья и как у Метерлинка.

Гумилев осматривает меня внимательно.

— Бант снимите. Бант тут не к месту.

Я не сразу уступаю. Ведь бант часть меня. Без него я не совсем существую.

Но Гумилев настаивает:

— Верьте мне, с бантом слишком эффектно.

Выступать с бантом он разрешил мне только через два месяца. — Теперь вам не только можно, но и следует выступать с бантом. Он еще поднимет вашу популярность...

* * *

Мое первое выступление прошло вполне благополучно, хотя и не сопровождалось овацией.

Мне, как и профессору Карсавину, выступавшему передо мной, в меру поаплодировали.

Большого в Доме Литераторов ждать не приходилось. Аудитория здесь была тонно-сдержанная, не то что в Доме Искусств.

Объяснялось это ее составом — большинство здешних слушателей достигло почтенного и даже сверхпочтенного возраста и давно научилось «властвовать собой» и не проявлять бурно своих чувств и симпатий, тогда как в Доме Искусств преобладал «несовершеннолетний, несдержанный элемент».

Все же и Гумилев и я остались вполне довольны моим первым выступлением.

Но этим дело не ограничилось. Через три дня Гумилев с таинственным видом подвел меня к стене, на которой, как тогда полагалось, была наклеена Красная Газета и ткнул пальцем в нижний фельетон.

— Читайте! Только дайте я вас под руку возьму, чтобы вы в обморок не упали. Обо мне в Красной Газете фельетонов никогда не появлялось! Куда там! Лариса Рейснер вас прославила, и как еще! С первого же вашего появления. Поздравляю и завидую!

Ни ему, ни мне, ни, конечно, и самой Ларисе Рейснер, — писавшей стихи и вполне дружески относившейся к поэтам, — не пришло в голову, что такое «прославление» могло кончиться для меня трагично. Она в своем фельетоне сообщала, что «изящнейшая поэтесса» в талантливой балладе возвела клевету на красноармейца, обвиняя его в подмешивании стекла к продаваемой им соли — т. е. в двойном преступлении — не только в мешочничестве, но и в посягательстве на жизнь своих сограждан.

«На верхах», узнав о существовании явно контрреволюционной «изящнейшей поэтессы», клевещущей на представителей Красной Армии — могли, конечно, заинтересоваться ею и пожелать прекратить раз и навсегда ее зловредную деятельность — даже вместе с ее жизнью.



Но мы, повторяю, по своему невероятному, необъяснимому легкомыслию об этом вовсе и не подумали.

А фельетон Ларисы Рейснер, несмотря на его намек на мою контрреволюционность или благодаря ему — как впоследствии и хвалебный отзыв Троцкого, — принес мне известность не только в буржуазных, но и в большевистских кругах.

* * *

Сырой, холодный октябрьский день 1920 года.

Я сижу в столовой Дома Литераторов за длинным столом над своей порцией пшенной каши.

Я стараюсь есть как можно медленнее, чтобы продлить удовольствие. Каша удивительно вкусна. Впрочем, все съедобное кажется мне удивительно вкусным. Жаль только, что его так мало. Конечно, я могу попросить еще порцию каши — мне в ней не откажут.

Но для этого пришлось бы сознаться, что я голодна. Нет, ни за что.

Во мне, как в очень многих теперь неожиданно проснулась «гордость бедности» — правда, «позолоченной бедности». Ведь мы все еще прекрасно одеты и живем в больших, барских квартирах. Но, Боже, как мы голодаем и мерзнем в них...

Гумилев, против своего обыкновения, не здоровается со мной церемонно, а заявляет:

— Вас-то я и ишу, вас-то мне и надо. Кончайте скорее вашу кашу и идите!

От радости — я всегда испытываю радость при встрече с ним, в особенности, если это, как сейчас, неожиданная встреча, — каша сразу перестает казаться вкусной. Я стараюсь как можно скорее покончить с ней. Оставить ее недоеденной я все-таки не решаюсь. Я так тороплюсь, что боюсь поперхнуться.

— Идите! — нетерпеливо повторяет он, уже направляясь к выходу.

И я иду за ним.

В прихожей я надеваю свою котиковую шубку с горностаевым воротничком, нахлобучиваю прямо на бант, круглую котиковую шапку. Очень быстро, не тратя времени на ненужное предзеркальное кокетничанье.

Но Гумилев, хотя он и спешит, все же останавливается перед зеркалом и обеими руками, как архимандрит митру, возлагает на себя свою ушастую оленью шапку.

Сколько раз мне приходилось видеть, как он самодовольно лубуется своим отражением в зеркале и я все же всегда изумляюсь этому.

Должно быть его глаза видят не совсем то, что мои. Как бы мне хотелось хоть на мгновение увидеть мир его глазами.

Мы выходим на темную Бассейную. Идет мокрый снег. Как холодно и бесприютно. А в Домлите было так тепло, светло и уютно. Зачем мы ушли?:

— Куда мы идем, Николай Степанович?

Он плотнее запахивает полы своей короткой дохи:

— Любопытство вместе с леностью мать всех пороков, — произносит он доктринальным тоном. — Вспомните хотя бы Пандору. И не задавайте праздных вопросов. В свое время узнаете. И прибавьте шаг.

Я знаю, по опыту, что настаивать напрасно и молча шагаю рядом с ним. Мы идем вверх по Бассейной, а не вниз. Значит не ко мне и не к нему. Но куда? Мы сворачиваем на Знаменскую. Тут, в бывшем Павловском Институте, когда-то помещалось «Живое Слово», с которого началась моя настоящая жизнь.

Теперь «Живое Слово» переехало в новое помещение возле Александрийского театра. Я в нем больше не бываю. Оно — обманувшая мечта. Из него за все время его существования ничего не вышло. «Гора родила мышь». А сколько оно обещало и как прелестно было его начало! Я не могу не вспоминать о нем с благодарностью.

— Какое сегодня число? — неожиданно прерывает молчание Гумилев.

— 15-ое октября, — с недоумением отвечаю я.

Гумилев не в пример очень многим, — ведь календарей больше нет, — всегда точно знает, какое сегодня число, какой день недели и даже определяет время без помощи часов.

— А что случилось в ночь с 14 на 15 октября 1814 года? — спрашивает он.

Я растерянно мигаю. Это мне не известно. Наверно что-нибудь касающееся Наполеона. Ватерлоо? Отречение? Или вступление русских войск в Париж? Но почему в ночь на 15-ое? Нет, русские войска вступили в Париж днем и кажется весной...

— Не знаете? Событие, касающееся непосредственно нас с вами.

— Ватерлоо? — Вступление русских войск в Париж? — предлагаю я неуверенно.



Гумилев смеется.

— С каких это пор армия вас непосредственно касается? Нет, нет, совсем нет. Бросьте проявлять ваши исторические познания, которые у вас, кстати, слабы. Слушайте — и запомните — он вынимает правую руку, засунутую в левый рукав дохи, как в муфту, и подняв длинный указательный палец, произносит: — Слушайте и запомните! В ночь на 15-ое октября 1814 года родился Михаил Юрьевич Лермонтов. — И вам стыдно не знать этого.

— Я знаю, — оправдываюсь я, — что Лермонтов родился в 1814 году, только забыла месяц и число.

— Этого нельзя забывать, — отрезает Гумилев. — Но и я тоже чуть было не прозевал. Только полчаса тому назад вспомнил вдруг, что сегодня день его рождения. Бросил перевод и побежал в Дом Литераторов за вами. И вот — он останавливается и торжествующе смотрит на меня. — И вот мы идем служить по нем панихиду!

— Мы идем служить панихиду по Лермонтове? — переспрашиваю я.

— Ну да, да. Я беру вас с собой оттого, что это ваш любимый поэт. Помните, Петрарка говорил: «Мне не важно, будут ли меня читать через триста лет, мне важно, чтобы меня любили».

Да, Гумилев прав. Я с самого детства и сейчас еще больше всех поэтов люблю Лермонтова. Больше Пушкина. Больше Блока.

— Подумайте, — продолжает Гумилев, — Мы с вами наверно единственные, которые сегодня, в день его рождения, помолимся за него. Единственные в Петербурге, единственные в России, единственные во всем мире... Никто, кроме нас с вами, не помянет его... Когда-то в Одессе Пушкин служил панихиду по Байрону, узнав о его смерти, а мы по Лермонтову теперь.

Мы входим в Знаменскую церковь. Возле клироса жмутся какие-то тени. Мы подходим ближе, шаги наши гулко отдаются в промерзлой тишине. Я вижу — это старухи — нищие, закутанные в рваные платки и шали. Наверно они спрятались тут в надежде согреться, но тут еще холоднее, чем на улице.

— Подождите меня, — шепчет Гумилев — я пойду поищу священника.

И он уходит. Я прислоняюсь к стене и закрываю глаза, чтобы не видеть старух-нищенок. Они чем-то напоминают мне ведьм. Им совсем не место в церкви. Мне становится страшно.

Слишком тихо, слишком темно здесь в этой церкви. От одиноко мерцающих маленьких огоньков перед иконами все кажется таинственным и враждебным.

Я почему-то вспоминаю Хому Брута из «Вия». Я боюсь обернуться. Мне кажется, если я обернусь, я увижу гроб, черный гроб.

Мне хочется убежать отсюда. Я стараюсь думать о Лермонтове, но не могу сосредоточиться.

Скорей бы вернулся Гумилев!

И он, наконец, возвращается. За ним, мелко семеня, спешит маленький, худенький священник, на ходу оправляя должно быть наспех надетую на штатский костюм — рясу. «Служителям культа» рекомендуется теперь, во избежание неприятностей и насмешек, не носить «спец-одежду» за стенами церкви.

— По ком панихида? По Михаиле? По новопреставленном Михаиле? — спрашивает он.

— Нет, батюшка. Не по новопреставленном. Просто по болярине Михаиле.

Священник кивает. Ведь в церкви, кроме нас с Гумилевым и нищенок-старух никого нет и значит можно покойника величать «болярином».

Гумилев идет к свечному ящику, достает из него охажку свечек, сам ставит их на поминальный столик перед иконами, сам зажигает их. Оставшиеся раздает старухам.

— Держите, — и Гумилев подает мне зажженную свечку.

Священник уже возглашает:

— «Благословен Бог наш во веки веков. Аминь»...

Гумилев, стоя рядом со мной, крестится широким крестом и истово молится, повторяя за священником слова молитвы. Старухи поют стройно, высокими надтреснутыми, слезливыми голосами:

«Святой Боже»...

Это не нищенки, а хор. Я ошиблась, приняв их за нищенок.

— «Со святыми упокой»...

Гумилев опускается на колени и так и продолжает стоять на коленях до самого конца панихиды.

Но я не выдерживаю. Каменные плиты так холодны.

Я встаю, чувствуя, как холод проникает сквозь тонкие подошвы в ноги, поднимается до самого сердца. Я напрасно запрещаю себе чувствовать холод.



Я тоже усердно молюсь и крещусь. Конечно, не так истово, как Гумилев, но все-же «от всей души».

— «Вечная память»... — поют старухи и Гумилев, неожиданно, присоединяет свой глухой деревянный детонирующий голос к их спевшемуся, стройному хору.

Гумилев подходит ко кресту, целует его и руку священника, подчеркнуто-благоговейно.

— «Благодарю вас, батюшка!»

Должно быть, судя по радостному и почтительному — «Спасибо!» священника, он очень хорошо заплатил за панихиду.

Он «одаривает» и хор — каждую старуху отдельно — «если разрешите». И они «разрешают» и кланяются ему в пояс.

Делает он все это с видом помещика, посещающего церковь, выстроенную на его средства и на его земле.

— Ну, как, вы замерзли совсем? — осведомляется он у меня уже на улице.

Я киваю.

— Замерзла совсем.

— Но все-таки не жалеете, рады, что присутствовали на панихиде по Лермонтове? — спрашивает он.

И я отвечаю, совершенно искренно:

— Страшно рада!

— Ну, тогда все отлично. Сейчас пойдем ко мне. Я вас чаем перед печкой отогрею.

Он берет меня под руку и мы быстро шагаем в ногу.

— Ведь еще не кончено празднование дня рождения Лермонтова. — говорит он. Главное еще впереди.

Мы сидим в прихожей Гумилева перед топящейся печкой.

Я протягиваю озябшие руки к огню и говорю:

*После ветра и мороза было
Любо мне погреться у огня...*

— Ну, нет, — строго прерывает меня Гумилев. — Без Ахматовой, пожалуйста. Как, впрочем, и без других поэтов. На повестке дня — Лермонтов. Им мы и займемся. Но сначала все же пообедаем.

Прихожая маленькая, тесная, теплая. В нее из холодного, необитаемого кабинета перенесены зеленый диван и два зеленых, низких кресла. Электрический матовый шар под потолком редко зажигается. Прихожая освещается пламенем не переставшей

топиться печки. От этого теплого красноватого света она кажется слегка нереальной, будто на наполняющую ее:

*Предметов жалких дребедень
Ложится сказочная тень...*

будто:

*...Вот сейчас выползет черепаха,
пролетит летучая мышь...*

Но раз запрещено цитировать стихи, кроме лермонтовских, я произношу эти строчки мысленно про себя. Тем более, что они принадлежат мне.

«Пообедаем», сказал Гумилев, и он приступает к приготовлению «обеда». Закатив рукава пиджака, он с видом заправского повара нанизывает, как на вертел, нарезанные кусочки хлеба на игрушечную саблю своего сына Левушки и держит ее над огнем.

Обыкновенно эта сабля служит ему для подталкивания горящих поленьев, но сейчас она «орудие кухонного производства».

— Готово! — он ловко сбрасывает кусочки запекшегося, дымящего хлеба на тарелку, поливает их подсолнечным маслом и объявляет: — Шашлык по-карски! Такого нежного карачаевского барашка вы еще не ели. Он протягивает мне тарелку.

Ведь, правда, шашлык на редкость хорош? А бузу вы когданибудь пили? Нет? Ну, тогда сейчас попробуете. Только пейте осторожно. Она очень пьяная. Голова закружиться может. И как я вас тогда домой доставлю?

Он сыплет пригорошнями, полученный по академическому пайку, изюм в котелок с морковным чаем, взбалтывает его и разливает эту мутную сладкую жидкость в два стакана.

Я, обжигая пальцы, беру стакан. Мы чокаемся. — За Лермонтова! — провозглашает он, залпом проглатывая свой стакан и морщится. — Чертовски крепкая! Всю глотку обожгло. Добрая буза!

Я прихлебываю «бузу» мелкими глотками и заедаю ее «шашлыком». — Вкусно? — допытывается он. — Самый, что ни на есть кавказский пир! Только зурны не хватает. Мы бы с вами под зурну сплясали лезгинку. Не умеете? Ничего, я бы вас научил. Я бы в черкеске кружился вокруг вас на носках, с кинжалом в зубах, а вы бы только поводили плечами, извивались и змеились.

И вдруг, бросив шутовской тон, говорит серьезно:



— Лермонтов ведь с детства любил Кавказ. Всю жизнь. И на Кавказе погиб. Ему было всего десять лет, когда он впервые увидел Кавказ. Там же он пережил свою первую влюбленность.

Он задумывается.

— Не странно ли? И я тоже мальчиком попал на Кавказ. И тоже на Кавказе впервые влюбился. И тоже не во взрослую барышню, а в девочку. Я даже не помню, как ее звали, но у нее тоже были голубые глаза и светлые волосы. Когда я наконец осмелился сказать ей «Я вас люблю», она ответила — «Дурак!» и показала мне язык. — Эту обиду я и сейчас помню. Он взмахивает рукой, будто отгоняя муху.

— Вот я опять о себе. Кажется я действительно выпил слишком много бузы и хмель ударил мне в голову. А вы как? Ничего? Не опьянели? Отогрелись? Сыты? Сыты совсем?

— Совсем.

— Тогда, — говорит он, ставя пустые стаканы и тарелки на столик перед раз навсегда запертой входной дверью, — ведь теперь ходят с черного хода, через кухню, — тогда, повторяет он, можно начинать.

— Что начинать? — спрашиваю я.

— А вы уже забыли? Начинать то, для чего я вас привел сюда — вторую часть празднования дня рождения Лермонтова. Панихида была необходима, не только чтобы помолиться за упокой его души, но и как вступление, как прелюд. И как хорошо, что нам удалось отслужить панихиду! Как ясно, как светло чувствуешь себя после панихиды. Будто вдруг приподнялся край завесы, отделяющий наш мир от потустороннего, и оттуда на короткое мгновение блеснул нетленный свет. Без нее я вряд ли сумел и смог бы сказать вам все то, что скажу сейчас.

— Оттого, — продолжает он, — что у нас, — у вас и у меня — открылось сердце. Не только ум, но и сердце, навстречу Лермонтову.

Он встает, выходит в спальню и возвращается, неся несколько книг. Он сбрасывает их прямо на пол возле своего кресла.

— О Лермонтове. Они мне сегодня понадобятся. Ведь вы, хотя он и ваш любимый поэт, ровно ничего не знаете о нем, как, впрочем, почти все его поклонники. Сколько трудов о Пушкине и как их мало о Лермонтове. Даже не существует термина для изучающих Лермонтова. Пушкинисты — да, но лермонтовисты звучит странно. Лермонтовистов нет, и науки о Лермонтове еще нет, хотя давно

пора понять, что Лермонтов в русской поэзии явление не меньшее, чем Пушкин, а в прозе несравненно большее. Вы удивлены? Я этого еще никогда не говорил вам? Да. Не говорил. И вряд ли когда-нибудь скажу или напишу в статье. И все же — это мое глубокое, искреннее убеждение. Он усаживается снова в кресло.

— Мы привыкли повторять фразы вроде «Пушкин наше все!» «Русская проза пошла от Пиковой Дамы». Но это, как большинство прописных истин, неверно.

Русская проза пошла не с «Пиковой Дамы», а с «Героя нашего времени». Проза Пушкина настоящая проза поэта, сухая, точная, сжатая. Прозу Пушкина можно сравнить с Мериме, а Мериме ведь отнюдь не гений. Проза Лермонтова чудо. Еще большее чудо, чем его стихи. Прав был Гоголь, говоря, что так по-русски еще никто не писал...

Перечтите «Княжну Мери». Она совсем не устарела. Она могла быть написана в этом году и через пятьдесят лет. Пока существует русский язык, она никогда не устареет.

Если бы Лермонтов не погиб, если бы ему позволили выйти в отставку!..

Ведь он собирался создать журнал и каждый месяц — понимаете ли вы, что это значит? — каждый месяц печатать в нем большую вещь!

Гумилев достает портсигар и закуривает.

— Да, действительно, — говорит он, пуская кольца дыма, — как трагична судьба русских поэтов, почти всех: Рылеева, Кюхельбекера, Козлова, Полежаева, Пушкина...

Неужели же права графиня РаSTOPчина? Кстати она — вы вряд ли это знаете — урожденная Сушкова. Нет, не печальной памяти Катрин Сушкова, написавшая о Лермонтове апокрифические воспоминания, а ее родная старшая сестра Додо Сушкова. Она была другом Лермонтова, поверенной его чувств и надежд, его наперсницей, как это тогда называлось. Неужели же она права, советуя поэтам:

*Не трогайте ее, зловецей сей цевницы,
Поэты русские, она вам смерть дает!
Как семимужняя библейская вдовица
На избранных своих она грозу зовет! —*

Я не выдерживаю — Но ведь вы запретили читать сегодня какие бы то ни было стихи, кроме лермонтовских?



Он пожимает плечами — Значит и я не умею говорить, не цитируя стихов. Но смягчающее вину обстоятельство: эти стихи написаны на смерть Лермонтова.

Гумилев смотрит в огонь. Что он там видит такого интересно? Пламя освещает его косоглазое лицо.

— Иногда мне кажется, — говорит он медленно, — что и я не избежну общей участи, что и мой конец будет страшным. Совсем недавно, неделю тому назад, я видел сон. Нет, я его не помню. Но когда я проснулся, я почувствовал ясно, что мне жить осталось совсем недолго, несколько месяцев не больше. И что я очень страшно умру. Я снова заснул. Но с тех пор, — нет — нет, да и вспомню это странное ощущение. Конечно, это не предчувствие. Я вообще не верю в предчувствия, хотя Наполеон и называл предчувствия «глазами души». Я уверен, что проживу до ста лет. А вот сегодня в церкви... Но ведь мы не обо мне, а о Лермонтове должны говорить сейчас.

И вдруг перебивает себя:

— Скажите, вы не заметили, что священник ошибся один раз и вместо «Михаил», сказал — «Николай».

Я качаю головой.

— Нет, не заметила. Нет, я ведь очень внимательна. Я бы услышала.

Он недоверчиво улыбается и закуривает новую папиросу.

— Ну, значит я ослышался, мне почудилось. Но мне с той минуты, как мне послышалось «Николай», вместо «Михаил», все не по себе. Вот я дурачился и шашлык готовил, а под ложечкой сосет и сосет и не могу успокоиться. Но раз вы уверены... Просто у меня нервы не в порядке. Надо будет съездить в Бежецк отдохнуть и подкормиться. Кстати, буза совсем уж не такой пьяный напиток. Я пошутил.

А теперь забудьте, где вы, забудьте, кто я. Сидите молча, закройте глаза. И слушайте.

Я послушно закрываю глаза и вся превращаюсь в слух. Но он молчит.

Как тихо тут. Слышно только как дрова потрескивают в печке. Будто мы не в Петербурге, а где-то за тысячу верст от него. Я уже хочу открыть глаза и заговорить, но в это мгновенье раздается глухой голос Гумилева:

— Сейчас 1814 год. Мы в богатой усадьбе Елизаветы Алексеевны Арсеньевой в Тарханах, Пензенской губернии на новогоднем балу.

В двухсветном зале собран весь цвет окружных соседей-помещиков.

На сцене разыгрывается драма господина Вильяма Шекспира — «Гамлет — принц Датский». Несколько странный выбор для новогоднего спектакля. Впрочем, Елизавета Алексеевна большая оригиналка.

Играют крепостные актеры и сам хозяин Михаил Васильевич. Правда, он исполняет очень скромную роль — роль могильщика.

Этот бал должен решить его судьбу. Он страстно влюблен в недавно поселившуюся в своем имении молодую вдову-княгиню. И сегодня, он, наконец, надеется сломить ее сопротивление.

Но время идет, а прелестная княгиня все не едет. Он напрасно прислушивается к звону бубенцов подъезжающих саней, напрасно выбегает на широкое крыльцо с колоннами, встречать ее — ее все нет.

И вот в полном отчаянии, держа гипсовый череп в руке, он со сцены повторяет заученные слова.

В первом ряду величаво восседает его жена Елизавета Алексеевна, улыбаясь хитро и торжествующе.

После спектакля ужин под гром крепостного оркестра. Уже взвиваются в воздух пробки шампанского и часы приближаются к двенадцати, а место хозяина дома все еще пусто. Елизавета Алексеевна хмурит брови и посылает свою дочь Мари поторопить отца. Наверно он замешкался, переодеваясь, забыл, что его ждут.

Мари бежит, быстро перебирая ножками в розовых атласных туфельках, через пустые ярко-освещенные залы. Ей шестнадцать лет. Сегодня ее первый бал. Ей очень хотелось сыграть Офелию, но Елизавета Алексеевна нашла такое желание неприличным. Все же Мари счастлива, как никогда еще — на ней впервые декольтированное длинное воздушное платье и как ей к лицу высокая прическа с цветами и спускающимся на плечо локоном. Она останавливается перед стенным зеркалом и делает своему отражению низкий реверанс. — Вы очаровательны. Вы чудо как хороши, Мария Михайловна! — говорит она себе и весело бежит дальше. Она стучит в дверь кабинета: Папенька! Маман гневается. Папенька, гости ждут!

Она входит в кабинет и видит: отец лежит скрючившись, на ковре, широко открыв рот и уставившись остекленевшими мертвыми глазами в потолок.

Она вскрикивает на весь дом и падает без чувств рядом с ним.



Оказалось — этого не удалось скрыть — Елизавета Алексеевна приказала слугам не пускать красавицу-княгиню в Тарханы. Слуги, встретив ее сани на дороге, преградили ей путь, передав приказ барыни. В страшном гневе красавица-княгиня вырвала страничку из своего carnet de bal, написала на ней: «После такого оскорбления между нами все навсегда кончено!», велела: — «Вашему барину в собственные руки!» и повернула обратно, домой.

Слуги доставили записку «в собственные руки барина». Он в это время переодевался у себя в кабинете с помощью камердинера.

Прочитав записку, он надел фрак, завязал белый галстук, отослал камердинера и отравился.

Так рок, еще до рождения Лермонтова, занялся его будущей матерью, навсегда наложив на нее свою печать...

Через два часа Гумилев провожает меня домой, держа меня под руку.

Уже поздно и мы спешим.

— Да перестаньте же плакать! — недовольно говорит Гумилев. — Перестаньте! У вас дома вообразят, что я вас обидел. Кто вам поверит, что вы разливаетесь по Лермонтову. Вытрите глаза. Можно подумать, что он только сегодня умер и вы только сейчас узнали об этом.

Он протягивает мне свой платок и я послушно вытираю слезы. Но они продолжают течь и течь.

— Я не знала, я действительно не знала, как это все ужасно было и как он умирал, — всхлипываю я. — Я не могу, не могу. Мне так больно, так жаль его!..

Он останавливается и нагнувшись близко заглядывает в мои плачущие глаза.

— А знаете, если загробный мир на самом деле существует и Лермонтов сейчас видит, как вы о нем плачете, ему наверно очень приятно — и помолчав прибавляет потеплевшим, изменившимся голосом: — Вот я бранил вас, а мне вдруг захотелось, чтобы через много лет после моей смерти какое-нибудь молодое существо плакало обо мне так, как вы сейчас плачете. Как по убитом женихе... Очень захотелось...

* * *

Гумилеву было только тридцать пять лет, когда он умер, но он по-стариковски любил «погружаться в свое прошлое», как он сам насмешливо называл это.

— Когда-нибудь, лет через сорок, я напишу все это, — повторял он часто. — Ведь жизнь поэта не менее важна, чем его творчество. Поэту необходима напряженная, разнообразная жизнь, полная борьбы, радостей и огорчений, взлетов и падений. Ну, и, конечно, любви. Ведь любовь — главный источник стихов. Без любви и стихов не было бы.

Он поднимает тонкую руку с безмерно длинными пальцами, торжественно, будто читает лекцию с кафедры, а не сидит на ковре перед камином у меня на Бассейной.

— По Платону любовь одна из трех главных напастей, посылаемых богами смертным, — продолжает он — и, хотя я и не согласен с Платоном, но и я сам чуть не умер от любви, и для меня самого любовь была напастью едва не приведшей меня к смерти.

О своей безумной и мучительной любви к Анне Ахматовой и о том, с каким трудом он добился ее согласия на брак, он вспоминал с явным удовольствием, как и о своей попытке самоубийства.

— В предпоследний раз я сделал ей предложение, заехав к ней по дороге в Париж. Это был для меня вопрос жизни и смерти. Она отказала мне. Решительно и бесповоротно. Мне оставалось только умереть.

И вот, приехав в Париж, я в парке Бютт Шомон поздно вечером вскрыл себе вену на руке. На самом краю пропасти. В расчете, что ночью, при малейшем движении, я не смогу не свалиться в пропасть. А там и костей не сосчитать...

Но видно мой ангел хранитель спас меня, не дал мне упасть. Я проснулся утром, обессиленный потерей крови, но невредимый на краю пропасти. И я понял, что Бог не желает моей смерти. И никогда больше не покушался на самоубийство.

Рассказ этот, слышанный мной неоднократно, всегда волновал меня. Гумилев так подробно описывал парк и страшную скалу над еще более страшной пропастью и свои мучительные предсмертные переживания, что мне и в голову не приходило не верить ему.

Только попав в Париж, и отправившись, в память Гумилева, в парк Бютт Шомон на место его «чудесного спасения», я увидела, что попытка самоубийства — если действительно она существовала — не могла произойти так, как он ее мне описывал: до скал невозможно добраться, что ясно каждому, побывавшему в Вютт Шомон.

Гумилев, вспоминая свое прошлое, очень увлекался и каждый раз украшал его все новыми и новыми подробностями. Чем, кстати,



его рассказы сильно отличались от рассказов Андрея Белого, тоже большого любителя «погружаться в свое прошлое».

Андрей Белый не менял в своих рассказах ни слова и даже делал паузы и повышал или понижал голос на тех же фразах, будто не рассказывал, а читал страницу за страницей отпечатанные в его памяти. Гумилев же импровизировал, красноречиво и вдохновенно, передавая свои воспоминания в различных версиях.

Если я робко решалась указать ему на несовпадение некоторых фактов, он удивленно спрашивал:

— А разве я прошлый раз вам иначе рассказывал? Значит, забыл. Спутал. И к тому же, как правильно сказал Толстой, — «я не попугай, чтобы всегда повторять одно и то же». А вам, если вы не умеете слушать, и наводите критику, я больше ничего рассказывать не буду, — притворно сердито заканчивал он.

Но, видя, что, поверив его угрозе, я начинаю моргать от огорчения, уже со смехом:

— Что вы, право! Шуток не понимаете? Не понимаете, что мне рассказывать хочется не меньше, чем вам меня слушать? Вот подождите, пройдет несколько лет и вы сможете написать ваши собственные «Разговоры Гете с Эккерманом». Да, действительно, я могла бы как Эккерман, написать мои «Разговоры с Гете», т. е. с Гумилевым, «толщиною в настоящий том». Их было множество, этих разговоров, и я их всех бережно сохранила в памяти.

Ни одна моя встреча с Гумилевым не обходилась без того, чтобы он не высказал своего мнения о самых разнообразных предметах, своих взглядов на политику, религию, историю — на прошлое и будущее вселенной, на жизнь и смерть и, конечно, на «самое важное дело жизни» — поэзию.

Мнения его иногда шли в разрез с общепринятыми и казались мне парадоксальными.

Так, он утверждал, что скоро удастся победить земное притяжение, и станут возможными межпланетные полеты.

— А вокруг света можно будет облететь в восемьдесят часов, а то и того меньше. Я непременно летаю на Венеру, — мечтал он вслух, — так лет через сорок. Я надеюсь, что я ее правильно описал. Помните:

*На далекой звезде Венере
Солнце пламенной и золотистой,
На Венере, ах, на Венере
У деревьев синие листья.*

Так, он предвидел новую войну с Германией и точно определял, что она произойдет через двадцать лет. Я, конечно, приму в ней участие, непременно пойду воевать. Сколько бы вы меня ни удерживали, пойду. Снова надену военную форму, крикну и сяду на коня, только меня и видели. И на этот раз мы побьем немцев! Побьем и раздавим!

Предсказывал он также возникновение тоталитарного строя в Европе.

— Вот, все теперь кричат: Свобода! Свобода! а в тайне сердца, сами того не понимая, жаждут одного — подпасть под неограниченную, деспотическую власть. Под каблук. Их идеал — с победно развивающимся красными флагами, с лозунгом «Свобода» стройными рядами — в тюрьму. Ну, и, конечно, достигнут своего идеала. И мы и другие народы. Только у нас деспотизм левый, а у них будет правый. Но ведь хрен редьки не слаще. А они непременно — вот увидите — тоже получают то, чего добиваются.

Он бесспорно на много опередил свое время. У него бывали «просто гениальные прорывы в вечность», как он без ложной скромности, сам их определял.

Конечно, иногда у него бывали и обратные «антигениальные прорывы» — нежелание и неумение понять самые обыкновенные вещи. Но и они интересны, характерны и помогают понять Гумилева — живого Гумилева.

Да, мне действительно следовало бы записать мои разговоры с ним.

Январьский полдень, солнечный и морозный.

Мы, набегавшись в Таврическом Саду, как мы часто делали, сели отдохнуть на «оснеженную» скамейку.

Гумилев смахнул снег с полы своей дохи, улыбнулся широко и вдруг совершенно неожиданно для меня «погрузился в прошлое».

— «Я в мае 17 года был откомандирован в Салоники, — говорит он, будто отвечает на вопрос:

— Что вы делали в мае 17 года?

Но, хотя я и не задавала ему этого вопроса, я всегда готова его слушать. А он продолжает:

— Я застрял в Париже надолго и так до Салоник и не добрался. В Париже я прекрасно жил, гораздо лучше, чем прежде, встречался с художниками. С Гончаровой и Ларионовым я даже подружился. И французских поэтов видел много, чаще других Морраса.



Ну и, конечно, влюбился. Без влюбленности у меня ведь никогда ничего не обходится. А тут я даже сильно влюбился. И писал ей стихи. Нет, я не могу как Пушкин сказать о себе: «Но я любя был глух и нем». Впрочем, ведь и у него много любовных стихотворений. А я как влюблюсь, так сразу и запою. Правда, скорее петухом, чем соловьем. Но кое-что из этой продукции бывает и удачно.

Он подробно рассказывает о своем парижском увлечении, о всех перепетиях его, и для иллюстрации читает стихи из «альбома в настоящий том», посвященные «любви несчастной Гумилева, в год четвертый мировой войны».

Да, любовь была несчастной, говорит он смеясь. Об увенчавшейся победой счастливой любви много стихов не напишешь.

Он читает стихотворение за стихотворением. Он уже и раньше читал мне их. Мне особенно нравится:

*Вот девушка с газельими глазами
Выходит замуж за американца.
Зачем Колумб Америку открыл?*

Голос его звучит торжественно и гулко в морозной, солнечной, хрупкой тишине:

*— Мой биограф будет очень счастлив,
Будет удивляться два часа,
Как осел, перед которым в ясли
Свежего насыпали овса.*

*Вот и монография готова,
Фолиант почтенной толщины...*

и не дочитав до конца смотрит на меня, улыбаясь:

— Здесь я, признаться, как павлин хвост распустил. Как вам кажется? Вряд ли у меня будут биографы-ищейки. Впрочем, кто его знает? А вдруг суд потомков окажется более справедливым, чем суд современников. Иногда я надеюсь, что обо мне будут писать монографии, а не только три строчки петитом. Ведь все мы мечтаем о посмертной славе. А я, пожалуй, даже больше всех.

Гумилев, морщась, долго разжигает папиросу, закрывая ее рукой от ветра, потом, помолчав и уже изменившимся голосом, продолжает, глядя перед собой на покрытую снегом дорожку и на двух черных ворон, похожих на два чернильных пятна на белой странице.

— Я действительно был страшно влюблен. Но, конечно, когда я из Парижа перебрался в Лондон, я и там сумел.nano во влюбиться. Результатом чего явилось мое стихотворение: «Приглашение в путешествие».

А из Англии я решил вернуться домой. Нет, я не хотел, не мог стать эмигрантом. Меня тянуло в Россию. Но вернуться было трудно. Всю дорогу я думал о встрече с Анной Андреев-ной, о том, как мы заживем с ней и Левушкой. Он уже был большой мальчик. Я мечтал стать его другом, товарищем его игр. Да, я так глупо и сентиментально мечтал. А вышло совсем не то...

Он развел руками, будто недоумевая.

— До сих пор не понимаю, почему Анна Андреевна заявила мне, что хочет развестись со мной, что она решила выйти замуж за Шилейко. Ведь я ничем не мешал ей, ни в чем ее не стеснял. Меня — я другого выражения не нахожу — как громом поразило. Но я овладел собой. Я даже мог заставить себя улыбнуться. Я сказал: — Я очень рад, Аня, что ты первая предлагаешь развестись. Я не решился сказать тебе. Я тоже хочу жениться. — Я сделал паузу — на ком, о Господи?.. Чье имя назвать? Но я сейчас же нашелся: — на Анне Николаевне Энгельгардт, уверенно произнес я. — Да, я очень рад. — И я поцеловал ее руку. — Поздравляю, хотя твой выбор не кажется мне удачным. Я плохой муж, не спорю. Но Шилейко в мужья вообще не годится. Катастрофа, а не муж.

И гордый тем, что мне так ловко удалось отпарировать удар, я отправился на Эртелев переулок делать предложение Анне Энгельгардт, — в ее согласии я был заранее уверен.

Было ли все именно так, как рассказывал Гумилев или «погружаясь в свое прошлое» он слегка разукрасил и исказил его — я не знаю.

В тот зимний полдень в Таврическом саду Гумилев подробно рассказал мне историю своего сватовства и женитьбы. И так же подробно историю своего развода.

Вторая жена Гумилева, Аня Энгельгардт, дочь нововременского публициста и петербургского профессора, читавшего и у нас и в «Живом Слове» лекции по китайской поэзии, была прелестна.

Злые языки пустили слух, что она не дочь профессора Энгельгардта, а Бальмонта. Ее мать была разведенная жена Бальмонта.

Гумилев верил этому слуху и не без гордости заявлял: — Моя Леночка не только дочь, но и внучка поэта. Поэзия у нее



в крови. Она с первого дня рождения кричала ритмически. Конечно, она будет поэтом.

Не знаю, стала ли Леночка поэтом. Ни о ней, ни о ее матери, Ане Энгельгардт (ее, несмотря на то, что она вышла замуж за Гумилева, в литературных кругах продолжали называть Аня Энгельгардт) — я за все годы эмиграции ничего не слыхала.

Леночка была некрасивым ребенком, вылитым портретом своего отца — косоглазая, с большим, плоским лбом и длинным носом. Казалось невероятным, что у такой прелестной матери такая дочь.

Впрочем, некрасивые девочки часто вырастая становятся красивыми. И наоборот. Надеюсь, что и Леночка стала красивой.

— Когда я без предупреждения — рассказывал Гумилев — явился на квартиру профессора Энгельгардта, Аня была дома. Она, как всегда, очень мне обрадовалась. Я тут же, не тратя лишних слов, объявил ей о своем намерении жениться на ней. И как можно скорее!

Она всплеснула руками, упала на колени и заплакала. — Нет. Я не достойна такого счастья!

— А счастье оказалось липовое. — Гумилев скорчил презрительную гримасу — хорошо, нечего сказать, счастье! Аня сидит в Бежецке с Леночкой и Левушкой, свекровью и старой теткой. Скука невообразимая, непролазная. Днем еще ничего. Аня возится с Леночкой, играет с Левушкой — он умный, славный мальчик. Но вечером тоска — хоть на луну вой от тоски. Втроем перед печкой — две старухи и Аня. Они обе шьют себе саваны, — на всякий случай все готовят к собственным похоронам. Очень нарядные саваны с мережкой и мелкими складочками. Примеряют их — удобно ли в них лежать? Не жмет ли где? И разговоры, конечно, соответствующие. А Аня вежливо слушает или читает сказки Андерсена. Всегда одни и те же. И плачет по ночам. Единственное развлечение — мой приезд. Но ведь я езжу в Бежецк раз в два месяца, а то и того реже. И не дольше, чем на три дня. Больше не выдерживаю. Аня в каждом письме умоляет взять ее к себе в Петербург. Но и здесь ей будет не сладко. Я привык к холостой жизни...

Он вздыхает. — Конечно нехорошо обижать Аню. Она такая беззащитная, совсем ребенок. Когда-то я мечтал о жене — веселой птице-певунье. А на деле и с птицами-певуньями ничего не выходит — и вдруг, переменив тон: — Никогда не выходите замуж за поэта — помните — никогда!..

* * *

Хотя мне самой это теперь кажется невероятным, но в те годы настоящим властителем моих дум был не Гумилев, а Блок.

Конечно, я была беспредельно предана моему учителю Гумилеву и — по-цветаевски готова

*...О, через все века
Брести за ним в суровом
Плаще ученика.*

Не только была готова, но и «брела» всюду и всегда. Я следовала за ним, как его тень, ежедневно — зимой и летом, осенью и весной. Правда, не в «суровом плаще ученика», а, смотря по погоде, то в котиковой шубке — то

«в рыжем клетчатом пальто моем»,

то в легком кисейном платье.

Я заходила за ним во «Всемирную Литературу» на Моховой, чтобы оттуда вместе возвращаться домой, я сопровождала его почти на все его лекции.

Я так часто слышала его лекции, что знала их наизусть.

Гумилев в шутку уверял, что во время его лекций я ему необходима, как суфлер актеру. Для уверенности и спокойствия. Знаю, если споткнусь или что-нибудь забуду, вы мне сейчас же подскажете.

Он и сам постоянно навещал меня или звонил мне по телефону, назначая встречу.

Да, все это так. И все-таки не Гумилев, а Блок.

Гумилева я слишком хорошо знала, со всеми его человеческими слабостями. Он был слишком понятным и земным. Кое-что в нем мне не очень нравилось, и я даже позволяла себе критиковать его — конечно — не в его присутствии.

В Блоке же все — и внешне и внутренне, было прекрасно. Он казался мне полубогом. Я при виде его испытывала что-то близкое к священному трепету. Мне казалось, что он окружен невидимым сиянием и что, если вдруг погаснет электричество, он будет светиться в темноте.

Он казался мне не только высшим проявлением поэзии, но и самой поэзией, принявшей человеческий образ и подобие.



Но я, часами задававшая Гумилеву самые разнообразные и нелепые вопросы о поэтах, желавшая узнать решительно все о них, никогда ничего не спрашивала о Блоке. Я не смела даже произнести его имя — от преклонения перед ним.

Я смутно догадывалась, что Гумилев завидует Блоку, хотя тщательнее и скрывает это. Но разве можно было не завидовать Блоку, его всероссийской славе, его обаянию, кружившим молодые головы и покорявшим молодые сердца? Это было понятно и простительно.

Я знала, что со своей стороны и Блок не очень жалуется Гумилеву, относится отрицательно, — как и Осип Манделштам, — к его «учительству», считает его вредным и не признает акмеизма. Знала, что Блок и Гумилев идеологические противники.

Но я знала также, что их отношения в житейском плане всегда оставались не только вежливо-корректными (Блок был вежлив и корректен решительно со всеми), но даже не были лишены взаимной симпатии.

Распространенное мнение, что они ненавидели друг друга, и открыто враждовали, совершенно неправильно и лишено оснований.

Сверкающий, пьянящий, звенящий от оттепели и капли мартовский день 20-го года.

В синих лужах на Бассейной, как в зеркалах, отражается небо и чудная северная весна.

Мы с Гумилевым возвращаемся из «Всемирной Литературы», где он только что заседал.

— Вот посмотрите, какой я сегодня подарок получил. Совершенно незаслуженно и неожиданно. — Он на ходу открывает свой пестрый африканский портфель, достает из него завернутую в голубую бумагу книгу и протягивает мне.

— Представьте себе, я на прошлой неделе сказал при Блоке, что у меня, к сожалению, пропал мой экземпляр «Ночных Часов» и вдруг он сегодня приносит мне «Ночные Часы» с той же надписью. И как аккуратно по-блоковски запаковал. Удивительный человек!

Я беру книгу и осторожно разворачиваю голубую бумагу. На главном листе крупным, четким, красивым почерком написано:

Николаю Гумилеву

Стихи которого я читаю не только днем, когда не понимаю, но и ночью, когда понимаю.

Ал. Блок

Господи, я отдала бы десять лет своей жизни, если бы Блок сделал мне такую надпись. Гумилев хватает меня за локоть.

— Осторожно, лужа! Смотрите под ноги!

Но я уже вступила в лужу, зеркальные брызги высоко взлетают. Я смотрю на них и на мои серые бархатные сапожки, сразу намокшие и побуревшие.

— Промочили ноги? — недовольно осведомляется Гумилев.

Промочила? Да, наверно. Но я не чувствую этого.

— Николай Степанович, вы рады? Очень, страшно рады?

Гумилев не может сдержать самодовольной улыбки. Он разводит руками.

— Да. Безусловно рад. Не ожидал. А приходится верить. Ведь Блок невероятно правдив и честен. Если написал, значит — правда.

И, спохватившись, добавляет: — Но до чего туманно, глубоко-мысленно и велеречиво — совсем по-блоковски. Фиолетовые поля, музыка сфер, тоскующая в полях мировая душа!.. — Осторожно, — вскрикивает он. — Опять в лужу попадете!

Он берет из моих рук «Ночные Часы» и укладывает их обратно в свой африканский портфель. Лист голубой бумаги остается у меня. Я протягиваю его Гумилеву.

— Бросьте бумагу. На что она мне? Но я не бросаю. Мне она очень «на что». Мне она — воспоминание о Блоке.

— Вы понимаете, что значит «ночью, когда я понимаю?» спрашивает Гумилев. — Понимаете? А я в эти ночные прозрения и ясно-видения вообще не верю. По-моему все стихи, даже Пушкина, лучше всего читать в яркий солнечный полдень. А ночью надо спать. Спать, а не читать стихи, не шататься пьяным по кабакам. Впрочем, как кому. Ведь Блок сочинял свои самые божественные стихи именно пьяным в кабаке. Помните —

*И каждый вечер в час назначенный —
Иль это только снится мне?
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне...*

Я слушаю, затаив дыхание — продолжая идти, не останавливаясь. Я даже смотрю себе под ноги, чтобы снова не вступить в лужу и этим не прервать чтения.

А Гумилев, должно быть против воли поддавшись магии «Незнакомки», читает ее строфа за строфой, аккуратно обходя лужи. Читает



явно для себя самого, а не для меня. Может быть, — это ведь часто случается и со мной, — даже не сознает, что произносит вслух стихи.

*...В моей груди лежит сокровище
И ключ поручен только мне.
Ты право, пьяное чудовище...*

Он вдруг обрывает и взмахивает рукой так широко, что его доха приходит в движение.

— В этом «пьяном чудовище» все дело. В нем, в «пьяном чудовище», а совсем не в том, что «больше не слышно музыки», как Блок уверяет и не в том что «наступила страшная тишина». То есть тишина действительно наступила, раз закрыли кабаки с оркестрами, визжащими скрипками, и рыдающими цыганками, раз вина больше нет. А без вина он не может. Вино ему необходимо, чтобы слышать музыку сфер, чтобы

Свирель запела на мосту...

Ведь он сам признавался:

*Я пригвожден к трактирной стойке,
Я пьян давно...*

А теперь ведь уже не пьян. Трудно поверить, глядя на него, но он только, когда пьян, видит

*Берег очарованный
И очарованную даль...*

И вот никаких стихов, кроме юмористических. Ведь для них «музыка сфер» не требуется. Их можно строчить и в «страшной тишине». Отлично они у него получаются. Не хуже, чем у Теодора де Банвиля.

Да, я знаю, что Блок часто пишет юмористические стихи. Во время изводяще скучных, бесконечных заседаний «Всемирной Литературы», кто-нибудь из заседающих — Лозинский, Гумилев, Замятин тоже истомленные скукой, подсовывают ему тетрадь или Чуковский, свою Чукоккалу, и Блок сейчас же начинает усердно строчить.

Гумилев мне их постоянно читает и очень хвалит. Но мне они совсем не нравятся. Они даже кажутся мне слегка оскорбительными для Блока.

Я, несмотря на мою «фантастическую» память, никогда не забываю их, а стараюсь пропустить мимо ушей. Но несколько строк из них все-таки всегда застревают в моей голове.

Вот и сейчас Гумилев читает мне то, что Блок сочинил сегодня:

— *Скользили мы путем трамвайным...*

И дальше, «о встрече с девой с ногами, как поленья, и глазами, сияющими, как ацетилен», одетую в каракулевый сак, который

*...В дни победы
Матрос, краса и гордость флота,
С буржуйки вместе с кожей снял.*

— Как ловко! Как находчиво! — восхищается Гумилев. — С буржуйки вместе с кожей снял — а?

Он явно ждет, чтобы и я разделила его восторг. Но я не хочу, я не могу притворяться. В особенности, — когда это касается Блока.

Я молчу и он продолжает.

— Блоку бы следовало написать теперь Анти-Двенадцать. Ведь он, слава Богу, созрел для этого. А так, многие все еще не могут простить ему его «Двенадцать». И я их понимаю. Конечно — гениально. Спору нет. Но тем хуже, что гениально. Соблазн малым сим. Дьявольский соблазн. Пора бы ему реабилитироваться, смыть со своей совести это пусть гениальное, но кровавое пятно.

Я отворачиваюсь, чтобы он не видел, — как я морщусь. Какой неудачный, совсем не акмеистический образ! Кровавое гениальное пятно! Да еще на совести. Нет, я решительно предпочитаю «Музыку сфер».

Мы идем дальше. Разговор о Блоке больше не возобновляется.

Разговоров о Блоке вообще мало, хотя я об этом очень жалею. Но сама заводить их я не решаюсь. Жду счастливого случая. И он, этот счастливый случай, не заставил себя ждать долго.

В тот весенний вечер Гумилев позвонил мне из Дома Литераторов — у него, на Преображенской № 5, телефона не было.

— Вы дома? А я вас тут жду. Напрасно жду.

Да, я была дома. И даже вроде как арестована: нам обещали привезти мешок картошки и кто-нибудь должен был остаться дома, чтобы принять это богатство.

Я не принимала никакого участия в хозяйстве и житейских заботах, но на этот раз я поняла, что должна пожертвовать своей свободой.



— Если бы вы могли придти ко мне, Николай Степанович...

Гумилев, поняв, что мое отсутствие вызвано уважительной причиной, сразу соглашается навестить меня в моем заточении.

И вот уже стучат в кухонную дверь. Я лечу открывать. Если это картошка, я побегу навстречу Гумилеву. Ведь от Дома Литераторов до нас — разойтись нельзя. Мы пойдем в Таврический Сад. Такой чудный вечер...

Я открываю дверь. Это Гумилев. В сером пальто с бархатным воротником и в серой фетровой шляпе. Нет, доха и оленья шапка ему гораздо больше к лицу.

Я веду его в кабинет. Как я рада ему.

— Мне было так скучно одной.

Он кивает:

— Ну, конечно, понимаю: «Сижу за решеткой в темнице сырой...» Как уж тут не затосковать!.. А меня, — говорит он, усаживаясь в красное сафьяновое кресло, — сейчас атаковал Т.

Т. — молодой поэт, живущий в нашем доме, один из многих отпавших от Гумилева учеников, не пожелавших поддаться его «муштре и учебе».

Гумилев хмурится.

— Лысец. Хитрая Лиса Патрикеевна. Стал меня ни с того ни с сего уверять, что я лучше Блока. Я его осадил: — Бросьте! Я ведь знаю, что вы к Блоку на поклон ходили и клялись, что я ему в подметки не гожусь. Ничего такого я не знаю, а должно быть правда. Покраснел, смутился, стал что-то бормотать... До чего противно!..

Он достает свой черепаховый портсигар и, как всегда, когда он у меня в гостях, просит разрешения закурить.

Я наклоняю голову: — Пожалуйста! — и ставлю перед ним пепельницу.

Ему нравится, что я не машу на него руками, не кричу, как богемные дамы: «Да что вы, Николай Степанович! Курите! Курите! Мне совсем не мешает. Я сама дымлю, как паровоз!»

Он зажигает спичку и бросает ее в открытое окно.

— Терпеть не могу, когда поэтов сравнивают и гадают — кто лучше, кто хуже. Конечно, Блок лучше меня. — И прибавляет, подумав: — Но не надо забывать, что он на целых пять лет старше меня. Через пять лет я, Бог даст, еще многое напишу. Я не скороспелка, я поздно развился. До «Чужого Неба» все мое малоценно и неори-

гинально. Я по-настоящему только теперь начинаю разворачиваться — на половине жизненного пути. Я сам чувствую, что с каждым днем расту. А Блок измотался, исписался. И по всей вероятности умолк раз и навсегда. Кончился.

— Да, — говорит Гумилев, задумчиво глядя в открытое окно, — хотя это и очень грустно, но Блок кончен. Безнадежно, безвозвратно кончен. Это факт!

Но с этим фактом я никак не могу согласиться. Я не могу не протестовать:

— Ведь вы, Николай Степанович, сами говорили, что он завален работой. Что у него нет минуты свободной. Где же ему тут писать стихи?

Гумилев кивает:

— Конечно, Блок, как мы все, — и пожалуй даже больше нас всех — завален работой. Он чуть ли не директор Александрийского театра, — и так честно относится к своим обязанностям, что вникает во все решительно, читает актерам лекции о Шекспире, разбирает с ними роли и так далее. Правда, актеры боготворят его. Монахов на-днях говорил: «Мы играем только для Александра Александровича. Для нас его похвала высшая награда». Он пишет никому не нужные «Исторические Картинки» для Горького — вот недавно закончил «Рамзеса». Он переводит очень усердно и неудачно — очень неудачно — Гейне. Разве это похоже на Лорелей:

*Над страшной высотой
Девушка дивной красоты
Одеждой горит золотою,
Играет златом косы...*

То «золотою», то «златом». Одно из двух — или золото, или золото. И в следующей строфе:

*Золотым убирает гребнем
И песню поет она.*

Спрашивается — что убирает? Сено на лугу или свою комнату цветами? И дальше:

*Пловец и лодочка, знаю,
Погибнут среди зыбей.
Так и всякий погибает
От песен Лорелей.*



Ну, на что это похоже? Каких таких «зыбей», хотя бы «рейнских» или «речных», а то просто «зыбей». А две последние строки — явная отсебятина. Ведь можно так точно перевести:

*И это своею песней
Сделала Лорелей.*

Я не спору. Лорелей очень плохо переведена. Но ведь и переводы Гумилева часто очень плохи. Хотя бы — французские песенки 17-го века. В них встречаются такие жемчужины:

*...Они заехали в чащу.
— Рено, Рено, я пить хочу.
— Тогда свою сосите кровь,
Вина не пробовать вам вновь.*

Переводы делаются наспех для «Всемирной Литературы». У Георгия Иванова, большого мастера перевода, было такое смешившее всех нас описание тайных ночных кутежей монахов в монастыре, втиснутое в одну строчку:

«Порою пьянствуя, монахи не шумели».

К переводам никто не относится серьезно — это халтура, легкий способ заработать деньги. Смешно упрекать Блока в неудачных переводах. Он, во всяком случае, относится к ним добросовестнее остальных.

Хороши только переводы Михаила Леонидовича Лозинского. Но ведь для него, как для Жуковского, — переводы главное дело жизни.

— Конечно, — продолжает Гумилев, — Блок завален работой. Он к тому же сам таскает дрова на третий этаж и сам колет их, он, такой белоручка, барин. И дома у него сплошной ад, не «тихий ад», а с хлопаньем дверей, с криком на весь дом и женскими истериками. Любовь Дмитриевна, жена Блока, и его мать не выносят друг друга и с утра до ночи ссорятся. Они теперь все вместе поселились. А Блок их обеих любит больше всего на свете.

Я не выдерживаю:

— Как же в такой обстановке писать стихи? Ведь вы живете один...

Но Гумилев пребывает меня.

— Как? А он все-таки пишет. И это то и является главным доказательством, что он кончен, как поэт. Он все продолжает десять

лет подряд трудиться над своим «Возмездием». А оно из рук вон плохо — настоящее возмездие за прежние удачи. Он потерял всякое критическое чутье, даже чувство юмора. Вот, как он говорит о демонизме своего отца:

*... — Так
Вращает хищник темный зрак...*

или о возвращении его матери к родителям в Петербург после ужасной жизни в Варшаве:

*Вдруг — возвращается она.
Что с ней? Как стан прозрачный тонок.
Худа, измучена, бледна...
И на руках лежит ребенок.*

Чем не Кузьма Прутков? И что значит «прозрачный стан»? Прозрачный, как эта тюлевая занавеска, это оконное стекло? А вернулась она не с тонким станом, а совсем даже напротив, с чрезвычайно округлым — и ребенок не мог лежать у нее на руках. Ребенок — то-есть сам Блок — родился уже в ректорском доме, в доме своего деда Бекетова.

У Блока неудачи так же крылаты, как и удачи. Вот вам еще описание Александра III:

*И царь — огромный, водянистый,
С семейством едет со двора.*

Краски бывают водянистыми, а к царю, даже если он болен водянкой, такой эпитет неприложим. Как же Блок не чувствует этого? Вы, надеюсь, не будете спорить.

Нет, я не спорю. Но у кого не бывает смешных строк? Сам Гумилев не далее как на прошлой неделе, самодовольно улыбаясь, прочел Георгию Иванову и мне, энергично отчеканивая каждое слово, начало своего нового стихотворения про архистратига, у которого:

*Половина туловища — пламя,
Половина туловища — лед.*

Георгий Иванов внимательно слушал и с невозмутимо серьезным видом сказал:



— Удивительно интересный архистратиг! Совсем особенный. Туловище из льда и пламени. А, скажи пожалуйста, голова, руки и ноги из чего? Из тумана или из варенья?

Меня подмывает напомнить Гумилеву о его Архистратиге, но я удерживаюсь.

Но должно быть Гумилев сам заметил, что зашел слишком далеко.

— Только не подумайте, — говорит он, — что я хочу хоть как-нибудь умалить Блока. Я отлично понимаю, какой это огромный талант. Возможно, что это лучший поэт нашего века. Он, а не как большинству кажется, Сологуб. Ни у кого со времени Лермонтова «звуки небес» не звучали так явственно. Его стихи иногда действительно становятся «музыкой сфер». Они так переполнены «звуками небес», будто не он владеет «музыкой сфер», а она им.

Гумилев задумывается на минуту и продолжает:

— Блок — загадка. Его никто не понимает. О нем судят превратно. Не только его враги и хулители — у него, их не мало, но и самые пламенные его поклонники и почитатели. Мне кажется, что я разгадал его. Блок совсем не декадент, не «кошкодав-символист», как его считают. Блок — романтик. Романтик чистейшей воды и, к тому же, немецкий романтик. Недаром он по отцу немец. Ведь его пращур Иоганн Блок прибыл из Германии и стал лекарем Императрицы Елисаветы. Немецкая кровь в нем сильно чувствуется и отражается на его внешности. Да, Блок романтик со всеми достоинствами и недостатками романтизма. Этого почему-то никто не понимает, а ведь в этом ключ, разгадка его творчества и его личности.

Гумилев поворачивается ко мне и поднимает длинный указательный палец, как всегда, когда говорит что-нибудь очень значительное:

— Слушайте внимательно и постарайтесь запомнить.

Этого он мог бы и не говорить. Конечно, я слушаю его, как всегда, внимательнее внимательного.

— Для Блока, как для Фридриха Шлегеля, Слово — магическая палочка, которой он хочет заколдовать или расколдовать мир. Он, как Новалис, ищет самого тайного пути, ведущего его в глубины его собственного сознания. Он тоже, в двадцать лет, был бунтарем, хотел в своей гордыне сравняться с Творцом. Он тоже хотел заколдовать не только мир, но и самого себя. И тоже — до чего это романтично — был всегда недоволен своим творчеством:

*Молчите, проклятые книги,
Я вас не писал никогда.*

Мучительно недоволен — и собой, всем, что делает, и своей любовью. Он не умеет любить любимую женщину. Ведь он сам знает, что ему суждено:

*Опять любить ее на небе
И изменять ей на земле.*

Не умеет он и любить себя. И это еще более трагично, чем не уметь любить вообще. Ведь первым условием счастья на земле является самоуважение и разумная любовь к себе. Христос сказал: «Люби ближнего, как самого себя». Без любви к себе невозможна любовь к ближним. Романтики, как и Блок, ненавидят себя и презирают ближних, несмотря на то, что вечно горят в огне страстей.

Им, как и Блоку, необходимо раздражение всех чувств и повышенная впечатлительность, возможность видеть невидимое, «незримое», слышать неслышимое, «несказанное», как выражается Блок.

Даже в своей жизни Блок — и это кроме меня никому не приходило в голову — повторил эпизод из жизни и Вильгельма и Фридриха Шлегеля. Фридрих был влюблен в подругу Вильгельма Каролину и они втроем создали союз дружбы и любви, тот самый союз, о котором мечтал Блок, когда Белый влюбился в Любовь Дмитриевну.

Но — не по вине Блока, а по вине Белого и Любви Дмитриевны, — Блоку не удалось то, что удалось романтику Шлегелю.

И еще черта, роднящая его с романтиками — для него, как и для них — молодостью исчерпывается жизнь и творчество. Только в молодости стоит жить и можно писать стихи. Блок в тридцать пять лет уже обращается к жене:

Милый друг, мы с тобой старики...

А потом и того хуже:

*Оглянулся — сорок лет,
Хватить-похватить, а сердца нет...*

А как жить прикажете без сердца? Как продолжать жить когда

...Жизнь отшумела и прошла...



Даже необходимость кутежей и пьянства объясняется тем, что романтику надо постоянно находиться в повышенно раздраженном состоянии, в полубреду с болезненно обостренными чувствами. Так, например, Новалис гордился отсутствием хладнокровия и неумением объективно и разумно судить о событиях и людях, не внося страстности в свои слова. Он чувствовал себя счастливым только тогда, когда мысли, как падучие звезды, проносились в его сознании и наполняли его душу лазурным и золотым дождем.

Читая Тика, Шлегеля, Новалиса и немецких романтиков вообще, я всегда вспоминаю Блока. Все это мог сказать и он. У Блока даже внешность романтическая, в особенности в молодости, — его бархатные блузы с открытым белым воротником и его золотые буйные локоны. Он как будто сошел с портрета какого-нибудь друга Новалиса или Шлегеля.

— И все-таки, — продолжает Гумилев, — Блок глубоко русский и даже национальный поэт, как впрочем все мы. Все, все мы, несмотря на декаденство, символизм, акмеизм и прочее, прежде всего русские поэты.

Он широко улыбается и прищуривает левый глаз.

— Я, кажется, опять немного перехватил. А? Александр Александрович, может быть, и не такой уже романтический немец, как я его сейчас изобразил. Есть у него, слава Богу, и русские черты. Даже внешние. Что-то даже и от Бовы Королевича. И, конечно, ни на одном языке он не мог бы передать своих «звуков небес», кроме русского. Ну, разве мыслимо заставить их звучать так явственно, как в этих строчках?

*Из страны блаженной, незнакомой, дальней
Слышно пенье петуха...*

У меня всегда дрожь пробегает по спине, когда я читаю или слышу их, — тихо произносит он.

Дрожь по спине... Да, я тоже чувствую ее сейчас. Будто вдруг широко распахнулось окно и в него влетел холодный ночной ветер. Я глубоко вздыхаю, прижимая руки к груди и слушаю.

Я слушаю эти так хорошо знакомые строки — ведь я давно знаю их наизусть, — слушаю как в первый раз. Я не узнаю голоса Гумилева. Он звучит совсем по-новому, гулко и торжественно, будто он доносится и мне «из страны блаженной, незнакомой, дальней». О только бы он не замолчал. И он продолжает звучать.

*...Донна Анна спит, скрестив на сердце руки,
Донна Анна видит сны.*

*...Анна, Анна, сладко ль спать в могиле
Сладко ль видеть неземные сны?..*

Я слушаю, я смотрю на Гумилева и мне начинает казаться что сквозь его некрасивые, топорные черты просвечивает другое, прекрасное, тонкое, строгое лицо. Я впервые вижу его таким.

Сейчас он похож на «рыцаря в панцире железном», на конквистадора. Его глаза смотрят прямо перед собой в окно, в закатное весеннее небо, и я знаю, что сейчас они не косят, что они синие, глубокие и сияют, как звезды.

Да, конечно, я помню, что Гумилев завидует Блоку и часто несправедлив к нему, но сейчас Блок опять победил его магией своих стихов. Победил, преобразил силой поэзии, вызвал к жизни все высокое, все лучшее, что прячется глубоко в горделивом, самолюбивом, и все же горестно неуверенном в своей правоте сознании Гумилева.

Сейчас Гумилев любит Блока не меньше меня. И я восхищаюсь не только Блоком, но и Гумилевым, на минуту соединяя их, таких разных, в одно.

*...Дева света, где ты, донна Анна,
Анна, Анна... Тишина...*

И тишина действительно настает.

Гумилев не читает последней строфы. Да она и не нужна. Сейчас необходима тишина. Несколько тактов, несколько строф тишины, чтобы я могла справиться с волнением, придти в себя.

Ведь сейчас неизвестно, каким образом я поднялась до высшей точки поэзии, на страшную высоту, с которой можно или, преодолевая земное тяготенье, улететь на небо, или рухнуть, упасть в пропасть, разбиться на куски. Разбиться, как эта хрустальная пепельница. Если заговорить...

Но я молчу и Гумилев молчит. Может быть, он переживает то же, что и я? И вдруг я начинаю чувствовать какую-то особую легкость, какую-то еще никогда не испытанную мною свободу, будто во мне что-то развязалось, открылось, и я сейчас могу без робости, смело и просто спросить о всем том, что мне так давно, так мучительно хочется знать — все о Блоке.



Я собираюсь с мыслями. С чего начать? Ведь у меня столько вопросов.

— Николай Степанович, скажите...

Но он, не слушая меня, встает с кресла и шумно закрывает окно.

— Как холодно стало. Вы не озябли? У вас совсем замерзший вид.

Он пересаживается на диван, вытягивает перед собой длинные ноги в стоптанных башмаках. Он смотрит на меня косящими тусклыми глазами. Лицо у него, как всегда, плоское и некрасивое. И голос его звучит совсем обыкновенно, когда он говорит:

— Зажгите свет и садитесь на пол, на подушку.

Я встаю. Я зажигаю свет и быстро, чтобы не спугнуть чувства легкости, свободы и возможности обо всем спросить, сажусь на подушку.

Я люблю сидеть на полу. В группе, которую снимал фотограф Напельбаум, Гумилев потребовал, чтобы я для полноты сходства, села на пол на подушку.

— Николай Степанович, а Блок действительно... — начинаю я. Я хочу узнать, действительно ли Блок был так влюблен в свою будущую жену, что хотел покончить с собой от любви.

Но Гумилев не дает мне спросить об этом. Он говорит:

— «Шаги командора» безусловно одно из самых замечательных русских стихотворений. Правда, и тема Дон Жуана одна из тем, приносящих удачу авторам. Скольким шедеврам она послужила. Это победоносная тема. Ее использовали и Пушкин, и Мольер, и Мериме, и Моцарт. Для великого произведения необходима уже много раз служившая общеизвестная тема. Это понял Гете, со своим Фаустом, и Мильтон с «Потерянным Раем», и Данте. Но нет правил без исключения — мой «Дон Жуан в Египте» далеко не лучшее, что я написал. Не лучшее, хотя мой Дон Жуан и спрашивает галантно:

*Вы знаете ль, как пахнут розы,
Когда их нюхают вдвоем?*

Гумилев смеется и неожиданно обращается ко мне.

— А вы, вы знаете ль, кто был Дон Жуан?

Кто был Дон Жуан? Не знаю, и знать не хочу. Я хочу говорить о Блоке и только о нем.

Я качаю головой.

Ах, довольно, довольно о Дон Жуане!

Но Гумилев начинает подробно и методично излагать историю обоих Дон Жуанов и мне ничего не остается, как слушать.

— Первого Дон Жуана по всей вероятности вовсе не существовало. Это миф — легендарный образ злодея — обольстителя, гениально созданный Тирсо де Молина, а второй Мигуэль де Маньяра двенадцати лет поклялся, в театре, на представлении Дон Жуана, что сам станет Дон Жуаном и повторил свою клятву на следующее утро в Соборе перед статуей Мадонны...

Гумилев говорит плавно, длинно и подробно будто читает лекцию о Дон Жуане в Доме Искусств, совершенно забыв о стихах Блока и о нем самом.

Но мне нет решительно никакого дела до Дон Жуана, ни до первого, ни до второго. Пусть он действительно воплотил Дон Жуана и прославился любовными победами и убийствами. Пусть он влюбился в невинную Терезу и стал ей верным и примерным мужем. Пусть! Пусть после ее преждевременной смерти он сделался монахом ордена Калатрава, вынимал трупы повешенных из петли и развозил их в тележке, чтобы собрать деньги на их погребение. Пусть! Пусть даже на его могиле цветут, не отцветая, пять кустов роз и происходят чудеса. Меня все это не касается.

Гумилев, наконец, кончает свою лекцию. Но время безвозвратно потеряно. Я ни о чем больше спросить не могу.

Гумилев встает.

— Пора и домой. Я у вас засиделся.

Я тоже встаю. Я не удерживаю его. Мне так грустно, что мне станет легче, когда он уйдет.

— Кланяйтесь от меня вашему батюшке, — церемонно говорит Гумилев. Кстати, о «моем батюшке» и о поклоне ему Гумилев вспоминает только, когда он у меня в гостях.

Я иду провожать его на кухню. Он надевает свое серое пальто в талию.

— Я его в Лондоне купил, — сообщает он.

А мне казалось, что в Лондоне все вещи, особенно мужские — элегантны.

— Что с вами? — спрашивает Гумилев. — Отчего у вас такой кислый вид? Если бы вам сейчас смерить температуру, психологический градусник Гофмана, наверное, показал бы повышенный пессимизм и отвращение к собеседнику.



«Психологический градусник» — о нем у нас часто говорят. Его изобрел автор популярного у нас «Золотого горшка». Им будто бы измеряется настроение и чувство. Гумилев хвастается, что может с полной точностью определять их и без психологического градусника.

Он берет свою фетровую шляпу и отвешивает мне поклон до земли.

— Знаю, знаю, вы загрустили оттого, что не встретите Дон Жуана. Но погодите, даст Бог, поедете в Испанию и встретите там третьего Дон Жуана, который воплотится специально для вас.

Но мне совсем не хочется шутить. Я запираю за ним дверь...

Я — о чем я и сейчас жалею — была очень мало знакома с Блоком. Я даже редко видела его. Он почти не появлялся ни в Доме Литераторов, ни в Доме Искусств.

Первая моя встреча с Блоком произошла в июне 1920 года. Произошла она, как мне тогда казалось, таинственным и чудесным образом.

Теперь, оглядываясь назад, на прошлое, я вижу, что в ней не было ничего ни чудесного, ни таинственного. Но в те дни все, что касалось Блока, принимало мистическую окраску, во всем чувствовалась «предназначенность» и «тяжелая поступь судьбы».

Было это так.

Знойный июньский день. До революции петербуржцы проводили лето кто в Царском, Павловске, Сестрорецке, Териоках, или в своем имении, а кто поскромнее — в Парголове, в Озерках или просто на Охте или Лахте. На лето даже самые бедные чиновники выезжали со всем своим скарбом на дачу, и раскаленный, пыльный Петербург пустел.

Теперь же никто никуда не выезжает. Впрочем, «в те баснословные года», мы научились

попить

Скудные законы естества

и легко переносить холод и голод, жару и усталость.

Жара и усталость... Сегодня особенно жарко и я очень устала. Но я все же, возвращаясь из Студии, захожу, как обещала, за Гумилевым во «Всемирную Литературу» на Моховой.

Швейцар меня хорошо знает и, поздоровавшись со мной, идет сообщить Гумилеву, что «вас барышня дожидаются».

Я остаюсь одна в большой прохладной прихожей. От нечего делать, я перебираю охапку жасмина, купленную мною при вы-

••

ходе из Студии. Жасмин еще совсем свежий и упоительно пахнет. Я представляю себе, что стою в цветущем саду в Павловске, возле подстриженного круглого жасминного куста.

Швейцар возвращается и со старорежимной почтительностью сообщает:

— Николай Степанович идут-с!

И действительно наверху на площадке дубовой лестницы появляется Гумилев в коричневом костюме, темной фетровой шляпе с портфелем под мышкой.

Свой узорчатый африканский портфель он недавно уложил в чемодан вместе с дохой и ушастой оленьей шапкой.

— Весь экзотический зимний ассортимент — «до первых морозцев», как поется в частушке, — объяснил он, густо посыпая нафталином не только доху и шапку, но и портфель.

Я напрасно уверяла его, что моль кожи не ест. Он только пожал плечами.

— Кто ее знает? Дореволюционная не ела. А теперь, при новом режиме, изголодавшись, напостившись, могла изменить вкусы. Разве мы прежде ели воблу и картофельную шелуху? Береженого Бог бережет, — и он особенно тщательно засыпал портфель нафталином и прибавил: Ведь он мне еще лет двадцать служить будет, как же за ним не поухаживать?.. Увидев меня Гумилев широко улыбается.

— Вовремя. Минута в минуту, к концу заседания — говорит он. А я только что читал вашу балладу профессору Брауде. Очень ему понравилась. Он хочет познакомиться с вами.

С лестницы перед Гумилевым спускается какой-то господин, тоже в фетровой шляпе и с портфелем. — Это, конечно, профессор Брауде. Он смотрит на меня и я смотрю на него.

Он уже успел спуститься с лестницы. Он делает ко мне шаг и снимает передо мной шляпу. Я протягиваю ему руку. И вдруг, чувствую толчок в груди — это Блок.

Я вся холодею. Моя рука застывает в воздухе. Что с нею делать? Отдернуть? Спрятать за спину?

Но он берет ее в свою большую, теплую руку и осторожно пожимает.

И в это мгновение громко, как удар колокола, раздается удивленный, гулкий голос Гумилева:

— Разве вы знакомы, господа?

— Нет, — отвечает Блок, — продолжая смотреть на меня.



Я чувствую, что гибну, тону, иду на дно океана. И все-таки, как эхо, испуганно повторяю за Блоком:

— Нет!

Гумилев тоже успел спуститься с лестницы.

— Александр Александрович, это моя ученица — Ирина Одоевцева, та, что написала «Балладу о Толченом Стекла».

И Блок отвечает, что слышал о балладе, но еще не читал. Он будет рад, если я приду к нему и прочту ее. По вечерам он почти всегда дома.

— Я буду рад, — повторяет он.

Мы выходим все вместе из подъезда. Я смотрю себе под ноги. Только бы не упасть, не споткнуться.

Блок прощается со мной и Гумилевым: Всего хорошего! — Он идет налево, мы направо.

— Странно, — говорит Гумилев, — что вы не узнали Блока. Ведь у вас в комнате висит его портрет.

— Он там совсем другой, — говорю я, овладев собой. — С локонами, в бархатной блузе. Молодой — и прибавляю мысленно: — Теперь он еще лучше. Гораздо лучше.

Гумилев кивает:

— Да, он очень изменился. Он очень постарел. Все же не до неузнаваемости. С профессором Брауде его, во всяком случае, не спутаешь. Тот гладкий, круглый, как ласковый черный кот... Блок вас тоже принял за кого-то. Тоже обознался. Странно... Очень странно...

Я молчу и он продолжает уже недовольным тоном.

— Вы, конечно, завтра же поскачете к нему со своей балладой. Но знайте, он вас только из вежливости приглашал. Ему до чортиков надоели молодые поклонницы и их стихи. Ведь они на него настоящую облаву ведут, ждут у его подъезда, под его окнами шатаются — стихи ему пишут. Как хотя бы Марина Цветаева. Без году неделю в Петербурге провела, а успела и влюбиться, и воспеть его, и в Божьи праведники произвести. —

*Мимо окон твоих бесстрастных
Я пройду в снеговой тиши,
Божий праведник мой прекрасный,
Свете тихий моей души...*

читает он певуче, подражая московскому выговору. — И вы, чего доброго, начнете писать ему стихи и гулять под его ок-

нами, поджидая его. Но вы, как вас ни убеждай, все равно побегите к нему — кончает он уже с явным раздражением.

— Нет, говорю я — нет. Я не побегу к Блоку.

И я тут же твердо решаю не ходить к Блоку.

Гумилев прав. Блоку совсем не до надоедливых поклонниц. И я так робею перед ним. Я умру от разрыва сердца прежде, чем постучу в его дверь. Нет, я не пойду к нему. И под его окнами гулять не буду. И стихов ему не напишу. Для меня в этом было бы что-то святотатственное. Разве можно писать Блоку стихи?

У Толстого есть где-то фраза: «Он ее так любил, что ему от нее ничего не надо было».

Мне ничего не надо от Блока. Даже видеть и слышать его. Мне достаточно знать, что он живет и дышит здесь, в одном городе со мной, под одним небом.

И все-таки то, как он сходил с лестницы, внимательно глядя на меня, как он подошел ко мне и снял шляпу передо мной, кружит мне голову. Я вновь и вновь переживаю всю эту встречу. Вот он спускается, не сводя с меня глаз, ступенька за ступенькой, и мое сердце бьется в такт его шагов, — вот он останавливается передо мной, и я снова, как там, в прихожей «Всемирной Литературы», холодею и застываю от ужаса я блаженства, узнав его.

— «Я буду очень рад, если вы придете». Это он сказал мне. Даже если из вежливости, даже если это неправда, он все же произнес эти слова, и что-то похожее на улыбку промелькнуло на его темном, усталом, прекрасном лице.

В эту ночь я плохо спала. Мне казалось, что моя комната полна шороха и шопота. Было жарко. Окно осталось открытым, в него сквозь вздрагивающую от ночного ветра тюлевую занавеску светила луна и отражалась, как в озере, в круглом зеркале туалета.

Я томилась от предчувствия чего-то чудесного и необычайного. Нет, я не мечтала о новой встрече. Я не строила планов. И все же, — не сознаваясь в этом даже самой себе — ждала.

Но предчувствие обмануло меня. Дни проходили за днями. Дальше ничего, ровно ничего не было. Блок никакой роли в моей жизни не сыграл...

Приглашение на «Торжественное Собрание в 84-ую годовщину смерти Пушкина» в Доме Литераторов получить было нелегко.

Из-за недостатка места число приглашений было крайне ограничено — в расчете на одну лишь «элику».



Заведующие Домом Литераторов Волковысский, Ирецкий и Харитон вежливо, но твердо отказывали в них рядовым членам, ссылаясь — по Диккенсу — друг на друга. Волковысский говорил — Я, конечно, с удовольствием дал бы вам билет. Я понимаю, вам необходимо его дать, но это зависит не от меня, а от Ирецкого. Это он составляет список приглашенных. Я тут не при чем.

А Ирецкий со своей стороны ссылался на злую волю Харитона, хотя Харитон, «заведовал, хозяйственной частью» Дома.

— Ничего поделаться не могу. Конечно, я разделяю ваше возмущение. Но Харитон вообразил себя диктатором и сам раздает приглашения, совершенно не слушая меня.

Рядовые члены бегали от Волковысского и Ирецкого к Харитону, упрашивали, убеждали и, ничего не добившись, уходили, затаив чувство обиды и жажду мести.

Мсть — что впрочем и естественно для Дома Литераторов — вылилась в четверостишие:

*Даже солнце не без пятен,
Так и Харитон.
Очень часто неприятен
Этот Харитон.*

Неизвестно, почему «мстители» избрали своей мишенью одного Харитона. Но ему, бедному, они действительно испортили много крови. Четверостишие это в продолжение многих месяцев ежедневно появлялось на стенах Дома Литераторов. Его не успевали уничтожать, как оно уже красовалось на другой стене.

Обиженных было очень много. И, как это ни странно, среди обиженных оказался и Гумилев.

Не потому, конечно, что он не получил билета, а потому что его не сочли нужным попросить выступить с речью о Пушкине.

Об этом он упомянул только один раз и то вскользь, как о чем-то незначительном.

— Могли бы, казалось, попросить меня, как председателя Союза Поэтов, высказаться о Пушкине. Меня, а не Блока. Или меня и Блока.

Больше он к этому вопросу не возвращался, но я поняла, что его самолюбие сильно задето.

— Я надену фрак, чтобы достойно отметить Пушкинское торжество, — заявил он тут же.

Я удивилась. Фрак на литературный вечер? Гумилев презрительно пожал плечами.

— Сейчас видно, что вы в Париже не бывали. Там на литературных конференциях все более или менее во фраках и смокингах.

Я все же старалась отговорить его от его нелепого намерения.

— Ведь мы не в Париже, а в Петербурге. Да еще в какое время. У многих даже приличного пиджака нет. В театр и то в валенках ходят...

— Что же из этого? А у меня вот имеется лондонский фрак и белый атласный жилет — он самодовольно взглянул на меня. — Я и вам советую надеть вечернее, декольтированное платье. Ведь у вас их после вашей покойной матушки много осталось.

Но я, несмотря на все послушание Гумилеву, этому его совету, как он ни убеждал меня, не последовала.

Гумилев стал заблаговременно готовиться к торжественному выходу. Фрак и жилет, покоившиеся в сундуке под густым слоем нафталина, были тщательно вычищены и развешены на плечиках в неотопливаемом кабинете — «на предмет уничтожения нафталинного духа».

Гумилев сам разгладил белый галстук, не доверяя его не только грубым рукам Паши, но и мне.

Все шло отлично пока не выяснилось, что черные носки — единственную пару черных носков, хранящуюся на парадный случай в шляпной картонке, между дверьми прихожей — съели мыши.

Гумилев в полном отчаянии вынул их из прогрызанной мышами картонки и они рассыпались кружком в его руках.

— Слопали, проклятые! А я-то о них заботился!

О мышах Гумилев действительно «заботился», т. е. не позволил Паше, когда в квартире появились мыши, взять напрокат соседского кота или поставить мышеловку.

— Кому мышь мешает? Даже веселее, не так одиноко себя чувствую. Все-таки живое существо! Пусть себе бегают! — И он нарочно оставлял на полу прихожей крошки хлеба.

— Катастрофа! Не смогу надеть фрак. Ведь все мои носки белые, шерстяные. В них невозможно, — повторял он, горестно вздыхая.

Мне было смешно, но я старалась выразить сочувствие. Я вспомнила, что у меня дома по всей вероятности найдется пара черных носков моего отца.

— Пойдемте ко мне, Николай Степанович, поищем.



— Если не будет черных носков, — неожиданно решил Гумилев, — я вообще не пойду. Без фрака не пойду! Ни за что не пойду!

Но к великой радости Гумилева носки у меня нашлись. И ничто не помешало его триумфальному появлению во фраке 13-го февраля 1921 года на «Торжественном Собрании в 84-ую годовщину смерти Пушкина».

Появление Гумилева во фраке было действительно триумфальным. Я уже сидела в зале, когда он явился, и видела ошеломляющее впечатление, произведенное им на присутствующих.

Должно быть желание Гумилева появиться во фраке в сопровождении молодой дамы в декольтированном платье было настолько сильно, что оно как бы материализовалось.

Ничем иным нельзя объяснить то, что Ходасевич в своих воспоминаниях об этом вечере пишет: Гумилев явился во фраке под руку с молодой дамой в бальном платье.

Могу засвидетельствовать, что никакая «молодая дама в бальном платье» не сопровождала Гумилеву. Он пришел один.

А среди всех присутствующих представительниц прекрасного пола — почтенных и заслуженных — ни одной молодой дамы в бальном платье не только не было, но и быть не могло.

Я уверена, что этого выступления Блока и его речи никто из присутствовавших забыть не мог.

В этот вечер на эстраде Дома Литераторов он держался, как всегда, очень прямо. И совершенно неподвижно. Казалось, он даже не открывал рта, произнося слова. Его глухой, усталый голос возникал как будто сам собой. Блок был скорее похож на статую, чем на живого человека. Но от его светлых, вьющихся волос исходило сияние.

Конечно, это была только игра света и теней — электрическая лампа, как прожектор освещала верхнюю часть его головы, оставляя в тени и без того темное лицо.

Но сияние это тогда многие заметили и рассказывали на следующий день не получившим приглашения на торжество:

— Блок был такой удивительный. Вся публика принарядилась кто как мог. Гумилев, подумайте, даже фрак надел! А Блок в синем костюме и в белом свитере, как конькобежец. Такой стройный, тонкий, молодой. Если бы не лицо. Ах, какое лицо! Темное, большеглазое, как лики святых на Рублевских иконах. И над ним сияние, да, да, настоящее сияние, как на иконе. Не верите? Спросите других...

Блок, действительно, произвел в тот вечер на всех присутствовавших странное, неизгладимое впечатление.

Он стоял на эстраде. Его все ясно видели. И в то же время казалось, что его здесь нет. Но, несмотря на это смутное ощущение отсутствия — или, может быть, благодаря ему — все, что он говорил своим глухим, замогильным голосом, еще и сейчас звучит в моих ушах. С первой же фразы:

— Наша память хранит с малолетства веселое имя Пушкина. Это имя, этот звук наполняет собой многие дни нашей жизни... Это легкое имя Пушкина...

Никогда до Блока никому и в голову не приходило назвать имя Пушкина веселым и легким.

Ничего легкого. Ничего веселого. Ведь Пушкин — от пушки, а не от пушинки. Что веселого, что легкого в пушке?

Но вот усталый, глухой, потусторонний голос произнес эти слова и в ответ им, как ветер, пронесся радостный вздох слушателей. И все сразу почувствовали, как метко, как правильно это определение — «веселое, легкое имя Пушкина».

На мгновение отсвет веселого, легкого имени Пушкина лег и на темное лицо Блока. Казалось, он сейчас улыбнется. Но, нет, Блок не улыбнулся. Только электрический свет над его головой как будто засиял еще ярче.

И всем стало ясно, что никто из современников поэтов — никто, кроме Блока, — не мог бы так просто и правдиво говорить о Пушкине. Что Блок прямой наследник Пушкина. И что, говоря о Пушкине, Блок говорит и о себе.

— Пушкина убила вовсе не пуля Дантеса. Пушкина убило отсутствие воздуха...

Слова гулко и тяжело падают на самое дно сознания.

И многим в этот вечер стало ясно, что и Блока убьет «отсутствие воздуха», что неизбежная гибель Блока близка, хотя никто еще не знал, что Блок болен. Но весь его вид и даже звук его голоса как бы говорили:

*Да, я дышу еще мучительно и трудно.
Могу дышать. Но жить уж не могу.*

Блок кончил. С минуту он еще постоял молча, в задумчивости, безучастно глядя перед собой. Потом, — не обращая внимания на восторженный гром аплодисментов, — повернулся и медленно ушел.



Ушел с эстрады. И, не появившись больше на требовательные вызовы, — ушел домой.

А зал продолжал бесноваться. Такой овации в стенах Дома Литераторов еще никогда не было.

Даже Гумилев, на минуту забыв о своем «фрачном великолепии», вскочил с места и, яростно отбивая ладони, иступленно кричал: Блок!.. Блок!..

На эстраду выбежал растерянный, смущенный Волковыцкий и разведя руками произнес, будто извиняясь:

— Александра Александровича здесь больше нет! Александр Александрович уже ушел!

К Гумилеву сразу вернулось все его олимпийское величие. Он спокойно обернулся ко мне:

— Надо сознаться, уход на редкость эффектный. Но ведь он даже не отдал себе в этом отчета, не заметил. Пойдемте и мы. Поциркулируем в кулуарах. — И он стал прокладывать дорогу в толпе зрителей, говоря громко, так, чтобы все слышали:

— Незабываемая речь. Потрясающая речь. Ее можно только сравнить с речью Достоевского на открытии памятника Пушкину. Но, знаете, и она тоже, как речь Достоевского, когда ее напечатают, наверно многое потеряет. Только те, кто сами слышали... А так даже не поймут что тут особенного.

Он остановился у стены и, сложив руки на груди благосклонно с видом царствующей особы, присутствующей на спектакле — принялся обозревать публику.

Все, кто были знакомы с ним, — а таковых было большинство, подходили к нему. Всем было интересно посмотреть на давно невиданное зрелище: — на «человека во фраке».

И он, принимая это всеобщее внимание к себе, как вполне заслуженное, находил для каждого улыбку и любезное слово.

Так «Собрание в 84-ую годовщину смерти Пушкина» превратилось в апофеоз Блока и — по выражению Георгия Иванова — в «само-фракийскую победу» Гумилева.

Через неделю, сидя в столовой с Лозинским и мною за неизменным дежурным блюдом — «заячьи котлеты» — приготовленные неизвестно из чего, но только не из зайца, — Гумилев восхищался стихами Блока «Имя Пушкинского Дома».

*Имя Пушкинского Дома
В Академии Наук
Звук понятный и знакомый,
Не простой для сердца звук...*

Он их, к удивлению Лозинского, читал наизусть. Он утверждал, что прекрасные стихи запоминаются сразу и что поэтому-то «Имя Пушкинского Дома» он и запомнил с первого чтения.

Ему особенно нравилась строфа:

*Пушкин! Тайную свободу
Пели мы вослед тебе!
Дай нам руку в непогоду,
Помоги в немой борьбе...*

— Как просто, как по-пушкински ясно и гармонично.

*Вот зачем, в часы заката
Уходя в ночную тьму,
С белой площади Сената
Тихо кланяюсь ему.*

— Как хорошо и как безнадежно:

«Уходя в ночную тьму...» Знаешь, Михаил Леонидович, Блок действительно уходит «в ночную тьму». Он становится все молчаливее, все мрачнее. Он сегодня спросил меня: — Вам действительно так нравится мой «Пушкинский Дом?» Я рад, что мне удалось. Ведь я давно уже не пишу стихов. Но чем дольше я живу, чем ближе к смерти, тем больше я люблю Пушкина. И помолчав, добавил: — Мне кажется иначе и быть не может. Только перед смертью можно до конца понять и оценить Пушкина. Чтобы умереть с Пушкиным.

Гумилев недоуменно развел руками: — Мы с Блоком во всем различны. Мне, наоборот, кажется, что Пушкина поэт лучше всего принимает «на полдороге странствия земного», в полном расцвете жизненных сил и таланта, — как мы с тобой сейчас, Михаил Леонидович.

Он улыбнулся и его косящие глаза весело заблестели: Я никогда еще не любил Пушкина так, как сейчас. Не умирать с Пушкиным. А жить с ним надо.

Но ведь и Гумилеву тогда, хотя он этого совсем не предчувствовал, оставалось, как поется в советской песне — «до смерти четыре шага»...

В конце лета 1920 года Гумилев решил «расширить сферу своей деятельности», и взялся за уже создавших себе имя молодых поэтов.

Первая лекция была назначена 20 августа в Доме Искусств.

На ней я присутствовала уже не в качестве «кандидата», а как молодой поэт — и тоже, как и в Цехе потом, была здесь единственной женщиной.

Слушать Гумилева собрались Георгий Адамович, только что приехавший на несколько дней в Петербург и неразлучный с ним Георгий Иванов, «два Жоржика», как их называли.

Кроме них Оцуп, Нельдихен, если не ошибаюсь, Всеволод Рощественский, какой-то молодой латышский поэт в военной форме и несколько членов только что основанного Союза Поэтов — имен их я не запомнила.

Все происходило по-домашнему — и лектор и слушатели сидели за одним и тем длинным столом.

Тут, как в «Живом Слове» когда-то, совместно писали стихи.

На первой лекции к следующему разу было задано стихотворение о бульдоге с сложным чередованием четырехстопных и двухстопных хореев.

К моему удивлению оказалось, что молодые поэты не так уж сильны в теории стихосложения, и что у них очень смутные понятия даже о такой общепринятой форме стиха, как сонет и что им неизвестно, что такое рифмоид, анакруза и т. д. И они мало интересуются всей этой премудростью.

Из лекций и занятий этих большого толка не вышло, и они довольно скоро прекратились. Но если бы их не существовало, я, по всей вероятности, не стала бы женой Георгия Иванова.

Гумилев относился очень покровительственно к нашей начинающейся дружбе.

— Хорошо, что вы нравитесь Жоржику Иванову. Вы ему даже очень нравитесь, но он мальчик ленивый и за вами никогда ухаживать не станет и в верные рыцари вам не годится.

Гумилев ошибся, в чем он сам сознался мне впоследствии:

— Вот никак не думал, не гадал. Голову бы дал на отсечение. Мне всегда казалось, что вы можете влюбиться в одного только Блока, а Жоржик, Оцуп и все остальные для вас безразличны и безопасны.

И разводя руками прибавил:

— Плохой я оказался психолог. Впрочем, не совсем. Ведь я догадался, что он в вас влюблен, когда Жоржик прочел мне зимой свои новые стихи:

*Не о любви прошу, ни о весне пою,
Но только ты одна послушай песнь мою.*

Я сразу понял о каких глазах идет речь. Он, может быть, и сам еще тогда не понимал, что это о вас...

Возвращаясь со мной с первой лекции, Гумилев спросил меня, как мне понравился Георгий Адамович, — я его еще никогда не видела — он не жил тогда в Петербурге.

— Очень, — ответила я не задумываясь. — Он такой изящный — у него, необычайное, «необщее» лицо, словно составленное из двух, совсем неподходящих друг к другу половин. Подбородок, рот и нос одно, а глаза и лоб совсем другое. Разные, как небо и земля. Особенно глаза, глаза действительно небесные. Будто это про них:

*Поднимет — ангел Рафаэля
Так созерцает Божество.*

Гумилев смеется.

— Ну, это вы уже хватили! Но глаза у него действительно красивые. И вы правы, он очень изящен. Я помню, как-то еще до революции я его встретил в коридоре университета. Он, хотя и небольшого роста, выделялся среди толпы студентов, и я тогда подумал, что он скорее похож на произведение искусства, чем на всех этих вихрастых юнцов-студентов. И вы знаете, он очень умный и острый мальчик, И стихи он пишет совсем хорошие. Лучше многих. Я рад, что он вам понравился.

* * *

Второй день Рождества 20-го года, последнего Рождества Гумилева.

Он только что вернулся из Бежецка и рассказывает мне о своей рождественской поездке.

— До чего стало трудно путешествовать. Прежде легче было до Парижа добраться, чем теперь до Бежецка. Особенно обратно —



вагон полон пьяных. И где они самогон достают? Вонь, крики, гармошка, гам. Я ужасно устал.

Да, у него усталый, грустный вид. Он вздыхает.

— А как я любил Рождество. Всегда любил. Для меня, — говорит он, — слова «рождество», «сочельник», «елка» казались совсем особенными, магическими, полными тайны. Но я мальчиком-гимназистом скрывал это, снобировал, считал елку пережитком детства. Мне очень хотелось казаться взрослым, поскорее выкарабкаться из всего, что связано с детством, а теперь наоборот — мне часто хочется нырнуть туда, в глубь детства, на самое дно его, не только в младенчество, но даже в до-младенчество, в до-рождения, улечься там в утробной позе, сося большой палец в блаженном безмыслии. Не в бессмыслице, а в безмыслице.

Он смеется: — Надоело быть взрослым, вечно быть взрослым.

Он подбрасывает новое полено в печку.

— Мне бы хотелось, чтобы тут в углу стояла пышная елка до потолка, вся в золоте и серебре, в звездах и елочных свечках. И чтобы много подарков под ней лежало.

Он поворачивается ко мне.

— Ведь и у вас нет елки? Мне вас очень жаль. Вам, наверно, страшно грустно?

Елки у меня, действительно, нет. Но мне совсем, совсем не грустно. Даже напротив. А он продолжает:

— Подарков вы, конечно, никаких не получили? Как же без подарков? Ах, вы бедная, бедная. Нет, этого нельзя так оставить. Вы непременно должны получить подарок — настоящий, стоящий подарок. Что вам такое подарить? А?

Он смотрит на меня выжидательно и повторяет уже нетерпеливо.

— Скажите скорее, что вам подарить?

Я трясую головой.

— Ничего, ничего. Правда ничего не надо.

— Перестаньте играть в Девочку-Неточку. Зачем вы отказываетесь? Глупо отказываться. Я ведь знаю, вы обожаете подарки. Хотите, я подарю вам леопарда?

Леопарда, на котором я сейчас сижу. Он обыкновенно лежит перед кроватью в спальне, изображая коврик.

О нем Гумилев писал:

*Колдовством и ворожбою
В тишине глухих ночей
Леопард, убитый мною,
Занят в комнате моей...*

Я почему-то не верю, что Гумилев сам его убил, а не просто купил его где-нибудь на базаре в Африке. Но, конечно, я никогда не говорила ему об этом.

Леопард небольшой, плохо выделанный, жесткий и ничем не подбит. И хотя Гумилев и сокрушался в том же стихотворении:

*Ах, не слушал я совета,
Не спалил ему усов.*

Усов у леопарда не видно. Я обратила на это внимание Гумилева, когда он мне впервые прочел «Леопарда», но он недовольно поморщился.

— Вздор какой! Должно быть негр, когда дубил его шкуру, отрезал ему усы. Или моль съела их. Но я сам не спалил их — в этом-то все дело.

Нет, леопард мне ни к чему, и Гумилев не настаивает.

— Не хотите, и не надо! — Он задумывается. — Что бы такое вам подарить? Ведь у меня здесь собственных вещей — раз-два и обчелся. Хотите мой черепаховый портсигар? Но к чему вам, раз вы не курите? — И вдруг, улыбаясь, поднимает руку. — Нашел! Забирайте Судейкина! Ведь вы им всегда любуетесь. Он-то уж вам нравится!

Я отказываюсь почти с испугом. — Нет, я никак не могу принять такого ценного подарка. Но он уговаривает меня горячо и властно:

— Если не возьмете, сожгу его в печке. Честное слово! Сейчас сожгу.

Конечно, он преувеличивает, он картину жесть не станет — на такое варварство он не способен. Но я понимаю, что он действительно хочет мне подарить Судейкина.

И я соглашаюсь. Это чудесный подарок. Я страшно рада. Но разве ему не жалко? Ведь раз он привез его сюда из Царского, значит он ему дорог. Он любит его...



— Конечно, люблю. И даже очень, — перебивает он меня. — Дарить надо то, что сам любишь, а не — на тебе Боже, что мне не гоже...

Ему, по-видимому, совсем не жалко и он рад не меньше, чем я.

Мы идем в спальню, где висит Судейкин в золотой старинной раме. Гумилев становится на стул и снимает картину. На стене остается светлое пятно и большой черный крюк, и от этого плохо обставленная спальня становится еще некрасивее.

— Крюк завтра же вырву, — говорит он. — крюк приглашение повеситься, даже когда к этому ни расположения, ни повода нет. К тому же, у вас дома крюк вряд ли найдется и опять к тому же — они, крюк и картина — друг к другу привыкли и сдружились, сжились, два года она на нем висела — разлучать их не следует. Завтра я приду к вам и собственноручно вколочу этот крюк в вашу стену. А Судейкина забирайте с собой.

Мы снова сидим перед печкой. Теперь не только я, но мы оба в превосходном, праздничном настроении.

— Вы так сияете, — говорит Гумилев, — что вас можно в угол вместо елки, поставить.

Но и он сам сияет не меньше меня.

Кто выдумал, что Гумилев черствый эгоист? Разве можно быть щедрей, добрей и милей, чем он сейчас. Чем он, вообще?!

А он теперь рассказывает о своем сыне.

— Левушка читает «Всадника без головы» Майн Рида и водит гулять Леночку, как взрослый, оберегает ее и дежит ее за ручку. Смешно на них смотреть, такие милые и оба мои дети. Левушка весь в меня. Не только лицом, но такой же смелый, самолюбивый, как я в детстве. Всегда хочет быть правым и чтобы ему завидовали. Раз, еще до Бежецка, я повез его в трамвае в гости к его матери, к Анне Андреевне. Он всю дорогу смотрел, не отрываясь, в окно и вдруг спрашивает: — Папа, ведь они все завидуют мне, правда? Они идут, а я еду! Бедный советский ребенок. Я не стал его разочаровывать и ответил: — Конечно, Левушка, они завидуют тебе.

Гумилев смеется и продолжает:

— Леночка, та нравом пошла в Аню и очень капризна. Но уже понимает, с кем и когда можно капризничать.

Он вдруг перебивает самого себя и меняет тон:

— А со мной, когда я ехал к ним, странный случай произошел. Вы ведь на Званку ездите и знаете, какая теснота, мерзость и давка в поезде. В купе набилось тринадцать человек — дышать нечем.

До тошноты. К тому ж я терпеть не могу число тринадцать. Да еще под Рождество, в Сочельник. Вот я с трудом, через мешки и сидящих на них мешочников, и пробрался на площадку.

Холод волчий. Окно все в узорах, заледенело, ничего сквозь него не видно. Я подышал на стекло и стал смотреть в оттаявшую дырку на серое небо, на белый снег и черные деревья. Как, помните, у Андерсена Кай в сказке «Ледяное сердце».

Колеса стучат та-та, та-та-та! Та. — Однообразно, ритмично. И я совсем машинально, не думая ни о чем, стал повторять про себя строчки Мандельштама:

*Сегодня дурной день,
Кузнечиков хор спит...*

ведь тот же ритм, как и стук колес. Повторяю еще и еще:

Сегодня дурной день...

И чувствую, — я ведь очень нервный, — за мной стоит кто-то. Оборачиваюсь — высоченный красноармеец через мое плечо смотрит в надышанное мною, оттаявшее пятно на оконном стекле. И вдруг он, не меняя позы, продолжая смотреть на снежные поля и деревья, громко и раздельно произносит:

— Сегодня дурной день.

Больше ничего. Потом широко зевнул, повернулся и ушел.

Я просто обалдел. Смотрю ему вслед. Ведь он одновременно со мной сказал то, что я повторял про себя. И от этого я совсем неожиданно почувствовал полное, абсолютное слияние с поэзией. Такое, как редко, как почти никогда.

Только одна минута. Но такая полная, глубокая, тяжеловесная и вместе с тем невесомая. Будто в ней все прошлое и все будущее и, главное, настоящее сегодняшнего дня, того времени, что сейчас идет. Минута, которую обыкновенно невозможно почувствовать. Остановка времени — на одну минуту. Нет, я не умею объяснить. Я всегда смеюсь над Блоком и Белым, что у них многое «несказанно». А тут и сам испытал это «несказанное» — иначе назвать не могу.

Слияние с поэзией. Будто она во мне и я в ней. Нет, вернее будто я сам — часть поэзии. На одну минуту мне все стало ясно и понятно. Я все понял, все увидел...

Нет, я еще совсем не хочу умирать. Я еще совсем не готов к смерти и не изжил всего, предназначенного мне. Мне еще многое предстоит...



Он смотрит в огонь, продолжал ворошить угли. Он наклоняется к печке и мне начинает казаться, что он говорит не со мной, а с огнем в печке.

Знакомое, неприятное ощущение — Гумилев забыл обо мне и сейчас не я, а огонь, полумрак и тишина его собеседники. Очень неуютное ощущение. Оно как будто вычеркивает меня из жизни. Я как будто перестаю существовать.

Я сижу, не двигаясь, на леопарде. Если бы в прихожей висело зеркало, оно наверное отразило бы Гумилева перед печкой и у ног его леопардовую шкуру. Больше ничего. Меня бы оно не отражало. Оттого, что меня тут нет. Не только тут, меня вообще нет.

«Но это длится миг, короткий миг. И нет его».

И нет его».

Гумилев отворачивается от огня, его двоящийся, внимательный взгляд останавливается на моем лице и я сразу снова чувствую себя. Я здесь. Вся здесь, со всеми моими мыслями и чувствами. Со всем своим настоящим и будущим.

Он говорит медленно.

— Напишите балладу обо мне и моей жизни. Это, право, прекрасная тема.

Но я смеюсь, я протестую, я утверждаю свое присутствие, свою независимость отказом.

— Нет. Как о вас напишешь балладу? Не могу! Нет!

Он не понимает. Я вижу, что он обижен моим отказом, моим смехом.

— Почему? — спрашивает он. — Почему вы не можете?

— Потому, что вы не герой, а поэт.

— А вам не приходило в голову, что я не только поэт, но и герой?

— Нет, — говорю я решительно, продолжая смеяться, — нет!

Одно из двух: или вы поэт или герой.

— Что же? — Он снова наклоняется к печке. Пламя освещает его задумчивое неожиданно осунувшееся, постаревшее лицо. — Что ж? Не надо, если вы не хотите. А жаль!.. Это, право, прекрасная тема.

Я вскакиваю. Мне хочется двигаться. Мне хочется поскорее забыть о тягостном ощущении, пережитом мною сейчас.

— Если бы вы даже были героем, — говорю я, — о героях баллады пишут не при жизни, а после смерти. И памятники ставят, и баллады пишут после смерти. Вот, когда вы через шестьдесят лет умрете... Только я к тому времени буду такая ветхая старушка, что

вряд ли смогу написать о вас. Придется кому-нибудь другому, кто сейчас даже и не родился еще.

Гумилев тоже встает.

— Хорошо. Согласен. Уговорили. А сейчас, пока я еще жив, давайте есть рождественскую кутью. Я ее из Бежецка привез. Целый горшок. На меду с орехами, очень вкусная.

Уже в 24 году, в Париже, я описала в Балладе о Гумилеве этот рождественский вечер. Все было так. Совсем так!

*На пустынной Преображенской
Снег кружился и ветер выл...
К Гумилеву я постучала,
Гумилев мне дверь отворил.*

В кабинете...

(единственная неточность: не в кабинете, а в прихожей) —

*топилась печка.
За окном становилось темней.
Он сказал: — Напишите балладу
обо мне и жизни моей.*

*Это, право, прекрасная тема»,
Но ему ответила я: «Нет!
Как о вас напишешь балладу?
Ведь вы не герой, а поэт».*

*Разноглазое отсветом печки
Осветилось лицо его.
Это было в вечер туманный.
В Петербурге, на Рождество...*

* * *

Солнечный майский день. Я иду с Гумилевым по Дворцовой набережной, после его лекции в Доме Искусств. Он вдруг останавливается и, перебивая самого себя на полуфразе, говорит:

— Поворачивайте обратно. Дальше вам меня провозжать неудобно. Ведь там конспиративная встреча. О ней никто не должен знать. И вы забудьте. Идите себе домой с Богом. Через Летний Сад.



Кланяйтесь от меня статуям и деревьям. Дайте мне только на прощанье ветку сирени.

Весной и летом я всегда хожу с цветами. Я покупаю у мальчишек, выходя утром из дома, сирень, черемуху или жасмин — что попадется.

Цветы же почти ничего не стоят и доставляют мне столько радости. Я разгуливаю с ними весь день и вечером ставлю в воду на ночной столик, чтобы, проснувшись, сразу увидеть их. Об этой моей странной манере разгуливать с цветами Георгий Иванов вспоминал в стихах в последний год своей жизни:

*Ты улыбалась. Ты не поняла,
Что будет с нами, что нас ждет.
Черемуха в твоих руках цвела...*

И в другом:

*Поговори со мной о пустяках,
О вечности поговори со мной.
Пусть — как ребенок, на твоих руках
Лежат цветы, рожденные весной.*

Я протягиваю Гумилеву ветку сирени.

— До завтра, Николай Степанович.

— До завтра. Не забудьте, кланяйтесь от меня деревьям и статуям Летнего Сада. — И, понижая голос, добавляет: — Никому не говорите, куда я иду.

По-моему, ему вообще не следовало сообщать мне о «конспиративной встрече», раз о ней никто не должен знать. Все это не-серьезно, а только игра в заговоры, театр для себя. Но я и вида не подаю, что не верю ему. Я говорю:

— Будьте осторожны, Николай Степанович. Ведь всюду провокаторы и даже у стен уши.

— Не бойтесь за меня. Я в огне не горю и в воде не тону. И он, самоуверенно улыбаясь, удаляется, размахивая веткой моей сирени.

Я возвращаюсь по Набережной. Как все вокруг величественно и красиво. Какая чистая, какая синяя вода в Неве. Нигде в мире нет подобного города.

Я вхожу за кружевную решетку Летнего Сада, дважды низко кланяюсь и говорю вполголоса: — Один большой поклон всем ста-

туям и один большой поклон всем деревьям — от Гумилева. Всем, оптом. А то шея заболит, если всем вам отдельно кланяться.

Я иду и прислушиваюсь к легкому волшебному шуму деревьев. Нигде в мире так легко, так волшебно не шумят деревья, как в Летнем Саду. Может быть, оттого, что здесь часто звенит музыка Чайковского и отголосок ее слышится в их шуме? Или это от немого разговора статуй между собой? Не знаю. Но здесь всё — даже воздух совсем особенный.

Сад почти пуст. Только там вдали медленно идут, держась за руки и глядя друг на друга, двое подростков, как в стихах Гумилева:

*Вот идут по аллее так странно нежны
Гимназист с гимназисткой, как Дафнис и Хлоя.*

Нет, не «гимназист с гимназисткой», а комсомольцы. Но они так же странно-тихи и влюблены. Я сворачиваю на боковую дорожку, чтобы не встретиться с ними, не вспугнуть их мечтательной тишины...

* * *

Гумилев любил читать вслух, особенно по-французски.

Однажды, читая мне какой-то рассказ Теофиля Готье о молодом поэте, собравшимся топиться от несчастной любви и представляющим себе насколько увеличится его посмертная слава от его романтического конца, Гумилев сказал, отложив книгу:

— Очень правильно. Смерть, действительно, играет огромную, даже иногда решающую роль, в славе поэта. Героическая смерть может поставить поэта на пьедестал.

Он задумался и продолжал:

— Я очень надеюсь, что Бог услышит мои молитвы и пошлет мне достойную, героическую смерть. Но — он лукаво улыбнулся, сощурился — не сейчас, конечно. Лет так через пятьдесят. Не раньше. Ведь я еще столько должен сделать в жизни, хотя и сейчас немало делаю. — В этих словах, конечно был скрытый намек.

Гумилев часто намекал на свою контрреволюционную деятельность, но мне казалось, что он, как и многие тогда, только играет в заговорщика.

Когда, возвращаясь со мной с лекции в кронштадские дни, он остановился перед подъездом какого-то дома и сказал



с таинственным видом, подавая мне свой портфель. — Подожди-те меня минутку. Я только за револьвером зайду. Обещали достать к сегодняшнему вечеру. Я спокойно осталась ждать, положив его тяжелый портфель на снег. Я не верила ему и мне совсем не было страшно за него.

Он скоро возвратился, похлопывая себя по боку.

— Достал. Ну, идемте! Только не проболтайтесь! Ведь это и для вас опасно.

Да, я знала, это очень опасно. Опасно даже играть в заговорщиков. И, конечно, никому не рассказала о «заходе за револьвером».

В Петербурге, в те кронштадские дни напряжение, волнение и ожидание достигли наивысшей точки. Нервы петербуржцев уже почти не выдерживали пытки надеждой.

Я иду по Бассейной. Пусто и тихо. В тишине явственно доносятся глухие выстрелы с оставшихся верными революции крейсеров. Снег лежит большими сугробами и над белыми, покрытыми снегом крышами, дымно красный, трагический закат. Страшно? Да, конечно, страшно. Страшно и все-таки весело.

Вот, наконец, и Дом Литераторов.

Я вбегаю в прихожую, стряхивая с себя снег.

Дом Литераторов переполнен и жужжит, как улей. Будто это какой-то пролетарский митинг, а не чинное собрание поэтов, кавалерственных дам и сановных стариков.

Ко мне, последней пришедшей с улицы, кидаются со всех сторон за новостями.

— Ну, что?.. что нового?

Но я ничего нового не знаю, ничего не слышала — я только что из дома и никаких слухов — всегда «самых достоверных и последних» — не могу сообщить. От меня разочарованно отходят, а я подхожу к группе, собравшейся вокруг Кузмина. Тут, конечно, Олечка Арбенина, Юрочка Юркун и Люся Дарская. Тут Георгий Иванов, пришедший с Каменноостровского и Зоргенфрей и Мандельштам и Оцуп. Все слушают Кузмина, а он упоенно убеждает их: — Да, да, мы еще увидим сияющие фонари на Невском. Мы еще будем завтракать у Альбера, мы еще будем ездить бриться к Моллэ, мы еще... но увидев меня, новое лицо с улицы, он не доканчивая, что еще сделаем, обращает ко мне свои огромные, нежные, верблюжьи глаза:

— Что нового? Что? Что? Что?...

Почему бы мне не фантазировать что-нибудь насчет форта «Золотое Семечко» или, что мой кузен — белый офицер — умудрился прислать мне письмо, в котором точно описывает создавшуюся конъюнктуру и обещает...

Но у меня нет ни белого кузена, ни фантазии, чтобы создать его письмо.

И Кузмин разочарованно фыркнув продолжает прерванное описание неминуемого блаженства, ждущего нас.

Входная дверь снова открывается и Гумилев входит в Дом Литераторов.

Да, никаких сомнений, это он. Но в каком виде! В каком-то поношенном рыжем пальтишке, перетянутом ремнем в талию, в громадных стоптанных валенках, на макушке вязаная белая шапка, как у конькобежца и за плечами большой заплатанный мешок.

Вид его так странен, что все молча и недоумевая смотрят на него. С минуту никто даже не задает ему обязательного в эти дни вопроса: — Что нового? Что вы слышали?

Первым опомнился Кузмин.

— Коленька, ты что на маскарад собрался? Не время, кажется.

Гумилев гордо выпрямляется, счищая рукавицей снег с груди.

— Я, Мишенька, спешу. Я иду на Васильевский Остров агитировать и оделся так, чтобы внушить пролетариям доверие, — произносит он с достоинством.

Кузмин всплескивает руками.

— Бога ты побойся, Коленька! Какое уж тут пролетарское доверие? Ты похож на воронье пугало. А что у тебя в мешке? — он хлопает ладонью по мешку и мешок начинает раскачиваться, как маятник. — Чем ты его набил? Воздухом что ли накачал?

— Старыми газетами, — объясняет Гумилев.

Я кусаю губы, чтобы не рассмеяться, но тут не выдерживаю и заливаюсь хохотом. За мною Олечка Арбенина. Люся Дарская срывается с места и визжа начинает скакать вокруг Гумилева, ударяя кулаком по его мешку.

Гумилев холодно отстраняет ее рукой и, обернувшись к нам с Олечкой Арбениной, медленно и веско произносит:

— Так провожают женщины героя, идущего на смерть!

Но тут к нашему смеху присоединяются и все остальные. Смеется Кузмин, смеется Георгий Иванов, смеется редко



улыбающийся Юрочка Юркун, даже мрачный Зоргенфрей, а Мандельштам хохочет до слез.

Гумилев с минуту молча смотрит на нас холодно и с презрением, потом кивнув головой в нелепой вязаной шапке, поворачивается и медленно молча идет к выходу, унося свой, болтающийся у него за плечами, заплатанный мешок.

А мы продолжаем смеяться и долго еще не можем успокоиться, повторяя: Так провожают женщины героя идущего на смерть!..

* * *

Лето 21 года. Москва.

Я гощу у брата и, как здесь полагается, живу с ним и его женой в одной комнате, в «уплотненной» квартире на Басманной.

У нас в Петербурге ни о каких «жилплощадях» и «уплотнениях» и речи нет. Все живут в своих квартирах, а если почему-либо неудобно (из-за недействующего центрального отопления или оттого что далеко от места службы), перебираются в другую пустующую квартиру — их великое множество — выбирай любую, даром, а получить разрешение поселиться в них легче легкого.

Здесь же, в квартире из шести комнат двадцать один жилец — «Всех возрастов и всех полов» — живут в тесноте и обиде.

В такой тесноте, что частушка, распеваемая за стеной молодым рабочим под гармошку, почти не звучит преувеличением:

*Эх, привольно мы живем —
Как в гробах покойники:
Мы с женой в комодке спим,
Теща в рукомойнике.*

Большинство жильцов давно перессорились. Ссоры возникают главным образом на кухне между жилицами, мужья неизменно выступают на защиту жен и дело часто доходит до драки и во всяком случае до взаимных обид и оскорблений.

Ко мне, как к элементу пришлому и, главное, временному здесь относятся довольно гостеприимно.

Мне совсем не нравится в Москве, несмотря на то, что меня закармливают всякими вкусностями. Но мне скучно. К тому же, что меня удивляет и огорчает, жена моего брата ревнует его ко мне. Я бы уже уехала домой, но боюсь огорчить брата, всячески старающегося угодить мне.

Сейчас он на службе, а его жена ушла на рынок за покупками. Я одна и это очень приятно.

Я берусь за свою новую балладу: как всегда когда остаюсь одна.

*Вышло четверо их,
Хлопнула дверь,
— Улик никаких
Ищи нас теперь.
Четверо — каждый убийца и вор.
Нанимают мотор...*

Дверь не хлопает, а отворяется без предварительного стука. В нее просовывается голова молодой беременной соседки, жены того самого рабочего, что распевает частушки. Она почему-то заужала меня, должно быть за то, что я «из Питера». Она поверяет мне свои семейные тайны и советуется со мной, как с оракулом, о самых разнообразных предметах.

Так она спросила меня сегодня утром в коридоре: Правда ли, скажите, Ленин издал декрет, что нам пролетаркам носить всего шесть месяцев, а буржуйкам двенадцать?

На что я, чтобы не разбивать ее иллюзий, уклончиво отвечает, что о таком декрете еще не слыхала.

— Там вас какой-то гражданин спрашивает — звонко заявляет она.

Меня? Должно быть ошибка. Я никого здесь не знаю.

— Вестимо вас. Гражданку Одоевец из Питера.

Я бросаю карандаш и тетрадку и бегу в прихожую.

У окна стоит Гумилев, загорелый, помолодевший, улыбающийся, в белой парусиновой шляпе лихо сдвинутой на бок.

— Что, не ожидали? — приветствует он меня. — Не легко было вас найти. Я боялся, что вас дома не застану. И что тогда делать?

Я так удивлена, что даже не чувствую радости. Нет, я совсем не ожидала его. Мы расстались с ним около месяца тому назад. Я уехала с братом в Москву, а он отправился с адмиралом Неймицем в черноморское плавание.

Я веду его в нашу комнату и усаживаю его на диван, служащий мне постелью.

— Как же вы меня разыскали?

— Я ведь хитрый, как муха — отвечает он весело.



Это хвастливое «хитрый, как муха» показатель его особенно хорошего настроения. — Я только утром приехал, и завтра пускаюсь в обратный путь, домой. Но сегодня, — он поднимает указательный палец — я все же задам пир на весь мир. Быстрота и натиск. — Буду вечером выступать в Дворце Искусств. Ну, конечно, как же без вас? К тому же тут Сологуб со своей Анастасией Николаевной. Он тоже придет на мой вечер. Я вас с ним познакомлю, Ах, как я чудесно плавал...

И, перебивая себя, оглядывает комнату. — Вам здесь тяжело, да? Слишком мало пространства и предметы все какие-то будничные, лишенные души. Вот эта ширма — от нее скука и даже страх. Здесь нельзя писать стихи. Ведь вы наверно за все это время ничего не написали?

Я киваю.

— Все бьюсь над одной и той же балладой. Никак не могу кончить.

Он торжествует:

— Я так и знал. Здесь вам не хватает пространства, главное психологического пространства. Эта ужасная скученность людей и вещей — скученность скуки. Вам надо как можно скорее вернуться домой: завтра, самое позднее послезавтра. Брат огорчится? Вздор. — Нечего ему огорчаться.

И вот уже вечер — «Вечер Гумилева во Дворце Искусств».

Но определение «пир на весь мир» совсем не подходит ему.

Гумилев выступает не в большом зале, где обыкновенно происходят литературные вечера, а в каком-то маленьком длинном помещении, заставленном рядами стульев. Даже эстрады нет. Гумилев сидит за столиком на расстоянии аршина от первого ряда.

Но он, по-видимому, легко переживает это «отсутствие пространства», эту «скучную скученность» и, попирая

«Скудные законы естества»,

чувствует себя триумфатором и победителем.

Слушателей немного — и они, — это как-то сразу чувствуется — настроены не в унисон Гумилеву. Стихи его не «доходят» до слушателей.

Рядом со мной Сергей Бобров, автор «Лиры Лир», как всегда взъерошенный, несмотря на духоту и жару в зеленом измятом непромокаемом пальто. Он криво усмехается, не скрывая презрения.

В Москве нас, петербуржцев, презирают, считают «хламом и мертвечиной», о чем мне без стеснения и обиняков было заявлено при первом моем посещении Союза Поэтов:

— Все у вас там мертвецы, хлам и бездарности.

У вас только одна Одоевцева. Да и то...

И когда я, покраснев, призналась, что я и есть «эта Одоевцева, да и то».., мне не поверили, пока я, в доказательство, не предъявила своей труд-книжки.

Впрочем и тогда ко мне отнеслись без энтузиазма.

Я оглядываю слушателей. Они не похожи на наших петербургских — какие-то молодые люди кокаинистического типа, какие-то девушки с сильно подведенными глазами, в фантастических платьях и шляпах.

В первом ряду Сологуб. Я сразу узнаю его по портрету Юрия Анненкова. Он совсем такой, как на портрете. Нет, не совсем. Там он все-таки кажется менее застывшим и неподвижным. Менее неживым.

«Кирпич в сюртуке», как его называют. Но он не похож на кирпич. Кирпич красный. И грубый. А он беломраморный и барственный, как вельможи времен Екатерины Великой. Он скорее напоминает статую. Надгробную статую. Каменного Гостя. Памятник самому себе.

Он слушает с отсутствующим видом, застыв в собственном величии и никак нельзя понять, нравится ему или нет.

Но большинству слушателей, я чувствую, стихи Гумилева совсем не нравятся. Это не только равнодушная, это враждебная аудитория.

Правда выбор стихов неудачен. Гумилев, как будто нарочно, читает то, что должно вызвать здесь в Москве, отталкивание: «Душа и тело», «Персидскую миниатюру», «Молитву Мастеров», «Перстень»...

Нет, всего этого здесь читать не надо было. И в особенности — «Либерию». Зачем? Зачем он читает эту «Либерию»?

Но Гумилев не замечает, вернее не хочет замечать настроения слушателей. Он торжественно произносит:

*Вы сегодня бледней чем всегда,
Позабывшись вы скажете даме
И что дама ответит тогда
Догадайтесь, пожалуйста, сами.*



— Ответит то же, что и мы: дурак! — раздается звонкий театральный шопот.

Это Бобров*. Все слышали и почти все смеются.

Я холодею от ужаса.

Гумилев не мог не слышать звонкого, хлесткого «дурак» брошенного в него. Что он ответит? Неужели афоризм Сологуба — «Где люди, там скандал», получит здесь подтверждение?

Но Гумилев еще выше поднимает голову и гордо смотрит прямо перед собой поверх слушателей на стену, рот его растягивается широкой, самодовольной улыбкой — будто он принял смех, за одобрение. Ведь действительно смешно сказать негритянке, что она бледна, как тут не рассмеяться?

И он спокойно продолжает:

*То повиснув на тонкой лозе,
То запрятавшись в листьях узорных,
В темной чаще живут шимпанзе
По соседству от города черных...*

— Притворяется, что не слышал, — шепчет Бобров. — И вы тоже делаете вид, что не слышали, как смеются над вашим мэтром. Слушайте его внимательно, восхищайтесь, наслаждайтесь.

Я ничего не отвечаю. Он наклоняется ко мне:

— А лучше послушайте-ка стихи тоже обращенные к негритянке и тоже о негритянских странах — и начинает читать, прекрасно выговаривая:

*Mon enfant, ma soeur
Pense a la douceur
D'aller vivre ensemble...*

Я прижимаю палец к губам. — Молчите! Перестаньте!

Гумилев кончил, встает и кланяется. Жиденькие аплодисменты, я напрасно отбиваю себе ладони, стараясь «подогреть аудиторию». У нас в Петербурге это безошибочно удастся. Я в этом деле «спец», меня в Цехе так и называют «мастер клаки».

* Бобров, Сергей (1889–1971) — русский поэт, литературный критик, переводчик, математик и стиховед, один из деятелей русского футуризма, популяризатор науки.

Надо почти пропустить первую волну аплодисментов, вступить в нее, когда она уже начинает падать, вступить с бешеной энергией и этим вызвать оvação.

Но здесь мои расчеты не оправдываются. Мало кто следует моему примеру. Слушатели шумно спешат к выходу, как ученики после скучного урока.

Я растерянно остаюсь на своем месте. Гумилев подходит ко мне. Весь его вид свидетельствует о том, что вечер прошел, как нельзя лучше, и он очень доволен и рад...

— Пойдемте в буфет, выпьем чаю.

И мы идем. Гумилев оглядывается.

— А этот рыжий уж опять тут, как тут. Как тень за мной ходит и стихи мои себе под нос бубнит. Слышите?

Я тоже оглядываюсь. Да, действительно, — огромный рыжий товарищ в коричневой кожаной куртке, с наганом в кобуре, на боку, следует за нами по пятам, не спуская глаз с Гумилева, отчеканивая:

*Или бунт на борту обнаружив
Из-за пояса рвет пистолет
Так, что сыпется золото с кружев
С розоватых, брабантских манжет...*

Гумилев останавливается и холодно и надменно спрашивает его:

— Что вам от меня надо?

— Я ваш поклонник. Я все ваши стихи знаю наизусть, — объясняет товарищ.

Гумилев пожимает плечами:

— Это, конечно, свидетельствует о вашей хорошей памяти и вашем хорошем вкусе, но меня решительно не касается.

— Я только хотел позжать вам руку и поблагодарить вас за стихи, — и прибавляет растерянно — Я Блюмкин*.

Гумилев вдруг сразу весь меняется. От надменности и холода не осталось и следа.

— Блюмкин? Тот самый? Убийца Мирбаха? В таком случае — с большим удовольствием. — И он улыбаясь пожимает руку Блюмкина. — Очень, очень рад...

* Блюмкин, Яков (1898–1929) — революционер, чекист, советский разведчик, террорист и государственный деятель. Один из создателей советских разведывательных служб.



Вернувшись в Петербург Гумилев описал эту сцену в последнем своем стихотворении: «Мои читатели»

*Человек среди толпы народа
Застреливший императорского посла,
Подошел пожать мне руку,
Поблагодарить за мои стихи...*

Кстати, читая мне это стихотворение он особенно веско произнес:

*И когда женщина с прекрасным лицом,
Единственно дорогим во вселенной,
Скажет: я не люблю вас,
Я учу их, как улыбнуться,
И уйди, и не возвращаться больше...*

Он взглянул на меня и улыбнулся.

— Вот видите — так улыбаться, как я сейчас улыбаюсь. Это я о вас писал.

Но я не поверила и рассмеялась.

— Обо мне и многих других в прошлом, настоящем и будущем. Ах, Николай Степанович, ведь это вздор.

Я тогда была невестой Георгия Иванова. Гумилеву не хотелось, чтобы я выходила замуж. Он старался меня отговорить. Не потому, что был влюблен, а потому, что не хотел, чтобы я вышла из сферы его влияния, перестала быть «его ученицей», чем-то вроде его неотъемлемой собственности...

* * *

В начале моего «ученичества» Гумилев подарил мне маленький *in octavo*, очень толстый альбом из пергамента, купленный им, по его словам, еще когда-то в Венеции.

— Я буду в него записывать стихи, посвященные вам, — сказал он, подавая его мне. — Он пергаментный, вечный. Он перейдет к вашим внукам и пра-пра-пра-внукам. Берегите его.

На первой странице сверху стояло: Н. Гумилев, а посередине: Стихи написанные Ирине Одоевцевой; внизу был нарисован чер-

нилами один из всегдашних его пейзажей — пальма, необычайно высокая и разлапистая, крошечные негры, два громадных льва, один стоит, другой лежит и на длинноногом, двугорбом верблюде «я сам с ружьем в руках». Под этим рисунком, изображающим охоту на львов, подпись N. G.

23

fecit — 1919.

8

Страницы альбома были очень малы, но Гумилев умудрялся помещать на одну страницу три строфы своим мелким, некрасивым, «неинтеллигентным», как он сам его называл, почерком.

Альбом этот погиб 5 августа 1921 года, после ареста Гумилева. Он был уничтожен моими родными вместе с письмами ко мне Гумилева, черновиком его автобиографии и всеми его книгами с надписями.

Сделано это было против моей воли, в мое отсутствие, из понятного страха — возможного у меня обыска.

Но страх, как и большинство страхов, оказался неоправданным — обыска у меня никто не производил и мой альбом погиб совершенно напрасно.

Да, конечно, я очень болезненно пережила гибель моего альбома, я еще и сейчас с грустью вспоминаю о нем.

Но, с чисто историко-литературной точки зрения, гибель его не представляет собой большой потери. Ведь Гумилев успел еще при жизни составить свою последнюю книгу и включить в нее все стихи, которые он считал достойными быть напечатанными.

Остальные — их было немало — не представляли собой ценности, а являлись — по выражению Гумилева — «дифирамбиальными упражнениями, далеко не всегда удачными».

Впрочем, я все же сообщила несколько из них Г. Струве и они включены во II-ой том «Собрания Сочинений Гумилева».

Приведу еще два стихотворения из моего альбома. Они интересны тем, что показывают насколько Гумилев был аккуратен и экономен в своем поэтическом хозяйстве.

Первое:

*Конквистадор в панцире железном,
Признаю без битвы власть твою
И в сопротивленьи бесполезном
Не грущу, а радостно пою —*

*В панцире железном, в тяжких латах, —
Бант сидящий словно стрекоза
В косах золотисто-рыжеватых
И твои зеленоватые глаза,
Как персидская больная бирюза.*

Строчки:

*На твои зеленоватые глаза
Как персидская больная бирюза*

были им повторены в стихотворении «Лес», написанном через две недели после «Конквистадора».

И второе:

*На веснушки на коротеньком носу
И на рыжеватую косу
И на черный бант, что словно стрекоза
И на ваши лунно-звездные глаза
Я клянусь, всю жизнь смотреть готов.
Николай Степаныч Гумилев.*

О сравнении «бант словно стрекоза» Гумилев вспомнил больше чем через год и перенес его во второе стихотворение, написанное уже в декабре 20 года.

Гумилев иногда из «экономии» даже посвящал свои мадригалы различным лицам.

Всем например известно — об этом уже не раз говорилось в печати — что «Приглашение в Путешествие» посвящалось многим, с измененной строфой, смотря по цвету волос воспеваемой:

*Порхать над царственной вашей
Тиарой золотых волос*

то:

*Порхать над темно-русой вашей
Прелестной шапочкой волос*

— были и «роскошные» и «волнистые» шапки волос, и «атласно-гладкие» шапочки волос.

Сам Гумилев — в минуты откровенности рассказывал мне сколько раз это «приглашение» ему «служило», как и второе его «ударное» стихотворение, «С тобой мы связаны одною цепью».

В моем альбоме их, конечно, не было, но в нем рукой Гумилева были записаны почти все его лирические стихи, сочиненные им в это время вплоть до «Моим читателям».

Гумилев совершенно серьезно уверял меня, что они все написаны мне. Но я, несмотря на всю мою тогдашнюю наивность и доверчивость, не верила этому, что иногда сердило его.

Все же мой альбом мог послужить материалом для датирования стихотворений — Гумилев всегда ставил под ними точную дату.

Иногда, правда довольно редко, попадались и «разночтения», как теперь принято говорить.

Так, в Канцоне Первой, открывающей мой альбом вместо двух последних строф, начинающихся:

*В этот час я родился
В этот час я умру*

были строки:

*Лишь несчастно влюбленным
Снятся райские сны.*

*В этом мире полночном,
Мне дороже весны
Ты, со взглядом зеленым
И такой глубины,
Что одним беспорочным
На земле суждены.*

Я удивилась необычайному чередованию рифм.

Гумилев обиженно пожал плечами:

— Пожалуйста, без критики. Много вы понимаете. Правила существуют для начинающих. А я, слава Богу, могу рифмовать как хочу. Кальдерой не даром говорил, что изучив правила надо запретить их на ключ, а ключ бросить в море — и только тогда приступить к творчеству. И писать по вдохновению...

Но через несколько дней он прочел мне измененный конец этой канцоны такой, как он напечатан в «Огненном Столпе».

Я попросила его записать мне в альбом окончательный вариант, но он, не без злорадства, отказался.

— Нет уж, пусть у вас остается прежний конец, хотя вы его и критикуете.



Больше я никогда — даже когда они мне совсем не нравились как, например, «Перстень» — не позволяла себе «критиковать» его стихи.

Было и еще одно существенное «разночтение» — во втором стихотворении триптиха «Душа и тело» — вместо:

*И женщину люблю... Когда глаза
Ее потупленные я целую
Я пьяно, будто близится гроза
Иль будто пью я воду ключевую.*

В моем альбоме стояло:

*И девушку люблю, что у судьбы
Я отвоюю с яростью во взгляде
Ее прикосновенья жгут, как бы,
В ней соки бродят, будто в винограде.*

Гумилев любил читать свои старые стихи, и напечатанные и те, которые он считал недостойными появиться в его книгах. Все их он помнил наизусть.

Так он не раз читал мне стихи опубликованные уже в Париже после его смерти под данным им Мочульским названием: К Синей Звезде.

Из них — неизвестно почему — Гумилев включил в «Костер» далеко не лучшие, «Розу» или «Телефон».

Гумилев читал мне наизусть и надписи, сделанные им когда-то на книгах. Привожу из них две:

Первая на «Чужом Небе» барышне, в которую он был влюблен во время войны — не называю ее имени — написавшую строчку с двумя спондэями.

*Спондэическая поэтесса,
Связной надписи не требуй
К этому Чужому Небу
Где лишь ты одна принцесса*

И вторая на «Шатре», сделанная приблизительно в то же время его будущей жене, Ане Энгельгардт:

*Об Анне, пленительной, сладостной Анне
Я долгие ночи мечтаю без сна.
Прелестных прелестней, желанных [желанней
Она!...*

Мне она очень не понравилась, особенно усеченная последняя строка. Я немного поморщилась, хотя «критиковать» не стала.

Он все же накинулся на меня:

— А вы думаете, что так легко «мадригалить»? Но, слава Богу, не все так требовательны, как вы, и приходят в восторг от всякого посвящения. Ведь я — в этом они твердо уверены — дарю им бессмертие, посвящая им стихи.

— Даже если эти стихи вами посвящены целой дюжине? Всем им дарите бессмертие? — спрашиваю я. — Оптом и в розницу?

Гумилев уже смеется.

— Каждая считает, что ей и только ей одной. И счастлива этим.

Отправляясь на свидание. Гумилев всегда брал с собой заготовленный «мадригал». Но иногда, занятый спешной работой, он не успевал его сочинить.

Однажды, когда мы с Георгием Ивановым сидели в саду Дома Литераторов, Гумилев подошел к нам с озабоченным видом и, наскоро поздоровавшись, спросил, не найдется ли у меня или у Георгия Иванова какого-нибудь подходящего к случаю стихотворения. У меня, конечно, ничего подходящего не оказалось, но Георгий Иванов вспомнил какую-то свою строфу о Психее, глядящейся в зеркало.

Гумилев нахмурившись выслушал ее и одобрительно кивнул.

— Ничего, сойдет. Скажу ей, что она похожа на Психею. — И тут же записал эту строфу под диктовку Георгия Иванова, поставив под нее свою подпись и дату — июль 1921 года, а над ней посвящение.

Эта «Психея» вернулась к Георгию Иванову, когда он собирал стихи Гумилева для посмертного сборника, но он, к негодованию приславшей ее, не счел возможным включить свою строфу в сборник Гумилева.

Так как часто одно и то же стихотворение приносилось или присылалось с различными посвящениями, Георгий Иванов решил печатать такие стихи без посвящений, что вызывало ряд обид и возмущений.

Кстати, забавное недоразумение: Георгий Иванов дал и сам стихотворение Гумилева, но зачеркнул посвящение себе.

В типографии же сочли, что он подчеркнул посвящение, а не вычеркнул и в сборнике оно появилось сделанным необычайно крупным шрифтом, к комическому отчаянию Георгия Иванова...

Раз я упомянула о «Лесе», мне следует рассказать, отчего в «Огненном Столпе» посвящение мне было снято.



Произошло это по моей просьбе, так как из-за этого посвящения в сборнике Цеха Поэтов «Дракон» вышла неприятная история.

Некоторые участники Всемирной Литературы повели кампанию против Гумилева, обвиняя его в том, что он открыто признается мне в любви и описывает мою наружность.

Голлербах даже нашел возможным высказать это мнение в своей критической статье о «Дракон».

Гумилев счел меня — и главное себя — оскорбленными и дело чуть не дошло, — а может быть и дошло — до третейского суда.

О суде я толком так ничего и не узнала. Эта история меня страшно волновала и Гумилев стал делать вид, что все уладилось.

Я просто сходила с ума и тряслась от страха что это станет известно у меня дома.

Я умоляла Гумилева не обращать внимания на сплетни и враждебные выпады и не разыгрывать роль рыцаря, защищающего честь прекрасной дамы.

Я не чувствовала себя оскорбленной. Ничего, кроме пустого зубоскальства в статье Голлербаха я не находила, а реакция на нее Гумилева действительно могла принести мне немало зла — вплоть до запрещения встречаться с Гумилевым и бывать в литературных кругах.

Но, слава Богу, все для меня обошлось без неприятных последствий и вскоре совсем забылось.

Гумилев не сразу согласился снять посвящение с «Леса». Но слезы и упреки Ани, ей-тоже все это стало известно, — подействовали на него. Он не только снял посвящение мне, но даже посвятил весь «Огненный Столп» ей — что я очень одобрила, а ее привело в восторг.

Все же оставить меня совсем без посвящения в своем сборнике стихов он не желал и решил посвятить мне «Заблудившийся трамвай». Но я отказалась и от этого, что его не на шутку обидело.

— Мне кажется, я имею право посвящать свои стихи кому хочу, по своему собственному выбору — хоть китайской императрице.

— В следующем сборнике сколько угодно, я буду ими страшно гордиться. А сейчас, во избежание разговоров, пожалуйста, не надо, — просила я.

В конце концов он послушался меня, но все же сказал с упрехом:

— Вы пожалеете и очень пожалеете, что отказались от такого подарка.

Да, он оказался прав — я жалею и очень жалею, что «Заблудившийся трамвай» — мое самое любимое стихотворение Гумилева, — не посвящено мне.

Все же я с удовольствием вспоминаю, что я была первой услышавшей его.

Было это весной 1921 года. Я зашла за Гумилевым в 11 часов утра, чтобы идти вместе с ним в Дом Искусства.

Он сам открыл мне дверь кухни и неестественно обрадовался моему приходу. Он находился в каком-то необычайно возбужденном состоянии. Даже его глаза, обыкновенно сонные и тусклые, странно блестели, будто у него жар.

— Нет, мы никуда не пойдем, — сразу заявил он. — Я недавно вернулся домой и страшно устал. Я всю ночь играл в карты и много выиграл. Мы останемся здесь и будем пить чай.

Я поздравила его с выигрышем, но он махнул на меня рукой.

— Чушь! Поздравить вы меня можете, но совсем не с выигрышем. Ведь мне в картах, на войне и в любви всегда везет.

Разве всегда?.. спросила я себя.

А он уже продолжал:

— Поздравить вы меня можете с совершенно необычайными стихами, которые я сочинил возвращаясь домой. И так неожиданно, — он задумался на мгновение — я и сейчас не понимаю, как это произошло. Я шел по мосту через Неву, — заря и никого кругом. Пусто. Только вороны каркают. И вдруг мимо меня, совсем близко пролетел трамвай. Искры трамвая, как огненная дорожка на розовой заре. Я остановился. Меня что-то вдруг пронзило, осенило. Ветер подул мне в лицо и я как-будто что-то вспомнил, что была давно и в то же время как будто увидел то, что будет потом. Но все так смутно и томительно. Я оглянулся, не понимая где я и что со мной. Я постоял на мосту, держась за перила, потом медленно двинулся дальше, домой. И тут-то и случилось. Я сразу нашел первую строфу, как будто получил ее готовой, а не сам сочинил. Слушайте:

*Шел я по улице незнакомой
И вдруг услышал вороний грай,
И звоны лир, и дальние громы
Передо мной летел трамвай.*



Я продолжал идти. Я продолжал произносить строчку за строчкой, будто читаю чужое стихотворение. Все, все до конца. Садитесь! Садитесь и слушайте!

Я сажусь тут же в кухне на стол, а он, стоя передо мной, взволнованно читает:

*Как я вскочил на его подножку
Было загадкой для меня.*

Это совсем не похоже на прежние его стихи. Это что-то совсем новое, еще небывалое. Я поражена, но он и сам поражен не меньше меня.

Когда он кончил читать, у него дрожали руки и он, протянув их вперед, с удивлением смотрел на них.

— Оттого, должно быть, что я не спал всю ночь, пил, играл в карты, — я ведь очень азартный — и предельно устал, оттого, должно быть, такое сумасшедшее вдохновение. Я все еще не могу прийти в себя. У меня голова кружится. Я полежу на диване в кабинете, а вы постарайтесь вскипятить чай. Сумеете?..

— Это ведь почти чудо — говорил Гумилев, и я согласна с ним. Все пятнадцать строф сочинены в одно утро, без изменений и поправок.

Все же одну строфу он переделал. В первом варианте он читал:

*Знаю, томясь смертельной тоскою
Ты повторяла: Вернись, вернись!
Я же с напудренною косою
Шел представляться Императрикс,*

вместо:

Как ты стонала в своей светлице...

и т. д.

Машенька в то первое утро называлась Катенькой. Катенька превратилась в Машеньку только через несколько дней, в честь Капитанской дочки, из любви к Пушкину.

Догадка Маковского, что «Машенька» — воспоминание о рано умершей двоюродной сестре Гумилева, Маше Кузмин-Караваевой неправильна, как и большинство таких догадок...

Сам Гумилев очень ценил «Трамвай».

— Не только поднялся вверх по лестнице, — говорил он, — но даже сразу через семь ступенек перемахнул.

— Почему семь? — удивилась я.

— Ну, вам-то следует знать почему. Ведь и у вас в «Толченом стекле» семь гробов, семь ворон, семь раз прокаркал поп. Семь — число магическое, и мой «Трамвай» магическое стихотворение.

Он улыбался и я не знала, шутит ли он или говорит серьезно.

«У цыган» было написано им дней через десять.

— Я все еще нахожусь под влиянием «Заблудившегося трамвая» — говорил он. — «Цыгане» одной семьи с ним. Но они, я сам знаю, гораздо слабее. Надеюсь все же, что мне удастся перемахнуть еще через семь ступенек. Конечно, не сегодня и не завтра, а через полгода или год — ведь «великое рождается не часто».

Через полгода...

* * *

О причине гибели Гумилева существует много догадок, но в сущности мало что известно достоверно.

На вопрос: был ли Гумилев в заговоре или он стал жертвой ни на чем не основанного доноса, отвечаю уверенно: Гумилев бесспорно участвовал в заговоре.

Да, я знала об участии Гумилева в заговоре. Но я не знала, что это был заговор профессора Таганцева, — ни имени Таганцева, ни вообще каких-либо имен участников заговора он мне никогда не называл.

Об его участии в заговоре я узнала совершенно случайно.

Вышло это так:

В конце апреля я сидела в кабинете Гумилева перед его письменным столом, а он, удобно расположившись на зеленом клеенчатом диване, водворенном по случаю окончания зимы из прихожей обратно в кабинет, читал мне, переплетенные в красный сафьян «Maximes» Вовенарга.

— Насколько они глубже и умнее, чем «Maximes» Ларошфуко. Это настоящая школа оптимизма, настоящая философия счастья, они помогают жить, — убежденно говорил он. — А вот пойдите, о маркизе Вовенарге у нас мало кто даже слышал, зато Ларошфуко все знают наизусть. Слушайте и постарайтесь запомнить: «Une vie sans passions ressemble a la mort». До чего верно!

Я, как я это часто делала слушая то, что меня не особенно интересовало, слегка вдвигала и выдвигала ящик его письменного стола. Я совершенно не умела сидеть спокойно и слушать, сложа руки.



Не рассчитав движения, я вдруг совсем выдвинула ящик и громко ахнула. Он был туго набит пачками кредиток.

— Николай Степанович, какой вы богатый! Откуда у вас столько денег? — крикнула я, перебивая чтение.

Гумилев вскочил с дивана, шагнул ко мне и с треском задвинул ящик, чуть не прищемив мне пальцы.

Он стоял передо мной бледный, сжав челюсти, с таким странным выражением лица, что я растерялась. Боже, что я наделала!

— Простите, — забормотала я, — я нечаянно... Я не хотела... Не сердитесь...

Он как будто не слышал меня, а я все продолжала растерянно извиняться.

— Перестаньте, — он положил мне руку на плечо. — Вы ни в чем не виноваты. Виноват я, что не запер ящик на ключ. Ведь мне известна ваша манера вечно все трогать. — Он помолчал немного и продолжал, уже овладев собой. — Конечно, неприятно, но ничего непоправимого не произошло. Я в вас уверен. Я вам вполне доверяю... Так вот...

И он, взяв с меня клятву молчать, рассказал мне, что участвует в заговоре. Это не его деньги, а деньги для спасения России. Он стоит во главе ячейки и раздает их членам своей ячейки.

Я слушала его, впервые понимая, что это не игра, а правда. Я так испугалась, что даже вся похолодела.

— Боже мой, ведь это безумно опасно!

Но он спокойно покачал головой.

— И совсем уж не так опасно. Меня вряд ли посмеют тронуть. Я слишком известен. И я ведь очень осторожен.

Но я все повторяла, не помня себя от страха:

— Нет, это безумно опасно. Как бы вы ни были известны и осторожны, безумно опасно!

Он пожал плечами.

— Даже если вы правы и это безумно опасно, обратного пути нет. Я должен исполнить свой долг.

Я стала его умолять уйти из заговора, бросить все. Слезы текли по моему лицу, но я не вытирала их.

— Подумайте о Левушке, о Леночке, об Ане, о вашей матери. О всех, кто вас любит, кому вы необходимы. Что будет с ними, если... Ради Христа, Николай Степанович!..

Он перебил меня. — Перестаньте говорить жалкие слова. Неужели вы воображаете, что можете переубедить меня? Мало же

вы меня знаете. Я вас считал умнее. — Он уже снова смеялся. — Забудьте все, что я вам сказал и никогда ни о чем таком больше не спрашивайте. Поняли?

Я киваю.

— И клянетесь?

— Клянусь.

Он с облегчением вздыхает.

— Ну, тогда все в порядке. Я ничего вам не говорил. Вы ничего не знаете. Помните — ровно ничего. Ни-че-го! А теперь успокойтесь и вытрите глаза. Я вам сейчас чистый носовой платок из комода достану.

И все же, с этого дня я знала, что Гумилев действительно участвует в каком-то заговоре, а не играет в заговорщиков.

Да, я знала. Но это было какое-то «абстрактное знание», лишь слегка скользнувшее по моему сознанию, не вошедшее в него, не связанное с реальностью.

Оттого ли, что Гумилев больше никогда не напоминал мне о «том» разговоре, будто его действительно не было, или оттого, что я в те дни уже начала понемногу отдаляться от него и чувствовать себя слегка вне его жизни и всего, что происходит в ней, — ведь я только что стала невестой Георгия Иванова, и Гумилев, не сочувствовавший этому браку, всячески старался отговорить меня от него, но хоть это и странно, я действительно, по своему невероятному тогдашнему легкомыслию, совсем не думала об опасности, грозящей Гумилеву.

Гумилев вернулся в Петербург в июле 1921 года в Дом Искусства, куда он переехал с женой, еще до своего Черноморского путешествия.

Гумилев всегда отличался огромной работоспособностью и активностью (хотя и считал себя ленивым), а теперь, отдохнув и освежившись за время плавания, просто разрывался от энергии и желания действовать.

Он только что учредил: «Дом Поэтов», помещавшийся в Доме Мурузи на Литейном. В том самом доме Мурузи, где когда-то находилась «Литературная Студия», с которой и начался, по его определению — весь Новый Завет.

— Вы только вспомните, кем вы были, когда впервые переступили этот священный порог, — насмешливо говорит он мне. — Вот уж правда, как будто о вас: «Кем ты был и кем стал». А ведь



только два года прошло. Просто поверить трудно. И все благодаря мне, не вздумайте спорить.

Да. Я не спорю. Я сознаю, что я ему многим — если не всем — обязана.

— Без вас, Николай Степанович, я бы никогда в жизни...

Но он не дает мне закончить.

— Предположим даже, что вы мне благодарны, говорит он, — меня шуточный тон на серьезный — Пусть так. И все-таки вы скоро отречетесь от меня, как, впрочем, и остальные. Вы и сейчас уже отrekliсь от меня и только притворяетесь, чтобы не обидеть меня. Но я ведь чувствую, я знаю!

— Неправда, — быстро говорю я. — Я никогда, никогда не отрекусь от вас.

Но я не успеваю объяснить ему почему я всегда буду ему верна — к нам подходят Лозинский и Адамович и разговор становится общим.

Здесь в сутолоке Дома Поэтов «выяснять отношения» трудно, да, к тому же, сам Гумилев учил меня никогда не «объясняться».

«Дом Поэтов» своего рода клуб, почти ежевечерне переполняемый публикой.

Гумилев нашел необходимого капиталиста — некоего Кельсона. Гумилев уговорил своего брата Димитрия, юриста по образованию — стать юрисконсультom Дома Поэтов и даже... кассиром. Гумилев всем заведует и все устраивает сам. Он душа, сердце и ум «Дома Поэтов». Он занимается им со страстью и гордится им.

В «Доме Поэтов» очень весело. Судя по аплодисментам и смеху посетителей, им, действительно, очень весело, но нам, участникам и организаторам еще гораздо веселее, чем им.

Мы с Гумилевым по-прежнему продолжаем ежедневно видеться, но всегда на людях — в Доме Искусств, в Доме Поэтов, в Доме Литераторов, куда он теперь, ведь он далеко живет, редко показывается.

Никаких «задушевных» разговоров с глазу на глаз мы больше уже не ведем. Хотя и он успел сообщить мне, что снова влюблен, счастливо влюблен, — с чем я его и поздравила. Все же, он снова и снова уговаривал меня не выходить замуж за Георгия Иванова. — Но все это происходило как-то вскользь, мимоходом, случайно. — я была слишком занята своей личной жизнью.

Гумилев мечтал создать из «Дома Поэтов» что-то совершенно небывалое.

Кроме чтения стихов предлагается еще и «сценическое действо», сочиненное и разыгранное поэтами.

— Я чувствую, что во мне просыпается настоящий Лопе де Вега и что я напишу сотни пьес, — говорит он смеясь. — Они будут ставиться у нас, как в Испании XVII века, грандиозно и роскошно, со всяческими техническими усовершенствованиями и музыкальным аккомпанементом.

Пока же представления скорее походят на веселый балаган.

Гумилев, большой поклонник и почитатель д'Аннунцио*, решил достойно почтить его на сцене «Дома Поэтов».

Сюжетом для одного из первых спектаклей послужило взятие Фиуме.

Несмотря на то, что в «Доме Поэтов» еще отсутствовали «технические усовершенствования», сражения на воде и суше происходили в невероятном грохоте и треске «орудий».

Гумилев, конечно, играл главную роль — самого д'Аннунцио и был довольно удачно загримирован по его портрету.

Мне поручили «символическое воплощение победы», что было нетрудно.

Мне полагалось только носиться по полю сражения с распущенными волосами и лавровым венком в протянутой руке, а в сцене апофеоза возложить лавровый венок на чело д'Аннунцио — «увенчать его славой».

Все шло благополучно, но, когда я, стоя за спиной сидящего на табурете д'Аннунцио, торжественно возложила венок на его голову, венок сразу соскользнул на его глаза и нос. Мне пришлось снять его и держать его над его головой в вытянутой руке.

Гумилев не изменил своей величественной позы и сохраняя невозмутимое спокойствие «даже бровью не повел».

Уже за кулисами он, указывая широким жестом на себя и на меня, и произнес с трагикомическим пафосом:

— *Венчанный и развенчанный победой.
Нет, не д'Аннунцио, а Гумилев!..*

* д'Аннунцио, Габриэле (1863–1938) — итальянский писатель, поэт, драматург и политический деятель. Член Королевской академии французского языка и литературы Бельгии.



и только тогда присоединился к неудержимому хохоту всех участников «Взятия Фиуме».

В начале лета 1921 года Гумилев переехал с Преображенской в Дом Искусств вместе с вернувшейся к нему из Бежецка Аней. Леночка, двухлетняя дочка Гумилева и Аня, была помещена в Детдом, управляемый женой Лозинского.

Я зашла к Гумилеву накануне его переезда. Меня впустила Аня. Ее хорошенькое личико сияло. Наконец-то исполнилась ее мечта, она вырвалась из опостылевшего ей Бежецка, она снова в Петербурге и — «подумайте как чудесно! Мы будем жить в Доме Искусства, где мне даже хозяйством заниматься не надо и всегда с утра до вечера можно встретить столько знакомых и все знаменитости. Это просто рай, мне все еще не верится!» — и блеснув на меня своими прелестными темными глазами, она, вся извернувшись, звонко кричит:

— Коля, Коля, Коля, к тебе твоя ученица!

Я застаю Гумилева за странным занятием. Он стоит перед высокой книжной полкой, берет книгу за книгой и перелистав ее кладет на стул, на стол или просто на пол.

— Неужели вы собираетесь брать все эти книги с собой? — спрашиваю я.

Он трясет головой.

— И не подумаю. Я ищу документ. Очень важный документ. Я заложил его в одну из книг и забыл в какую. Вот я и ищу. Помогите мне.

Я тоже начинаю перелистывать и вытряхивать книги. Мы добросовестно и безрезультатно опустошаем полку.

— Проклятая память, — ворчит Гумилев. — Недаром я писал: Память, ты слабее год от года!

Мне надоело искать и я спрашиваю:

— А это важный документ?

Он кивает.

— И даже очень. Черновик кронштадтской прокламации. Оставлять его в пустой квартире никак не годится!

Черновик прокламации?? Я вспоминаю о заговоре. Да, он прав. Необходимо найти его. И я продолжаю искать с удвоенной энергией.

— А вы уверены — спрашиваю я снова, безрезультатно просмотрев еще несколько десятков книг — вы уверены, что действительно положили его в книгу?

Он раздраженно морщится.

— В том то и дело, что совсем не уверен. Не то сунул в книгу, не то сжег, не то бросил в корзину для бумаг. Я с утра тружусь, как каторжник, — все ищу проклятый черновик. Ко мне заходил Жоржик Иванов и тоже искал. Кстати, он просил передать вам, что будет ждать вас в Доме Литераторов с двух часов.

С двух часов? А теперь скоро четыре и значит он стоит уже два часа на улице, поджидая меня. Он всегда ждет меня перед входом в Дом Литераторов, а вдруг я — зная, что опоздала, — не зайду туда, а пройду мимо.

Гумилев оборачивается ко мне.

— Вам, конечно, хочется бежать? Ну и бегите. Все равно мне не найти проклятого черновика. Верно я его сжег. И ведь никто здесь не поселится. Ключ от квартиры останется у меня. Я смогу приходить сюда когда хочу, — уже улыбаясь, он оглядывается на дверь — смогу назначать здесь любовные свидания. Очень удобно — *pied-a-terre*, совсем как в Париже.

Он начинает ставить книги обратно, а я торопливо надеваю свою широкополую шляпу и прячу под нее бант.

— До свидания, Николай Степанович.

— Не говорите никому о черновике, — доносится до меня его голос и я кивнув наскоро Ане, готовящей что-то в кухне на примусе, выбегаю на лестницу.

После ареста Гумилева, при обыске на Преображенской, 5, чекисты искали более умело и тщательно, и нашли черновик.

В списке предъявленных Гумилеву обвинений значилось: принимал деятельное участие в составлении контрреволюционной прокламации.

* * *

Моя последняя встреча с Гумилевым.

Та последняя встреча, неожиданно открывающая глаза вспоминающего на многое, чего он не только не видел, но о чем даже не подозревал, освещающая «нездешним светом» того, с кем происходит она, эта последняя, роковая, незабываемая встреча, звучащая последним, траурным аккордом, ставящая последнюю необходимую точку, после которой уже ничего добавить нельзя.

Такой последней роковой встречи, редко происходящей в действительной жизни, но совершенно неизбежной



в разукрашенных фантазией воспоминаниях, у меня с Гумилевым не было.

Не было ни «нездешнего света», ни траурного аккорда, ни необходимой последней точки.

Ведь в жизни чаще всего, как у Кузмина в «Картонном Домике». Судьбой не точка ставится в конце, А клякса.

Мы теперь жили далеко друг от друга и уже вместе не возвращались домой.

Все же Гумилев был по-прежнему откровенен со мною.

Так, я узнала от него что его роман развивается очень удачно.

— Я чувствую, что вступил в самую удачную полосу моей жизни, — говорил он. — Обыкновенно, я, когда влюблен, схожу с ума, мучаюсь, терзаюсь, не сплю по ночам, а сейчас я весел и спокоен. И далее терпеливо ожидаю «заветный час свиданья». Свидание состоится в пятницу, 5-го августа, на Преображенской пять и, надеюсь, пройдет «на пять».

Я поздравила его и смеясь спросила:

— Раз вы так счастливо влюблены вы, надеюсь, не будете больше уговаривать меня не выходить замуж?

Но он покачал головой.

— Еще как буду! Влюбляйтесь сколько хотите, но замуж выходить за Георгия Иванова не смейте!

— А оставайтесь навсегда ученицей Гумилева! — прибавила я. — У вас пренесносный характер, Николай Степанович. Удивляюсь, как я могла так долго терпеть — и я смеясь сделала ему грубокий реверанс.

— Как это прикажете понимать?

Вежливое: Вот хомут вам и дуга, Я вам больше не слуга, то есть больше не ученица? — спросил он тоже смеясь. — Так что ли?

Разговор этот происходил 2 августа 1921 года в столовой Дома Искусства, куда я зашла на минутку по дороге в Летний Сад, где меня ждал Георгий Иванов.

Взглянув на часы я вдруг вспомнила, что он уже давно ждет и не отвечая на вопрос Гумилева, торопливо попрощалась с ним.

— До свидания, Николай Степанович, всего вам наилучшего.

Он проводил меня до внутренней винтовой лестницы.

Я сбежала по ступенькам, обернулась и взглянула наверх.

Он стоял перегнувшись через перила и улыбаясь смотрел на меня.

— Кланяйтесь Жоржику и будьте счастливы! До свидания! — сказал он, и помахал мне рукой на прощанье.

Гумилева арестовали в среду 3-го августа.

В тот вечер, проходя мимо Дома Искусств, Георгий Иванов предложил мне зайти к Гумилеву.

Но я торопилась домой, был уже десятый час.

У подъезда Дома Искусств ждал автомобиль. Но это нас не удивило.

НЭП уже успел пышно расцвести и автомобиль у подъезда не наводил больше ужаса.

Если бы мы в тот вечер поднялись к Гумилеву то, конечно, тоже попали бы в засаду, как в нее попали многие обитатели Дома, желавшие навестить Гумилева, в том числе и Лозинский.

Впрочем, всех их, продержав сутки на Гороховой 2, выпустили, убедившись в их полной непричастности к заговору.

В. Ходасевич ошибался, описывая свою эффектную «встречу — точку» с Гумилевым.

Возможно, что эта встреча была именно такой, но только она никак не могла произойти 3-го августа и Ходасевич никак не мог в ту ночь «поздно засидеться у Гумилева». Когда Гумилев вернулся к себе, там его уже ждали приехавшие за ним чекисты.

Все описанное Ходасевичем, по всей вероятности, происходило 1-го или 2-го августа.

О том, как Гумилев вел себя в тюрьме и как погиб, мне доподлинно ничего не известно.

Письмо, присланное им из тюрьмы жене с просьбой прислать табак и Платона и с уверениями, что беспокоиться нечего, «я играю в шахматы» — приводилось много раз.

Остальное — все только слухи.

По этим слухам Гумилева допрашивал Якобсон — очень тонкий, умный следователь. Он, якобы, сумел очаровать Гумилева, или во всяком случае, внушить ему уважение к своим знаниям и доверие к себе. К тому же, что не могло не льстить Гумилеву, Якобсон прикинулся, а может быть и действительно был — пламенным поклонником Гумилева и читал ему его стихи наизусть.

По слухам Гумилев во время долгих бесед с ним не только не скрывал своих монархических взглядов, но даже сильно преувеличивал их. Так он якобы с восторгом вспоминал о своем пребывании в лазарете Александры Федоровны в Царском. Гумилев



действительно находился там на излечении после контузии и уверял, что он был влюблен в Великую Княжну Татьяну, ухаживавшую за ним.

О том, что Великие Княжны прелестны, особенно Татьяна Николаевна, он говорил и мне, но о своей влюбленности никогда не упоминал.

На вопрос о том, был ли виновником гибели Гумилева какой-то провокатор, я ответить не берусь.

Не исключена возможность, что провокатор действительно существовал.

Но, во всяком случае, Георгий Иванов и Ходасевич говорят не об одном и том же лице. Предположение Ходасевича настолько фантастично, что на нем даже останавливаться не стоит.

Георгий Иванов говорит о молодом человеке хорошо известном мне, но я не уверена, что Георгий Иванов не ошибается. Никаких неопровержимых данных в том, что этот молодой человек действительно предал Гумилева, ни у Георгия Иванова, ни у меня не было. И поэтому я не считаю возможным возводить на него такое чудовищное обвинение.

О причине гибели Гумилева ходили еще и другие разнообразные слухи, но так как они все не поддаются проверке и ничего не уясняют, то я их и приводить не хочу.

Смерть Блока. Его похороны.

Арест Гумилева. Неудачные попытки его спасти. Даже заступничество Горького ни к чему не привело. Расстрел Гумилева.

Нет, я ничего не могу рассказать о том, что я тогда пережила.

У французов существует выражение *douleur sacree* — священная боль.

О ней лучше всего молчать.

И ведь уже столько раз описывали смерть и похороны Блока.

И столько было рассказов «очевидцев» о том, как умирал Гумилев...

*... И нет на его могиле
Ни холма, ни креста, ничего.*

*Но любимые им серафимы
За его прилетели душой,
И звезды в небе пели:
— Слава тебе герой!..*

* * *

Мы с Георгием Ивановым зашли в Дом Литераторов в поисках тех, с кем еще не успели проститься. Уезжали мы «легально» и отъезда своего не скрывали. Конечно, мы не предчувствовали, что уезжаем навсегда. Все же мы прощались как перед длительной разлукой, полагая, что год, а может быть, даже и два будем в отсутствии. Но, во всяком случае, никак не больше. Ведь НЭП уже начался и, как тогда говорили, Россия семимильными шагами идет по пути к буржуазной республике. Может быть, мы вернемся и гораздо раньше домой.

Уезжали весело и беспечно. Ведь так интересно увидеть Берлин, Париж, а может быть и Венецию. И прощались так же весело и беспечно. Принимали заказы на подарки, которые привезем, когда вернемся.

— Духи. И пудру... Парижскую шляпу... Галстук в крапинку... Шелковое вязаное зеленое кашне...

Я аккуратно записывала, кому что привезти.

Кланяйтесь от меня Парижу. — Те, кто бывали в Париже, добавляли, щеголяя своим знакомством с ним: — Особенно кланяйтесь Елисейским Полям — или — Булонскому Лесу или — Сорбонне.

Ирецкий горячо настаивал:

— Непременно побывайте в Италии. Непременно. Без Италии заграничное путешествие не в счет. Италия — венец всего.

Рукопожатия. Поцелуи. Объятия.

— Счастливая! как я вам завидую! — вздыхает Олечка Арбенина.

Я согласна. Странно было бы не завидовать мне, уезжающей в Париж...

* * *

Я увидела Ахматову впервые летом 1918 года в Петербурге на Литейном проспекте.

Она шла мне навстречу.

Я сразу узнала ее, хотя до этого дня видела ее только на портрете Натана Альтмана. Там она вся состояла из острых углов — углы колен, углы локтей, углы плеч и угол горбинки носа.

Я узнала ее, хотя она была мало похожа на свой портрет. Она была лучше, красивее и моложе. И это в первую минуту даже слегка разочаровало меня — ведь я привыкла восхищаться той альтмановской Ахматовой. Но я уже шла за ней, восхищаясь ее



стройностью и гибкостью, ее легкой, летящей походкой. Шла с Литейного до Морской, где она, ни разу не обернувшись, исчезла в каком-то подъезде.

Я прождала ее больше часа у этого подъезда, но она так и не показалась.

С того дня я больше не видела ее до августа 1921 года. Но она все эти годы незримо присутствовала в моей жизни. Ведь она была первой женой Гумилева, и он постоянно рассказывал мне о ней, начиная с их общих царскосельских гимназических воспоминаний, о которых она писала:

*В ремешках пенал и книги были.
Вместе возвращались мы из школы.
Эти липы верно не забыли
Наши встречи, мальчик мой веселый.*

*Только, ставши лебедем надменным,
Изменился сизый лебеденок.
А на грудь мою лучем нетленным
Грусть легла, и голос мой незвонок.*

Анна Андреевна, — говорил мне Гумилев, — почему-то всегда старалась казаться несчастной, нелюбимой. А на самом деле, Господи! как она меня терзала и как издевалась надо мной. Она была дьявольски горда, горда до самоуничтожения. Но до чего прелестна, и до чего я был в нее влюблен!

Я уверена, что Ахматова была главной любовью Гумилева и что он до самой своей смерти — несмотря на свои многочисленные увлечения, — не разлюбил ее.

Уверенность моя основана на его рассказах о ней и, главное, на том, как он говорил о ней. Не только его голос, но даже выражение его лица менялось, когда он произносил ее имя. Я постоянно расспрашивала Гумилева об Ахматовой и задавала ему самые нелепые вопросы, вроде: Любила ли она халву? Как она причесывалась еще гимназисткой? Хорошо ли она танцевала? Была ли у нее собственная собака? И даже: Что вы подарили ей на Рождество в первый год свадьбы?

Он смеялся над моим неугомонным любопытством, но охотно отвечал, «погружался в прошлое», — а о том, что он подарил Ахматовой на Рождество в первый год, рассказал даже очень подробно:

— Я купил у «Александра» на Невском большую коробку, обтянутую материей в цветы, и наполнил ее доверху, положил в нее шесть пар шелковых чулок, флакон духов Coty, два фунта шоколада Крафта, черепаховый гребень с шишками — я знал, что она о нем давно мечтает — и томик «Les amours jaunes» Тристана Корбьера.

Как она обрадовалась! Она прыгала по комнате от радости. Ведь у нее в семье ее не особенно-то баловали.

Когда я женился на Анне Андреевне (он почти всегда называл Ахматову Анна Андреевна, а не Аня) я выдал ей личный вид на жительство и положил в банк на ее имя две тысячи рублей, — продолжает он с плохо скрытым сознанием своего великодушия. — Я хотел, чтобы она чувствовала себя независимой и вполне обеспеченной.

Он подробно описывает мне их свадебное путешествие, все, что они видели и где побывали.

— Возвращаясь из Парижа домой, мы встретились с Маковским, с рара Мако, как мы все его называли, в wagon-lits. Я вошел в купе, а Анна Андреевна осталась с рара Мако в коридоре, и тот, обменявшись с ней впечатлениями о художественной жизни Парижа, вдруг задал ей ошеломивший ее вопрос: «А как вам нравятся супружеские отношения? Вполне ли вы удовлетворены ими?» На что она, ничего не ответив, ушла в наше купе и даже мне об этом рассказала только через несколько дней. И долгое время избегала оставаться с ним с глазу на глаз.

Но я снова спрашиваю, была ли у нее в Царском собственная собака?

«Нет, собственной собаки у нее не было. В деревне у нас в «Слепневе» было много дворовых псов, но комнатных собак, за исключением моей старшей сводной сестры, у нас никто не заводил. Ни собак, ни кошек. Зато у Анны Андреевны был розовый какаду, тот самый, знакомый вам по ее стихам:

*А теперь я игрушечной стала,
Как мой розовый друг — какаду...*

Этот розовый друг-какаду отличался не только красотой, но и пренеприятным голосом, и как только заговорят в соседней комнате, а в особенности если читают стихи, начинал кричать на весь дом. На его клетку натягивали большой черный мешок и он успокаивался и замолкал, считая, должно быть, что настала ночь и пора спать».



— А когда, — спрашиваю я, — когда и где Ахматова впервые напечатала стихи?

— У меня, в моем журнале «Сириус», — не без гордости отвечает Гумилев. — Я первый напечатал ее еще в 1907 году в издаваемом мною журнале в Париже. Я был не только издателем «Сириуса», но и редактором и главным сотрудником его. Я печатал в нем свои стихи и свою прозу под всевозможными псевдонимами: Грант, Терин и сколько еще других... Но «Сириус», к сожалению, вскоре лопнул. Издатель не вынес полной убыточности этого великого предприятия, а редактор и сотрудники изнемогли под тяжестью литературной нагрузки. Мецената не нашлось. Вышло только три номера. Так бесславно провалилась «безумная мечта поэта» сразу завоевать славу.

И как это тогда было горько и обидно. И как забавно теперь! Ведь я плакал, плакал как девчонка. Мне казалось, что я навеки опозорен, что я не переживу гибели моей мечты.

Я спрашиваю:

— Вы помните, какие стихи Ахматовой появились у вас в «Сириусе»?

— Конечно, помню! — И он читает мне наизусть:

*На руке его много блестящих колец
Покоренных им девичьих, нежных сердец.
Там ликует алмаз и мечтает опал,
И красивый рубин так причудливо ал.
Но на бледной руке нет кольца моего,
Никому, никому не отдам я его.*

Я не пришел в восторг от этого стихотворения, а конец: «Мне сковал его месяца луч золотой...» я советовал вовсе отбросить. Но я все же напечатал его и даже с последней строфой. Я ведь был катастрофически влюблен и на все готов, чтобы угодить Ахматовой. Впрочем, она тогда была еще Анна Горенко. Ахматовой она стала позже, уже моей женой. Ахматова — фамилия ее бабушки-татарки, той самой, о которой она писала:

*Мне от бабушки татарки
Были редкостью подарки...*

Мне тогда еще и в голову не приходило, что она талантлива. Ведь все барышни играют на рояле и пишут стихи. Я был без памяти влюблен в нее. Как-то, когда я приехал к ней в Севастополь,

она была больна свинкой. И она показалась мне с уродливо распухшей шеей еще очаровательнее, чем всегда. Она, по-моему, была похожа на Афины Палладу, а когда я сказал ей об этом, она решила, что я издеваюсь над ней, назвала меня глупым, злым и бессердечным и прогнала. Я ушел, но весь вечер простоял под ее окном, ожидая, что она позовет меня. А утром уехал, так и не увидев ее снова. Как она меня мучила! В другой мой приезд она, после очень нежного свидания со мной, вдруг заявила: «Я влюблена в негра из цирка. Если он потребует, я все брошу и уеду с ним». Я отлично знал, что никакого негра нет, и даже цирка в Севастополе нет, но я все же по ночам кусал руки и сходил с ума от отчаяния.

— Когда вышла ее первая книга «Вечер»? — спрашиваю я.

— В 1912 году, в издательстве Цеха Поэтов. Мы ее составляли вместе. Тогда я уже понял, что она настоящий поэт. Я понял свою ошибку и горько раскаивался. Но зла я ей своим неверием не принес. Она почти молниеносно прославилась. И как я радовался ее успехам!

— Я никогда не видела «Вечер» и нигде не могла, как ни старалась, его найти.

— Ну, еще бы! Ведь всего двести экземпляров было отпечатано, и они в тот же год разошлись до последнего. «Вечер» теперь — библиографическая редкость, — объясняет он.

— А у вас сохранился «Вечер»?

Он кивает:

— Конечно. С надписью! Я его храню как зеницу ока, никому даже в руки его не даю...

Разговор этот происходил во время одного из наших совместных возвращений из Дома Искусств.

Когда я на следующий день пришла к нему, он, не дожидаясь моей просьбы, протянул мне тоненькую книжку в голубой обложке. Я растерялась и не сразу решилась взять ее:

— Ведь вы сказали, что никому «Вечер» в руки не даете!

Он улыбнулся:

— Берите. Вы можете. Ведь вы так благоговеино относитесь к поэзии.

Но я все же не решаюсь взять «Вечер». Он раскрывает его и показывает мне репродукцию картины Ланкрэ — Женщина с распущенными волосами в саду.

Картина не нравится мне и, по-моему, совсем не подходит к стихам Ахматовой.



На титульном листе, наверху, у самого края, мелким, еще не установившимся почерком надпись: «Коле. Потому что я люблю тебя, Господи!»

Он качает головой.

— Нет, это она только так, в шутку написала.

— Неужели только в шутку? Разве она не любила вас? Ведь столько ее чудных стихов...

Он нетерпеливо перебивает меня:

— Стихи — одно, а жизнь — другое. Если она и любила меня, то очень скоро разлюбила. Мы абсолютно не подходили друг другу. Абсолютно! — повторяет он, будто стараясь убедить не столько меня, как себя в том, что они не подходили друг к другу. — Наш брак был ошибкой. Впрочем, как всякий брак... Счастливых браков не бывает. Это уже Ларошфуко заметил.

Он замолкает на минуту, и лицо его принимает какое-то несвойственное ему мечтательное, умиленное выражение.

— А как восхитительно все началось, и как я был счастлив! Я, как Толстой, думал, что такое счастье не может кончиться со смертью, что оно должно длиться вечно...

Он недоуменно разводит руками: — А оно не продлилось даже и года.

*Нет повести печальнее на свете,
Чем повесть о Ромео и Джульетте...*

если не считать повести о Николае и Анне, о ней и обо мне... Печальнее всего, что все было так просто, буднично и скучно. Сразу же выяснилось, что у нас диаметрально противоположные вкусы и характеры. Мне казалось, что раз мы женаты, ничто на свете уже не может разъединить нас. Я мечтал о веселой, общей домашней жизни, я хотел, чтобы она была не только моей женой, но и моим другом и веселым товарищем. А для нее наш брак был лишь этапом, эпизодом в наших отношениях, в сущности ничего не менявшим в них. Ей по-прежнему хотелось вести со мной «любовную войну» по Кнуту Гамсуну, — мучить и терзать меня, устраивать сцены ревности с бурными объяснениями и бурными примирениями. Все, что я ненавижу до кровомщения. Для нее «игра продолжалась», азартно и рискованно. Но я не соглашался играть в эту позорную, ненавистную мне игру.

Мы оба были разочарованы. Недаром я уже в первый год писал:

*Из города Киева,
Из логова змиева
Я взял не жену, а колдунью...*

А она, правда, позже, уже после рождения Левушки:

*Он любил три вещи на свете:
За вечерней пенью, белых павлинов,
Истертые карты Америки.*

*Не любил, когда плачут дети,
Не любил чая с малиной
И женской истерики
...А я была его женой...*

Он высоко поднимает брови и щурится.

— Полагаю, что все ясно. Комментарии излишни. А, казалось бы, кому как не ей быть счастливой? У нее было все, о чем другие только мечтают. Но она проводила целые дни, лежа на диване, томясь и вздыхая. Она всегда умудрялась тосковать и горевать и чувствовать себя несчастной. Я шутя советовал ей подписываться не Ахматова, а Анна Горенко. — Горе — лучше не придумать.

— Разве ее слава не радовала ее? — спрашиваю я.

— В том то и дело, что почти не радовала. Она, как будто не желала ее замечать. Зато необычайно страдала от всякой обиды, от всякого слова глупца-критика, а на успехи не обращала внимания.

И все таки я продолжал любить ее не меньше, чем прежде. И никогда, если бы она сама не потребовала, не развелся бы с ней. Никогда! Мне и в голову не приходило.

Я всегда весело и празднично, с удовольствием, возвращался к ней. Придя домой, я по раз установленному ритуалу кричал: «Гуси!» И она если была в хорошем настроении, — что случалось очень редко, — звонко отвечала: «И лебеди», или просто «Мы!», и я, не сняв даже пальто, бежал к ней в «ту темно-синюю комнату» и мы начинали бегать и гоняться друг за другом.

Но чаще я на свои «Гуси!» не получал ответа, и сразу отпирался к себе в свой кабинет, не заходя к ней. Я знал, что она встретит меня обычной, ненавистной фразой: «Николай, нам надо объясниться!», за которой неминуемо последует сцена ревности на всю ночь.



Да, конечно, — продолжает он, — теперь я сознаю, я был во многом виноват. Я очень скоро стал изменять ей. Ведь «Святой Антоний может подтвердить, что плоти я никак не мог смирить». Но я не видел греха в моих изменах. Они, по-моему, прекрасно уживались с моей бессмертной любовью. А она требовала абсолютной верности. От меня. И от себя. Она даже каялась мне, что изменяет мне во сне, каялась со слезами и страшно сердилась, что я смеюсь. Смеюсь, — значит разлюбил. Или, вернее, никогда не любил. Помните, у Блока:

*Если сердце ищет гибели,
Тайно просится на дно...*

Ее сердце всегда искало гибели, тайно просилось на дно. И теперь с Шилейко получило то, чего просило. Да, с ним, действительно, у нее:

*Было горе,
Будет горе,
Горю нет конца.*

С ним она настоящая Анна Горенко — Горе.

— Но ведь, — говорю я, — она кажется уже хочет разводиться с ним? Я слышала...

Выражение его лица сразу меняется.

— Об этом мне ничего неизвестно. А вам советую не слушать вздорные слухи. И не повторять их, — холодно и надменно произносит он.

В тот весенний день 1921 года я пришла к Гумилеву со специальной целью — проститься с его портретом, написанным молодой художницей Шведе, очень талантливой и милой.

Вечером она придет за ним, и это огорчает Гумилева.

— Я к нему привык. Мы с ним тут жили целых три недели и очень подружились. Без него будет пусто и скучно, — жалуется он, глядя на портрет; — удивительно хорошо она меня передала. Будто я смотрю на себя в зеркало. И я разноглазый, как на самом деле. А все другие художники почему-то старались скрыть эту Божью отметину. Она сумела изобразить меня по-настоящему, передать меня всего, будто вывернула меня, как перчатку, наизнанку и показала меня всего — снаружи и внутри. Удивительно талантливо, — восхищается он.

Портрет, действительно, на редкость похож и удачен. Шведе несколько не приукрасила Гумилева и все же придала его косящим

глазам и всем чертам его лица какое-то не поддающееся определению, но явно ощутимое обаяние.

Портрет большой, в натуральную величину. Гумилев сидит на стуле очень прямо, слегка закинув голову назад, и держит в тонкой, поднятой, отлично выписанной, руке маленькую красную книжку, — что по мнению Гумилева придает портрету «нечто апокалиптическое». А за ним, как фон, десятки детских воздушных разноцветных шаров поднимаются в голубое небо.

— Да, жаль, что приходится с ним расстаться, — повторяет он. — Будто с частью самого себя, с лучшей частью.

— А вы попросите ее сделать для вас копию с портрета. Или подарить его вам, — ведь она такая милая, — наверно согласится.

Но он качает головой:

— Нет, не хочу ни подарка, ни копии. Пусть он живет у других. А я помешу фотографию с него в моем полном юбилейном собрании стихов, когда мне стукнет пятьдесят лет.

Он улыбается, он шутит, но по тому, как он нервно закуривает и, затянувшись папиросой только два раза, ожесточенно тушит ее и давит окурки в пепельнице, я вижу, что он раздражен. И даже очень раздражен.

— Что с вами, Николай Степанович? Что случилось?

— Ничего не случилось. Ни-че-го! — отчеканивает он резко.

— Так отчего вы... — начинаю я, но он не дает мне кончить.

— Не суйте, прошу вас, ваш короткий нос в то, что вас не касается! И откуда вы такая наблюдательная, такая кошачьи-чувствительная, а?

Я продолжаю молчать, отвернувшись от него.

— Ну, ну, не сердитесь! Бросьте. Вы правы. Я действительно расстроился, возвращаясь из «Всемирной Литературы» с Лозинским. Он рассказал мне, что его постоянно допытывают студисты, правда ли, что я из зависти мешал Ахматовой печататься, что я не мог удовлетвориться моей ролью принца-консорта и предпочел развестись с ней. Лозинский, конечно, старался их разубедить. Он-то лучше всех знает, насколько я высоко ставил и ставлю Анну Андреевну. Но они не верят, убеждены, что я и сейчас еще завидую ей. Ведь вы тоже слышали?

Еще бы не слышала! И сколько раз... Я киваю смущенно.

— Да. Но я знала, что это неправда. Всегда знала.

— Так я вам и поверил! Наверно и вы, как они все, твердили: Ахматова — мученица, а Гумилев — изверг.



Он встает, с шумом отодвигая стул.

— Господи, какой вздор! Ведь, как вы знаете, хотя мне казалось, что ее стихи ровно ничего не стоят, — я первый стал печатать их. А когда я понял, насколько она талантлива, я даже в ущерб себе самому постоянно выдвигал ее на первое место.

Он, как всегда, когда волнуется, начинает шагать взад и вперед по кабинету.

— Сколько лет прошло, а я и сейчас чувствую обиду и боль. До чего это несправедливо и подло! Да, конечно, были стихи, которые я не хотел, чтобы она печатала, и довольно много. Хотя бы вот:

*Муж хлестал меня узорчатым
Вдвое сложенным ремнем...*

Ведь я, подумайте, из-за этих строк прослыл садистом. Про меня пустили слух, что я, надев фрак (а у меня и фрака тогда еще не было) и цилиндр (цилиндр у меня, правда, был) хлещу узорчатым, вдвое сложенным ремнем, не только свою жену — Ахматову, но и своих молодых поклонниц, предварительно раздев их догола.

Я не выдерживаю и хохочу, представляя себе эту нелепую картину.

Он круто останавливается.

— Смеетесь? А мне, поверьте, совсем не до смеха было. Я старался убедить ее, что таких выдумок нельзя печатать, что это неприлично — дурной вкус и дурной тон. И не следует писать все время о своих вымышленных любовных похождениях и бессердечных любовниках. Ведь читатели все принимают за правду и создают биографию поэта по его стихам. Верят стихам, а не фактам. И верят ей, когда она сознается, что

*Боль я знаю нестерпимую —
Стыд обратного пути.
Страшно, страшно к нелюбимому,
Страшно к тихому войти...*

то есть ко мне, к мужу, нелюбимому, тихому, хлещущему ее узорчатым ремнем. Но я ничего не мог поделать с ее украинским упрямством. Я только старался не заводить споров с ней при свидетелях. А она, напротив, жаловалась на меня многим, что я почему-то придираюсь к ее стихам.

Он проводит рукой по лбу.

— Никто не знает, как мне бывало тяжело и грустно. Ведь, кроме поэзии, между нами почти ничего не было общего. Даже Левушка не сблизил нас. Мы и из-за него ссорились. Вот хотя бы: Левушку — ему было четыре года — кто-то, кажется Мандельштам, научил идиотской фразе: Мой папа поэт, а моя мама истеричка! И Левушка однажды, когда у нас в Царском собрался Цех Поэтов, вошел в гостиную и знонко прокричал: «Мой папа поэт, а моя мама истеричка!» Я рассердился, а Анна Андреевна пришла в восторг и стала его целовать: «Умница Левушка! Ты прав. Твоя мама истеричка». Она потом постоянно спрашивала его: «Скажи, Левушка, кто твоя мама?» — и давала ему конфету, если он отвечал: «Моя мама истеричка».

Она не только в жизни, но и в стихах постоянно жаловалась на жар, бред, одышку, бессонницу и даже на чахотку, хотя отличалась завидным здоровьем и аппетитом, и плавала как рыба, что при слабых легких никак невозможно, и спала как сурок, — пушками не разбудишь.

— Нет, это уже слишком! Нет, этого я не желаю слушать!

Я вскакиваю с дивана.

— Николай Степанович! Разве можно так об Ахматовой! Перестаньте!

Но он, войдя в азарт, машет на меня рукой, заставляя меня замолчать.

— Можно и даже должно! Ведь и с Шилейкой все то же продолжалось. С первых дней...

*От любви твоей загадочной
Как от боли в крик кричу,
Стала желтой и припадочной,
Еле ноги волочу...*

Слава Богу, это уже от его, а не от моей любви. И это уже ему, а не мне она любезно предлагает:

*Но когти, когти неистовой
Мне чахоточную грудь...*

Это в доме Шилейко, а не в моем

*И висит на стенке плеть,
Чтобы песен мне не петь...*



Это уже о нем, а не обо мне:

Мне муж палач, и дом его тюрьма...

Конечно, Шилейко — катастрофа, а не муж. И все таки я не могу не посочувствовать, не пособолезновать ему. Но и я в свое время немало потерпел от высокой чести быть мужем Ахматовой, от ее признаний вроде:

*Любовникам всем своим
Я счастье приносила...*

Мне было не очень-то весело гулять по Петербургу таким ветвисторогим оленем!

— Но ведь этого не было! Это было только в стихах, — почти кричу я. — Ведь вы сами рассказывали, что никакого «замученного совенка» не существовало. Она все это придумала только для своих чудесных стихов.

Он разводит руками.

— Ну, и что из того, что не существовало? Когда вся Россия свято верит, что студент-католик повесился из-за несчастной любви к Ахматовой! Верит, и эту веру ничем не уничтожить. Легенда создана и переживет нас всех. Что написано пером.., а в особенности чудными стихами, — того действительно никаким топором не вырubiшь. И второй легенде, о том, что Ахматова была без памяти влюблена в своего знаменитого современника с коротким звонким именем — Блок, вся Россия тоже верит свято и нерушимо. Сознаться, что и вы не составляете исключения?

Я молчу. Да, я тоже верила. Я считала естественным, что Ахматова любила Блока. Я даже немного разочарована. Неужели правда, что ничего между ними не было?

— Ровно ничего! Они даже были мало знакомы и редко встречались. Блок не бывал ни в «Бродячей Собаке», ни у нас в Царском. К тому же, — что ее, конечно, раздражало, — он совсем не восхищался ее стихами. Он говорил: «Поэт должен стоять перед Богом, а Ахматова всегда стоит перед мужчиной». Она посвятила ему:

*Я пришла к поэту в гости
Ровно в полдень в воскресенье...*

и он отблагодарил ее стихами за ее стихи. На этом все и кончилось, а легенда все же создалась.

И он продолжает уже другим, менторским тоном:

— Запомните, надо быть крайне осторожным с посвящениями. Лучше всего вовсе обходиться без них. Читатели — ищущики, выдумают Бог весть что и пришьют вам легенду, от которой и после смерти не отделаться.

Он садится на диван рядом со мной и снова закуривает. Уже без прежней нервности.

— Но, вот, — продолжает он, сделав паузу, — с чем я никак не мог примириться, что я и сейчас не могу простить ей, — это ее чудовищная молитва:

Отними и ребенка, и друга...

то есть она просит Бога о смерти Левушки для того,

*Чтобы туча над скорбной Россией
Стала облаком в славе лучей...*

Она просит Бога убить нас с Левушкой. Ведь под другом здесь, конечно, подразумеваюсь я. Впрочем, меня она уже похоронила, как только я ушел на войну:

Вестей от него не получишь больше...

Но против извещения о моей смерти я не протестовал. Меня даже забавляла ее уверенность, что «Архистратиг Михаил меня зачислил в рать свою» и что теперь она может молиться мне «заступнику своему».

Но просить о смерти сына, предлагать своего ребенка в кровавую жертву Богу-Молоху, нет, этого никогда нигде, с сотворения мира, не бывало.

— Но, Николай Степанович, — перебиваю я его, — вы ведь всегда утверждаете, что в стихах надо говорить то, что еще никто не говорил.

Я втягиваю голову и жмурюсь, ожидая взрыва его возмущения. Но он вдруг начинает громко смеяться.

— Правильно! Вы меня ловко подцепили!

Он вытирает слезы с глаз.

— Давно я так не хохотал! Да, оригинальнее этой молитвы днем с огнем не сыщешь! Конечно, я с моей точки зрения прав.



Левушка мой сын, моя плоть от плоти. К тому же я суеверен. Но, слава Богу, эта чудовищная молитва, как и большинство молитв, не была услышана. Левушка — тьфу, тьфу, тьфу, чтобы не сглазить! — здоровый и крепкий мальчик.

Он вдруг неожиданно протяжно зевает.

— Довольно, довольно, а то я черт знает до чего договорюсь. Ни слова, ни звука о прошлом. Запрем его на три поворота, а ключ бросим в пучину морскую. Давайте жить сегодняшним днем. И для начала выпьем чаю. У меня от воспоминаний даже горло пересохло. И как я устал! Мне даже трудно двинуться. Будьте милой, скажите Паше, чтобы она нам чай подала, и достаньте из буфета в столовой кулек с изюмом. Бергсон недаром считает, что прошлое пожирает настоящее. Но я предпочитаю все же, чтобы не прошлое, а будущее пожирало настоящее. Ведь будущее всегда полно надежд, — пусть несбыточных, — а в прошлом одни разочарования и огорчения!

Я не успеваю дойти до порога, как он останавливает меня:

— Еще минуточку, чтобы окончательно уже *vider mon sac...* Впрочем, это уже не вчерашний, а сегодняшний день. Представьте себе, Анна Андреевна возмущена, что в «Журнале Дома Искусств» о ее «Подорожнике» появился недостаточно хвалебный отзыв Жоржа Иванова, и что из всех ее стихов, как будто на смех, приведено только:

*Мурка, мурка, не мурлычь,
Бабушка услышит...*

Замятин почтительно объяснил ей, что редакция здесь не при чем — Георгий Иванов сам отвечает за свое мнение своей подписью. Но она, уже совершенно рассердившись, заявила: «Я знаю. Это все колины проделки. Коля уговорил его не только кисло написать обо мне, но еще и привести детский стишок, как будто в «Подорожнике» ничего лучшего нет. Это все Коля, не спорьте! Он виноват. Он все еще мстит мне!»

Гумилев разводит руками:

— А я, видит Бог, здесь совершенно не при чем — ни словом, ни духом. Жоржик чистосердечно привел «Мурку», очень понравившегося ему. Конечно, не следовало поручать ему писать о «Подорожнике». Ведь он, как и Блок, не особенно восхищался стихами Ахматовой. Но я-то в редакции «Журнала Дома Искусств» не состою. При чем тут я? А она твердит: «Это Коля виноват. Он мне мстит». Я желаю ей только добра и с радостью расхвалил бы «Подорожник», если бы

редакция обратилась ко мне, написал бы о нем, как когда-то написал о «Четках» в «Аполлоне». И, Господи! сколько на меня за это собак вешали. Муж, видите ли, не вправе восхвалять свою жену! Но ведь я восхвалял не свою жену, а поэта Анну Ахматову. И всегда готов восхвалять ее. А теперь бегите за чаем!

Он прислоняется к стене и закрывает глаза, а я бегу на кухню к Паше.

За все время своего брака с Шилейко Ахматова ни разу не появлялась ни в Доме Литераторов, ни в Доме Искусства, ни на литературных вечерах.

Но, разведясь с Шилейко, она стала всюду бывать. Конечно, она была и на похоронах Блока:

*Принесли мы Смоленской Заступнице,
Принесли Пресвятой Богородице
На руках во гробе серебряном
Наше солнце, в муках погасшее,
Александра, лебедя чистого...*

Я, должно быть, видела ее в то солнечное августовское утро, но я не запомнила ее, как не запомнила почти никого из провожавших Блока на Смоленское кладбище.

Панихида по Гумилеве в часовне на Невском.

О панихиде нигде не объявляли. И все таки часовня переполнена. Женщин гораздо больше, чем мужчин.

Хорошенькая заплаканная Аня беспомощно всхлипывает, прижимая платок к губам, и не переставая шепчет: «Коля, Коля, Коля, Коля. Ах, Коля!» Ее поддерживают под руки, ее окружают.

Ахматова стоит у стены. Одна. Молча. Но мне кажется, что вдова Гумилева не эта хорошенькая, всхлипывающая, закутанная во вдовий креп девочка, а она — Ахматова.

Еще одно из моих немногих воспоминаний об Ахматовой, о ее первом, после многолетнего перерыва, публичном выступлении в Доме Искусств.

Она стоит на эстраде — высокая, тонкая до хрупкости, легкая, почти воздушная. С ее угловатых плеч спадает знаменитая ложноклассическая шаль — большой черный «кустарный» платок в красные розы. Она очень бледна и даже губы почти бескровны.



Она смотрит вдаль, поверх слушателей. Да, Гумилев был прав, «назвать нельзя ее красивой». К ней не подходит «красивая». Скорее уже «прекрасная», но совсем по-особенному, безнадежно и трагически прекрасная.

И как она читает! Это уже не чтение, а магия:

*Бесшумно ходили по дому,
Не ждали уже ничего,
Меня привели к больному
И я не узнала его.
Казалось, стены сияли
От пола до потолка...*

Это стихи из «Белой Стаи». Я знаю их наизусть. Но сейчас мне кажется, что они написаны уже после расстрела Гумилева.

*И сказала: Господи Боже,
Прими раба Твоего...*

смиренно, молитвенно и торжественно произносит она.

И, не делая паузы, будто не желая дать замершим, потрясенным слушателям придти в себя, уже начинает новое, никому еще неизвестное стихотворение:

*Пока не свалюсь под забором
И ветер меня не добьет,
Мечта о спасении скором
Меня как проклятие жжет.*

*...Войдет он и скажет: «Довольно!
Ты видишь, я тоже простил».
Не будет ни страшно, ни больно,
Ни роз, ни архангельских сил...*

Она смотрит все так же вдаль, поверх слушателей, и кажется, что она читает не для них, а для него, для него одного, для него, который «прежний, веселый, дневной, уверенно в дверь постучится», в ее дверь. Она кончила. Она стоит все в той же позе и все так же смотрит вдаль, будто забыв, что она на эстраде.

Никто не аплодирует, никто не смеет даже вздохнуть. В зале такая напряженная, наэлектризованная тишина, что я боюсь — нет, не выдержу! Я встаю и осторожно на носках пробираюсь к выходу.

В пустой, полуосвященной столовой, в темном углу, прижавшись к стенке, громко плачет одна из молодых участниц «Звучащей Раковины».

Я с ней хорошо знакома, я знаю, что она была влюблена в Гумилева, и он нежно относился к ней.

Мне хочется подойти к ней, обнять ее. Но что я могу сказать ей, чем утешить? И я, делая вид, что не замечаю ее, так же осторожно и бесшумно прохожу мимо.

Я только один единственный раз в моей жизни по-настоящему разговаривала с Анной Ахматовой.

Произошло это неожиданно и случайно, на вечере в «Доме Искусств».

Я в тот вечер выступала в последний раз перед моим отъездом за границу, и мне казалось, что еще никогда мне так много не аплодировали и никогда столько раз не вызывали. Я читала все свои баллады и две длиннейших поэмы, а слушатели все не хотят отпускать меня. И когда я, наконец, окончив чтение, вошла в зрительный зал, меня и тут встретили овацией.

Это был особенно многолюдный и пышный вечер. Или это только казалось мне? В буфете, еще не совсем придя в себя от волнения и радости, я всем улыбаюсь и невпопад отвечаю на вопросы. Леткова-Султанова, та самая, что когда-то соперничала в красоте с матерью Андрея Белого, обнимает меня и, как всегда, восхищенно повторяет: «Совсем наша Зина, ну совсем, совсем наша Зина!» Хотя, как я впоследствии удостоверилась, я ничем кроме, пожалуй, волос, не походила ни внешне, ни внутренне на «ее Зину» — на Зинаиду Гиппиус.

Аня Гумилева, — овдовев, она из Ани Энгельгард, наконец, превратилась в Аню Гумилеву и в Анну Николаевну, — только недавно сбросившая траур и нарядившаяся в розовую «дусю-блузку», как она называет ее, восторженно передает мне лестное мнение, высказанное о ней сегодня ее учительницей пластики:

«Грации никакой! Зато бездна темперамента!» Она вся извивается и высоко взмахивает локтем: — Бездна темперамента! — и так же восторженно продолжает: «Вы непременно должны познакомиться с Артуром Сергеевичем Лурье!» Я не успеваю спросить, почему «непременно должна»? Лурье уже стоит передо мной, и я протягиваю ему руку.



Конечно, я знаю с виду композитора и пианиста Артура Лурье*. Я знаю даже, что он живет на Литейном в одной квартире с Олечкой Судейкиной и с «самой» Анной Ахматовой, и что Артур Лурье не только один из самых элегантных представителей художественного Петербурга, но и создатель и разрушитель женских репутаций. Стоит ему заявить: «Х очаровательна», как все тут же начинают ощущать ее очарование, которого они прежде не замечали, и у Х появляется длинный хвост поклонников. Но стоит Лурье заметить вскользь, мимоходом: «Z не так уж хороша», как вокруг бедной Z образуется зона пустоты и холода.

Он осматривает меня от банта до туфель на высоких каблучках и лениво произносит:

— Я вас слушал. Вы хорошо читаете. Вы должно быть очень музыкальны.

Я привыкла к всевозможным комплиментам и принимаю их как должное. Но тут я все же протестую:

— Нет, я совсем не музыкальна. Даже напротив...

— Неужели? — произносит он полуиронически, не споря и не настаивая.

Аня весело щебечет, уничтожая одно пирожное за другим.

— Ваш муж уже уехал? — спрашивает Лурье.

— Да, Георгий Иванов уже уехал на пароходе в Берлин по командировке. А я еду эшелонном по железной дороге, как латвийская гражданка. Мой отец, эмигрировавший уже зимой, ждет меня в Риге. Мы с Георгием Ивановым жили в квартире Адамовича на Почтамтской. А теперь я перебралась к себе, на Бассейную, чтобы последние дни перед отъездом провести в моей семье.

— Значит, — говорит Лурье, — мы можем вместе вернуться домой. Нам с Анной Андреевной с вами по дороге.

— С Анной Андреевной? Вы хотите сказать — с Ахматовой?

Он кивает:

— Ну, конечно. С Анной Андреевной Ахматовой. Чего вы так всполошились?

— И она согласится?

Он пожимает плечами.

* Лурье, Артур (1892-1966) — российско-американский композитор и музыкальный писатель, теоретик, критик, один из крупнейших деятелей музыкального футуризма и русского музыкального авангарда XX столетия.

— А почему бы ей не согласиться? Мы сначала проводим ее, а потом уж я один доведу вас до вашего «дома по Бассейной 60».

Аня Гумилева шумно приветствует этот проект.

— Как жаль, что я не могу пойти с вами, — вздыхает она. — Я так люблю гулять ночью по Петербургу.

Неужели я действительно сейчас выйду на улицу вместе с Ахматовой и пройду рядом с ней всю длинную дорогу до ее дома?

С Ахматовой я знакома. Месяца два тому назад, на одном из здешних вечеров, Георгий Иванов подвел меня к ней.

— А это, Анна Андреевна, моя жена — Ирина Одоевцева.

Ахматова подала мне руку и чуть-чуть улыбнулась мне.

— Да, я знаю. Вы были ученицей Коли. Поздравляю вас.

Я не поняла, с чем она меня поздравляет — с тем, что я была ученицей Коли, или с тем, что я стала женой Георгия Иванова?

Я протянула ей свой недавно вышедший «Двор Чудес». Для того, чтобы самой отдать его ей, я и решилась познакомиться с ней.

Ахматова открыла его и прочла мою надпись. Я хотела написать «по-настоящему» восторженно. Но Георгий Иванов убедил меня, что надо писать сухо и коротко: «На добрую память» или «С приветом». Все остальное — дурной тон.

Я послушалась — и напрасно. Ахматова, прочтя мою «На добрую память», слегка сдвинула брови, захлопнула «Двор Чудес» и заговорила с Георгием Ивановым, будто забыла обо мне. А я отступила на шаг и скользнула за широкую спину тут же стоявшего Лозинского...

Лурье оглядывается, ища в толпе Ахматову, но ее здесь в столовой нет.

— Она должно быть в гостиной, — говорит он. — Кончайте ваше пирожное и ждите. Не вздумайте уходить без нас.

Этого он мог бы и не говорить. Разве я могу уйти? Я оставляю пирожное недоеденным. Но я все еще не верю. Неужели сейчас действительно...? И Ахматова действительно появляется в дверях, вместе с Лурье.

Она здороваается со мной, как с хорошей знакомой и, по-видимому, совсем не удивлена тем, что Лурье навязал меня ей в спутницы.

Мы втроем спускаемся по лестнице и выходим на улицу. Ахматова посередине, слева Лурье, справа я.



Ахматова спрашивает меня, успела ли я уже привыкнуть к аплодисментам.

— Я их просто боялась вначале, — говорит она. — Я страшно волновалась, читая стихи, и путала их. Для меня долгое время это было просто мукой. Я даже в Цехе не любила читать.

Нет, меня аплодисменты никогда, с самого начала, не пугали, а радовали и приводили в восторг.

Я не могу удержаться, я слишком поспешно выбегаю на вызовы. Я даже стала ставить стул у входа на эстраду. Я садилась на него и старалась досчитать до десяти, прежде чем снова появиться перед слушателями. Я читала, что Байрон в молодости заставлял себя, прежде чем заговорить с дамой, досчитать до десяти. Но мне никогда не удавалось досчитать дальше семи — волна аплодисментов смывала меня со стула и выносила на эстраду.

Мне хочется рассказать об этом Ахматовой, но я не могу связать и двух слов и на все ее вопросы отвечаю односложно «да» или «нет». И она, убедившись в моей молчаливости, обращается уже не ко мне, а к Лурье. А я иду рядом с ней, слушаю их разговор и думаю о том, что с каждым шагом мы приближаемся к Литейному.

О, я дала бы пять, десять лет своей жизни, чтобы так идти с ней и слушать ее всю ночь, до утра.

Но вот уже Литейный. И вот уже конец. Сейчас она скажет мне «Спокойной ночи» и войдет в подъезд своего дома.

Я останусь одна с Лурье, и он, шагая со мной по бесконечной Бассейной, будет удивляться моей растерянности.

Ведь он наверно слышал, что я очень веселая и живая. Даже, по мнению Георгия Адамовича, чересчур живая и веселая для такой «известной женщины». Он всегда советует мне притворяться скупающей и разочарованной. Но я не умею притворяться.

Ахматова неожиданно останавливается и обращается не к Лурье, а ко мне:

— Я тоже хочу проводить вас. Ночь такая чудесная. Жаль расставаться с ней. Идемте!

Она берет меня под руку, просто и дружески. Я чувствую сквозь рукав тепло ее руки. Я вижу совсем близко ее тонкий горбоносый профиль и спускающуюся из-под полей круглой шляпы незавитую челку, до бровей.

В лунном сиянии ее лицо кажется мне нереальным, будто это не ее живое лицо, а моя мечта о нем.

Я иду с ней нога в ногу, боясь от радости, захлестнувшей меня всю, сбиться с шага. Теперь она говорит совсем по-новому, доверчиво и откровенно, о чувстве сохранности, никогда не покидавшем ее даже в самые страшные, самые черные ночи революции.

— Нет, я никогда не боялась. Я возвращалась одна домой по совершенно пустым, глухим улицам. Я знала, что Бог хранит меня, и со мной ничего не может случиться. Других грабят, других убивают, но меня, я верила и знала, это не касается.

У меня сжимается сердце. Ведь и я тоже испытывала чувство сохранности и уверенности, что со мной ничего дурного не может случиться, я тоже ничего не боялась.

И я рассказываю ей о моих ежевечерних одиноких возвращениях домой из «Живого Слова» зимой 19-го года.

Она внимательно слушает. Она кивает.

— Да. Мне кажется, все поэты испытывают это чувство сохранности и присутствия Бога. — Она на минуту замолкает. — И Коля должно быть, тоже... Он вам не говорил?

— Нет. Он мне никогда не говорил. Но он был уверен, что его никто не посмеет тронуть, что он слишком знаменит, и ничего не боялся.

— Ах, это совсем не то! — в голосе ее звучит разочарование. — Если бы он испытывал чувство сохранности и Божьей защиты...

Она обрывает. Неужели ей кажется, что Гумилева, если бы он верил в Божью защиту, не расстреляли...

Мы проходим мимо темного, спящего Дома Литераторов.

— Коля часто, я знаю, бывал здесь. Ведь он жил совсем близко, на Преображенской. — И прибавляет, вздохнув: — Я у него там ни разу не была. Я ходила смотреть на его дом. Уже после...

Я понимаю — после его смерти. Если бы я посмела, я бы объяснила ей, что Гумилев ни в чем не винил ее, что он уже давно мог сказать, как в ее стихотворении, «Довольно! Ты видишь, я тоже простил!», что он любил ее до самой смерти.

Она сейчас — я в этом уверена — поверила бы мне. И перестала бы мучиться. Ведь она мучится — она думает, что он не простил. Если бы я решилась, если бы я посмела... Но я молчу.

И вот уже серая громада «дома по Бассейной 60». И надо прощаться. Луна ярко светит. Я смотрю в лицо Ахматовой и вдруг вспоминаю, что Гумилев иногда, в минуты нежности, называл ее



«маленький зуб» — один из ее верхних зубов неправильно посажен и короче других, и это трогало и умиляло его, по его словам, «почти до слез». Мне хочется увидеть этот маленький зуб. Но хотя она сейчас и улыбается, она лишь слегка приоткрывает губы, не показывая зубов. Она улыбается скорее глазами и бровями, чем ртом.

— Спокойной ночи, — она протягивает мне руку. — Я рада, что пошла вас проводить. Такая прелестная ночь. И Коля ведь постоянно ходил по этой длинной улице. Она вся исхожена его ногами.

Она больше не улыбается. Она говорит почти с осуждением, устало:

— А вы все таки напрасно уезжаете. И Коля наверно не одобрил бы... Так, не забудьте. Зайдите проститься. Я вечером почти всегда дома.

— Спокойной ночи, Анна Андреевна, — я не решаюсь прибавить: «Спасибо!» Ведь это было бы смешно.

Зато Лурье я горячо и бурно благодарю.

— Спасибо, большое спасибо, Артур Сергеевич!

О, конечно, не за проводы, а за счастье этой неожиданной встречи с Ахматовой.

Он, как там, в Доме Искусств, снова окидывает меня взглядом с головы до ног.

«Не стоит благодарности! — и прибавляет полуиронически: — Гулять по ночному Петербургу очень приятно. Спокойной ночи!»

Я вхожу в подъезд своего дома, но вместо того, чтобы подняться по лестнице, снова выбегаю на улицу. Мне хочется еще раз, в последний раз увидеть прекрасное, бледное лицо Ахматовой, мне хочется догнать ее и крикнуть:

— Анна Андреевна, пожалуйста, ради Бога, поцелуйте меня! Поцелуйте меня на прощанье!

Она, конечно, удивится. Но она рассмеется и поцелует меня, и скажет Лурье: «Нет, до чего она забавная!»

Вот они идут вдвоем по пустой, залитой лунным светом Басейной. Идут, отбрасывая на белый тротуар длинные черные тени.

Я уже готова броситься за ними, но вдруг вижу, что их уже не двое, а трое что справа от Ахматовой идет еще кто-то, тонкий и высокий. Кто-то, не отбрасывающий тени.

И я узнаю его.

Конечно, это только кажется мне, но я застываю на месте, не в силах двинуться, и вижу, ясно вижу, как они втроем, а не вдвоем, удаляются в лунном сиянии. И я не смею бежать за ними.

Я долго смотрю им вслед. И вот их совсем не видно. Только прямая пустая улица, залитая лунным светом.

Я снова вхожу в подъезд, медленно поднимаюсь по лестнице и отпираю входную дверь своим ключей.

Как тихо, как темно. Как пусто. Будто я одна во всей квартире. Я осторожно, чтобы никого не разбудить, — ведь все уже спят, — на носках пробираюсь по темному коридору к себе в спальню. Шторы на окне не затянуты. В комнате совсем светло, и луна плавает в «лебедином озере» — в моем круглом туалетном зеркале, на лебедях.

Я смотрю на луну в окне, на луну, отражающуюся в зеркале. Конечно, там на улице мне только показалось... Но я не могу успокоиться. И до чего мне грустно!..

Я раздеваюсь, не зажигаю электричества.

— Все хорошо, — уговариваю себя. — Я просто слишком много волновалась, слишком много пережила. Оттого мне и показалось. Ничего не было. Мне только показалось.

Я кладу голову на мягкую, прохладную подушку, натягиваю простыни до подбородка. Все хорошо, все чудесно! Через три дня я уеду в Берлин, в Париж — в запоздалое свадебное путешествие. А теперь надо спать. И я действительно засыпаю.

Я сплю, но сквозь сон слышу, как где-то в углу или за стеной скребутся мыши. Комната полна шелеста и шороха и шопота, и чей-то тонкий комариный голос звенит над моим ухом: «Бедная, бедная! Она спит, она не знает, что ее ждет!...»

Я открываю глаза. Нет! Я не сплю. Вздор, я ничего не боюсь. И трижды, как заклинание, громко произношу: Я всегда и везде буду счастлива!

Я прислушиваюсь к своему голосу в тишине: Всегда и везде буду счастлива!

Но нет. Я не верю своим словам. Мне вдруг становится страшно. Я прижимаю руки к груди. Зачем я уезжаю? Зачем? Что ждет меня там в чужих краях?..

Мне еще сегодня вечером, когда я стояла на эстраде, казалось, что это только начало длинной восхитительной жизни, полной удач и успехов. А сейчас я чувствую, я знаю, что это не начало, а конец. Слезы текут по моим щекам. Я плачу все сильнее, уже не сдерживаясь, не стараясь убедить себя, что я везде и всегда буду счастлива.

Нет, я чувствую, я знаю, — такой счастливой, как здесь, на берегах Невы, — я уже никогда и нигде не буду...



Анна Гумилева. В 1919 году поэт преподавал во многих литературных студиях, в Институте Истории Искусства, в Институте Живого Слова. Я поступила слушательницей в Институт Истории Искусства на археологический факультет к проф. Струве, но часто заходила слушать Колю. Он читал очень интересно...

Александра Сверчкова. Н. С. совершенно разошелся с Ахматовой и записался с Анной Николаевной, урожденной Энгельгардт. Он надеялся, что молоденькая девушка (кто говорил, что дочка Бальмонта) более мягкого характера, скорее составит счастье его жизни. Но он глубоко ошибся: Ася была мелочна, глупа, жадна и капризна. Во время голода 1920–1921 он прислал ее с дочкой Леночкой в Бежецк и стал высылать миллионы на содержание жены и дочери, но Ася капризничала, требовала разнообразия на столе, а взять было нечего: картофель и молочные продукты, даже мясо с трудом можно было достать. Ася плакала, впадала в истерику, в то время как Леночка, стуча кулачками в дверь, требовала «каки», т. е. картофеля. Своими капризами Ася причиняла Анне Ивановне много неприятностей и даже болезней. Чтобы получить от мужа лишние деньги, она писала ему, будто бы брала у Александры Степановны в долг и теперь по ее «неотступной» просьбе должна ей возвратить. Выяснилось, что все выдумки, и Николай Степанович взял ее обратно в СПб. Там она устроилась играть пажей в каком-то театре и танцевать.

«Знаешь, Шура, — сказала она в 1924 году Александре Степановне, приехавшей туда на курсы, — когда я узнала о трагической смерти Коли, я даже плохо танцевала». После этого Александра Степановна с ней больше не видалась...

Анна Гумилева. В 1919 году Коля женился вторым браком на Анне Николаевне Энгельгардт. После того, как семье Гумилёвых пришлось покинуть свой дом в Царском Селе с его чудной библиотекой, они переехали в Петербург. Художник Маковский предложил Коле временно свою квартиру на Ивановской улице. Мы все соединились, кроме Александры Степановны Сверчковой. Времена стали тяжелые. Анне Ивановне трудно было добывать продукты, стоять в очередях, и Коля просил меня взять на себя хозяйство. Анна Николаевна, — в семье называвшаяся Ася, — была еще слишком молодая. Помню, как однажды Коля, такой бодрый и веселый, пришел к мужу и ко мне в комнату и пригласил нас в Тенишевское училище

на литературное утро. Выступали там — Коля, А. А. Блок, жена Блока — Любовь Дмитриевна и молодые поэты. Зал был переполнен. Любовь Дмитриевна в первый раз публично прочла «Двенадцать». Когда она продекламировала последние слова поэмы: «В белом венчике из роз, впереди — Иисус Христос», — в зале поднялся сильный шум. Одни громко аплодировали, другие шикали, свистели, громко кашляли. Творилось что-то ужасное! Зал еще бушевал, когда мы увидели с мужем, что на эстраду не спеша поднимается наш Коля. Мне было за него как-то не по себе. Мы сильно за него волновались. Коля поднялся на эстраду и стал. Он стоял спокойно, выдержанно. Ждал, пока публика перестанет бушевать. Мало-помалу шум улегся. Коля подождал еще некоторое время. И только когда все успокоилось, он стал читать свои «Персидские газэллы». После него выступил А. Блок. Только на следующий день Коля нам рассказал, что А. Блок отказался сейчас же после поэмы «Двенадцать» выйти на эстраду. Тогда Коля решил его выручить и вышел раньше времени, не по программе...

Лукницкий. В частности — об Анне Николаевне. АА вспоминала разговор с человеком, «которого я бесконечно люблю и мнение которого для меня бесконечно ценно», — о Наталии Гончаровой: «Если бы Пушкин не был Пушкиным, и если разбираться в этом браке, то, может быть, нельзя было бы винить ее. Она просто была другим человеком, чуждым интересам своего мужа... Ее интересовали платья, балы, а мужа — какие-то строфы, какие-то издатели, какие-то непонятные и чуждые ей дела...» Мысль АА я продолжил тут уже в отношении Анны Николаевны. Это просто был человек, совершенно не подходящий Николаю Степановичу. Да и несомненно этому есть достаточно примеров в воспоминаниях разных лиц — Николай Степанович не был безупречным мужем. Она его любила — это бесспорно, а ведь известно, какое количество романов Николая Степановича укладывается в рамки 18–21 годов, и он не скрывал от нее. И известны его презрительные отзывы об Анне Николаевне. Конечно, она была «козлом отпущения». «Физически» ведь на нее сваливалось все тяжелое состояние Николая Степановича последних лет...

А ведь АА избрала, казалось бы, наиболее благоприятное для Николая Степановича положение: она замкнулась и нигде не бывала, ни на литературных собраниях, где могли быть встречи



с Николаем Степановичем, ни у общих знакомых... Казалось бы, Николаю Степановичу это могло быть только приятно, а оказалось наоборот — он ее упрекал в такой замкнутости, в нежелании ничего делать, в отчужденности. В одну из встреч, в последние годы, Николай Степанович сказал такую фразу: «Твой туберкулез — от безделья...»

АА говорит, что, конечно, и она отчасти, какими-нибудь неосторожными фразами, переданными Николаю Степановичу, могла вызывать такое отношение. А больше всего виноваты в этом сплетни. Были люди, которые всячески домогались ссоры между Николаем Степановичем и АА и старались вызвать в них взаимную вражду. АА не хочет называть фамилий. Я, получив от АА фразу, что фамилий она называть не хочет, не стал спрашивать, но некоторые мысли у меня возникли...

АА: «Гумилев заходил, сидел час приблизительно, прочел два или три стихотворения «Шатра». Судя по тому, что он говорил, было видно, что очень стеснен в средствах и с трудом достает продукты.

Весной 1919 года в мае целый ряд встреч. Он приходил, Левушку приводил два раза. Когда семья уехала — приходил один, обедал у нас».

«Отравленную тунику» Николай Степанович принес АА в 1919 году, летом (записываю это в исправление моих прежних записей, если они не такие).

АА: «В 19 году Николай Степанович часто заходил. Раз я вернулась домой и на столе нашла кусочек шоколаду... И сразу поняла, что это Коля оставил мне...»

Анна Гумилева. В 1920 году нам пришлось разъехаться. Муж получил назначение в Петергоф, а Анна Ивановна осталась жить с Левушкой, Колей и Асей, которые переехали на Преображенскую улицу № 5. В это время Ася ожидала прибавления семейства, чему Коля был очень рад и говорил, что его «мечта» иметь девочку, и когда маленькая Леночка родилась на свет Божий, доктор, взяв младенца на руки, передал его Коле со словами: «Вот ваша мечта».

Лукницкий. АА: «Николай Степанович Пунина не любил. Очень. В Доме литераторов, в революционные годы, баллы ставили для ученого пайка. Заседание было. Все предложили Н. Г. — 5, АА — тоже 5. Пунин выступил: «Гумилеву надо — 5 с минусом, если

Ахматовой — 5». Николай Степанович был в Доме литераторов, пришел на заседание и все время до конца просидел. Постановили Н Г. — 5 с минусом, АА — 5».

Я: «Николай Степанович помнил обиды?»

АА: «Помнил...»

АА рассказала о нескольких встречах в последние годы. Так, в январе 1920 года она пришла в Дом искусств получать какие-то деньги (думаю, что для Шилейко). Николай Степанович был на заседании. АА села на диван. В первой комнате. Подошел Б. М. Эйхенбаум*. Стали разговаривать. АА сказала, что «должна признаться в своем позоре — пришла за деньгами». Эйхенбаум ответил: «А я в моем: я пришел читать лекцию, и вы видите — нет ни одного слушателя». Через несколько минут Николай Степанович вышел. АА обратилась к нему на «вы». Это поразило Николая Степановича, и он сказал ей: «Отойдем...» Они отошли, и Николай Степанович стал жаловаться: «Почему ты назвала меня на «вы», да еще при Эйхенбауме! Может быть, ты думаешь, что на лекциях я плохо о тебе говорю? Даю тебе слово, что на лекциях я, если говорю о тебе, то только хорошо». АА добавила: «Видите, как он чутко относился ко мне, если обращение на «вы» так его огорчило. Я была очень тронута тогда».

Анна Гумилева. В 1921 г. последний раз мой муж, Коля и я встретили Новый год вместе. А. И. с Левушкой и Асей уехали в Бежецк, а Коля остался один. В Бежецке легче можно было достать продукты, что для Левушки и Аси было очень важно. Новый год — это уже семейный праздник, и мы трое его хотели встретить вместе. Встретили мы Новый год очень оживленно и уютно. Никто из нас не предполагал, что этот год будет для нас трагическим, что это последний раз, что мы все вместе встречаем Новый год.

Лукницкий. АА помнит такой случай (кстати, он подтверждает и то, что, несмотря на вражду с Блоком, Николай Степанович вел с ним иногда беседы, встречаясь во «Всемирной литературе»).

Весной 1921 г.(в марте) АА пришла во «Всемирную литературу», чтобы получить членский билет Союза поэтов, который нужен

* Эйхенбаум, Борис (1886–1959) — русский литературовед, один из ключевых деятелей «формальной школы», толстовед.



был для представления не то управдому, не то куда-то в другое место. В. А. Сутугина написала билет и пошла за Николаем Степановичем. Вернулась и сказала, что он занят, сейчас придет и просит его подождать. АА села на диван. Ждала 5–10 минут. Подошел Г. Иванов, подписал ей за секретаря. Через некоторое время открывается дверь кабинета А. Н. Тихонова, и АА видит — через комнату — Николая Степановича и Блока, оживленно о чем-то разговаривающих. Они идут вместе, останавливаются, продолжая разговаривать, потом опять идут. Блок расстается с Николаем Степановичем, и Николай Степанович входит в комнату, где его ждет АА, здоровается с ней и просит прощения за то, что заставил ее ждать, объясняя, что его задержал разговор с Блоком. АА отвечает ему: «Ничего... Я привыкла ждать!..» — «Меня?» — «Нет, в очередях». Николай Степанович подписал билет, холодно поцеловал ей руку и отошел в сторону.

Анна Гумилева. Помню, как тогда я по вечерам приходила в кабинет к Коле обсуждать с ним меню на следующий день. Заставала его сидящим в большом глубоком кресле всегда с пером в его «как точеной» руке. Он всегда сосредоточенно обсуждал все со мною, внимательно выслушивая, что я ему говорила. Когда я теперь отдаюсь воспоминаниям о моей совместной жизни с ним, то он представляется мне, каким я его видела в эти последние памятные мне дни. Бодрый, полный жизненных сил, в зените своей славы и личного счастья со своей второй хорошенькой женой, всецело отдавшийся творчеству. Ни тяжелые годы войны, ни еще более тяжелая обстановка того времени не изменили его морального облика. Он был все таким же отзывчивым, охотно делившимся с каждым всем, что он имел. Как часто приходили в дом разные бедняки! Коля никогда не мог никому отказать в помощи...

Лукницкий. Николай Степанович последние годы все хуже относился к АА. Чем хуже становились дела с А. Н., тем хуже к АА — считая ее виновницей...

АА рассказывает, что Н. С. был у нее в последний раз в 21 году, приблизительно за 2 дня до вечера «Петрополиса». АА жила тогда на Сергиевской (ныне ул. Чайковского), во 2-м этаже. АА сидит у окна и вдруг слышит голос: «Аня!» (Когда к АА приходили, всегда звали ее со двора, иначе к ней не попасть было, потому что АА должна была, чтоб открыть дверь, пройти внутренним ходом в 3-й этаж

и пропустить посетителя через квартиру 3-го этажа). АА очень удивилась, она знала, что Шилейко в Царском Селе, а больше кто ее мог так звать? Никто. Взглянула в окно — увидела Н. С. и Г. Иванова. Впустила их к себе. Н. С. (это была первая встреча с АА после приезда Н. С. из Крыма) рассказал АА о встрече в Крыму с матерью и сестрой АА, сообщил о смерти брата — А. А. Горенко, звал на вечер в доме Мурузи. АА отказалась, сказала, что она вообще не хочет выступать, потому что у нее после известия о смерти брата совсем не такое настроение. Что в вечере «Петрополиса» она будет участвовать только потому, что обещала это, а зачем ей идти в дом Мурузи, где люди веселиться будут и где ее никто не ждет... Н. С. был очень сух и холоден с АА... Упрекал ее, что она нигде не хочет выступать... АА обиделась на него, что он с Жорой пришел. Потом АА уже после сообразила, что он, может быть, пришел не один, а с Г. Ивановым, потому что он не знал об отсутствии Шилейко.

АА говорила Н. С. о Гржебине, жаловалась на него. (АА тогда сидела с Гржебиным.) Н. С. ответил про Гржебина: «Он прав». Даже Г. Иванов заступился тогда за АА, сказав: «Он не прав уже потому, что он Гржебин...» О Гржебине говорили уже прощаясь. АА повела Н. С. и Г. Иванова не через 3-й этаж, а к темной (потайной — прежде) винтовой лестнице, по которой можно было прямо из квартиры выйти на улицу. Лестница была совсем темная, и когда Николай Степанович стал спускаться по ней, АА сказала: «По такой лестнице только на казнь ходить...»

Г. Иванов в эту встречу очень льстил АА. АА: «Он вообще очень фальшивый человек, вы знаете...»

Позже АА узнала, что говорил Н. С. в Крыму Инне Эразмовне.

«Маме он так рассказал, там, в Крыму, что я вышла замуж за замечательного ученого и такого же замечательного человека и вообще все чудно»...

АА не отрицает, что была несправедлива иногда в разговоре с Н. С., не была в «примирительном» настроении к нему, огрызалась на него и т. д.

АА вспоминала опять приход Н. С. с Г. Ивановым к ней перед вечером «Петрополиса». Подробности этого у меня уже записаны раньше. АА добавила только, что она была очень тогда расстроена смертью брата и что она совершенно не понимает, как мог Н. С. усиленно звать ее пойти с ним в дом Мурузи — в веселое место и обижаться, что она отказалась. Должен же он был понять, что, получив



такую печальную весть, веселиться не ходят. АА добавляет: что, конечно, разговор велся бы в иной форме, если б не присутствовал Г. Иванов. Присутствие Г. Иванова и очень стесняло разговор, и очень раздражало АА.

А на вечер «Петрополиса» 11 июля АА пришла, но Н. С. ушел оттуда до ее прихода. Она помнит, что к ней подошла группа девочек — учениц Гумилева (кто именно, АА не помнит — может быть, среди них были и Наппельбаумы). Девочки сказали ей, что Гумилев обещал их познакомить с ней сегодня, но вот его нет, и поэтому они решили сами познакомиться.



Ида Наппельбаум*

Шестьдесят лет мы молчали о нем. Шестьдесят лет «не помнили». Ну что ж, тогда и тем, кто помнил, следовало молчать. Но сейчас, когда робко, будто исподтишка, по капле начинает просачиваться имя поэта, одного из тех, кто нерушимо вписан в здание русской культуры, когда журналы уделяют то несколько строк, то несколько страниц воспоминаниям о нем, но волею авторов портрет его обрисовывается неверным, искаженным, тенденциозным — вот сейчас уже надо вмешаться, рассказать, напомнить.

Пусть не для широкой огласки, не для срочной публикации, но это должно быть написано. А написанное не исчезает. Оно живет само по себе...

Когда свершилась Октябрьская революция, то в нашем юношеском сознании она была создана для нас. Все для нас, весь мир, все дороги, вся свобода — все для нас. К 20-му году мы уже кончили трудовую советскую школу и, счастливые, пошли туда, куда нам хотелось. Стоило лишь подать заявление: Фредерика — в Университет на филологический; а я в Институт Истории Искусств. Тогда там было лишь одно изобразительное отделение. Я училась у художника Николая Эрнестовича Радлова, на отделении новейшего искусства.

Сейчас уже не помню, как мы с сестрой узнали о Доме Искусств, о поэтической студии при нем. Сам Дом Искусств многократно описан маститыми писателями, начиная с Ольги Форш, Слонимского, Федина — кончая Всеволодом Рождественским.

Для меня этот дом на Мойке — стал любимейшим местом души моей. Сами стены этого Елисейевского особняка, внутренняя узкая скрипучая из тесного дерева лестница, белый зал — все запущенное, холодное, неживое и в то же время населенное пульсирующей новой жизнью; сами запахи этого здания — волновали, звали, манили к себе. Я не могла дожидаться вечера, когда нужно будет идти на занятия в Поэтическую студию.

Поэтической студией при Доме Искусств руководил Николай Степанович Гумилев. Из всех аксессуаров этого особняка я заприметила и запомнила один. В одной из гостиных на узком круглом постаменте стоял мраморный бюст — прекрасное лицо юной женщины.

* Наппельбаум Ида (1900–1992) — поэтесса, фотограф, старшая дочь художника-фотографа М. С. Наппельбаума.



Оно сквозило сквозь накинутую на него вуаль. Мраморную вуаль. Не знаю, что изображал художник, создавая эту головку — для меня в ней был образ музы поэзии. Вечно таинственной, непонятной, таящейся и прекрасной. Я полюбила и запомнила ее навсегда. Через много лет я пришла по делу в это здание (там теперь был Дом Политпросвещения). Я пришла туда по делу и в одной из комнат — канцелярии увидела эту прекрасную знакомку. Она как и прежде стояла на своем постаменте среди суеты и треска пишущих машин, никчемная сейчас, как бы заблудшая случайно в иной мир.

...Мы занимались в узкой, длинной, ничем не примечательной комнате. За узким длинным столом. Николай Степанович сидел во главе стола, спиной к двери. Студийцы располагались вокруг стола. Как-то получилось, что места наши закрепились за нами сами по себе. Я сидела от мэтра первую. Внешность поэта ничем не привлекала к себе внимания. Напротив, она могла и оттолкнуть. Очень удлиненное лицо, с мясистым, длинным носом, бритая голова, раскосые, водянисто-светлые глаза. Но руки... Великолепные узкие руки с длинными тонкими пальцами. Я много наблюдала их игру. Садясь к столу, Николай Степанович клал перед собой особый, похожий по форме на большой очешник, портсигар из черепахи. Он широко раскрывал его, как-то особо играя кончиками пальцев, доставал папиросу, захлопывал довольно пузатый портсигар и отбивал папиросу о его крышку. И далее, весь вечер, занимаясь, цитируя стихи, он отбивал ритм ногтями по портсигару. У меня было ощущение, что этот портсигар участвует в наших поэтических занятиях. И я счастлива, что он сохранился у меня.

Мы читали стихи по кругу. Разбирали каждое, критиковали, судили. Николай Степанович был требователен и крут. Он говорил: если поэт, читая свои новые стихи, забыл какую-то строку, значит она плоха, ищите другую.

Гумилев мечтал сделать поэзию точной наукой. Своеобразной математикой. Ничего потустороннего, недоговоренного, никакой мистики, никакой зауми. Есть материал — слова — найди для них лучшую форму и вложи их в эту форму и отлей форму, как стальную. Только единственной формой можно выразить мысль, заданную поэтом. Беспощадно бороться за эту исключительную точность формы, ломать, отбрасывать, менять... Он говорил: часто бывает — начинаешь стихотворение какой-то строфой, отталкиваешься от нее, как от трамплина. Дальше пишешь стихи. Кончил.

И вдруг, оказывается, та, первая, что к тебе пришла строфа, здесь не нужна. И отсекаешь ее. Очень часто первая строфа погибает.

Интересно, что Николай Степанович, придавая огромное значение точно найденной для данного стихотворения форме, в то же время элементам ее не придавал такого значения. Так, например, он мечтал о создании словаря рифм. Никакое рифмотворчество, поиск новых рифмовок не находили у него симпатии. (До чего же чужд ему был Маяковский и его новаторство!). Бери в словаре нужную тебе рифму, выбирай соответственную твоей задаче и вкладывай в строки свою мысль. Теперь я думаю, это не было у Гумилева продумано до конца, и скорее являлось некоей бравадой, эпатажем по отношению к новаторству молодых поэтов Москвы.

Вторая часть наших студийных занятий проходила во всевозможных литературных играх. Там мы часто играли в буриме. Были заданы рифмы, и каждый из студийцев сочинял строку по кругу, и должно было создаться цельное, смысловое стихотворение. Николай Степанович сам принимал активное участие в этих работах. Наши поэтические игры продолжались и после конца официального часа занятий. Мы рассаживались на ковре уже в гостиной; примыкали к нам и уже «взрослые» поэты из «Цеха поэтов»: Мандельштам, Оцуп, Адамович, Георгий Иванов, Одоевцева, Всеволод Рождественский — и разговор велся стихами. Тут были и шутки, и шарады, и лирика и даже настоящее объяснение в любви, чем опытный мастер приводил в смущение своих молодых учениц.

Я уже вспоминала непривлекательную внешность Гума (так его называли). К этому следует добавить, что и одежда его была более чем скромна. Костюм лоснился, брюки на коленях вздуты, но и в этом обличии он был величественен, как бонза. Именно таким его изобразила художница Н. К. Шведе-Радлова. Поэт был изображен на фоне ослепительного пейзажа, написанного в манере Рериха; иссинегустое небо, множество горных пик коричнево-желтых, на их фоне бронзовое лицо с надменной улыбкой, с прищуром раскосых глаз. Непонятно, на чем он сидит, опираясь на голый округ холма согнутым локтем, в его прекрасной руке ярко-красная маленькая книга, которая, раскрытая, дрожит в воздухе на уровне лица поэта. Портрет был интересной формы, большой, квадратный, писан маслом. К великому сожалению мне не удалось его сохранить.

Трудные, еще не устроенные, полуголодные для всех нас одинаково — 20-е годы! Но это не мешало нам всем быть счастливыми.



Новые люди, новые отношения, стихи, стихи свои и чужие, вечера в предоставленном новым правительством для искусства — Доме. А поздние прогулки по пустынной набережной реки Мойки! Здесь каждый камень, каждая плита под ногами, узор парашюта, осенняя зелень деревьев, свисающих над водой — все напоминало здесь Достоевского, Гоголя, Добужинского, Остроумову-Лебедеву! И рядом с тобой настоящий поэт и его чеканные стихи, которые он щедро дарит тебе в этот незабываемый вечер.

Желание Гумилева быть единственным, быть первым, главным в каждом обществе, вероятно, мешало ему близко сойтись с людьми, даже как-то обедняло его, много лишало в жизни, но он не мог уже сойти с избранного себе поста. Думаю в этом же лежало его разобщение с Блоком. Он прекрасно чувствовал власть блоковской поэзии, но не мог, не хотел подчиниться ей! И вот блоковский вечер в белом зале. Переполнено. А Николай Степанович сидит в соседней комнате и с ним его друзья по Цеху, ученики. Он не идет в зал. И они не идут. Цеховая солидарность. Но мы с сестрой уходим в зал, в маленький зал, где Блок так близко стоит против нас. И он читает, и его глаза будто смотрят в нутро каждого из нас. И мы плачем от счастья.

...Чей-то концерт в белом зале. Так давно я не слышала звуков рояля! Николай Степанович сидит в боковой комнате. Подхожу, спрашиваю: «Почему вы не идете? Концерт уже начинается!» Смотрит прямо в лицо: «Не пойду. Что такое музыка? Большой шум!» Опять эпатаж!

...Среди молодых поэтов нашей студии Николай Степанович выделял двоих — Константина Вагинова и мою сестру, Фредерику Наппельбаум. У них уже к тому времени было свое лицо, свой угол зрения, своя поэтика. И мэтр это сразу обнаружил и признал. О месте Фредерики Наппельбаум среди участников поэтической студии можно судить хотя бы по сохранившейся дарственной надписи Константина Вагинова на его книге «Путешествие в Хаос». Он написал ей: «Фредерике — Музе «Звучащей Раковины»».

Приведу одно из ее стихотворений того, совсем юного периода:

*Листами пальцы прорастут,
И ноги в глине затвердеют,
Не оттого, что на лету
Меня коснется пламеня*

Серебролицый Кифаред,
 Метатель огненного диска —
 В простой стране, где бледен свет,
 Придет ко мне земной и близкий,
 И без мифических чудес
 Пройдя свой путь недолговечный,
 В тени божественных небес
 Землю ляжем человеческой.
 И тело наше зацветет
 Такими слабыми цветами,
 И вновь пустынен будет свод
 Над погребенными глазами.

И Вагинов, и сестра были совсем иного поэтического плана писатели, нежели Гумилев. Но здесь проявилась его литературная широта. Он никак не довлел на своих учеников. Его нельзя упрекнуть в невилировке. Это неверно, что он влиял на работу своей Студии. Он поразительно умел беречь индивидуальность каждого. От Вагинова до Александры Федоровой. Она, вообще, до тех пор не писала стихов. Она была нашей с сестрой подружкой по классу и мы привели ее с собой в студию послушать, а она стала постоянной посетительницей наших занятий. Мэтр говорил о ней — «Федорова идеальный читатель» (т. е. тот читатель, кто прошел всю грамоту поэтического творчества). И верно, позже Александра Ивановна, став женою Константина Вагинова*, сделалась его незаменимым советчиком, редактором его стихов.

...Летом 1921 года Николай Степанович, сияющий, принес нам свою новую книжку стихов. Маленькая, серенькая невзрачная книжка. «А подписывать буду на следующем занятии», — сказал он. В следующий раз я пришла в студию из Института Истории Искусств, а Фредерика — из Университета. Она, как и все остальные, принесла книжку. А я нет. Забыла взять ее из дому. Помню, как екнуло у меня сердце от огорчения. «Ну что вы! — сказал Николай Степанович, стоя со мной после занятий у парапета реки, — ведь я приду к вам послезавтра на день рождения и там надпишу. И это будет мой вам подарок». Но... 13 июня 1921 года (по старому стилю) Николай Степанович не пришел на мой день рождения. Мы все собрались за огромным овальным столом у нас в столовой в большой

* Вагинов, Константин (1899–1934) — русский прозаик и поэт.



квартире на мансарде Невского проспекта. К такому дню было раздобыто угощение — чай с сахаром, бутерброды и вино. Долго ждали Николая Степановича. Огорчались. Так он и не пришел, и «Шатер» остался у меня без его дарственной надписи. Долго зато хранилась у меня его надпись на групповом снимке нашей студии с мэтром. Каждый оставил на паспарту свою запись. А Николай Степанович

*О, зачем драгоценные плечи твои
Как жемчуг чисты и как небо покаты?*

(Будто сейчас слышу как произносит он эти строки, перекаывая два О: «как небо покаты», образуя округ небосклона. Долго хранилась эта надпись и все-таки пропала.) И больше никогда мы не видели Николая Степановича...

Перечитав свои воспоминания о занятиях в студии, увидела, что ничего не написала о том, как относился мэтр к моим стихам. Я бы сказала — очень серьезно, требовательно, без скидок.

Помнится один разговор. Я принесла новое стихотворение. Хотя позже я именно им открыла свою книжку стихов «Мой дом» 7, все же запишу его здесь:

*Помню детство свое без иконы,
Без молитвы и праздничных дней,
Вечера были так благовонны
Без субботних пахучих свечей.
Никогда не была в синагоге,
И в мечеть не ходила босой,
Только жутко мечтала о Боге,
Утомившись тоскою ночной.
И теперь у меня нет святыни,
Не вхожу я на паперть церквей,
И веселый приход твой отныне
Стал единственной Пасхой моей.*

Эти двенадцать строк очень взволновали Николая Степановича. Он говорил: «Смотрите, ведь как будто обычная женская любовная тема, а как неожиданно решена. Ахматовская тема, но Ахматова никогда так не написала бы. Здесь все по-другому. Очень

индивидуально, по-своему». Эти слова были большой похвалой. И запомнились навсегда.

* * *

Я бывала в большой, полутемной холодной комнате в Доме Искусств, где поселился Николай Степанович. Большею частью он сидел в своей длинной, но уже потрепанной дохе. А вот на занятия Студии, несмотря на холод в здании, он всегда появлялся в костюме, в сорочке с жестким воротничком и маленькими отворотами.

К тому времени уже приехала (кажется, из Бежецка) его вторая жена Анна Николаевна Энгельгардт. Молоденькая, тоненькая, с узким личиком, хихикающая красотка. Птичка. Очень беспомощная, ребячливая. Где была их маленькая дочь — Лена — не помню. Возможно, у родителей Анны Николаевны.

Николай Степанович был небрежным мужем. Он не очень-то стремился, чтоб его семья находилась поблизости. Помню, в этот период писателям выдали ордера на получение со склада чего-нибудь из одежды. И большим событием оказалось, что Николай Степанович взял на складе шерстяной материал на платье для жены. Об этом говорилось, как о большом, непривычно-широком его жесте.

Когда Николая Степановича не стало среди нас, мы все, как могли, заботились об его жене. Она часто стала приходить ко мне домой. Однажды она сказала: «Знаете, Николаю Степановичу разрешили принести передачу. Но я не могу пойти. Это может плохо отразиться на мне. А вот вы, это другое дело, вам можно носить ему передачу!..»

* * *

К осени 1921 года литературные собрания студии стали проводиться в другом помещении — на Литейном проспекте, в доме Мурузи. «Мурузи» в старые времена была богатейшая табачная фирма. Одна из квартир в доме, выстроенном в восточном стиле, была предоставлена Союзу поэтов. Здесь однажды во время очередного литературного чтения я отозвала в сторону Николая Оцупа, члена «Цеха поэтов». Там на галерее среди пестрых, витых колонн я тихонько, но совершенно спокойно сказала ему, что сегодня не приняли передачу для Николая Степановича и велели



больше не носить. «Вероятно, его куда-то перевели», — сказала я, ничего не подозревая. Но лицо Оцуа, только что безмятежно-легкомысленное, внезапно отчаянно побелело. Я смотрела на его вдруг изменившееся лицо удивленно.

—Вы не понимаете ничего! — воскликнул он. — Сегодня ночью целая группа людей расстреляна... Это известно в редакции-газеты.

...Прошло некоторое время. На улице, на углу Невского и Литейного я увидела лист с напечатанным большим списком фамилий. Сейчас не помню, была ли это просто газета или специальное объявление. В числе названных имен — участников политического заговора, приговоренных к расстрелу, я увидела фамилию нашего мэтра.

*Ты правишь надменно, сурово и прямо,
Твой вздох — это буря, твой голос — гроза.
Пусть запахом меда пропахнет та яма,
В которой зарыты косые глаза.
Пусть мертвые пальцы на ангельской лире
Как прежде врезают свой пламенный след,
И пусть в твоём царственном, сказочном мире
Он будет небесный, придворный поэт.*

* * *

Есть версия, что Максим Горький получил у Ленина указание об освобождении Гумилева, как невиновного в этом деле. Горький сам вез документ из Москвы поездом. Но опоздал...



Ольга Ваксель*

Иногда я писала стихи, довольно много рисовала, но больше всего лежала на солнце в шезлонге с книгой.

Вернувшись в Петроград, я решила поступать на вечерние курсы Института Живого Слова. Там было несколько отделений, но, так как меня интересовало не слово, а система Дельсарта, я поступила на ораторское отделение как наименее обязывающее. Но все же обязательными для всех были этика, эстетика, введение в философию, политграммота, постановка голоса, анатомия, история искусств и многое другое. В Институте был кружок поэтов, руководимый Гумилевым, в который я немедленно вступила. Он назывался «Лаборэмус». А вскоре в кружке произошел раскол, и другая половина стала называться «Метакса», мы их называли «мы, таксы».

В кружке происходили вечера «коллективного творчества», на которых все упражнялись в преодолении всевозможных тем, подборе рифм и развитии вкуса. Все это было очень мило, но сепаратные занятия с Н. Гумилевым, который был моим троюродным братом, нравились мне гораздо больше, потому что они происходили чаще всего в его квартире африканского охотника, фантазера и библиографа. Он жил один в нескольких комнатах, из которых только одна имела жилой вид. Всюду царил страшный беспорядок, кухня была полна грязной посуды, к нему только раз в неделю приходила старуха убирать. Не переставая разговаривать и хвататься за книги, чтобы прочесть ту или иную выдержку, мы жарили в печке баранину и пекли яблоки. Потом с большим удовольствием мы все это глотали. Гумилев имел большое влияние на мое творчество. Он смеялся над моими робкими стихами и хвалил как раз те, которые я никому не смела показывать. Он говорил, что поэзия требует жертв, что поэтом может называться только тот, кто воплощает в жизнь свои мечты. Они с А. Ф. терпеть не могли друг друга и, когда встречались у нас, говорили друг другу колкости. Я не знала, как их примирить, потому что каждый из них мне был по-своему интересен. С началом занятий в школе моя жизнь пошла еще более интенсивно. Теперь после школы и службы я отправлялась в Институт Живого Слова, где проводила от семи до одиннадцати каждый вечер и возвращалась пешком с Александрийской площади на Таврическую, потому что трамваев не было... Конечно, моя служба и занятия в Институте отпали сами собой с моим замужеством; единственной полезной работой, которую я производила, была проверка студенческих работ по математике и механике...

* Ваксель, Ольга (1903–1932) — поэтесса. Покончила с собой.



Нина Серпинская*

В 1920 году за длинным столом рядом с возглавлявшим его Иваном Сергеевичем Рукавишниковым появились две новые фигуры, сразу бросившиеся в глаза высокомерным, подтянутым, не московским обликом. Один — высокий, гладко опроборенный шатен, другой — низенький брюнет. Оба в ослепительных крахмальных стоячих воротничках и чинных галстуках, резко выделявшихся на фоне темных, мягких, небрежных рубашек москвичей. Повинуясь восьми градусам температуры, гости, как и мы все, не скинули, а только расстегнули верхнюю одежду. Оленья доха высокого шатена, окаймленная широким ручным эскимосским орнаментом, казалась музейным экспонатом рядом с деревенскими тулупами и обтрепанными шубами большинства. — Кузмин и Гумилев приехали в Москву на несколько дней, останутся у нас, — объяснил мне Рукавишников, по обычному гостеприимству озабоченный тем, чтобы гости получили те удобства, которыми сам он не пользовался. Лицо и фигура Кузмина являли полнейшую оцепенелость мумии. Когда-то вылепила природа блестящие черные, густые, южные волосы, умный, высокий лоб, черные, матовые, под тяжелыми веками, глаза, яркий рот, — и все это, как охлажденная лава, давно застыло. Каждое движение давалось ему с трудом, нельзя было представить его ни на спортивном, ни на бранном поле. Отсутствующий, равнодушный, скучающий без искусственного оживления вином, он вяло ковырял вилкой в тарелке, не выказывая никакого желания разговаривать. Гумилев, напротив, весь в порыве, как готовая полететь во врага или в небо серебряная стрела. С головы до ног *rig sang* (безукоризненный (фр.).-И.Т.) чистокровный военный, «мужчиназавоеватель», стремительный, напряженный, активный. Зорким глазом охотника вглядывался он в окружающих и подошел ко мне. Перед знаменитыми людьми искусства я теряла шелуху наносной стилизованной кокетливости, робела и терялась: так было с Брюсовым, Северяниным, впоследствии — с Блоком. Стихи Гумилева нравились мне меньше, чем покорившие, поглотившие всех лирических поэтесс интимные строки его бывшей жены Анны Андреевны Ахматовой. Но его жизнь, его личность всегда меня занимали своими ненасытными поисками необычайных приключений, своим абсолютным бесстрашием перед смертельной опасностью.

* Серпинская, Нина (1893–1955) — поэтесса.

— Я сразу вас отметил. Вы сохранили еще черты настоящей женственности. Теперь женщины или какие-то обесполенные, окоженные, грозные амазонки, или размалеванные до неприличия девки, как эта ваша циркачка, такую раньше в хороший кафешантан не пустили бы! — сказал он, выйдя со мной из подвала столовой на воздух. На мне были надеты бобриковые зеленые ва ленки, потертая котиковая кофта, суконная шляпа капор... Что он разумел под женственностью? Вот этот злополучный, мучающий меня беспомощно бессильный вид?! — Я помогу вам идти — вы упадете одна! — он протянул твердую руку. Чтоб его видеть, надо было вскидывать голову, настолько он казался выше меня, выше всех...

В моей комнате он снял доху, рассказал, что зимой 1918 года в Лондоне получил ее в подарок от английского лорда, вывезшего несколько выделанных, искусно украшенных оленьих шкур из экспедиции на Крайний Север. — Орнамент даже в Лондоне производил фурор. Равнодушные, блазированные джентльмены и леди останавливались! Я не решилась спросить, почему в 1918 году он, георгиевский кавалер и русский поэт, оказался за границей, в Лондоне. Но он не нуждался в вопросах, чтоб говорить. Оживляясь, заряжаясь все более сверкающими молниями мыслей, он взлетел над землей, будто на высокую колокольню. Это был звон ударяемых колоколов, трубные звуки забытых архангеловвоинов, лязг щитов и мечей средневековых рыцарей. О, такому, конечно, не нужна сильная женщина современности! Такому — привязать обессиленную, пассивную добычу к седлу. Привезти захваченную нежную даму в замок, посадить за решетчатое окно вышивать шарф и петь изящные песенки под аккомпанемент лютни и арфы... Понятно стало, почему слишком беспокойна и богемна оказалась для него поэтесса Анна Ахматова...

Брезжил рассвет, когда он замолк и корректно ушел. Голова моя раскалывалась, мир разваливался, нельзя было дальше жить, не победив в себе древнего хаоса, разбуженного во мне... — Позер, — размахивал театральным оружием, бряцал доспехами красноречья, как средством обольщения!.. — старалась я дискредитировать его сама перед собой, пролежав несколько дней на кровати пластом, скрывшись ото всех. Больше я Гумилева никогда не увидела. Осенью 1921 года узнала, что он был до предела искренен и по-своему последователен. Не актерство, а пророческое предвидение своей трагической судьбы, фатализм, не удержавший его от рокового заблуждения, полыхали пожаром вырвавшейся откровенности в ту кошмарную ночь, переполненную бредовым разговором...



Вера Лурье*

I

В 1920 году после окончания гимназии я посетила всего один раз Педагогический институт, где мне совсем не понравилось. Неточка, дочь подруги моей матери, которая была на несколько лет старше меня, рассказала мне о недавно открытом Доме искусств на углу Невского проспекта и Мойки. Его основал Максим Горький.

Дом искусств располагался в бывшем княжеском дворце. Коммунисты этого князя выгнали, и тогда там поселились деятели культуры. В этом доме организовывались различные семинары по поэтическому искусству и писательскому мастерству, по театральному искусству и многому другому. Кроме того, устраивались камерные концерты, танцевальные вечера и литературные чтения. Там был буфет с бутербродами и пирожными, парикмахер и маникюрша, неслыханная роскошь по тем временам. Кроме того, в нём находились апартаменты для известных деятелей литературы и искусства. Там жили писательница Мариэтта Шагинян и поэт Михаил Лозинский, а также Николай Гумилёв. В то время он был уже разведён с Анной Ахматовой. Она была, конечно, самой известной русской поэтессой, и каждая русская девушка мечтала быть похожей на неё. Она была для нас идеалом, олицетворением современной, свободной и независимой женщины. Гумилёв был в то время женат на очень молодой и немного скучной актрисе Анне Энгельгардт. Она была падчерицей поэта Константина Бальмонта.

Однажды в Доме искусств, который находился недалеко от нашего дома, состоялся вечер с танцами. Гумилёв стоял в углу зала и разговаривал с поэтом Осипом Мандельштамом. Мандельштам был небольшого роста и напоминал мне своей вверх закинутой головой сердитого петуха. Вместе с Гумилёвым, Ахматовой и Георгием Ивановым он был одним из основателей акмеизма. Это было литературное течение, которое развивалось вслед за символизмом и представляло собой определённую противоположность ему. Название происходит от греческого слова «акме» и означает «цветущая сила».

Мандельштам, как и многие другие писатели, погиб впоследствии в одном из советских лагерей.

* Лурье, Вера (1901–1998) — русская поэтесса.

Гумилёв произвёл на меня впечатление очень спокойного человека. Он был, собственно говоря, некрасив, у него была овальной формы голова, худое лицо и серые глаза. Но он обладал большим обаянием и был Личностью. Не будучи с ним знакома, я подошла к нему из озорства и спросила: «Николай Степанович, не хотите потанцевать?» Игнали как раз вальс, и он ответил: «Я не танцую, но такой юной даме я не могу отказать. Мы пошли в круг танцующих и двигались скорее шагом, нежели действительно танцевали. Гумилёв в самом деле не умел танцевать.

«Я не претендую ни на что, только на дружбу с Вами!» — сказал он смеясь.

В Доме искусств я участвовала в двух семинарах. Одним руководил Николай Евреинов*, который написал целый ряд интересных пьес, среди них — «Самое главное». Она была переведена на многие языки и поставлена во многих театрах за границей. В этой пьесе рассказывалось о некоем учреждении по улучшению жизни несчастливых людей. Одной некрасивой и одинокой девушке представляют красивого мужчину, который ухаживает за ней и создаёт иллюзию счастья. Разумеется, он оказывается мошенником и обманывает девушку, жизнь которой становится ещё более несчастливой.

Евреинов был сторонником теории, что человеческая жизнь это театральное представление, а Бог — постановщик. Он делал доклады о драматургии и на другие театральные темы. Я была влюблена в него и посвятила ему стихотворение, которое начиналось словами: «Кто Вы такой, Христос и арлекин?» и где есть строки: «А вы пророк, кокаинист усталый».

Евреинов был очень близорук и по улицам должен был ходить с палкой. Я помню, что он спотыкался. Часто его сопровождала Нора Захер, одна из его почитательниц. Позднее он женился на актрисе Анне Кашиной.

Второй семинар, в котором я участвовала, вёл Николай Гумилёв. Тема семинара — «Поэтическое искусство». Гумилёв придерживался мнения, что из любого человека можно сделать поэта. Сейчас я не согласна с этим его утверждением, потому что считаю, что определённые способности необходимы. На этот талант можно, конечно,

* Евреинов, Николай (1879–1953) — русский и французский режиссёр, драматург, теоретик и преобразователь театра, историк театрального искусства, философ и лицедей, музыкант, художник и психолог.



благотворно влиять. Участники семинара писали стихи, которые они читали, остальные их обсуждали, а в конце высказывался Гумилёв. У Гумилёва я училась писать стихи, но мои стихи не имели, разумеется, того поэтического уровня, как поэзия моего учителя.

В течение десятилетий произведения Гумилёва были запрещены в Советском Союзе, поскольку он был открытым противником советского режима. Он был монархистом. Однажды он, заканчивая своё выступление, обратился к публике: «Господа!». Тогда выскочил большевик и закричал: «Нет больше никаких господ, а есть только товарищи!». Гумилёв посмотрел на него с презрением и ответил: «О таком декрете мне ничего неизвестно».

Это было прекрасное время. Из глубины моей памяти встают перед глазами живые картины, как мы в холодную русскую зиму сидели за длинным столом, открывалась дверь, и входил Гумилёв. Он носил всегда шубу и меховую шапку. Медленно снимал он шубу и шапку и садился во главе стола. Потом вынимал украшенный черепаховым панцирем портсигар, доставал сигарету, зажигал её, и занятие начиналось.

Воспоминания возвращают меня далеко назад. Прошло почти 60 лет с тех пор, как я начала в Петрограде свою литературную деятельность.

С наступлением весны некоторые участники семинара ходили на прогулки с Гумилёвым. Мы бродили по запущенным улицам, где между тротуарными плитами росла трава. Опустошение после революции имело своё болезненное очарование. Кроме того, во всём этом чувствовалось что-то вольное. Особенно ярко осталась в моей памяти улица вдоль Невы — Набережная. В Петрограде и позднее в Берлине я написала несколько стихотворений о Набережной.

Аня Энгельгардт, вторая жена Гумилёва, не была в Петрограде, когда я с ним познакомилась. У Гумилёва было много подруг, которых он любил и которые любили его. И я тоже, конечно, была очень влюблена в Гумилёва, и моё увлечение Евреиновым было забыто. Однажды Гумилёв сказал мне, что участник петроградской поэтической богемы Николай Оцуп хочет устроить в своей квартире небольшой праздник, но, «разумеется, — как он подчеркнул, — только для взрослых. Что касается такой примерной девушки, как Вы, то об этом и речи быть не может». Это обидело и одновременно раззадорило меня, ведь мне было 20 лет, и я решила пойти туда. В то время была в полном разгаре Гражданская война, красные сражались против белых, и вечером после 20 часов не разрешалось выходить

из дома. Таким образом, домой возвращаться можно было только утром на следующий день, чтобы не быть арестованной на улице.

Когда я вошла в квартиру Оцупа, там уже сидели Гумилёв, поэт Георгий Иванов, морской офицер Колбасьев, который писал рассказы, фотограф Моисей Наппельбаум и его дочери Ида и Фрида. Впоследствии Наппельбаум стал знаменитым советским фотографом. Многие позднейшие портреты Ленина были сделаны им. Говорили, что он стал прекрасным ретушёром Кремля, и, когда было необходимо, удалял с фотографий Троцкого или других противников Сталина. Кроме того, здесь был, конечно, сам Николай Оцуп. В квартире не было света, и мы ходили из комнаты в комнату с керосиновой лампой. Пили что-то ужасное, сделанное из денатурата.

Придя на следующее утро домой, я написала стихотворение, в котором есть строка: «Милые, милые, милые, / Ночь оторвала меня».

Я хотела, чтобы хотя бы кто-то знал, где я собираюсь провести ночь, и я посвятила в свои планы мою гувернантку. Она предостерегла меня от Гумилёва, у него будто бы был сифилис. Якобы по этой причине он был пациентом моего отца.

Костя Вагинов тоже знал об этом вечере. Это был молодой поэт, ученик Гумилёва, который меня в то время очень любил. Сейчас я думаю, что было подло с моей стороны рассказывать об этом Косте. Ведь он вполне мог себе представить, что там в квартире могло происходить. И он знал о моей влюбчивости — а Гумилёв пользовался славой покорителя женских сердец. Костя Вагинов написал посвященное мне стихотворение на книге стихов Анны Ахматовой «Чётки». Это было лирическое, сложное и очень красивое стихотворение.

В Берлине я посвятила ему тоже несколько стихотворений, и мы переписывались долгое время. Позже он стал в Советском Союзе довольно известным поэтом. Он женился на Александре Фёдоровой, тоже участнице «Звучащей раковины», как называлась группа молодых поэтов вокруг Гумилёва. Костя Вагинов умер молодым от туберкулёза.

Когда я однажды пришла в Дом искусств посетить Гумилёва, меня предупредили в фойе, чтобы я не ходила в его комнату. Там, наверно, западня ЧК. Сам Гумилёв, видимо, уже арестован, а наверху чекисты подстерегают его друзей. После этой новости я как можно скорее поспешила домой.

Во время ареста о Гумилёве заботились три женщины, которые носили ему посылки в тюрьму — Аня Энгельгардт, Ида Наппельбаум



и Нина Берберова, подруга поэта Владислава Ходасевича. Вскоре мне сказал советский журналист и искусствовед Натан Федоровский, что Гумилёв как контрреволюционер был расстрелян якобы собственноручно пресловутым начальником ЧК Дзержинским.

После расстрела Гумилёва члены «Звучащей раковины» закали траурный молебен в Казанском соборе на Невском проспекте по «рабу божьему Николаю». Имя Гумилёва уже не решались упоминать публично. Случайно я встретила на улице Анну Ахматову. Она сказала, что уже знает о панихиде. При богослужении мы встретились ещё раз.

Много лет спустя, в 40-х годах, был арестован её сын Лев Гумилёв. Он был приговорён к 10 годам лагерных работ в Сибири. В 50-е годы многие деятели культуры, в том числе Эренбург, пытались его освободить. Наконец, им это удалось. Анна Ахматова ждала в тюремных очередях в Ленинграде, как многие другие матери, чтобы передать сыну еду и деньги. Позднее она написала известную поэму «Реквием», которую она посвятила своему сыну Льву Гумилёву:

*Уже безумие крылом
Души закрыло половину,
И поит огненным вином
И манит в чёрную долину.*

В поэме говорилось о том, что матери заключённых должны наконец дожждаться возвращения своих детей и мужей. Это были стихи о всех женщинах, которые потеряли своих близких во время сталинского террора. Это были прекрасные стихи. Когда я впервые читала «Реквием» и вспоминала Николая Гумилёва, в горле у меня стоял ком...

II

Вот уже больше года прошло с того дня, когда в 9 часов утра меня разбудил телефон с известием о расстреле Николая Степановича Гумилева — моего учителя и друга, которому всегда буду благодарна я как поэту, руководителю и человеку.

Писать воспоминания о нем мне радостно, снова замелькают предо мной дни, переживания и образы, такие понятные в своей неповторяемости.

С Николаем Степановичем связано у меня вступление в литературный круг, новое, более острое понимание жизни, писание стихов и, наконец, последний год, проведенный на родине, в Петрограде.

Говорить о Гумилеве с определенной целью, то есть как о поэте, лекторе в студии Дома Искусства, или просто Николае Степановиче, мне трудно; слился он у меня в один определенный образ: высокий, худой, прямой, точно из дерева, в черном потертом пиджаке с заплатой на спине, всегда в белых носках, спускающихся часто на сапоги — грибочками; или в дохе темно-коричневой, привезенной из Африки, с такой же меховой шапкой, в которой я его очень любила, так как она укорачивала его длинный череп и оттеняла его тонкое, бледное лицо.

Стриженная, конусообразная голова, раскосые серые глаза, щурятся они точно с усмешкой, глядят на всех свысока, в мелких зубах непременно дымится папироса, в тонких белых руках с длинными пальцами — маленький томик! И красив он своей некрасивостью, чем-то сильным, напряженным, крупным. Бывало, читает Гумилев лекцию своим спокойным голосом, чуть-чуть шепелявя, и сразу чувствуется, что перед вами большой, настоящий человек.

* * *

Как сейчас помню октябрьский петербургский день, туманное небо, моросит, прыгаю через лужи на Исаакиевской площади, и бегу в Дом Искусства, на углу Мойки и Невского на лекцию «Теории поэзии». Николай Степанович читает раз в неделю, по средам от 6 до 8 часов вечера.

Вхожу в боковую маленькую столовую против кухни, там происходили занятия. Длинная узкая комната, посередине стол, покрытый белой скатертью, вокруг стола студисты, а спиной к двери, перекинув ногу на ногу — лектор.

Так как я опоздала на три лекции, то забираюсь в конец комнаты и из своего угла разглядываю Гумилева; у него над левым глазом темное пятно, и все время пускает он густые кольца дыма; на столе перед ним лежит темная черепаховая коробочка с папиросами, ну совсем большая мыльница (без нее нельзя себе и представить Николая Степановича). Совсем особенная была у него манера читать: слова произносил он не спеша, спокойно, монотонно, никогда не повышал голоса; я редко видела таких не нервных людей; его лекции на человека взвинченного могли действовать успокаивающе. Относился вначале Николай Степанович к нам, студистам, без всякого интереса, то есть читал свои два часа добросовестно,



но презирал нас, видно, от всей души; левый глаз его так и щурился с презрительной усмешкой.

Раз прочла ему стихотворение свое, он прослушал, ничего, только папироской попыхивал, а потом говорит: «Хорошо, что здесь хоть смысл есть, а то часто ничего и не понять». А затем переложил на прозу и осмеял. Было очень обидно! А другой раз говорит мне: «Меньше красивых слов — больше красивых мыслей». Гумилев не разговаривал с нами вне занятий, казалось совсем невыносимым с ним сблизиться и сдружиться. Но вот настал момент перелома в отношениях лектора и его слушателей: читал стихи Константин Ватинов, Гумилев сразу почувствовал в нем поэта, заинтересовался и постепенно стал приближаться к своим слушателям. К весне мы были друзьями; а раз полюбив нас и поверив в наше действительное желание работать, Николай Степанович стал терпеливо переносить даже совсем слабые стихи, не насмехался больше, напротив, давал советы и обнадеживал!

Он считал, что каждый может стать поэтом, но есть два типа, одни рождаются поэтами, другие этого добиваются работой, но не только технической: овладение ритмом, метром, рифмой и т. д., а и полной перестройкой своих жизненных вкусов, взглядов, мышлений.

К поэту Гумилев предъявлял большие требования: «мало писать хорошие стихи», говорил он, «надо жить, гореть, бороться, а кроме того, всегда стоять близко к литературно-общественной жизни и уметь во всякое время серьезно говорить о стихах».

* * *

В апреле устроила я у себя вечеринку. Пришел и Николай Степанович; длинный, черный, сел и молчит, ну точно мумия египетская, ни на кого не глядит. Стало неловко, подседа к нему на диванчик, подле печурки временной, а труба от нее длинная, всю комнату черным рукавом прорезает... Со мной ничего разговаривает, тихо, еле губами шевелит.

Помню рассказал он, что прежде в Царском Селе тоже встречался со знакомыми, потом уехал за границу и пришел к убеждению, что жить надо своей жизнью, так, как хочется; вернулся и ни одной тетке визита не отдал. Потом говорил, что во всем, за что берешься, надо стремиться к совершенству, и рассказал, как

поступив в гусарский полк, выбрал он себе как образец одного гусара, которому во всем подражал, пока, наконец, не превзошел его.

С посторонними Гумилев держал себя холодно и сдержанно, а часто даже высокомерно, за это его многие не любили и было у него немало врагов.

Раз на вечере Цеха поэтов подошел к нему красноармеец с возмущением по поводу обращения Гумилева к публике «господа». Николай Степанович в это время разговаривал с Лозинским и еще кем-то; он презрительно повернулся и начал объяснять, что человек высшее существо в природе и потому «господин». Красноармеец заявил, что теперь коммуна, и значит, все равны, нет никаких господ, тогда, уже отвернувшись от него, Гумилев процедил: «такого декрета еще не было». В другой раз в «Доме поэтов» какой-то пролетарский писака нагрубил ему; Николай Степанович, не показывая раздражения, сел за столик, конечно, перекинув ногу на ногу и закурив папиросу, попросил привести милицию, а на все дерзости того отвечал: «я вообще с Вами не разговариваю».

У Гумилева, несмотря на всю его деловитость, выдержку и самоуверенность, была детски-милая обидчивость. Даже странно, что этот внешне холодный человек, мог принимать близко к сердцу такие пустяки как выбор в редакторы журнала не поэта, а литературного критика.

Это была сильная обида: Николай Степанович считал, что стихами должны заниматься поэты сами, а вовсе не прозаики, и вдруг его ученики предлагают редакторство журнала одному видному критику. Он хотел было отказаться от роли синдика в нашем кружке. Переполох получился сильный! Было дело на Страстной; Дом Искусства закрывался! Как поймать Гумилева и уговорить его? Решили все собраться на квартире двух студисток; Николаю Степановичу была послана открытка. В Страстную пятницу, в жаркий майский день, в комнате духота, все собрались на оттоманку, готовились к встрече Гумилева, придумывали, что сказать, а пришел он, вышло совсем просто; начал добродушно рассказывать свою первую любовь.

Помню я, была она вся в стиле Майн-Рида, с дуэлью, планом похищения, только действие происходило на Кавказе, а самому герою было 15 лет. Этим собрание закончилось, о журнале было вовсе забыто, и все мирно отправились в Летний Сад, бегать вперегонки, причем Николай Степанович на своих циркулях, конечно, всех обгонял.



* * *

Несколько раз в своей жизни покушался Николай Степанович на самоубийство, часто из-за любви (он считал без этого и любовь ненастоящей), но всегда неудачно. Раз купил он себе целый фотографический прибор для получения цианистого калия, но последний оказался фальсификацией. Другой раз, находясь где-то в гостинице, пустил себе кровь, но руку нечаянно опустил в холодную воду; от потери крови он лишился сознания, но так как от холодной воды кровь остановилась, то к утру он пришел в себя; за ненадлежащее поведение его выгнали из гостиницы; тогда, послав на последние деньга телеграмму в Париж, он должен был в глухих кустарниках провести несколько суток, питаясь одними ягодами; но это было Гумилеву не впервые: еще будучи юношей, он раз добровольно ушел из дому и три дня пролежал в поле, глядя на небо и зелень. Он рассказывал, что именно тогда-то узнал и полюбил природу!

* * *

Летом мы стали совсем неразлучны. После лекций устраивались игры в кошки-мышки, японские жмурки и т. п. Все собирались в проходной комнате подле концертной залы; инициатором игр был обычно Гумилев. Ясно помню его в парчовой повязке на лице (ее носила вместо шляпы одна барышня, а мы ею завязывали во время игр глаза), один подбородок из-под нее торчит, и уже ничего не увидишь; руками размахивает он, точно птица крыльями, и ноги быстро длинные выкидывает, на столы и стулья наскокивает, зато и поймают скоро кого-нибудь, не то что Георгий Иванов, тот тихоня и бегать-то не умеет по-настоящему, все к стенке жметяся. Часто гуляли вечерами у Невы.

Хорошо: езды нет, редко грузовик прорежет тишину; пристани покачиваются, вода манит, а облака плывут все куда-то за красный казенный дом. Николай Степанович говорит о стихах, о своей работе, жизни, или читает свои новые еще не отделанные произведения. А иногда мы шли провожать его по Невскому на Преображенскую улицу. Как-то говорю ему, что собираюсь за границу, он обещал позже приехать и в Париже, Берлине или Лондоне устроить поэтическую студию. А затем собирался в Петрограде сильно расширить работу, увеличить количество лекций и включить новые

предметы, тесно примыкающие к теории и истории поэзии. Вообще у Николая Степановича было много планов.

Он считал, что к известному возрасту поэт исписывается и впадает к декадентство, сам того не замечая, но что с ним этого не будет, благодаря тому, что он умеет критически относиться и к своим стихам, а кроме того, он просил двух друзей-поэтов его предупредить, если у него начнется падение таланта, причем, добавил он, ему это будет совсем не неприятно, напротив, как хорошо быть свободным человеком и уехать куда-нибудь в Америку, охотиться на диких зверей.

Я удивилась, отчего, будучи поэтом, он себя не считает свободным, тогда он объяснил, что долг его, как поэта, следить за поэтической работой Союза поэтов и молодежи, тем более, что нет людей, на которых это можно оставить. Гумилев, несмотря на свою моральную независимость и безразличие к мнению людей, был человеком внутреннего долга. Поэзия была для него от Бога, и если поэт в его глазах был первым человеком, то чем больше ему было дано, тем больше с него и взыскивалось. Николай Степанович был очень религиозен; церкви не пропустит, чтоб не перекреститься. Он находил, что нет неверующих поэтов, даже выпады Маяковского против Бога считал он верой, но только отрицательной.

Характерна любовь Гумилева к музеям и картинам. У него были интересные рисунки в стиле египетских или этрусских фресок. Мне пришлось видеть книгу стихов Гумилева, написанную им от руки с собственными его рисунками; туда вошли «Цыгане», «Заблудившийся трамвай» и еще кое-что из последних произведений Николая Степановича.

Зато музыки Гумилев не выносил, бывало, во время камерных концертов Дома Искусства только в антрактах и показывается, то с одним, то с другим постоит. Причем рассказывал Николай Степанович, что в мыслях проигрывал он целые симфонии.

Как-то в воскресный вечер собрались мы в нашей любимой проходной комнате, за четырехугольным столом, и Гумилев стал придумывать чудесный город. Помнится, одевались там в птичьи перья и цветы; театры отсутствовали вовсе, но зато были кафе разных стран, и каждое выдерживало стиль своего государства; были там и лавочки, в которых продавались предметы, вызывающие какие-нибудь воспоминания. Старикам и детям доступ в город строго



воспрещался, и жили они в предместьях. А когда спросили Николая Степановича, какое там будет правление, он ответил, что, конечно, монархия, причем там была введена и смертная казнь. Убивать друг друга тоже разрешалось, но для равных условий всех граждан они получали одинаковое вооружение! Вообще интересна любовь Гумилева к придумыванию:

*Я придумал это, глядя на твои
Косы-кольца огневющей змеи.*

(«Лес»).

В этом была какая-то связь с романтизмом всей его натуры, против которого он сильно, но, кажется, тщетно боролся, стремясь к чистому акмеизму.

* * *

В июне уехал Гумилев в Крым, взяли его с собой какие-то истребители «зеленых», вернулся загорелый, веселый, говорил, что ему всюду хорошо; а когда начальник отряда рассказал, как Николай Степанович ездил с ним на налетчиков и подвергало опасности, он только усмехнулся. Три похода в Африке, сам караваны водил, что ему какие-то набеги, и говорить не стоит о них!

* * *

Открывался Дом поэтов, помню, как Гумилев в своем старом сереньком пальто бегал с Мойки на Пантелеймоновскую каждый день; весь ушел в это дело. На открытие собственными силами поставили пантомиму: Радлов режиссировал, Гумилев изображал Д'Аннуцио в черной бороде; принесли его на стульях, изображавших аэроплан; Николай Степанович был хорош даже своими угловатыми движениями рук.

* * *

Мне пришлось раз видеть Гумилева на официальном собрании Союза поэтов, он читал доклад о работе Союза, о своей поездке в Крым, где ему удалось выхлопотать дом для писателей. В каждом слове его чувствовался большой организатор, будто он и родился, чтоб сделаться руководителем общественного движения.

Совсем незадолго до своего ареста Гумилев на одном вечере поэтов (в Доме Искусства) выпустил некоторых из своих учеников, причем трогательно волновался за них, советовал, что им читать, и явно гордился их успехом. За неделю до своего ареста Николай Степанович разбирал свой сборник «Шатер», изданный незадолго до этого в Севастополе; хочу передать несколько интересных, сделанных им самим пояснений: он собирался написать о каждой стране сборник стихов, причем у каждой страны был свой стихотворный размер; у Европы, например, ямба; но удалось ему только создать «Шатер», посвященный Африке.

Гумилев называл этот сборник романом в стихах, героем которого явился европеец, влюбленный в девственную, жестокую Африку:

*Оглушенная ревом и топотом,
Облеченная в пламень и дымы,
О тебе, моя Африка, шепотом
В небесах говорят серафимы.*

Этими строками начинается посвящение «Шатра».

А в день своего ареста он подарил нам «Шатры» с надписями, был удивительно в духе и каждому надписывал подходящую строчку из сборника же. Затем все играли в «кошки-мышки» в маленькой столовой, где происходили занятия. Он просил меня его ловить, я ленилась бегать, он настаивал — согласилась.

Не думала я, что то была наша последняя встреча. Когда я ушла, Николай Степанович сидел у окна, как всегда, слегка согнувшись, низко подал свою белую руку с длинными тонкими пальцами.

Больше я его не видела!

На следующее утро меня предупредили, чтобы я не входила в комнаты Гумилевых, так как он арестован, а у его жены засада. Взяли Николая Степановича в три часа ночи; он был спокоен, успокаивал свою жену, говорил, что за него похлопочут и отпустят, как и других.

Казалось, какие-нибудь пустяки, дело одной недели.

Читала открытку, посланную Анне Николаевне, где он писал, что играет в шахматы, и написал одно стихотворение...

Но однажды на Шпалерной его не оказалось, пошли искать на Гороховую, тоже нет; обегали все тюрьмы — Нет! Исчез!



В понедельник собрались! Было жутко! Начались разговоры о расстреле! Не верилось!

В среду вечером кто-то пришел в Дом поэтов и официально объявил, что имя Гумилева стояло в списке расстрелянных!

В четверг утром мне позвонили; казалось все таким нелепым, точно слова были пустой скорлупой, без содержимого! Перед глазами стояла боковая гостиная в доме Мурузи (Дом поэтов). 2 часа ночи, полутьма, все разошлись, только несколько человек остались. Нератов играл вальс на рояле. В коридоре, сидя на широком подоконнике, Николай Степанович рассказывал кому-то про Африку. Я потащила его танцевать; неловко, неохотно танцевал он, все жаловался, что такта не слышит. Потом сидели на маленьком белом диванчике в углу, и он, растягивая каждое слово, читал:

*Только змеи сбрасывают кожи,
Чтоб душа старела и росла,
Мы, увы, со змеями не схожи,
Мы меняем души, не тела.*

Совсем недавно был со всеми, мысленно слышала его голос! Помню, побежала я к дворнику за газетами, села у нас в асфальтовом дворе на большое бревно, приготовленное для распилки, развернула «Правду»: список имен расстрелянных. Нашла! Н.С. Гумилев, тот же черный печатный шрифт, которым так часто писалось его имя, как поэта! Значит, правда!

А небо было синее, солнце сияло, и люди совсем как и вчера, как ежедневно, проходили по Мойке!

Отслужили две панихиды в Казанском соборе. Какая-то женщина спросила — о ком; я не ответила и прошла мимо, чтобы не вышла неприятность; быть может, нельзя о расстрелянном...

* * *

Прешло лето, в Доме Искусства начались лекции, но в маленькой столовой против кухни, спиной к двери, перекинув ногу на ногу, в белых носках, с дымящейся папиросой в мелких зубах и раскрытой на столе черепаховой мыльницей-папиросницей, уже не сидел больше Николай Степанович Гумилев!

III

*Вы смотрите на всех свысока,
И в глазах ваших серых тоска,
Я люблю ваш опущенный взгляд.
Так восточные боги глядят.*

*Ваши сжатые губы бледны,
По ночам вижу грешные сны.
Вы умеете ласковым быть,
Ваших ласк никогда не забыть,*

*А когда вы со мной холодны,
Ненавижу улыбку весны.
Мы случайно столкнулись в пути,
Мне от вас никуда не уйти.*

*И усердно я Бога молю,
Чтоб сказали вы слово «люблю».
И по картам гадаю на вас
Каждый вечер в двенадцатый час...*

На смерть Гумилёва

*«Никогда не увижу Вас»,
Я не верю в эти слова!
Разве солнечный свет погас,
Потемнела небес синева?*

*Но такой как и все этот день,
Только в церкви протяжней звонят,
И повисла чёрная тень!
Не увижу тот серый взгляд!*

*А последней зелёной весной
Он мимозу напомнил мне...
Подойду и открою окно,
От заката весь город в огне.*



* * *

На смерть Гумилёва

*Слишком трудно идти по дороге.
Слишком трудно глядеть в облака,
В топкой глине запутались ноги,
Длинной плетью повисла рука.*

*Был он сильным, свободным и гордым
И воздвиг он из мрамора дом,
Но не умер под той сикоморой,
Где сидела Мария с Христом.*

*Он прошёл спокойно, угрюмо,
Поглядел в черноту небес.
И его последние думы
Знает только северный лес.*

ОСЕНЬ

На смерть Гумилёва

*Иду быстрее по Невскому вперёд —
Куда, зачем не знаю и сама,
Но только прошлый не вернётся год
И будет новой снежная зима.*

*Я вспоминаю Мойку всю в снегу,
Его в дохе и шапке меховой
И с папирсой дымною у губ,
И то, как он здоровался со мной.*

*Потом, прищулив глаз, лениво шёл
К столу, где мы садились в длинный ряд,
Клад папирсы медленно на стол.
Я не увижу больше серый взгляд.*

*Из ресторанных глаз пронзает свет,
Томительно зовут, зовут смычки.
По Невскому проспекту столько лет
Отстукивают осень каблук.*

Нина Берберова*

Лето 1921 года. В жемчужном разливе белых ночей, в тишине сонных улиц (извозчиков, конечно, не было, трамваев было очень мало) редкие прохожие не спеша проходили, осунувшиеся, обрванные. Дома рушились, двери и паркетные полы ночью уносились соседями, прозрачные дети ждали, когда им выдадут карандаши, чтобы научиться грамоте. Парадные были заколочены, и в большом доме, где мы сняли комнаты, ход на Манежный был забит — ходили через Кирочную. Но какой-то проблиск начинался на Невском, и в угловой лавке, где вчера еще окна были разбиты и заколочены досками, вдруг стало возможным купить сдобную булку, цветок, книгу — старую, извлеченную из пыльного подвала, или новую — вышедшую только что.

Я нашла кое-кого из старых друзей. Шкловские были в Финляндии, Наташа, вышедшая недавно из тюрьмы, жила теперь с матерью. Эся, красивая и нарядная, едва взглянула на меня — ей явно было не до старых знакомых. Ося был в Москве, женат и член партии. Другая Наташа, в старом доме на Васильевском, бросалась от танцев Дункан к живописи, пела, сочиняла стихи, лепила и собиралась замуж. Ляли Зейлигер в городе не было. Но я чувствовала себя такой новой, такой непохожей на ту, какой была три года тому назад, что это все мне казалось совершенно естественным. Я приняла все это спокойно. И отправляясь в дом на Васильевском, я только мечтала взять там книги, которые мне обещали дать — надолго, а может быть, и навсегда.

Бабушек больше не было. Отца не было. Митя был в Сибири, и я не расспрашивала: ушел ли он к Колчаку, или был сослан туда, или убежал сам, вынужденный скрываться. Меня подвели к шкафам: бери, что хочешь, держи, сколько вздумается. Четыре дня я носила книги с Васильевского на Кирочную и потом поставила их в шкаф, где раньше потомок Глинки хранил тома Сенатских решений. Когда я пришла в четвертый раз за книгами, внучка декабриста Ивашева посмотрела на меня внимательно:

— Ты знаешь, куда тебе надо пойти? — К поэтам — В Дом Литераторов, на Бассейной. Тебе интересно будет. Что ты все одна!

* Берберова, Нина (1901–1993) — русская писательница, автор документально-биографических исследований. Жена поэта В. Ходасевича.



Я пошла в Дом Литераторов на Бассейной, но никаких поэтов там не нашла. Смущаясь, я навела справки. Союз поэтов помещался в доме Мурузи, на Литейном. Прием от семи до восьми.

— Утра? — удивилась я.

— Нет, вечера, — спокойно ответили мне.

Но я медлила. С чем я пойду к «поэтам»? С моими детскими стихами? Или с «Выше, выше, вдаль, на север»? Или с написанным недавно «О, если будешь завтра с ней»? Оно мне казалось вымученным: «Я не скажу тебе ни слова, / Лишь посмотрю...» Это я кого-то ревновала, кажется, еще там, на юге. «Ты не узнаешь никогда». Как это плохо! Только вот разве что конец: «И буду жадно я искать / Следы неведомых объятий / Твоих, на этом черном платье, / Что помогал ты надевать». Хотя почему он помогал ей надевать платье? В крайнем случае он мог помочь ей застегнуть его, на кнопки или крючки.

На углу Невского и Мойки, в бывшем доме Елисеева, помещался в те годы Дом Искусств, и в его общежитии жил в то лето дядя Сережа Ухтомский, скульптор, тот, рожденный как-то таинственно мамин двоюродный брат, сын Ольги Дмитриевны, к которой мы однажды с дедом поехали на трамвае. Он был женат на Евгении Павловне, урожденной Корсаковой, и от Евгении Павловны этой, которую я едва знала, пришло приглашение в воскресенье днем (10 июля) прийти на какой-то прием с танцами. Я отправилась туда с матерью.

В тот день я увидела только парадные комнаты этого раззолоченного внутри и разукрашенного лепкой купеческого дворца. В залах было человек пятьдесят гостей, и бывшие елисеевские лакеи разносили чай и сероватое печенье на тяжелых серебряных подносах. Было много молодежи, но я не запомнила никого, кроме Ю.Султанова, сына Летковой-Султановой (они жили рядом с комнатой Ухтомских в общежитии на том же этаже), с которым танцевала. А.Н.Бенуа (в то время с широкой бородой) и его брат, Альберт Николаевич, сели за два концертных рояля на разных концах зала, и штраусовский вальс загремел из-под поднятых крышек. Солнце сверкало в позолоте, звенели десятипудовые люстры, в окна смотрел на нас дворец Строганова с красным флагом над обшарпанным подъездом.

— Приходи еще, — говорила Евгения Павловна, — и непременно пойди в дом Мурузи. Там Гумилев и весь Цех и бывают вечера. Стихи читают.

И Анна Александровна Врубель (тоже жившая в Доме), и Липгардт из Эрмитажа, и В.А.Чудовский с перевязанной рукой (брезговал

подавать знакомым) — все сочувственно мне улыбались, а Леткова-Султанова (хорошо знавшая Тургенева) позвала меня в гости, и Аким Волынский, худенький, в пиджаке с чужого плеча (или он так похудел?), тоже кивал и поцеловал мне на прощанье руку.

Здесь жили боги, и я была у богов в гостях. Боги играли Штрауса и ели печенье, и я танцевала среди богов, и лепные купидоны с потолка смотрели на меня.

Но я еще выждала несколько дней и только вечером 15 июля пошла в Союз поэтов. Я пришла рано, не было еще семи часов. На лестнице с широкими пролетами было полутемно. Я стала ждать. Явилась «секретарша» — мать поэта Сергея Колбасьева (о котором Георгий Иванов без особых оснований написал в «Петербургских зимах» как о доносчике). Секретарша была похожа на Екатерину Вторую, накрашенная, завитая, толстая, ее столик и стул стояли на площадке первого этажа, перед входом в помещение Союза (состоявшего из двух гостиных и зала). Она выслушала меня и сказала, чтобы я принесла десять стихотворений, которые будут «рассмотрены президиумом». Председатель Гумилев и секретарь Георгий Иванов должны будут обсудить их. «И если стихи годятся, — сказала толстая дама равнодушно, — то вас примут в Союз».

19-го я явилась с переписанными стихами и тихонько положила свой конверт ей на стол, собираясь неслышно сбежать с лестницы. Но она увидела меня, выплыла из двери на площадку лестницы и взяла конверт. Глядя в сторону и поправляя прическу, она велела мне заполнить анкету «на предмет» вступления в Союз. Я, наставив клякс, скрипучим «почтамтским» пером заполнила анкету и вопросительно взглянула на Екатерину Вторую.

Она велела мне прийти на будущей неделе, чтобы узнать, годятся ли стихи.

Почему «на будущей неделе»? И что со мной будет, если стихи «не годятся»?

Через Таврический сад, где щелкали соловьи, я вернулась домой. А солнце все стояло высоко над деревьями и домами. И величественное убожество Петербурга было тихо и неподвижно: весь город тогда был величествен, тих и мертв, как Шартрский собор, как Акрополь.

27 июля я вошла в дом Мурузи минут за десять до начала вечера стихов. Я прошла прямо в гостиную, где Г. Иванов подошел ко мне и, узнав, что мой конверт «где-то имеется», подвел меня



к Гумилеву. Он взглянул на меня светлыми косыми глазами с высоты своего роста. Череп его, уходивший куполом вверх, делал его лицо еще длиннее. Он был некрасив, выразительно некрасив, я бы сказала, немного страшен своей непривлекательностью: длинные руки, дефект речи, надменный взгляд, причем один глаз все время отсутствовал, оставаясь в стороне. Он смерил меня глазом, секунду задержался на груди и ногах, и они оба вышли, закрыв за собой дверь. «Они пошли совещаться, — сказал мне Н.А.Оцуп; он вспомнил, что видел меня когда-то у своей сестры в гостях. — Это было страшно давно, — поспешила я, чтобы облегчить ему эти минуты. — Вы не можете меня помнить. Я тогда была гимназисткой».

— Надя теперь служит в Чека, — сказал он спокойно и дружелюбно посмотрел на меня. — Она ходит в кожаной куртке и носит револьвер. Я встретил ее недавно на улице, она сказала, что таких, как я, надо расстреливать, что они и делают.

Гумилев вышел из дверей и подошел ко мне. Я встала. Стихигодились, то есть всего четыре строчки из всего принесенного. Вот эти («И буду жадно я искать») — он держал листочки в длинных своих пальцах. «И, пожалуй, еще это: север — клевер, мороз — овес».

В зале, где сидела публика, человек двадцать пять, Г. Адамович уже читал «Мария, где вы теперь?», и я пошла слушать. Все во мне вдруг угомонилось. Я почувствовала, что в полном ладу и с собой, и со всем, что меня окружает. Я шагнула куда-то, и теперь спокойствие наплывало на меня и накрывало меня волной.

Сразу после того, как чтение закончилось (Гумилев читал, Иванов, Оцуп и некто Нельдихен — в артистической куртке, с длинными волосами, декоративный с великолепным голосом), Гумилев пригласил меня выпить чаю. Нам подали два стакана в подстаканниках и пирожные. («Покойник был скупенок, — говорил мне впоследствии Г.Иванов, — когда я увидел, что он угощает вас пирожными, я подумал, что дело не чисто».) Никто не подошел к нам. Мы сидели одни, в углу большой гостиной, и я догадывалась, что подходить к Гумилеву, когда он сидит с облюбованной им особой женского пола, не полагается: субординация. Об этой субординации Гумилев сразу и заговорил:

— Необходима дисциплина. Я здесь — ротный командир. Чин чина почитай. В поэзии то же самое, и даже еще строже. По струнке!

Я ничего не говорила, я слушала с любопытством, тщетно ища в его лице улыбку, но был только отбегающий глаз и другой,

с важностью сверлящий меня. — Я сделал Ахматову, я сделал Мандельштама. Теперь я делаю Оцупа. Я могу, если захочу, сделать вас.

Во мне начала расти неловкость. Я боялась обидеть его улыбкой и одновременно не могла поверить, что все это говорится серьезно. Между тем, голос его звучал сухо, и лицо было совершенно неподвижно, когда он умолкал. И затем опять начиналась речь, похожая на лай. Напрасно, мне казалось, он думает, что в Цехе есть что-то военное, на роту или взвод это отнюдь не было похоже, члены Цеха скорее напоминали (в их отношении к главе Цеха) петиметров и куртизанов в свите одного из Людовиков.

— Я — монархист. Крещусь на церкви. Если будете делать то, что я вам буду приказывать, из вас может выйти поэт... Но для этого нужно перестать любить Виктора Гофмана.

Тут я вдруг рассмеялась. Мне показалось, что было еще немножко рано приказывать мне, кого любить и кого не любить. Он сердито взглянул на меня и тем же жестким тоном не сказал, а как бы «объявил в приказе» о моем лице и ногах.

Теперь неловкость стала во мне переходить в окаменение. Ноги свои я задвинула под диван, руки спрятала под стол, только лицо мое было повернуто к нему, вероятно, в глазах была просьба: повернуть все это в шутку. Но он этого не замечал.

Мы сидели рядышком, на вид совершенно смирно, но между нами вспыхивали искры недружелюбия. Он заговорил опять:

— У меня студия в Доме Искусств. Там я учу молодых поэтов (он выговаривал поатов) писать стихи. Я научу вас писать стихи. Вы писать стихи не умеете.

— Спасибо, Николай Степанович, — сказала я тихо, — я непременно поступлю к вам в студию.

— Кто ваш любимый поэт? — внезапно вылаял он. Я молчала: мне не хотелось лгать, это был не он. Он взял мою руку и погладил ее. Мне захотелось домой. Но он сказал, что хочет завтра пойти со мной гулять по набережным. Он, с тех пор как вернулся в Петербург, все ходит смотреть и насмотреться не может. Камни гладит. У урны в Летнем саду, в три часа. Хорошо? Я тоже гладила камни в эти недели.

— Может быть, послезавтра?

— Завтра, в три часа.

Я встала, подала ему руку. Он проводил меня до дверей.

Мой лад не был нарушен. Я спокойно вышла на улицу и пошла домой. Колбасьев пошел провожать меня. Он рассказывал, как они



с Гумилевым встретились и подружились в Крыму. Я не могла никак понять, почему все, что он говорил, пока мы шли по Литейному, было мне совершенно неинтересно.

На следующий день я была у урны в три часа.

Мы сначала долго сидели на скамейке и мирно разговаривали, очень дружески и спокойно, и я даже вынудила у него признание, что Ахматова сама себя сделала, а он даже мешал ей в этом, и что он вчера вечером сказал мне, что он ее сделал, только чтобы поразить меня. Он рассказывал о Париже, о военных годах во Франции, потом о Союзе поэтов и Цехе, и все было так хорошо, что не хотелось и уходить из-под густых деревьев. Потом мы пошли в книжный магазин Петрополиса, и по дороге он спросил, есть ли у меня «Кипарисовый ларец» Анненского, Кузмин. последняя книга Сологуба и его собственные книги. Я сказала, что Сологуба и Анненского нет. Пока я разглядывала полки, он отобрал книг пять-шесть, и я, нечаянно взглянув, увидела, что среди них отобран «Кипарисовый ларец». Смутное подозрение шевельнулось во мне, но, конечно, я ничего не сказала, и мы вышли и пошли по Гагаринской до набережной и повернули в сторону Эрмитажа. День был яркий, ветреный, нежаркий, мы шли и смотрели на пароходик, плывущий по Неве, на воду, на мальчишек, бегающих по гранитной лесенке с улицы к воде и обратно. Внезапно Гумилев остановился и несколько торжественно произнес:

— Обещайте мне, что вы беспрекословно исполните мою просьбу.

— Конечно, нет, — ответила я.

Он удивился, спросил, боюсь ли я его. Я сказала, что немного боюсь. Это ему понравилось. Затем он протянул мне книги.

— Я купил их для вас.

Я отступила от него. Мысль иметь Сологуба и Анненского на секунду помрачила мой рассудок, но только на секунду. Я сказала ему, что не могу принять от него подарка.

— У меня эти книги все есть, — продолжал он настойчиво и сердито, — я их выбрал для вас.

— Не могу, — сказала я, отвернувшись. Все мои молодые принципы вдруг, как фейерверк, взорвались в небо и озарили меня и его. И я почувствовала, что не только не могу взять от него чего-либо, но и не хочу.

И тогда он вдруг высоко поднял книги и широким движением бросил их в Неву. Я громко вскрикнула, свистнули мальчишки.

Книги поплыли по синей воде. Я видела, как птицы садились на них и топили их. Мы медленно пошли дальше.

Мне стало очень грустно. Мы простились где-то на Миллионной, и я пошла домой, перебирая в мыслях эту вторую встречу. На следующий день я опять была в Союзе поэтов, а еще на следующий день, 30 июля, мы пошли с ним вместе во «Всемирную литературу», где мне изготовили членскую карточку Союза. Гумилев написал ее. Она теперь в моем архиве.

Затем наступили два дня, 31 июля и 1 августа, когда мы опять ходили в Летний сад, и сидели на гранитной скамье у Невы, и говорили о Петербурге, об Анненском, о нем самом, о том, что будет со всеми нами. Он читал стихи. Под вечер, проголодавшись, мы пошли в польскую кофейню у Полицейского моста, в том доме на Невском, где когда-то был магазин Треймана. Надо было сойти несколько ступеней, кофейня была в подвале. Там мы пили кофе и ели пирожные и долго молчали. Чем ближе подводил он свое лицо к моему, тем труднее мне было выбрать, в который из его глаз смотреть. Вспоминаю, как позже, в Берлине, однажды я ужинала у Виктора Шкловского с Р.О.Якобсоном, который тоже косит. Всем было очень весело, и Р.О., сидя напротив меня за столом и только что познакомившись со мной, закрывал рукой свой левый глаз и кричал, хохоча: «В правый смотрите! Про левый забудьте! Правый — у меня главный, он на вас смотрит!..» Но в Гумилеве не было юмора, он всех вообще и себя самого принимал всерьез, и мне он мгновениями казался консервативным пожилым господином, который, вероятно, до сих пор иногда надевает фрак и цилиндр.

И тогда он вдруг мне сказал, в этой польской кофейне, где мы поедали пирожные, что он завел черную клеенчатую тетрадь, где будет писать мне стихи. И одно он написал вчера, но сейчас его не прочтет, а прочтет завтра. Там есть и про белое платье, в котором я была вчера (оно было сшито из старой занавески). Я была смущена, и он это заметил. Медленно и молча мы пошли к Казанскому собору и там в колоннаде долго ходили, а потом сидели на ступеньках, и он говорил, что я должна теперь пойти к нему, в Дом Искусств, где он живет, но я не пошла, а пошла домой, обещав ему прийти в «Звучащую раковину» (его студию) на следующий день, в три часа. Там он учил, как писать стихи (что так раздражало Блока). Студисты учились у него всю прошлую зиму (1920–1921 года) и теперь «научились писать». И вы научитесь, добавил он, если будете меня слушаться.



Прислонясь к одной из колонн, он положил мне руку на голову и провел ею по моему лицу, по моим плечам.

— Нет, — сказал он, когда я отступила, — вы ужасно благо-разумная, взрослая, серьезная и скучная. А я вот остался таким, как-ким был в двенадцать лет. Я — гимназист третьего класса. А вы со мной играть не хотите.

Это прозвучало деланно. Я ответила, что я и в детстве-то не очень любила играть и теперь страшно рада, что мне уже не двенадцать лет.

Я оставила его в колоннаде злого и недовольного. И сама была недовольна этим днем, решив больше с ним не встречаться. Но в студию я, конечно, пошла. Был и другой гость, кроме меня, Николай Тихонов.

Гумилев ценил его и принял его в Союз в тот же день, что и меня.

Студия помещалась в Доме Искусств. Был вторник, 2 августа. По какой причине собрание было перенесено с понедельника на вторник, я сейчас не помню, но это было исключением. В одной из елисеевских гостиных стоял длинный стол, мы все сели вокруг него. Читали стихи «по кругу», как тогда было принято. Были две сестры Наппельбаум, были Н.Сурина, А.Федорова (позже жена Вагинова), Вера Лурье, Ольга Зив (впоследствии — детская писательница), К.Вагинов, Волков, Столяров, Рогинский, Миллер, Николай Чуковский — все те, которые изображены на групповой фотографии, вокруг Гумилева — снимок был сделан весной 1921 года фотографом Наппельбаумом, отцом Иды и Фриды. (Первая была женой М.Фромана, поэта и секретаря Ленинградского союза поэтов, репрессированного во времена Сталина, вторая умерла при трагических обстоятельствах в 1950 году.) Все члены студии были в свое время напечатаны в сборнике «Звучащая раковина», до библиотек западного мира не дошедшем. Они выпустили его осенью 1921 года, посвятив его Гумилеву, — вряд ли этот сборник когда-либо пошел в продажу.

Лучше других были Костя Вагинов, Николай Чуковский и Фрида. Она читала:

*Я открою окна и двери,
Ветер зашумит в волосах,
И придумаю, что скрылся берег
Там, где синяя полоса.*

Я сейчас же сдружилась с Н. Чуковским (сыном Корнея Ивановича). Ему было тогда семнадцать лет, и он был толст и стеснялся своей толщины. Вагинов был очень тих и печален (позже он мне напоминал чем-то Зощенко) и писал стихи странные, немножко бредовые:

*В книгохранилище вхожу едва —
В книгохранилище летят слова...*

Волков прочел свою рецензию на «Огненный столп» Гумилева, только что вышедший тогда (и тоже им потопленный в Неве), написанную ритмической прозой, а Тихонов сидел угрюмо и очень быстро ушел.

После «лекции» Гумилев предложил играть студентам в жмурки, и все с удовольствием стали бегать вокруг него, завязав ему глаза платком. Я не могла заставить себя бегать со всеми вместе — мне казалась эта игра чем-то искусственным, мне хотелось еще стихов, еще разговоров о стихах, но я боялась, что мой отказ покажется им обидным, и не знала, на что решиться. В конце концов я заставила себя присоединиться к играющим, хотя мне вдруг сделалось скучно от беготни, и я была рада, когда все это кончилось, — что-то было тут фальшивое. После игры Гумилев повел нас к себе, кое-кто ушел, и нас оказалось всего человек пять. Комната его была большая, вдоль стен стояли узкие, длинные диваны — это был елисейский предбанник, в бане рядом, в кафельных стенах, жила Мариэтта Шагинян. Когда все ушли, он задержал меня, усадил опять и показал черную тетрадку. «Сегодня ночью, я знаю, я напишу опять, — сказал он, — потому что мне со вчерашнего дня невыносимо грустно, так грустно, как давно не было». И он прочел стихи, написанные мне на первой странице этой тетради:

*Я сам над собой насмеялся,
И сам я себя обманул,
Когда мог подумать, что в мире
Есть кто-нибудь, кроме тебя.*

*Лишь белая в белой одежде,
Как в пеплуме древних богинь,
Ты держишь хрустальную сферу
В прозрачных и тонких перстах.*

*А все океаны, все горы,
Архангелы, люди, цветы,
Они в глубине отразились
Прозрачных девических глаз*

*Как странно подумать, что в мире
Есть что-нибудь, кроме тебя,
Что сам я не только ночная
Бессонная песнь о тебе*

*Но свет у тебя за плечами,
Такой ослепительный свет.
Там длинные пламени реки,
Как два золотые крыла.*

Я чувствовала себя неуютно в этом предбаннике, рядом с этим человеком, которому я не смела сказать ни ласкового, ни просто дружеского слова. Я поблагодарила его. Он сказал: и только? Он, видимо, совершенно не догадывался о том, что мне было и неловко, и неуютно с ним.

Когда я собралась уходить, он вышел со мной. Он говорил, что ему нынче тяжело быть одному, что мы опять пойдем есть пирожные в низок. И мы пошли, и вся его грусть в тот вечер, не знаю, каким путем, перешла в меня. Он долго не отпускал меня, наконец мы вышли и через Сенатскую площадь пришли к памятнику Петру Первому, где долго сидели, пока не стало темно. И он пошел провожать меня через весь город. Я не знала, на что решиться: дать всему этому растаять постепенно, раствориться самому, молчать и отдалиться в ближайшие дни или же сказать ему, чтобы он придумал для наших отношений другой тон и другие темы. Я никогда, кажется, не была в таком трудном положении: до сих пор всегда между мной и другим человеком было понимание, что нужно и что не нужно, что можно и что нельзя. Здесь была глухая стена: самоуверенности, менторства, ложного величия и абсолютного отсутствия чуткости. Как бывает в таких случаях, хотелось временами быть за тридевять земель, и вместе с тем я помнила, что это — большой поэт. «Я с женщинами дружбы не признаю, — сказал он, будто нечаянно, — я дружбы с вами не ищу». Зачем я здесь с ним? — в эту минуту подумала я. Одновременно же я казнилась,

что не могу рассеять, как он говорил, его беспричинную грусть в тот вечер, чувствуя, как эта грусть все больше и больше переливается в меня и как я делаюсь внутренне все более тяжелой, неповоротливой, напряженной.

— Пойду теперь писать стихи про вас, — сказал он мне на прощанье.

Я вошла в ворота дома, зная, что он стоит и смотрит мне вслед. Переломив себя, я остановилась, обернулась к нему и сказала просто и спокойно: «Спасибо вам, Николай Степанович». Ночью в постели я приняла решение больше с ним не встречаться. И я больше никогда не встретила с ним, потому что на рассвете 3-го, в среду, его арестовали.

— Я нашел среди бумаг Николая Степановича, — сказал мне через месяц Георгий Иванов, — черную клеенчатую тетрадь, в ней записано всего одно стихотворение. Вы знаете про эту тетрадь?

— Да, — ответила я.

— Хотите ее получить?

Но как я не могла принять от Гумилева книг, так я не могла принять его стихов. Я поблагодарила Иванова и отказалась.

Я не хотела ни расспросов, ни догадок. Больше мы с Ивановым никогда к этому не возвращались: стихи он напечатал в последнем сборнике Цеха, в Берлине, в 1923 году.

Мне теперь нужно было разобраться в том, что произошло. Я увидела, что моя дорога внезапно скрестилась с человеком далекого прошлого, который не только не понимал свое время, но и не пытался его понять, а заодно не понял и меня. Он рассказывал о себе, что он монархист, крестился на церковный купол, уверял, что счастлив тем, что чувствует себя двенадцатилетним. Все это было мне так чуждо, все это было такое «анти-я», что мне показалось невероятным, когда я узнала, что Гумилеву было только 35 лет, — в своем недомыслии я представляла его себе пятидесятилетним. Кстати, лицо его, как это часто бывает у безобразных людей, было без возраста.

Зачем я встретила его? — думала я. Зачем он говорил мне вещи, от которых меня коробило, и тоном, от которого все во мне сжималось? Права ли я, когда так много значения придаю словам, и, может быть, даже богиня моя, сказанное с лучшими намерениями, вовсе не было так ужасно? Но я понимала, что тут были не одни слова: тут была плеть, которая еще раньше кое у кого «висела



на стенке». А ко мне еще никто не входил с плетью (и без улыбки) — надобности в этом не было.

Но теперь он был арестован. Это страшное утро, когда его взяли и увезли, после того как он сказал, что ему тяжело, как никогда... Я перебирала в памяти его стихи, я знала их наизусть с тринадцати лет, многое я в них любила, но я вдруг увидела всю их детскость, в то же время как и старомодность, их несовременность, их искусственность для нашего времени. Ведь он повернул обратно, от символизма к парнасу, думалось мне, а вовсе не устроил революции против символистов. Неужели парнасом хотел он победить Вячеслава Иванова, Андрея Белого, Блока? Даже в его многопудовой, неповоротливой мужской самоуверенности сквозила эта старомодность — завоевателя, покорителя. Не истинная старомодность отцов и дедов, а какая-то стилизованная, утрированная, деформированная копия ее. Он был большим поэтом, я теперь уверена в этом, но, вероятно, родившимся слишком поздно; он был бы счастливее, живи он где-то между Константином Леонтьевым и Случевским.

Недаром он однажды сказал: «Я вежлив с жизнью современной, но между нами есть преграда». Это но говорит о драме Гумилева, оно многозначительно. Теперь я знаю, что он большой поэт, но тогда — как сухо и с каким предубеждением я думала о нем!

Через несколько дней (это было воскресенье) я вышла из дому, совершенно не зная, куда идти, но дома оставаться не хотелось. В те дни я была очень одинока, дружба с Ник. Чуковским, Идой и Львом Лунцем пришла только в начале осени. Я вышла и пошла по улицам, думая зайти в Дом Литераторов и, может быть, там узнать что-нибудь новое о судьбе Гумилева. По пути я пережидала дождь в какой-то подворотне. Я никак не могла овладеть собой, все во мне было залито черной тоской, таких дней во всю жизнь у меня, вероятно, было не более тридцати, когда не знаешь, куда приткнуться, и понимаешь, что никто ничем помочь не может, когда ничего не ждешь, только чтобы полегчало немножко, чтобы наступила ночь и уснуть, как будто зубная боль, которую надо вытерпеть и хоть как-нибудь дотянуть до минуты, когда что-то дрогнет и повернется внутри. Но ничего не поворачивается, все замерло, остыло, одеревенело, и все болит а в общем: все равно!

Я шла по Бассейной в Дом Литераторов. Было воскресенье (и канун дня моего рождения), часа три. Может быть, у меня была надежда встретить там кого-нибудь и узнать что-нибудь новое об

арестованных — в ту ночь были, среди других, взяты дядя Сережа Ухтомский, бывший издатель «Речи» Бак, проф. Лазаревский, которых я знала лично. Я вошла в парадную дверь с улицы. Было пусто и тихо. Через стеклянную дверь, выходившую в сад, была видна листва деревьев (Дом Литераторов, как и Дом Искусств, помещался в чьем-то бывшем особняке). И тогда я увидела в черной рамке объявление, висевшее среди других: «Сегодня, 7 августа, скончался Александр Александрович Блок». Объявление еще было сырое, его только что наклеили.

Чувство внезапного и острого сиротства, которое я никогда больше не испытала в жизни, охватило меня. Кончается... Одни... Это идет конец. Мы пропали... Слезы брызнули из глаз.

— О чем вы плачете, барышня? — спросил худенький, маленький человек с огромным кривоватым носом и прекрасными глазами. — О Блоке?

Это был Б. О. Харитон, которого я тогда не знала. Позже он стал эмигрантом, редактором рижской вечерней газеты. Советская власть, после взятия Риги в 1940 году, депортировала его в Советский Союз, где он и умер.

Он вышел на улицу, вынимая платок. Я тоже вышла вслед за ним.

Я медленно пошла к Литейному, повернула на Симеоновскую и Фонтанку. Здесь, на углу Симеоновской и набережной, я зашла в цветочный магазин. Да, как сейчас помню свое удивление, что в Петербурге открыт цветочный магазин. Открывались кухмистерские и комиссионные, было что-то вроде посудной лавки на Владимирском и парикмахерская на втором дворе на Троицкой. Но цветочного магазина, так казалось мне, здесь еще не было во вторник, когда мы проходили с Гумилевым, а теперь он был открыт и в нем стояли цветы. Я вошла. Не помню, входила ли я когда-нибудь до того в цветочный магазин, может быть, это было впервые. Цветочные магазины Петербурга когда-то в детстве были для меня сказочным местом. Цветочные магазины Парижа... Цветочные магазины Нью-Йорка... Все они имеют свой смысл. Денег у меня было немного. Я купила четыре белые лилии на длинных стеблях. Оберточной бумаги в магазине не было, и я понесла лилии на Пряжку открытыми. Мне чудилось: прохожие догадываются, куда я иду и кому несусь цветы, они читают объявления, расклеенные на углах улиц, все всё уже знают, и сейчас встречные повернут за мной и пойдут, и мы тихой толпой придем всем Петербургом к дому Блока.



Где-то на углу Казанской я села в трамвай, и когда я сошла в самом конце Офицерской, я сообразила, что никогда в жизни не была здесь и совершенно этих мест не знаю. Речка Пряжка, зеленые берега, заводы, низкие дома, трава на улицах, почему-то ни души. Вымерший, тихий край, край Петербурга, пахнет морем — или это мне только кажется?

Панихида была назначена в пять часов, я пришла минут на десять раньше. Так вот что предстояло мне в этот тоскливый день! Тоскуя и не зная, куда себя девать, я не могла предугадать, что этот день — число и месяц — никогда не забудутся, что этот день вырастет в памяти людей в дату и будет эта дата жить, пока живет русская поэзия. Большой, старый и давно не отремонтированный дом. Вход из-под ворот. Лестница, дверь в квартиру полуоткрыта. Вхожу в темную переднюю, направо дверь в его кабинет. Вхожу. Кладу цветы на одеяло и отхожу в угол. И там долго стою и смотрю на него.

Он больше не похож ни на портреты, которые я храню в книгах, ни на того, живого, который читал когда-то с эстрады:

Болотистым, пустынь... —

волосы потемнели и поредели, щеки ввалились, глаза провалились. Лицо обросло темной, редкой бородой, нос заострился. Ничего не осталось, ничего. Лежит «незнакомый труп». Руки связаны, ноги связаны, подбородок ушел в грудь. Две свечи горят, или три. Мебель вынесена, в почти квадратной комнате у левой стены (от двери) стоит книжный шкаф, за стеклом корешки. В окне играет солнце, виден зеленый покаты́й берег Пряжки. Входит Н.Павлович, которая неделю тому назад мелькнула мне в Доме Искусств, потом Пяст и еще кто-то. Я вижу входящих, но мало кого знаю — только месяца через два я опознала всех.

По-бабьи подперевшись рукой, Павлович, склонив голову, долго смотрит ему в лицо. Опухшая от слез, светловолосая, чернобровая, мелькает Е. Книпович; входят то П. Анненков, мать Блока и Любовь Дмитриевна вслед за ней. Ал. Ан. крошечная, с красным носиком, никого не видит. Л. Д. кажется мне тяжелой, слишком полной. Пришел священник, облачается в передней, входит с псаломщиком. Это — первая панихида. Уже во время нее я вижу М. С. Шагинян, потом несколько человек входят сразу (К. Чуковский, Замятин). Всего человек двенадцать–пятнадцать. Мы все стоим по левую сторону и по правую от него — одни между шкафом

и окном, другие между кроватью и дверью. Мариэтта Шагинян много лет спустя написала где-то об этих минутах: «Какая-то девушка принесла первые цветы». Замятин тоже упомянул об этом. Других цветов не было, и мои, вероятно, пролежали одни всю первую ночь у него в ногах.

На одеяле первые цветы...

.....

Пять лет тому...

Это из моих стихов 1926 года.

Потом я ушла. Опять Офицерская, Казанская, трамвайная площадка. И наконец я дома. К нам кто-то пришел, и теперь мы все пьем морковный чай с черным хлебом. Это празднуется день моего рождения — завтра будний день и будет не до того.

10-го, в среду, были похороны. Там я впервые увидела Белого. Я увидела, как под стройное, громкое пение (которое всегда так мощно вырывалось из русских квартир на лестницу, при выносе, и хор шел за покойником, переливаясь и гудя, будто наконец-то вырвался мертвец из этой квартиры и вот теперь плывет, ногами вперед) спускались Белый, Пяст, Замятин, другие, высоко на плечах неся гроб. Л. Д. вела под руку Ал. Ан., священник кадил, в подворотне повернули на улицу, уже начала расти толпа. Все больше и больше — черная, без шапок, вдоль Пряжки, за угол, к Неве, через Неву, поперек Васильевского острова — на Смоленское. Несколько сот людей ползли по летним, солнечным, жарким улицам, качался гроб на плечах, пустая колесница подпрыгивала на бульжной мостовой, шаркали подошвы. Останавливалось движение, теплый ветер дул с моря, и мы шли и шли, и, наверное, не было в этой толпе человека, который бы не подумал — хоть на одно мгновение — о том, что умер не только Блок, что умер город этот, что кончается его особая власть над людьми и над историей целого народа, кончается период, завершается круг российских судеб, останавливается эпоха, чтобы повернуть и помчаться к иным срокам.

Потом все затихло. Две недели мы жили в полной, словно подземной, тишине. Разговаривали шепотом. Я ходила в дом Мурузи, в Дом Литераторов, в Дом Искусств. Всюду было молчание, ожидание, неизвестность. Наступило 24 августа. Утром рано, я еще была в кровати, вошла ко мне Ида Наппельбаум. Она пришла сказать, что на углах улиц вывешено объявление: все расстреляны. И Ухтомский,



и Гумилев, и Лазаревский, и, конечно, Таганцев — шестьдесят два человека. Тот август не только «как желтое пламя, как дым», тот август — рубеж. Началось «Одой на взятие Хотина» (1739), кончилось августом 1921 года, все, что было после (еще несколько лет), было только продолжением этого августа: отъезд Белого и Ремизова за границу, отъезд Горького, массовая высылка интеллигенции летом 1922 года, начало плановых репрессий, уничтожение двух поколений — я говорю о двухсотлетнем периоде русской литературы; я не говорю, что она кончилась, — кончилась эпоха.

Ида и я держали друг друга за руки, стоя перед стенгазетой, на углу Литейного и Пантелеймоновской. Там, в этих строчках, была вписана и наша судьба. Ида потеряет мужа в сталинском терроре, я никогда не вернусь назад. Там было все это напечатано, но мы не умели этого прочесть...

Лукницкий. АА шутила по поводу «девушек», удивлявшихся в 1921 году воспитанности Н. С. «Они никогда не видели вежливых людей! И до сих пор они удивляются Лозинскому: им странной кажется его воспитанность. Они недоумевают: что он, нарочно такой? Неужели нарочно так держится?!»

АА думает, что Н. С., так ясно чувствуя враждебное отношение к себе блоковской компании, вероятно, подсознательно относил к этой компании и АА. В действительности, конечно, этого не было, АА не была ни в каких «компаниях» вообще, держалась очень обособленно от всех и вела очень замкнутый образ жизни.

Ко всем этим разговорам нужно поставить в примечании то, что Николай Степанович боялся АА — всегда как-то боялся ее...

Анна Гумилева. В последний раз в жизни мне пришлось видеть Колю в самом конце июля 1921 года (1-го августа я уехала с больным мужем). Муж очень плохо себя чувствовал и просил меня зайти к Коле и принести привезенные им письма от Анны Ивановны. Коля, будучи у нас утром, забыл их захватить. Когда я пришла к нему, он меня встретил на лестнице и сказал: «А я как раз собирался к вам с письмами мамы. Какой сегодня чудный солнечный день, пройдемтесь немного, а затем зайдем вместе к Мите». И мы пошли прямо по Преображенской улице к Таврическому саду. Гуляя по вековым аллеям роскошного сада, разговорились; затем сели под дуб на скамейку отдохнуть. Тут поэт разоткровенничался. Первый раз

за всю мою двенадцатилетнюю жизнь в их доме он был со мною откровенен. Сначала он рассказывал о путешествиях, потом перешел на свои взгляды на жизнь, на брак, много говорил о своих душевных переживаниях и о тех минутах одиночества, когда, уйдя в себя, он думал о Боге.

*Есть Бог, есть мир, они живут вовек,
И жизнь людей мгновенна и убога,
Но все в себе вмещает человек,
Который любит мир и верит в Бога.*

Потом стал спрашивать меня о моей жизни, о любви к мужу и спросил, была ли я с ним счастлива за двенадцать лет. На мой утвердительный ответ и под влиянием этой интимной беседы, Коля стал мне декламировать, как сейчас помню, свое стихотворение «Соединение»:

*Луна восходит на ночное небо.
По озеру вечерний ветер бродит,
Целуя осчастливленную воду.
О, — как божественно соединенье
Извечно созданного друг для друга —
Но люди, созданные друг для друга,
Соединяются, увы, так редко!*

Потом мы медленно, молча пошли домой. Такого бесконечно грустного Колю я никогда не видела. Это была последняя в жизни прогулка с Колей. Она надолго осталась у меня в памяти. Тогда мне и в голову не могло прийти, что его мысли омрачаются предчувствием скорой гибели и что он думал о «пуле, что его с землей разлучит»...

Лукницкий. Дом искусств. Вернулись с А. Н. с вечера. Стлали постель. Николай Степанович уже постелил А. Н. и стлал свою. Хотел почитать Жуковского...

*Приход с Гомером.
Гомера отобрали.*

Письма: Анне Николаевне — две открытки, Вольфсону — одна открытка, которую он обнаружил после. Слухи о переводе в Москву (думали в Союзе).



Хлопоты Союза. Волынский: «Мне лицо его не понравилось». Оцуп: «Освободят в воскресенье». Горький — сидел запершись и никого не принимал. А. Н. говорит, что Садофьев хлопотал.

У меня сохранился листок, бегло исписанный карандашом, записки рассказанного мне Анной Николаевной Энгельгардт. Это все из записи ее воспоминаний, пропавших вместе с записями воспоминаний близких и друзей, примерно полусотня тетрадок в четверку стандартного листа бумаги. Сохранившийся листок — черновик переписанной тогда же записи, точнее, части этой записи, сделанной со слов А. Н. Энгельгардт (помнится — в 1925 году)...

Вот эта запись:

«6 августа н. стилия — 25 июля по ст. стилю — в день Анны. В этот день он читал лекцию в Доме искусств, а с ними играл в разные игры. Накануне он ночевал у Оцупа...

...Леночку...

Встала в 10 часов утра. Я должна была уехать за город к дочери. Я сказала, что приеду только в 11–12 ночи. Я оставила ему записку, уезжая. Когда я приехала, в 11 часов вечера я была дома, мы сидели и думали: стоит нам кипятить чай или нет. Чая не пили. Он стал ложиться, попросил Жуковского... (Перед тем он принес от Ефима (служителя в Доме искусств. — И. Т.) две бутылки лимонаду.)»

АА говорила о том ужасе, который она пережила в 1921 году, когда погибли три самых близких ей духовно, самых дорогих человека — А. Блок, Николай Степанович и Андрей Андреевич Горенко.

«Через несколько дней после похорон Блока я уехала в Царское Село, в санаторию. Рыковы жили в Царском тогда, на ферме, и часто меня навещали — Наташа и Маня. Я получила письмо от Владимира Казимировича из Петербурга, в котором он сообщал мне, что виделся с А. В. Ганзен, которая сказала ему, что Гумилева увезли в Москву (письмо это у меня есть). Это почему-то все считали хорошим знаком.

Ко мне пришла Маня Рыкова, сидели на балконе во втором этаже. Увидели отца, Виктора Ивановича Рыкова, который подошел, — вернулся из города и шел домой к себе на ферму».

Он увидел дочь и позвал ее. Та встает, идет. Он ей что-то говорит, и АА видит, как та вдруг всплескивает руками и закрывает ими лицо. АА, почувствовав худое, ждет уже с трепетом, думая, однако, что несчастье случилось в семье Рыковых. Но когда М. В., возвращаясь, направляется к ней... (М. В. подходит и произносит только: «Николай Степанович...») — АА сама уже все поняла.

«Отец прочел в вечерней „Красной газете“».

Я жила в комнате, в которой было еще пять человек и среди них одна (соседка по кровати — член совдепа). Она в этот день ездила в город, в заседание, которым подтверждалось постановление. Вернулась и рассказывала об этом другим больным.

Утром поехала в город, на вокзале увидела «Правду» на стене. Шла с вокзала пешком в Мраморный дворец к Вольдемару Казимировичу. Он уже знал.

Говорили по телефону с Алянским, который сказал о панихиде в Казанском соборе: «Казанский собор...» Я поняла. Была на панихиде и видела там Анну Николаевну, Лозинского, были Георгий Иванов, Оцуп, Адамович, Любовь Дмитриевна Блок была и очень много народу вообще».

Последний год его жизни начинался обыкновенно, буднично, без предчувствий и тревог. Была такая же, как и прошлые две, трудная, холодная, голодная зима — надо было выживать.

Анна Гумилева. 25-го августа 1921 года трагически погиб наш талантливый поэт Николай Степанович Гумилёв. Мы узнали об этом из газет. На здоровье моего бедного тяжело больного мужа гибель единственного любимого брата сильно подействовала. Он проболел еще некоторое время и тихо скончался. Несмотря на дружеские отношения с братом, поэт скрыл от него, от всей семьи и даже от матери, с которой был так откровенен, свое участие в заговоре...

Александра Сверчкова. Дмитрий Степанович (Гумилев. — *И. Т.*) был кадровым офицером, участвовал в войне, имел награды. Жена его, Анна Андреевна Фрейганг (Гумилева. — *И. Т.*), безумно любя мужа, пошла в сестры милосердия в ту часть, где был Митя. Он был контужен, лежал в госпитале и после революции, когда было предложено, кто желает, возвращаться на родину, уехал с женой в Ригу к ее родителям, у которых было имение недалеко от г. Режицы. Сначала письма приходили часто, у Мити сильно болела нога, стала сохнуть, от контузии бывали нестерпимые головные боли. Затем пришло известие, что он умер. Вдова его, Анна Андреевна, очень милая особа, хорошая семьянинка, всегда относилась по-родственному к семье мужа, тем горестнее теперь не иметь о ней никаких известий.

Трагическая смерть Николая Степановича очень сильно поразила семью в Бежецке. Александра Степановна, которая первая



узнала из газет об этом, сразу лишилась рассудка. «Как я скажу маме?» — твердила она, бегая по комнатам и ломая руки, и ничего не слушала, кто говорил, что Анна Ивановна уже все знает. Только один Лева (Лев Николаевич Гумилев) мог ее успокоить. Наконец, доктор дал ей снотворного, и она затихла. У Варвары Ивановны сделался потрясающий озноб, и она слегла и умерла 2/XII того же года. Что касается до Анны Ивановны, то кто-то уверил ее, что Николай Степанович не такой человек, чтобы так просто погибнуть, что ему удалось бежать, и он, разумеется, при помощи своих друзей и почитателей, проберется в свою любимую Африку. Эта надежда не покидала ее до смерти. Она ждала сына, ждала внука, и писала письма Анне Андреевне Ахматовой, умоляя сообщить, что она о них знает. Но черствое сердце Анны Андреевны оставалось глухо к ее мольбам. Перед своей смертью Анна Ивановна — она четыре года лежала, не вставая, в постели, — попросила свою приятельницу А. С. К. написать под ее диктовку Леве письмо, в котором просила его не оставить «тетю Шуру и Аннушку», помогать им, так как они помогали ей в течение 20 лет, что она прожила у своей падчерицы в полном покое и довольстве, что было трудно достигнуть, ввиду голода и ухода Александры Степановны со службы. Продавали и меняли в Торгсине все, что желала Анна Ивановна. Она умерла 24 декабря 1942 г., прожив у Александры Степановны ровно 20 лет. Умерла спокойно, как жила: покушала манной каши, заснула в 6 часов вечера, а в 10 часов умерла, не просыпаясь, 88 лет от роду, «без двух девяносто», как говорил прадедушка...



Анна Ахматова

...В 1924 три раза подряд видела во сне Х — 6 лет собирала «Труды и дни» и другой материал: письма, черновики, воспоминания. В общем, сделала для его памяти все, что можно. Поразительно, что больше никто им не занимался. Так называемые ученики вели себя позорно... За границей они все от него отреклись.

Невнимание критиков (и читателей) безгранично. Что они вычитывают из молодого Гумилева, кроме озера Чад, жирафа, капитанов и прочей маскарадной рухляди? Ни одна его тема не прослежена, не угадана, не названа. Чем он жил, к чему шел? Как случилось, что из всего вышеназванного образовался большой замечательный поэт, творец «Памяти», «Шестого чувства», «Трамвая» и тому подобных стихотворений?.. Ввергают меня в полное уныние, а их слышишь каждый день.

25 апреля 1910 я вышла замуж за Н. С. Гумилева и вернулась после пятимесячного отсутствия в Царское Село...

В отношении Николая Степановича к моим стихам тоже надо наконец внести ясность, потому что я до сих пор встречаю в печати (зарубежной) неверные и нелепые сведения. Так, Страховский пишет, что Гумилев считал мои стихи просто «временным проведением жены поэта», а... (в Америке ж), что Гумилев, женившись на мне, стал учить меня писать стихи, но скоро ученица превзошла... и т. п. Все это сущий вздор! Стихи я писала с 11 лет совершенно независимо от Николая Степановича, пока они были плохи, он, с свойственной ему неподкупностью и прямоотой, говорил мне это. Затем случилось следующее: я прочла (в брюлловском зале Русского музея) корректуру «Кипарисового ларца» (когда приезжала в Петербург в начале 1910 г.) и что-то поняла в поэзии. В сентябре Николай Степанович уехал на полгода в Африку, а я за это время написала то, что примерно, стало моей книгой «Вечер». Я, конечно, читала эти стихи моим новым литературным знакомым. Маковский взял несколько в «Аполлон» и т. д. (см. «Аполлон», 1911 г., № 4, апрель). Когда 25 марта Николай Степанович вернулся, он спросил меня, писала ли я стихи, — я прочла ему все, сделанное мною, и он о их поводе произнес те слова, от которых, по-видимому, никогда не отказался (см. его рецензию на сборник «Арион»). ...Напоминаю, что я выходила замуж не за главу



акмеизма, а за молодого поэта — символиста, автора книги «Жемчуга» и рецензии на стихотворные сборники («Письма о русской поэзии»). Акмеизм возник в конце 1911 г., в десятом году Гумилев был еще правоверным символистом...

В стихах Николая Степановича везде, где луна («И я отдал кольцо этой деве Луны...») — это я... Последнее воспоминание (в «Памяти»): «Был влюблен, жег руки...».

Машу Кузьмину — Караваеву, которая его не любила, он ни в чем не попрекает, а только благословляет и живую и мертвую. До самого конца.

Самой страшной я становлюсь в «Чужом небе» (1912), когда я в сущности рядом (влюбленная в Мефистофеля Маргарита, женщина-вамп в углу, Фанни с адским зверем у ног, просто отравительница, киевская колдунья с Лысой Горы) (а выйдет луна — затомится). Там борьба со мной! Не на живот, а на смерть! (И упрек: Но как...) А потом:

*Ты победительница жизни,
И я товарищ вольный твой.*

и:

*Я ведаю, что обо мне, далеко,
Звонит Ахматовой сиренный стих.*

Когда в 1910 г. люди встречали двадцатилетнюю жену Н. Гумилева, бледную, темноволосую, очень стройную, с красивыми руками и бурбонским профилем, то едва ли приходило в голову, что у этого существа за плечами уже очень большая и страшная жизнь, что стихи 10–11 гг. не начало, а продолжение.

..Как можно придавать значение и вообще подпускать к священной тени мещанку и кретинку А. А. Гумилеву, которая к тому же ничего не помнит не только про Н. Гумилева, но и про собственного мужа. Единственным близким человеком в доме для Николая Степановича была мать. Об отце он вообще никогда не говорил (характер Степана Яковлевича), над Митей открыто смеялся и так же открыто презирал.

...этой бойкой шайке (мемуаристов. — И. Т.) удалось изъять из биографии Николая Степановича даже меня. В данном случае мне

жаль не столько Гумилева как человека, а как поэта. Все начало его творчества оказывается парнасской выдумкой («поражает безличностью» и т. д. И это всерьез цитирует якобы настоящий биограф в 1962 г.), а это стихи живые и страшные, это из них вырос большой и великолепный поэт... Его страшная сжигающая любовь тех лет выдается за леконтделилевщину, и биограф через полвека выдает это как факт непререкаемый. Неужели вся история литературы строится таким манером?

В никаких цирковых программах я не участвовала (1911–1912), верхом не ездила (в 1912 донашивала ребенка), а когда все в Подобине или в Дубровке (летом 1913 г. Гумилев был в Африке) валялись на сеновале, может быть раза два и демонстрировала свою гибкость. У Веры Алексеевны Неведомской был, по-видимому, довольно далеко зашедший флирт с Николаем Степановичем, помнится, я нашла не поддающееся двойному толкованию ее письмо к Коле, но это уже тогда было так не интересно, что об этом просто не стоит вспоминать.

Ездить верхом не умел. Конечно, в 1911–12 гг. ездить верхом не умел, но в маршевом эскадроне Уланского полка осенью 1914 г. (деревня Наволоки около Новгорода) он, по-видимому, все же несколько научился это делать, так как почти всю мировую войну провел в седле, а по ночам во сне кричал: «По коням!» Очевидно, ему снились ночные тревоги, и второй Георгий получил за нечто, совершенное на коне. А когда В. А. Чудовский приезжал ко мне из Петербурга в Царское Село верхом, Коля недоумевал, зачем это ему нужно, и говорил, что у них в полку в подобных случаях спрашивали: «Что ты, голубчик, моряк?»

Почему нигде и никогда не прочла, что развод попросила я, когда Николай Степанович приехал из-за границы в 1918, и я уже дала слово В. К. Шилейко быть с ним...

Почему этим, якобы грамотеям, не приходит в голову отметить тот довольно, по-моему, примечательный факт, что на моих стихах нет никакого влияния Гумилева, несмотря на то, что мы были так связаны, а весь **акмеизм** рос от его наблюдения над моими стихами тех лет, так же как над стихами Мандельштама... Что Николай Степанович не любил мои ранние стихи — это правда. Да и за что их можно было любить! — Но, когда 25 марта 1911 г. он вернулся из Аддис-Абебы, и я прочла ему то, что впоследствии



стало называться «Вечер», он сразу сказал: «Ты — поэт, надо делать книгу». И если бы он хоть чуть-чуть в этом сомневался, неужели бы он пустил меня в акмеизм? Надо попросту ничего не понимать в Гумилеве, чтобы на минуту допустить это. Оно, впрочем, так и есть. Примерно половина этой достойной шайки... честно не представляет себе, чем был Гумилев; другие, вроде Веры Неведомской, говоря о Гумилеве, принимают какой-то идиотский покровительственный тон; третьи сознательно и ловко передергивают (Г. Иванов). Ярость Одоевцевой уже совсем непонятна. А все вместе это, вероятно, называется славой. И не так ли было и с Пушкиным, и с Лермонтовым. Гумилев — поэт еще не прочитанный. Визионер и пророк. Он предсказал свою смерть с подробностями вплоть до осенней травы. Это он сказал: «На тяжелых и гулких машинах...»...

Конечно, очень мило, что семейная легенда хочет (*le legende veut*) видеть его однолюбом и рыцарем Прекрасной Дамы — Марии Александровны Кузьминой — Караваевой (+декабрь 1911), тем более, что Николай был действительно влюблен в Машу и посвятил ей весь первый отдел «Чужого неба» (это собственно стихи из Машиного альбома), но однолюбом Гумилев не был. (Когда он предложил Л. Рейснер (1916 г.) жениться на ней, а она стала ломать руки по моему поводу, он сказал: «Я, к сожаленью, ничем не могу огорчить мою жену».) В том же «Чужом небе» в следующих отделах помещены стихи, которые относятся или прямо ко мне («Из города Киева» и «Она»), или так или иначе связанные с нашими отношениями. Их много и они очень страшные. Последним таким стихотворением были «Ямбы» (1913 г.), в котором теперь проникательные литературоведы (Г. Струве и Оцуп) начинают узнавать меня (и только потому, что, по их мнению, запахло разрывом). А где они были, когда возникали «Романтические цветы» — целиком просто посвященные мне (Париж, 1908), а в «Жемчугах» $\frac{3}{4}$ лирики тоже относится ко мне (ср. Еву в «Сне Адама», «Рощи пальм...»). Думается, это произошло потому, что к стихам Гумилева никто особенно внимательно не относился (всех привлекает и занимает только экзотика) и героиня казалась вымышленной. А то, что это один и тот же женский образ (возникший еще в «Пути конквистадоров», а иногда просто портрет (Анна Комнена), никому и в голову не приходило.

Кроме напечатанных стихотворений того времени существует довольно много в письмах к Брюсову стихов, где эта тема звучит с той же трагической настойчивостью.

Последний раз Гумилев вспоминает об этом в «Эзбеки» (1918) и в «Памяти» (1920?) — «Был влюблен, жег руки, чтоб волненье...», т. е. в последний год своей жизни.

Весь цикл «Чужого неба» очень цельный и двойному толкованию не поддается. Это ожесточенная «последняя» борьба с тем, что было ужасом его юности — **с его любовью**. Стихотворений не очень много, они разительно отличаются от Машиного альбомного цикла и одно страшнее другого.

После дуэли Вячеслав Иванов и Анненский были у Гумилева, а Волошин скрылся с петербургского горизонта и стал ездить в Москву.

Лизавета Ивановна все же чего-то не рассчитала. Ей казалось, что дуэль двух поэтов из-за нее сделает ее модной петербургской дамой и обеспечит почетное место в литературных кругах столицы, но и ей почему-то пришлось почти навсегда уехать (она возникла в 1922 г. из Ростова с группой молодежи...). Она написала мне надрывное письмо и пламенные стихи Николаю Степановичу. Из нашей встречи ничего не вышло. Всего этого никто не знает. В Коктебеле болтали и болтают чушь.

Очевидно, в то время (09–10 гг.) открылась какая-то тайная вакансия на женское место в русской поэзии. И Черубина устремилась туда. Дуэль или что-то в ее стихах помешали ей занять это место. Судьба захотела, чтобы оно стало моим. Замечательно, что это как-то полупонимала Марина Цветаева. (Найти в ее «Прозе» это место). Какой, между прочим, вздор, что весь «Аполлон» был влюблен в Черубину. Кто? — Кузмин, Зноско-Боровский? — и откуда этот образ скромной учительницы. Дмитриева побывала уже в Париже, блистала в Коктебеле, дружила с Марго, занималась провансальской поэзией, а потом стала теософской богородицей.

А вот стихи Анненского, чтобы напечатать ее, Маковский действительно выбросил из первого номера, что и ускорило смерть Иннокентия Федоровича... «Не будем больше говорить об этом и постараемся не думать». Об этом Цветаева не пишет, а разводит вокруг Волошина невообразимый, очень стыдный сюжет.

Сохранились письма **Ларисы Рейснер** («К сожалению, я ничем не могу огорчить мою жену» — так передала мне Лариса слова



Николая Степановича, это когда она сказала, что боится огорчить меня, выйдя за него замуж). Как я теперь думаю, весь мой протест в этом деле было инстинктивное желание сохранить себя, свой путь в искусстве, свою индивидуальность. Действительно поразительно, как девочка, 10 лет находившаяся в непосредственной близости от такого властного человека и поэта, наложившего свою печать на несколько поколений молодых, ни на минуту не поддавалась его влиянию и, наоборот, он от внимательного наблюдения за ее творчеством как-то изменился (имею в виду «Чужое небо»), но это уже другая тема, которая, скорее, относится к зарождению акмеизма...

Я делаю это не для себя, но неверное толкование истоков поэзии Гумилева, это отсечение начала его пути, ведут к целому ряду самых плачевных заблуждений. Выбросить меня из творческой биографии Гумилева так же невозможно, как Л.Д.Менделееву из биографии Блока. Я не претендую ни на что после «Ямбов» (1913). О своей «страшной» любви Гумилев вспоминает потом только два раза: 1) «Эзбекие» (1918) (ровно десять лет назад)

2) «Память» (1920) первый раз с ужасом, второй, особенно значительный, звучит так:

*Был влюблен, жег руки, чтоб волненье
Усмирить, слагал стихи тогда,
Ведал солнце ночи — вдохновенье,
Дни окостенелого труда.
Мне совсем не нравится он — это
Он хотел быть богом и царем,
Он повесил вывеску поэта
Над дверьми в мой одинокий дом.*

Это последние слова Гумилева о его царскосельско-парижской трагедии и которые дурные критики принимали за леконгделивщину.

Из нее вырос поэт, которого сейчас так ценят, оттуда его донжуанство, его страсть к путешествиям, которыми он лечил душу, и оттуда — **Стихи**.

...из той любви вырос поэт. Но из нее же вырос и Дон Жуан, и Путешественник. И донжуанством, и странствиями он лечил себя от того

смертельного недуга, который так тяжело поразил его и несколько раз приводил к попыткам самоубийства. В сущности, все рассказано в стихах всеми словами, такой молодой и неопытный поэт, конечно, еще не умел шифровать свои стихи. Стоит только выбрать нужные цитаты и сопоставить их, может быть, даже разделив на периоды...

В этой книге («Романтические цветы. — *И. Т.*) весь ужас этой любви — все ее кошмары, бред и удушье. Призрак самоубийства неотступно идет за Поэтом. К этому следует добавить, что это только «избранные» стихи того периода... К этому времени Она становится для поэта — Лилит, т. е. злым и колдовским началом в женщине. Он начинает прозревать в ней какую-то страшную силу. Надписывает «Цветы зла»: «Лебедю из лебедей — путь к его озеру»...

И последний цикл стихов в «Чужом небе» — повесть о том, что случилось с ним и его любовью, как он с ней борется, какая она все же страшная, но в этих стихах уже и **освобождение**. Тут же цикл стихов из Машиного альбома. Потом — только «Ямбы».

На дальнейшее творчество Николая Степановича я не претендую. Он писал и М.Левберг... и его своей «большой любви» Тане Адамович (познакомился 6 января 1914 г.), и будущей жене А.Н.Энгельгардт (см. их переписку), и Арбениной, и Одоевцевой. Целый сборник посвящен парижской даме (к «Синей звезде»).

Стихи из «Чужого неба», ко мне обращенные, несмотря на всю их мрачность, уже путь к освобождению, которое, по мнению некоторых лиц, никогда не было полным, но, предположим, что было. После «Ямбов» я ни на что не претендую. Но и в «Чужом небе» я не одна.

Цикл стихов Маше — просто стихи из ее альбома, там же какая-то лесбийская дама (не то В.Яровая, не то Паллада), потом (уже в 14 г.) Таня Адамович, М.Левберг, Тумповская, Лариса Рейснер, А.Энгельгардт. На ком-то он собирался жениться (Рейснер), на ком-то женился (Энгельгардт), по кому-то сходил с ума («Синяя звезда»), с кем-то ходил в меблированные комнаты (Ира?), с кем-то без особой надобности заводил милые романы (Дмитриева и Лиза Кузьмина-Караваева), а от бедной милой Ольги Николаевны Высотской даже родил сына Ореста (13 г.). Все это не имело ко мне решительно никакого отношения. Делать из меня ревнивую жену



в 10-х годах очень смешно и очень глупо... но так как я привыкла доходить до корня вещей, — мне стало ясно, что старушкам в эмиграции очень захотелось, чтобы к ним ревновала Ахматова своего мужа, что они были как минимум *m-mes* Виже Лебрен, Адерины Патти, Лины Кавальери, *m-me de* Сталь и *m-me* Рекамье. Это несомненно их священное право, но лучше пусть они теснятся вокруг книг Николая Степановича и выбирают, кому вершки, кому корешки, и оставят меня в покое. Обо всем, что я написала в этой тетради, они не имели представления. Ни Гумилев, ни я не разглашали подробности наших отношений, эти дамы (и кавалеры) застали нас в совершенно иной (завершительной) стадии, они и не подозревали и до сих пор не подозревают о трагических годах 05-09, о том, сколько раз я разрушала наши отношения и отрекалась от него, сколько раз он, по секрету от родных, заняв деньги у ростовщика, приезжал, чтобы видеть меня (в Киев в 1907 г., на дачу Шмидта летом 07 г. возле Херсонеса, в Севастополь, в Люстдорф в 1909 под Одессой, опять в Киев), как в Париже через весь город ездил взглянуть на дощечку — Boulevard Sebastopol, потому что я жила в Севастополе, как он не мог слушать музыку, потому что она напоминала ему обо мне, как он ревновал, причем, чтобы доказать его ревность по стихам, не надо пускаться на такие мелкие хитрости, как Мако (Маковский. — *И. Т.*)... который цитирует вторую и третью строфы (цитата) и опускает первую:

*Муж хлестал меня узорчатым
Вдвое сложенным ремнем.
Для тебя в окошке створчатом
Я всю ночь сижу с огнем -*

Из которой следует, что ревность героини обращена отнюдь не к мужу, если уж стихи обо мне. Хотя очевидно, никакой муж и т. д., и никого я не ждала до зари. Как, наконец, получив после длительного молчания мое самое обыкновенное письмо, ответил, что он окончательно понял, что все на свете его интересует постольку, поскольку это имеет отношение ко мне, как из моей брошки (голова и крылья орла) он сделал одно из своих самых значительных стихотворений, как от обиды и ревности ездил топиться в Трувилль и в ответ на мою испуганную телеграмму ответил так: «*Viverai toujours*» (поживу еще (*фр.*) — *И. Т.*), как он расска-

зывал Алексею Толстому, что из-за меня травился на fortifications (укреплениях (*фр.*) — *И. Т.*) (это было записано со слов Толстого).

Уже когда в начале 20-х годов я руководила сборами воспоминаний о Николае Степановиче, я называла эти и еще очень многие женские имена, не для сплетен, разумеется, а для того чтобы указать, к кому что относится.

Ошибка современных зарубежных литературоведов заключается главным образом в том, что они видят автобиографию только в «Ямбах»...

Я совершила по этой поэзии долгий и страшный путь и со светильником и в полной темноте, с уверенностью лунатика шагая по самому краю. Сама я об этом не писала ни тогда, ни потом. Кроме двух стихотворений — одно из них даже напечатано, но описанию домашних ночных страхов царскосельского дома посвящена одна из семи «Ленинградских элегий» — 1921 г. («В том доме было очень страшно жить...»). Я знаю главные темы Гумилева. И главное — его тайнопись.

В последнем издании Струве* отдал его на растерзание двум людям, из которых один его не понимал (Брюсов), а другой (Вячеслав Иванов) — ненавидел.

Мне говорят, что его (Глеба Струве) надо простить, потому что он ничего не знает. Я тоже многого не знаю, но в таких случаях избегаю издавать непонятный мне материал. Писать про мать сына Гумилева Ореста, ныне здравствующую (О. Н. Высотскую), что «не удалось выяснить, кто это», считать женой Анненского жену его сына (Кривича) Наталию Владимировну, рожденную фон Штейн, сообщать, что адмирал Немитц был расстрелян вскоре после Гумилева, и этим препятствовать выходу стихов Николая Степановича на родине, жалеть, что нет воспоминаний Волошина и Кузмина, называя их друзьями, в то время как они были лютые враги, приводить впечатления 8-летнего Оцупа о внешности Гумилева, верить трем дементным старухам (А. А. Гумилевой, В. А. Неведомской, И. Одоевцевой), все забывшим, всем мощно опошляющим и еще сводящим какие-то свои темные счета — все это едва ли достойное занятие, когда дело идет о творчестве и жизни большого поэта и человека сложного и исключительного.

* Струве, Глеб (1898–1985) — русский поэт, литературный критик и литературовед, переводчик.



Но, конечно, Глебу Струве еще далеко до озарений 83-летнего Маковского, о которых придется говорить отдельно.

В Петербурге Маковского никто никогда не принимал все-ррез. Его называли и «моль в перчатках». Таким он и остался, при-обреая в эмиграции все, что полагалось там приобрести. (Надо думать, что у старика (С. К. Маковского) в эмиграции были очень жестокие враги, которые так беспощадно расправились с ним. Выдумка про мою ревность совершенно бесподобна. У Масо или не было моих книг, или он не удосужился их перечитать. А там ведь все написано...) Кроме того, он, по-видимому, попал в какой-то специфический слепневский кружок... они... занялись на досуге пустыми и зловредными сплетнями о людях, которые уже не могли защитить себя — о Гумилеве и обо мне... Поступить так толкают меня не личные соображения, а уважение к памяти так страшно погибшего поэта. Отсечение его корней или неверное толкование истоков творчества никогда не помогло понять и его расцвет.

Бесконечное жениховство Николая Степановича и мои столь же бесконечные отказы наконец утомили даже мою кроткую маму, и она сказала мне с упреком: «Невеста невестная», что показало мне кощунством. Почти каждая наша встреча кончалась моим отказом выйти за него замуж. А «рара Масо» пишет: «Он не торопился жениться». Нет, Сергей Константинович, он очень торопился.

Маргарита

Мне в юности приснился странный сон, будто кто-то (правда, не помню кто) мне говорит: «Фауста вовсе не было — это всё придумала Маргарита... а был только Мефистофель...». Не знаю, зачем снятся такие страшные сны, но я рассказала мой сон Николаю Степановичу. Он сделал из него стихи. Ему была нужна тема гибели по вине женщины...

1. Николай Степанович говорил, что согласился бы скорее просить милостыню в стране, где нищим не подают, чем перестать писать стихи. 2. Когда в 1916 г. я как-то выразила сожаление по поводу нашего, в общем, несостоявшегося брака, он сказал: «Нет — я не жалею. Ты научила меня верить в Бога и любить Россию».

3. Сейчас, как читатель видит, я не касаюсь тех особенных, исключительных отношений, той непонятной связи, ничего общего не имеющей ни с влюбленностью, ни с брачными отношениями, где я называюсь «тот другой» («И как преступен он, суровый»), ко-

торый «положит посох, улыбнется и просто скажет: «Мы пришли»». Для обсуждения этого рода отношений действительно еще не настало время. Но чувство именно этого порядка заставило меня в течение нескольких лет (1925–1930) заниматься собиранием и обработкой материалов по наследию Гумилева.

Этого не делали ни друзья (Лозинский), ни вдова, ни сын, когда вырос, ни так называемые ученики (Георгий Иванов). Три раза в одни сутки я видела Николая Степановича во сне, и он просил меня об этом...

Теперь настает очередь Маковского. Сейчас прочла у Драйвера*, что они, Маковские, почему-то стали моими конфидентами, и против воли Гумилева. Сергей Константинович напечатал мои стихи в «Аполлоне» (1911). Я не позволю оскорблять трагическую тень поэта нелепой и шутовской болтовней, и да будет стыдно тем, кто напечатал этот вздор.

Вначале я действительно писала очень беспомощные стихи, что Николай Степанович и не думал от меня скрывать. Он действительно советовал мне заняться каким-нибудь другим видом искусства, например, танцами («ты такая гибкая»). Осенью 1910 г. Гумилев уехал в Аддис-Абебу. Я осталась одна в гумилевском доме (Бульварная, дом Георгиевского), как всегда, много читала, часто ездила в Петербург (главным образом, к Вале Срезневской, тогда еще Тюльпановой), побывала и у мамы в Киеве, и сходила с ума от «Кипарисового ларца». Стихи шли ровной волной, до этого ничего похожего не было. Я искала, находила, теряла. Чувствовала (довольно смутно), что начинает удаваться. А тут и хвалить начали. А вы знаете, как умели хвалить на Парнасе серебряного века! На эти бешеные и бесстыдные похвалы я довольно кокетливо отвечала: «А вот моему мужу не нравится». Это запоминали, раздували, наконец, это попало в чьи-то мемуары, а через полвека из этого возникла гадкая злая сплетня, преследующая «благородную цель» — изобразить Гумилева не то низким завистником, не то человеком, ничего не понимающим в поэзии. «Башня» ликовала...

25 марта 1911 г. (Благовещенье старого стиля) Гумилев вернулся из своего путешествия в Африку (Аддис-Абеба). В нашей первой беседе он, между прочим, спросил меня: «А стихи ты писала?» я, тайно ликуя, ответила: «Да». Он попросил почитать,

* Драйвер, Сэм Норманн – американский славист, автор монографии «Анна Ахматова и ее поэтическое окружение»



прослушал несколько стихотворений и сказал: «Ты поэт — надо делать книгу». Вскоре были стихи в «Аполлоне» (1911, № 4.)...

Вернувшись в Царское Село, Коля написал мне два акростиха (они в моем альбоме) — «Ангел лег у края небосклона» и «Аддис-Абеба — город роз». В те же дни он сочинил за моим столиком «Из города Киева» — полушутка, полустрашная правда. Снова признание своего бессилья в нашей вечной борьбе, о котором столько говорится в прошлых стихах (... «И оставался хром, как Иаков»). Я сейчас записала про акростихи...Замечание, что Гумилеву нравились мои стихи, вызывает некоторое недоумение.

По тогдашним правилам поведения ему совсем не подобало печатно хвалить стихи своей жены...

Тринадцатая осень века, т. е., как оказалось потом, **последняя** мирная, памятна мне по многим причинам, о которых здесь не следует говорить, но кроме всего я готовила к печати мой второй сборник — «Четки» и, как всегда, жила в Царском Селе. В это время я позировала Анне Михайловне Зельмановой — Чудовской, часто ездила в Петербург и оставалась ночевать «на тучке».

Гумилев приехал домой только утром. Он всю ночь играл в карты и, что с ним никогда не случалось, был в выигрыше. Привез всем подарки: Леве — игрушку, Анне Ивановне — фарфоровую безделушку, мне — желтую восточную шаль. У меня каждый день был озноб (t.b.c.), и я была рада шали. Это ее Блок обозвал испанской, Альтман на портрете сделал шаль шелковой, а женская «молодежь тогдашних дней» сочла для себя обязательной модой. Подробно изображена эта шаль на плохом портрете Ольги Людвиговны Кардовской.

Как всегда бывало в моей жизни, случилось то, чего я больше всего боялась. Бульварные, подтасованные, продажные и просто глупые мемуары попали в научные работы. Первый попался на эту удочку Бруно Карневали (Падуанский сборник — предисловие), но он сравнительно легко отделался.

Второй жертвой стал С.Драйвер. Его случай тяжелее. Из-за этого вся работа не может приобрести нужный тон. Вначале он говорит, что его объект — **легендарен**, а затем подробно рассказывает, как какую-то унылую молчаливую женщину постепенно бросает ее совершенно несимпатичный муж...

С 1904 г. по 1910 (начная с «Русалки») можно проследить наши отношения, зафиксированные в «Трудах и днях» и абсолютно

неизвестные «мемуаристкам» типа Неведомской и А.А.Гумилевой, и вообще моим биографам.

Нельзя просто сказать — напечатал «Романтические цветы» и посвятил их Ахматовой и... точка, в то время как это почти поэтизированная история его любви (ей же посвящены «Радости земной любви»), его отчаяния, его ревности...

Тема музыкально растет, вытекает в «Жемчугах» и расплавляется в «Чужом небе». А Вера Алексеевна усмотрела «И тая в глазах злое торжество», а здесь и покоритель заклинатель (заветная тема покорения природы), и тот, кто говорит: «Зверь тот свернулся у вашей кровати». Она хихикает от колдуньи «Из города Киева», не понимая, что в то же время (1911 г.) написаны «Она» и «Нет тебя» (1910, Париж).

(На его путешествия можно пожертвовать один абзац (о том, куда я ездила, нет ни слова, например, в Париж в 1911 г., в Киев — к маме много раз, в Крым (юго-западный) в 1916.))

Советую вместо кусков перепутанной биографии Гумилева написать **самым подробнейшим образом**, каким он был для молодежи и даже в 30-е годы, и удивительно, что поэт, влиявший на целые поколения после своей смерти, не оказал ни малейшего влияния на девочку, которая была с ним рядом и к которой он был привязан так долго огромной трагической любовью (а м. б., именно поэтому). Это сократит работу переписывания Струве и придаст неожиданный интерес, да еще покажет, какой заряд творческой энергии был заложен в эту душу. Вот эта тема, над которой стоит поработать, но не стоит походя называть Гумилева учеником Брюсова и подражателем Леконт де Лиля и Эредиа. Это неверно, тысячу раз сказано, затрогано такими ручками! Дешево, вульгарно и к теме диссертации (Ахматова) не имеет никакого отношения. Лучше скажем, что Гумилев поэт еще непрочитанный и человек еще не понятый. Теперь уже кто-то начинает догадываться, что автор «Огненного стола» был визионер, пророк, фантаст. Его бешеное влияние на современную молодежь (в то время как Брюсов хуже, чем забыт).

Иначе при первом прикосновении к биографии Гумилева живых рук все мгновенно превратится в кучу зловонного мусора. Например, новелла Неведомской о «**Сельском цирке**» или ее наглое улюлюканье по поводу его неумения ездить верхом. Во-первых, это не имеет ни малейшего отношения к теме диссертации, т. е. к Ахматовой, во вторых, так, вероятно, было в 1912 г. (последнее слепневское лето Гумилева), и поэту вовсе необязательно быть жокеем, а кроме того, надо думать,



что этому искусству Гумилев все же несколько подучился через два года в маршевом эскадроне лейб-гвардии уланского полка, в деревне Наволоки около Новгорода (куда я к нему ездила), потому что второй Георгий он получил за нечто, совершенное в строю, и дни и ночи проводил в седле. Даже дома во сне страшным голосом кричал: «По коням». Можно себе представить, что ему снилось.

Мой совет: убрать какую-то побочную ублюдочную биографию Гумилева, заменить ее моей (по возможности). М. б., даже стоит дождьтсья опуса Хейт*–Левенсон, который должен дать гигантский материал, который с легкостью уничтожит работу С. Драйвера, бред Маковско-го, вранье Г. Иванова и мещанские сплетни старушек. Им и в голову не приходит, что никакой seclusion after the «tragic events» (уединение после трагических событий (*англ.*) — *И. Т.*) не было. Печатались стихи всюду и книги. Стала членом Правления Дома искусств и Дома литераторов. Наоборот, я именно тогда и возникла (выступления, журналы, альманахи), потому что рассталась с Владимиром Казимировичем Шилейко. Это он, одержимый своей сатанической ревностью, не пускал меня никуда. Я оставила его навсегда весной 1921 и летом написала большой цикл стихов («Путник милый» — «Заплаканная осень» 15 сентября), из которых возник сборник «Anno Domini».

Не скажу, чтобы было особенно приятно видеть себя и Колю глазами мелкого жулика Г. Иванова, абсолютно впавшего в детство, но почему-то злобствующего, умирающего от зависти С. Маковско-го и убогих и мещанских сплетниц, вроде Веры Неведомской (с которой Гумилев был мельком в связи), и А. А. Гумилевой-Фрейгант, с которой Коля слова не сказал. (Когда Митя шел на войну, Анна Андреевна потребовала у него завещание в ее пользу (?!). Коля сказал: «Я не хочу, чтобы мамины деньги (братья были не деленные) Аня употребила на устройство публичного дома»).

Кроме всего прочего, все эти персонажи были совершенно чужды нашей жизни, ничего в ней не понимали, хотят заработать на этом деле какие-то деньги или имя...

А я, наконец, не согласна! Я не хочу, чтобы мне подсовывали какую-то чужую и мне отвратительную жизнь и старались уверить меня, что я ее прожила, а она просто — плод воображения 5–6 каких-то подозрительных личностей (в основном выживших из ума).

* Хейт Аманда (1941 – 1989) – английский славист, автор книги „Анна Ахматова. Поэтическое странствие“

А еще, милый Сэм, нельзя говорить, что меня взрастили какие-то «петербургские салоны», между тем как я попала в эти салоны со стихами, которые создали мою известность. (Стихи зимы 1910–1911 г.)

Меня не печатали 25 лет. (С 25 до 40 и с 46 по 56). Это отнюдь не значит, что я не писала 25 лет. Во второй антракт я писала «Поэму без Героя», в первый — «Реквием» (1935–1940), «Русский трианон» (уцелели отрывки) и ряд не самых моих дурных стихотворений. ...

Всем, что я сегодня (18 мая 1965, Комарово) здесь пишу, я меньше всего хочу оправдаться. Я, может быть, скажу о себе нечто во много раз худшее, чем все они, но это будет по крайней мере — правда.

Нашу переписку (сотни писем и десятки tel) мы сожгли, когда женились, уже понимая, что это не должно существовать.

Вот и все. Подумайте — нет ни обиженной талантливой девочки, ни мужа-тирана, ни конфиденанта — Маковского...

Взять цитату из письма Гумилева к Сологубу (с фронта).

Во-первых, там находим растроение себя, столь характерное для Гумилева: поэт — воин — путешественник, причем он явно отдает предпочтение двум последним. Сравнить одно из последних поздних и замечательнейших стихотворений Гумилева «Память» (цитаты), а также его парижский портрет-триптих. (Гончарова). А еще в 13 г. «**Пятистопные ямбы**», где то же построение.

Во-вторых, в этом письме Гумилев совершенно недвусмысленно говорит о своей горькой литературной судьбе. Добро Глебу Струве утверждать, что Гумилев прославился после «Жемчугов» (1910) и его (Шлебины) товарищи по коммерческому училищу зачитывались «Капитанами». Сам поэт прекрасно знал, что такое литературный успех и еще лучше знал, что успеха не имел. **В 1918 г.** он писал Лозинскому из Лондона, чтобы тот купил его книги (кажется, «Чужое небо», П., 1912) и послал ему, уверенный, что их можно достать в любой книжной лавке.

И не только от несчастной любви (как мы видели выше), но и от литературных неудач и огорчений Гумилев лечился путешествиями. К сожалению, даже такие явные вещи недоступны для наших исследователей, а все-таки, когда пишешь о стихах, следует заниматься и столь элементарным их подтекстом, а не только тупо повторять, что Гумилев — ученик Брюсова и подражатель де Лиля и Эредиа. Дело в том, что и поэзия, и любовь были для Гумилева всегда трагедией. Оттого и «Волшебная скрипка» перерастает в «Гондлу».



Оттого и бесчисленное количество любовных стихов кончается гибелью (почти все «Романтические цветы»), а война была для него эпосом, Гомером, и когда он шел в тюрьму, то взял с собой «Илиаду». А путешествия были вообще превыше всего и лекарством от всех недугов («Эзбекие», цитата). И все же и в них он как будто теряет веру (временно, конечно). Сколько раз он говорил мне о той «золотой двери», которая должна открыться перед ним где-то в недрах его блужданий, а когда вернулся в 1913 году, признался, что «золотой двери» нет. (См. «Пятистопные ямбы»). Это было страшным ударом для него...

Разумеется, из этих двух страниц, которые я написала сегодня, можно сделать не очень тонкую книжку, но это я предоставляю другим, например, авторам диссертаций о Гумилеве, которые до сих пор пробавляются разговорами об ученичестве у Брюсова и подражании Леконт де Лилю и Эредиа.

И где это они видели, чтобы поэт с таким плачевным прошлым стал автором «Памяти», «Шестого чувства» и «Заблудившегося трамвая», тончайшим ценителем стихов («Письма о русской поэзии») и неизменным best seller'ом, то есть его книги стоят дороже всех остальных книг, их труднее всего достать. И дело вовсе не в том, что он запрещен — мало ли кто запрещен. По моему глубокому убеждению, Гумилев поэт еще не прочитанный и по какому-то странному недоразумению оставшийся автором «Капитанов» (1909 г.), которых он сам, к слову сказать, — ненавидел...

Лукницкий. АА рассказывает, что сегодня ночью она видела сон. Такой: будто она вместе с Анной Ивановной, Александрой Степановной, слевой у них в доме на Малой, 63. Все по-старому. И Николай Степанович с ними... АА очень удивлена его присутствием, она помнит все, она говорит ему: «Мы не думали, что ты жив... Подумай, сколько лет! Тебе плохо было?» И Николай Степанович отвечает, что ему очень плохо было, что он много скитался, в Сибири был... где-то... АА рассказывает, что собирается его биография... Николай Степанович отвечает: «В чем же дело? Я с вами опять, со всеми... О чем же говорить?..»



Марина Цветаева*

Есть у Гумилева стих — «Мужик» — благополучно просмотренный в свое время царской цензурой — с таким четверостишием:

*В гордую нашу столицу
Входит он — Боже спаси! —
Обворожает Царицу
Необозримой Руси...*

Вот, в двух словах, четырех строках, все о Распутине, Царице, всей той туче. Что в четверостишии? Любовь? Нет. Ненависть? Нет. Суд? Нет. Оправдание? Нет. Судьба. Шаг судьбы.

Вчитайтесь, вчитайтесь внимательно. Здесь каждое слово на вес — крови.

В гордую нашу столицу (две славных, одна гордая: не Петербург встать не может) входит он (пешая и лешая судьба России!) — Боже спаси! — (знает: не спасет!), обворожает Царицу (не обвораживает, а именно, по-деревенски: обворожает) необозримой Руси — не знаю, как других, меня это «необозримой» (со всеми звенящими в нем зорями) пронзает — ножом.

Еще одно: эта заглавная буква Царицы. Не раболепство, нет! (писать другого с большой еще не значит быть маленьким), ибо вызвана величием страны, здесь страна дарует титул, заглавное Ц — силой вещей и верст. Четыре строки — и все дано: и судьба, и чара, и кара.

Объяснять стихи? Растворять (убивать) формулу, мнить у своего простого слова силу большую, чем у певчего — сильнее которого силы нет, описывать — песню! (Как в школе: «своими словами», лермонтовского «Ангела», да чтоб именно своими, без ни одного лермонтовского — и что получалось, Господи! до чего ничего не получалось, кроме несомненности: иными словами — нельзя. Что поэт хотел сказать этими стихами? Да именно то, что сказал.)

Не объясняю, а славословлю, не доказую, а указую: указательным на страницу под названием «Мужик», стихо-творение, читателем и печатью, как тогда цензурой и по той же причине — незамеченное. А если есть в стихах судьба — так именно в этих, чара — так именно в этих. История, на которой и «сверху» (правительство)

* Цветаева, Марина (1892–1941) — русский поэт, прозаик, переводчица, одна из крупнейших поэтов XX века.



и «сбоку» (попутчики) так настаивают сейчас в Советской литературе — так именно в этих. Ведь это и Гумилева судьба в тот день и час входила — в сапогах или валенках (красных сибирских «пи-мах»), пешая и неслышная по пыли или снегу.

Надпиши «Распутин», вы бы знали (наизусть), а «Мужик» — ну, еще один мужик. Кстати, заметила: лучшие поэты (особенно немцы: вообще-лучшие из поэтов) часто, беря эпитафию, не проставляют откуда, живописуя — не проставляют — кого, чтобы, помимо исконной сокровенности любви и говорения вещи самой за себя, дать лучшему читателю эту — по себе знаю! — несравненную радость: в сокрытии — открытии.

Дорогой Гумилев, породивший своими теориями стихосложения ряд разлагающихся стихотворцев, своими стихами о тропиках — ряд тропических последователей —

Дорогой Гумилев, бессмертные попугаи которого с маниакальной, то есть неразумной, то есть именно попугайной неизменностью, повторяют ваши — двадцать лет назад! — молодого «мэтра» сентенции, так бесследно разлетевшиеся под колесами вашего же «Трамвая» —

Дорогой Гумилев, есть тот свет или нет, услышьте мою, от лица всей Поэзии, благодарность за двойной урок: поэтам — как писать стихи, историкам — как писать историю.

Чувство Истории — только чувство Судьбы.

Не «мэтр» был Гумилев, а мастер: боговдохновенный и в этих стихах уже безымянный мастер, скошенный в самое утро своего мастерства-ученичества, до которого в «Костре» и окружающем костре России так чудесно — древесно! — дорос.



БИБЛИОГРАФИЯ

1. *Алексеева А.* «Я часто скачу по полям, крича навстречу ветру ваше имя». О переписке Н. С. Гумилева и Л. М. Рейснер // Хронограф-89. Ежегодник. / Сост. С. А. Митрохина. М.: Московский рабочий, 1989. С. 280–296.
2. *Алперс В.* Из дневника // Евгений Степанов. Последние неакадемические комментарии - 4. / <http://sites.utoronto.ca/tsq/22/stepanov22.shtml>.
3. *Ахматова А. А.* Собрание сочинений: В 6 т. Т. 5 Биографическая проза / Сост., подгот. текста, коммент., вступ. ст. С. А. Коваленко. М.: Эллис Лак, 2000, 2001.
4. *Берберова Н. Н.* Курсив мой. М.: Согласие, 1996.
5. *Бронгулеев В. В.* Посредине странствия земного. Документальная повесть о жизни и творчестве Николая Гумилева. Годы: 1886–1913. М.: Мысль, 1995.
6. *Волошин М. А.* История моей души. М.: Аграф, 1999.
7. *Высотский О. Н.* Николай Гумилев глазами сына / Сост. Г. Н. Красникова, В. П. Крейда. М.: Молодая гвардия, 2004.
8. *Гильдебрандт-Арбенина О.* Девочка, катящая серсо. Мемуарные записи, дневники / Вст. ст. А. Дмитренко, Н. Плунгян. М.: Молодая гвардия, 2007.
9. *Гумилев Н. С.* Полное собрание сочинений в 10 томах / Т. 1–Т. 8. М.: Воскресенье, 1998–2007.
10. Жизнь Николая Гумилева: воспоминания современников / Сост. и авт. коммент. Ю. В. Зобнин, В. П. Петрановский, А. К. Станюкович. Л.: Изд-во Международного фонда истории науки, 1991.
11. *Иоганнес фон Гюнтер.* Жизнь на восточном ветру. Между Петербургом и Мюнхеном / Перевод Ю. Архипова. М.: Молодая гвардия, 2010.
12. *Лукницкая В. К.* Николай Гумилев. Жизнь поэта по материалам домашнего архива семьи Лукницких. Л.: Лениздат, 1990.
13. *Лурье В. И.* Воспоминания о Гумилеве // De visu, 1993. № 6. С. 5–14.



14. *Маковский Сергей*. «Портреты современников», М., 2000.
15. *Мандельштам Н. Я.* Воспоминания / подгот. текста Ю. Л. Фрейдина ; примеч. А. А. Морозова. – М. : Согласие, 1999.
16. *Мочалова О. А.* Голоса Серебряного века / Сост., предисл. и коммент. А. Л. Евстигнеевой. М.: Молодая гвардия, 2004.
17. *Наппельбаум И. М.* Угол отражения. Краткие встречи долгой жизни. СПб.: ИД «Ретро», 2004.
18. Николай Гумилев. Исследования. Материалы. Библиография / Сост. М. Д. Эльзон, Н. А. Грознова. СПб.: Наука, 1994.
19. Николай Гумилев в воспоминаниях современников / Сост., коммент., вступ. ст. В. Крейда. Репринтное издание. М.: Вся Москва, 1990.
20. *Н. С. Гумилев: Pro et Contra* / Сост., вступ. ст. и примеч. Ю. В. Зобнина. СПб.: РХГИ, 1995.
21. *Одоевцева И. В.* На берегах Невы. М.: Худож. лит., 1988.
22. *Рейснер Л. М.* Автобиографический роман // Литературное наследство. Т. 93. Из истории советской литературы 1920–30-х гг. М.: 1983.
23. *Серпинская Нина*. Флирт с жизнью. М.: Молодая гвардия, 2003.
24. *Степанов Евгений*. Поэт на войне. Николай Гумилев 1914–1918. М.: Прогресс-Плеяда, 2014.
25. *Цветева М. И.* История одного посвящения. / http://www.tsvetayeva.com/prose/pr_istorija_odnogo_poswyashenija.
26. *Черубина де Габриа*. Исповедь. / Сост. Купченко В. П., Ланда М. С., Репина И. А. М.: Аграф, 1999.
27. *Шубинский В. И.* Зодчий. Жизнь Николая Гумилева. М., 2014.
28. *Эрлих-Дубнова София*. Из прошлого и настоящего. // Время и мы. № 97/1987. Нью-Йорк–Иерусалим–Париж. С. 180–221.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>И. Талалаевский. Слоны любви Николая Гумилева</i>	5
<i>Анна Гумилева</i>	9
<i>Валерия Срезневская</i>	17
<i>Ольга Делла-Вос-Кардовская</i>	29
<i>Черубина де Габриак (Елизавета Дмитриева)</i>	32
<i>Надежда Войтинская</i>	82
<i>Софья Эрлих</i>	85
<i>Вера Неведомская</i>	91
<i>Ольга Высотская</i>	103
<i>Надежда Тэффи</i>	120
<i>Вера Алперс</i>	124
<i>Ольга Гильдебрандт-Арбенина</i>	134
<i>Ольга Мочалова</i>	183
<i>Маргарита Тумповская</i>	212
<i>Лариса Рейснер</i>	214
<i>Надежда Мандельштам</i>	236
<i>Елена Дюбуше</i>	245
<i>Екатерина Малкина</i>	253
<i>Ирина Одоевцева</i>	255
<i>Ида Наппельбаум</i>	445
<i>Ольга Ваксель</i>	453
<i>Нина Серпинская</i>	454
<i>Вера Лурье</i>	456
<i>Нина Берберова</i>	471
<i>Анна Ахматова</i>	491
<i>Вместо заключения. Марина Цветаева</i>	507
<i>Библиография</i>	509

Талалаевский Игорь
НЕИСТОВЫЙ КОНКВИСТАДОР
Женщины Николая Гумилева



Главный редактор издательства *И.А. Савкин*
Дизайн обложки *И.Н. Граве*
Оригинал-макет *М.М. Егорова*
Корректор *Д.Ю. Былинкина*

ИД № 04372 от 26.03.2001 г.
Издательство «Алетейя»,
192171, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 53.
Тел./факс: (812) 560-89-47

Редакция издательства «Алетейя»:
СПб, 9-ая Советская, д. 4, офис 304,
тел. (812) 577-48-72, aletheia92@mail.ru

Отдел продаж: fempro@yandex.ru, тел. (921) 951-98-99
www.aletheia.spb.ru

*Книги издательства «Алетейя» можно приобрести
в Москве:*

«Библио-Глобус», ул. Мясницкая, 6. www.biblio-globus.ru
Дом книги «Москва», ул. Тверская, 8. Тел. (495) 629-64-83
Магазин «Русское зарубежье», ул. Нижняя Радищевская, 2.
Тел. (495) 915-27-97

Магазин «Фаланстер», Малый Гнездниковский пер., 12/27.
Тел. (495) 749-57-21, 629-88-21

Магазин «Циолковский», ул. Б. Молчановка, 18. Тел. (495) 691-51-16
в Киеве:

«Книжный бум», книжный рынок «Петровка», ряд 62, место 8.
Тел. +38 067 273-50-10, gron1111@mail.ru

в Минске:
«Экономпресс», ул. Толбухина, 11. Тел. +37 529 685-70-44, shop@literature.by
в Варшаве:

«Centrum Nauczania Języka Rosyjskiego»,
ul. Ptasia 4. Тел. (22) 826-17-36, szkola@jezykrosyjski.com.pl

Интернет-магазин: www.ozon.ru

Формат 60x88 1/16. Усл. печ. л. 0,00. Печать офсетная.
Заказ №



1913 г.



1914 г.



1921 г.

Николай
Гумилев



Последняя
фотография
в ВЧК 1921 г.

Анна
Гумилева-Фрейганг



Александра
Сверчкова

Анна
Ахматова





Н.С.Гумилев,
Лев Гумилев,
А.А.Ахматова.
Царское Село.
1915 г.



Валерия Срезневская



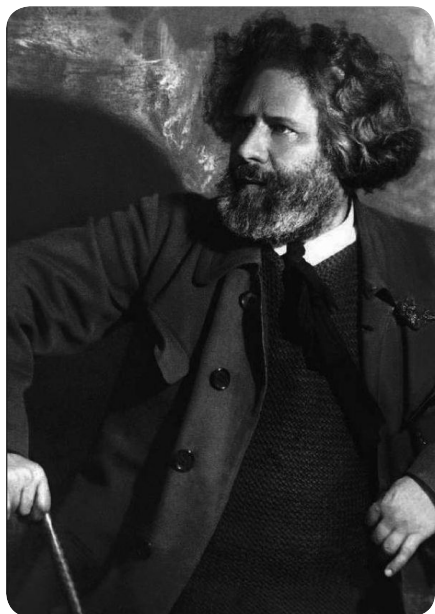
Ольга Делла-Вос-Кардовская



Сестры Вера,
Зоя, Анна
Аренс



Елизавета Дмитриева
(Черубина де Габриак)



Максимилиан Волошин



Сергей Маковский



Павел Лукницкий



Иоганнес фон Гюнтер



Надежда Войтинская



Софья Эрлих (первая слева)



Ольга Высотская



Мария Кузьмина-Караваева



Татьяна Адамович



Надежда Тэффи



Вера Алперс



Ольга Гильдебрандт-Арбенина



Ольга Мочалова



Маргарита Тумповская



Лариса Рейснер



Надежда Мандельштам



Елена Дюбуше



Ирина Одоевцева



Анна Гумилева-Энгельгардт



Ида Наппельбаум



Нина Серпинская



Ольга Ваксель



Вера Лурье



Нина Берберова

...Наконец Н. Ст. не выдержал, любовь ко мне уже стала переходить в ненависть. В «Аполлоне» он остановил меня и сказал: «Я прошу Вас последний раз — выходите за меня замуж»; — я сказала: «Нет!» Он побледнел — «Ну, тогда Вы узнаете меня». — Это была суббота. В понедельник ко мне пришел Гюнтер и сказал, что Н. С. на «Башне» говорил Бог знает что обо мне. Я позвала Н. С. к Лидии Павл. Брюлловой, там же был и Гюнтер. Я спросила Н. С., говорил ли он это. Он повторил мне в лицо. Я вышла из комнаты. Он уже ненавидел меня. Через два дня М. А. ударил его, была дуэль.

Через три дня я встретила его на Морской. Мы оба отвернулись друг от друга. Он ненавидел меня всю свою жизнь и бледнел при одном моем имени...

Елизавета Дмитриева

Вчера Гумилев признался, т.е. объяснился мне в любви. Все это ничего, очень приятно, но это было у него, он просил меня дать ему что-нибудь, я была совершенно в его власти ... Что меня спасло? Я позволила ему целовать себя. Это гадко. Он думал, что он возьмет меня этим. Что он привяжет меня к себе, что мне это понравится... Положим это понятно. Ведь приятно слушать, когда тебя воспевают, когда говорят о духовной красоте. Поняла и то, что он в меня влюбился. Ему нужно мое тело...

Вера Алперс

Почему он не сказал простых русских слов, вроде «не уходи» или «не бросай меня»? Что это, гордость? Стыд? Отчего можно говорить раболопные, слова, когда надо добиться того, чтобы уложить в постель, и не сказать ни слова, чтобы остановить свою женщину? Как он нисколько — ни капли — не верил в мою любовь?.. Я думаю теперь, надо было меня избить (это я говорю теперь, тогда мне в голову бы не пришло, что можно меня бить) и бросить на пол, а потом легче было бы ему просить прощения, и я обещала бы ему все, все (и все бы выполнила!)...

Ольга Гильдебрандт-Арбенина